

4

ISSN 0206-8680

КИНОСЦЕНАРИИ

1990

ИЗДАЕТСЯ
С 1973 ГОДА

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Сценарии

- 3 *И. Бугыльская*
НЕ ВРЕМЯ КОММУНАРОВ?
- 44 *И. Бергман*
ЗМЕЙНОЕ ЯЙЦО
- 76 *А. Габрилович, С. Случевский*
ДВОРЫ НАШЕГО ДЕТСТВА
- 90 *Р. Тюрин*
ПОСТ № 1
- 110 *Н. Афанасьев*
СИМУРГ-I
- 116 *Г. Сапгир*
СИМУРГ-II
- 118 *Ф. Ходжаев*
СМЕХ ПОД СОЛНЦЕМ
- 129 *Г. Климов, Э. Климов*
ПРЕОБРАЖЕНИЕ (часть I)

Мемуары

- 153 *А. Чечулин*
**ЗАПИСКИ КОНФОРМИСТА,
НЕ ДОЖИВШЕГО ДО ПЕНСИИ**

Точка зрения

- 170 *Р. Соболев, Е. Соболев*
Зубр белого движения
- 178 **Нужен ли кинематограф в эпоху перестройки?**
- 191 **Наши авторы**

4

1990

ГОСКИНО СССР
СОЮЗ
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
СССР
МОСКВА 1990

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
В 1991 году журнал «Киносценарии» будет
поступать в розницу
в ограниченном количестве.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
Наш индекс 70434

Главный редактор **Е. ГРИГОРЬЕВ**
Редакционная коллегия
О. АГИШЕВ, Ю. АРАБОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,
В. ГОЛОВАНОВ, О. ГОРБАЧЕВА, А. ЛОКТЕВ (зам. главного редактора),
Б. МЕТАЛЬНИКОВ, В. СОЛОВЬЕВ, В. СЫТИН,
В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ

Ответственный секретарь **Н. РЮРИКОВА**

Технический редактор **Л. МАРКОВА**

Корректор **Е. ПЫЛАЕВА**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

© «Киносценарии»

Сдано в набор 29.04.90. Подписано к печати 07.06.90. А06895
Формат 70×100¹/₁₆. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. 21,829
Усл. кр.-отт. 16,24. Печать офсетная. Бумага типогр. «Сыктывкар».
Гарн. таймс. Тираж 63 000 экз. Заказ № 929. Цена 1 р. 20 к.
Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр»
123376, Москва, Дружинниковская ул., 15. Тел. 205-30-01
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12.
Телефон 299-47-74.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по печати
142300, г. Чехов Московской области

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

- А. Бородянский, К. Шахназаров «Цареубийца»**
Е. Турсунов «Мытарь»
Г. Климов, Э. Климов «Преображение» (часть II)
М. Мареева «Отшельник»
Н. Покорная «Не рыдай меня Мати»
П. Луцки, А. Саморядов «Дюба-дюба...» (часть I)
А. Чечулин «Записки конформиста,
не дожившего до пенсии» (продолжение)



**Ирина
БУТЫЛЬСКАЯ**

НЕ ВРЕМЯ КОММУНАРОВ?

*...И туча галок в воздухе,
как туча подозрений.*

Вл. Соколов

Часть I

Близость утра раньше всего живого чувствуют вороны. До чего же много развелось их в последние годы! Покидая с рассветом полузаснеженные поля, застыя небо, полонив черною тучею верх стынущей рощи берез, кричат отчаянно, тревожаще, противно — то ли беду накликают, то ли прощаясь с чем.

Слышны гудки автомашин, лай дворовых собак, отдаленный бег электропоездов, но трескучая переключка древних птиц на время поглощает всё. Протянутые от столба к столбу ряды телеграфных проводов — одно из изблюбленных их мест. Будто ровные строки что-то значащих иероглифов — черные их силуэты на проводах на фоне бледнеющего, в гонимых ветром лохмотьях облаков, неба.

Конец зимы, ночи конец.

Зима кончилась, но весна еще не наступила.

Рань, мокрядь, слабый — как продолжение

сизого неба — туман над березовой рощей, над шоссе и поселком, и возникшая перед неказистым зданием клуба плотная женская фигура: резиновые боты, гамаша, подол короткого ситцевого платья из-под телогрейки, опухшее от сна лицо, платок.

Зевая, толкнула дверь клуба — не заперто, и, удивленная, воскликнула:

— Надежда!

— Ау? — мывшая пол девушка разогнулась на миг: — Вытирайте ноги, Ангелина, — и вновь легко и тщательно продолжила свое дело — без швабры, одной тряпкой, точно у себя дома.

— Ты ж рассчиталась? — недоверчиво прогудела та.

— Именно.— Подхватив ведро, Надя королевски небрежно взмахнула перед ней свободной рукой:— Принимайте вот. Участок, так сказать, р-р-работы! — и пошла выливать воду.

Щедро освещенное люстрой тесноватое фойе клуба дышало сейчас такой чистотой и

казенным (отнюдь не показавшимся Ангелине убогим) уютом, а догадка о том, что в свой первый рабочий день ей не придется ничего делать, была так приятна, что Ангелина, засопев, и боты скинула — в носках пошла. Потрогав — послунявив прежде пальцы — листья огромных фикусов, пощупав землю в кадках, проведя ладонью по гипсовой поверхности бюста кого-то из великих, в приятной догадке она утвердилась: ни пылинки, ни соринки. Вымытый давно пустой аквариум на тумбе, подшивка «Правды» да хохочут за порожицы, пишущие письмо турецкому султану, занимаемая вместе с рамой полстены.

— Передаю орудия труда, — из кладовки, там, где туалет, позвала Надя.

Ангелина приблизилась.

— Ведро — вот оно. Совок. Веник... вернее, жалкое его подобие. Корзинка для мусора — здесь, и там, вон там еще в углу, у директора, у билетера, у кассира, у входа и где танцы, наверху. Всего восемь штук, — рассказывала и показывала сменнице Надежда.

Манера речи Наденьки своеобразна.

Низкий, но не хриплый, как у той же Ангелины, ничуть не басовитый — легкий ее голос то и дело как бы изнутри взрывается всплесками смешков, выдавая девчонку-хотушку, какой, верно, была она когда-то. Этими легкими смешками Наденька словно подчеркивает для собеседника то, что может вызвать ответную улыбку, — будь то недоумение, пустяк житейский или по-настоящему что-то хорошее, большое. В этом и проявление ее внутренней свободы. Скрываемая застенчивость. Ироничность и доверчивость — вместе. И средство самозащиты, спасение от ран... наивное? Да, будут ситуации, когда смешки-смешинки и вовсе исчезнут из ее голоса, точно умрут. Но всему — свое время и свое место.

— Тряпки — дефицит, — продолжает она, — я из дому приносила. Швабра...

— А это чего? — Хваткий взгляд сменщицы остановился на пузырьке, взятом Надей с полки.

— Крем. Для рук. Кожа грубеет так! Оставлю вам. Тут хлорка, — показала она, — этой прелести навалом, но я не пользуюсь, а то запах, как в привокзальных сортирах. Лучше вот, — указала на полочку, — паста и всякое такое.

— На свои, что ли, покупала? — возмутилась Ангелина.

— Угу. Мыло, полотенце — всё! — весело довершила Надя и, полуприкрывшись дверью, стала переодеваться. Сказала: — Сейчас ключ вам вручу — и!.. — она засмеялась освобожденно.

— В комнатах-то чего? — спросила Ангелина.

— Оркестр, бильярд, хор еще был, да весь вышел.

— Ну! А руководить кому! — подтвердила Ангелина. — Нашего-то этого... я и сама у него пела, на элтэпз упекли. А вон чего за дверь?

Надя взглянула. Ангелина указывала на дверь в углу фойе с табличкой «Комната политпросвещения».

— От нее ключ утерян еще до меня. А в общем здесь нормально, — поделилась, одеваясь и причесываясь, Надя. — Топтать-то некому особенно. В кино дети в основном. Два часа шмона и — свободен. Ну после выходных, когда танцы, подошли. Удобно.

— Да разудбно! — насмешливо передразнила Ангелина и озорно ущипнула Надю, затормошила, веселясь: — А чего ж ты, коза ты эдакая, отсель копыта рвешь, коль уж тебе «удбно» чужие плевки тут подтирать? А?

Засмеявшаяся было от щекотки Надя отстранилась.

— Пора мне. — И отошла.

Она прощалась. Старенький мотивчик мурлыкала себе под нос: «А путь и далек, и долог, и нельзя повернуть нам назад...», оглядывая напоследок клубное фойе с его фикусами и диванами, бюстами с трудом узнаваемых знаменитостей прошлого, «Запорожцами» и поблекшими плакатами на стенах, зовущими культуру в массы и напоминавшими, что кино — важнейшее из всех искусств.

Щелкнув выключателем, погасила люстру. Звякнула, передавая их Ангелине, связкою ключей.

— В городе устроилась? — заталкивая в рот одну за другой сразу несколько карамелек и чавкая, любопытствовала Ангелина.

Надя лишь плечами пожала.

— Кабы у меня-то не трое моих на руках, я б давно!.. — Сунув ноги в боты, Ангелина толкнула дверь на улицу и ахнула: — Ты глянь: ни свет, ни заря — уже! Мужика не добудишься, а эти!.. Бегут! Куда бегут-то?

Надя вышла тоже. И было во всем облике Нади уже что-то иное, чем только что, когда она самозабвенно драила пол, — что-то сосредоточенное, стремительное, «городское». Заулыбалась, увидав трех мальчишек — один другого меньше, — маленьким строем бежавших по обочине шоссе.

— С петухами и встает Петя-Петушок ваш!

— А у тебя будто медом для моего Петушка мазано? — прищурилась Ангелина. — Другие на танцульки, еще куда, а мой: «Я к Надежде!», либо к этим, к твоим... Приворожили. «Что там делаешь-то?» — пытаю его. Слушаю, грит. Про историю, так он мне и говорит, да! — трещала, справляясь с карамельками, Ангелина. — И про все на свете, грит. Дурной совсем стал. Уроки б учил, говорю. А он: «Это важнее всех уроков». Ну?

— Важнее. Это правда,— тихо сказала Надя.

Отойдя на несколько шагов, перепрыгнув лужу, обернулась:

— Счастливо.

— Бывай, Надя!

Перебежав шоссе, Надя успела вскочить в подошедший забрызганный грязью автобус.

Легкая улыбка вновь пробежала по ее лицу при взгляде через заднее стекло отъехавшего автобуса на бегущих, постепенно отдалявшихся мальчишек.

Автобус давно скрылся, а они всё бежали, трое, с похожими лицами, лет шестнадцати, двенадцати и маленький, изо всех сил старавшийся не отстать от братьев,— не старше шести. Одежье и обутые во что придется, они не походили на спортсменов. Бег их по разъезженному машинами, в ошметках глины и тающего мокрого снега шоссе был неудобен и неуклюж. В движениях не было спортивной собранности. Но они бежали — оскальзываясь, уставая, тяжело дыша, и лица их были упрямы и светлы. Слово какая-то цель ждала их впереди, и они точно знали: во что бы то ни стало — добегут.

Мчавшаяся навстречу «Волга» обдала Петьку фонтаном брызг, братья шарахнулись, сразу поотстав, но Петушок не дрогнул, не свернул, и братья рванулись за ним.

В «Волге» кроме водителя сидело двое молодых людей.

— Здесь,— произнес один из них.

Машина остановилась напротив клуба.

— Ступай, Зуев,— коротко приказал второй.

И тот, кого звали Зуевым, направился к клубу.

В каморке-кладовой горел свет. Наденькино «наследство» — порошки, пасту — Ангелина перекладывала в домашнюю хозяйственную сумку. Испуганно обернулась, слышав шаги...

Оставшийся в «Волге» закурил. Был он лет на десять старше Зуева. Высоколоб, широк в плечах, серьезен. Внимательный взгляд его вобрал в себя в цифры на торце здания клуба, обозначавшие, видимо, дату постройки: 1953. Они резко выделялись на грязно-белом фоне стены.

Зуев вышел из клуба один.

— Уволилась,— лаконично доложил он, открыв дверцу.— Её дом тут, неподалеку.

— Точнее,— потребовал старший.

— По той улочке третий справа,— Зуев, сняв очки, протирал запотевшие стекла.— Ворота в васильковый цвет крашены.

Внимательно слушавший водитель понятиливо кивнул головой.

— Минут через сорок тихонько подъезжай,— распорядился старший, покидая ма-

шину.

Водитель так же молча кивнул.

Пришлось поднять воротник — шел снег с дождем.

— Это что еще за явление? — спутник Зуева замедлил шаг.

Обогнавшие их донельзя забрызганные «Жигули», миновав два домика, лихо притормозили подле третьего — как раз у васильковых ворот. Из кабины появился некто высокий, худощавый, в спортивной куртке и с букетом живых гвоздик. Прикрывая гвоздики полый куртки, поспешил во двор.

— Кто такой?

— Впервые вижу,— отвечал Зуев.

— Плохо работаешь, Зуев.

— Виноват. Номер машины московский,— поправив очки, уточнил Зуев.

Владелец «Жигулей» появился снова. Держал так и не врученный букет. Постоял, вертя по сторонам головой, раздумывая, как поступить.

— Та-ак,— неопределенно протянул старший, не спуская с него глаз. Стало ясно, что в доме никого нет.

«Жигули», развернувшись, уезжали. И хотя улочка была пустынная, владельцу их и в голову не пришло обратить внимание на приткнувшихся к чьему-то забору двух молодчиков, один из которых успел записать номер его машины.

К домику за васильковыми воротами двое проследовали уверенно и не таясь. Для порядка постучали и подергали запертую дверь. Мяукнул, потерся о ноги вскочивший на крыльцо кот, просясь в дом. Зуев шикнул на него, кот, выгнув спину, зашипел.

— Невезуха. По моим наблюдениям она в это время всегда...— бубнил в нос Зуев.

— Ждем. Погодка! Пошли за угол, просквозит.

Зашли за дом. Старший закуривал.

Зуев, поёживаясь, заглянул от нечего делать в окно: занавески были раздвинуты.

— Николай, — позвал он, но старший не расслышал, и Зуев окликнул его еще раз: — Лабутин!

Старший обернулся. Зуев настойчиво манил его рукой к окну, и, нехотя подойдя, Лабутин приник к стеклу.

Четко выделились из полутьмы комнаты висевшие на стене черно-белые литографические портреты Маркса и Энгельса.

— Ишь, додумались, стервецы, а? — бормотал Зуев. Ткнул в стекло пальцем:— А это еще вон кто?

— Не узнал? — усмехнулся Лабутин.

— Не пойму... вроде... хм, не похож.

— Смотри-ка лучше по сторонам,— и старший вновь прильнул к окошку, все отчет-

ливее различая того, кто был изображен на прикрепленной к широкому торцу шкафа цветной репродукции. Рожденный свободным видением неведомого Лабутина художника, — словно только что присев за стол с раскрытым томиком стихов, да и унесся от них мыслями, без пиджака, без знаменитого галстука в горошек, Владимир Ильич здесь был непривычно, изумляюще молод. Тревожно-светел задумчивый взгляд. Незастегнутые рукава белой сорочки выдают силу и крепость рук. За спиной карта — вероятно, России...

— Сообщаю: бабка заявлялась, — неприятно донося до его слуха глухой голос Зуева и следом: — Пр-роклятье! — зуевский вскрик.

Оступившись, Зуев провалился выше колен в яму, переполненную ледяной и в комьях нарастающего снега водой.

Сильным рывком вытянув его оттуда за руку, Лабутин не мешкая поспешил с ним к крыльцу.

— Ау, хозяйюшка! Принимаете гостей?

— А как же, — спокойно отозвалась, стоя спиной к ним, отпиравшая дверь сутуловатая худая старуха. Голос прокуренный, почти мужской. Через плечо глянула — взгляд выцветших голубых глаз тверд, прям: — Незнакомые... к Нádюшке? Что ж стынете? Не рассказала она вам, где ключ?

— Подошли — и вот, оступился, видите, приятель...

— Батюшки! Что ж ты на ветру его держишь, друг ситный? Скоренько-скоренько, ну-ка, — взяв Зуева за руку, как маленького, старуха ввела его в дом. Вошел (предварительно стрельнув взглядом по сторонам) и Лабутин.

Пока он раздевался да осматривался, Зуев во мгновение ока оказался переодет и переобут и теперь сидел на лавке спиной к печи, облаченный в линялые спортивные штаны и шерстяные носки, то и дело снимая и вновь напяливая очки — от досады и неловкости.

Не обращая внимания на его протестующие «спасибо, я сам», «не беспокойтесь», «да не надо!», старуха принялась энергично растирать ему ноги, велев Лабутину:

— Друг ситный, чайник давай ставь.

Тот усмехнулся невольно, перехватив нововато-беспомощный взгляд напарника, отыскал чайник.

— Вода в ведре, рядом, — подсказала старуха. — А ты — на печку! И не спорь, миленький, не спорь лучше со мной, — подсаживала она Зуева на высокую печь.

— Там душно, — слабо прорыл было Зуев, оставляя попытки сопротивления.

— Пар костей не ломит, — хрипловато засмеялась старуха. — Сейчас чайку тебе, с мятою. Как огурчик у нас будешь! Пиджачок скинь, помнешь.

Она попыталась отобрать у него пиджак.

— Николай, — жалобно воззвал Зуев.

Лабутин, приняв из его рук, повесил пиджак на вешалку.

— А брючки просушим-погладим. Обувку высушим. И будем знакомиться, — пройдя в комнату, старуха включила утюг. — Ты значит, Николай? — из кармана широкой темной юбки достав пачку «Беломора», закуривая, спросила она.

— Абсолютно верно.

Лабутин вникал, как бы внюхивался во внутренний облик дома — не привычно городской, но и не деревенский, обжитой, посвоему даже уютный, но словно бы и тревожно-временный. Эти портреты... отчего они тут? «Кузьма Петров-Водкин. «Раздумие» — успел прочитать он название и имя создателя картины, которую несколько минут тому разглядывал через окно.

На прилаженных там и сям, словно наспех, полках ручной работы громоздятся книги — не мертвыми рядами, а будто только что из рук — стопками, горками. Всюду пучки высушенных трав, цветов. Часы с «боем» — старина. Гитара над кроватью, географическая карта СССР вместо ковра. Выше нее — Шишкин: лес, дорога, бурелом... В доме как будто есть и все необходимое, но по привычным меркам он бедноват, пустоват? Но не пуст, а как бы заполнен чем-то иным, что вне стандартного обихода и без чего обычно обходятся.

— А пострадавший — Зуев, Васек, — рекомендовал он хозяйке. — Вас как величать-стать?

— А я — Милица Георгиевна.

— Как?..

— Ми-ли-ца. Старинное имя, не слышал? — пронзительно взглянула она на Николая. — А в паспорте... когда по новой его получала, написали, умники, Милиця!

Лабутин не сдержал улыбки. С печки донеслись хрюкающие смешки Зуева.

— Ну! Так и написали: Милиця Георгиевна. Да я к прозвищам привычная, хоть горшком меня назови... А можно — бабай Милой.

— Я вас, Милица Георгиевна, узнал. Не ошибаюсь? — Николай успел заметить и фотографии — их было несколько, — выставленные за стеклом книжного шкафа, перегородивающего комнату надвое.

Польщенная, баба Мила приблизилась, держа отглаженные зуевские брюки.

— Неуж жива еще Милка, не вся в расход вышла? — Она засмеялась молодого, обнажив металлические зубы, и сходство ее с довоенной комсомолочкой за стеклом вдруг обозначилось на короткой миг. А вообще бабка была с «секретом» — это Николай тоже успел почувствовать.

— Нádюшке я тут сильно нравлюсь, — похвалилась она ему.

— А это кто?

— Родители ее. Лиза мне сестра. На Урале живут. Ну а профессора своего признал?

— Удачный снимок. Можно ближе рассмотреть? — Улыбка у Николая Лабутина была подкупающая. Ямочки на щеках.

Баба Мила закивала:

— Гляди, коль соскучиться успел, — и отправилась на кухню. Там сразу негромко загворило радио, перечислявшее новости жизни страны.

Оставшись один, Лабутин тут же распахнул дверцы шкафа. Подержал в руках снимок профессора, разглядывая его с пристальным интересом. Хотел положить в карман, но воздержался, помедлив. Цепкий взгляд его вбирал, запоминая, все. Собрание сочинений В. И. Ленина — один за другим все пятьдесят пять томов (на месте некоторых зияли пустоты). Книжки по истории, философии, эстетике. Авторы самые разные. Лабутин различил Гегеля, Плеханова, Маркса и Энгельса, был Чернышевский. Но особое его внимание привлекли магнитофонные кассеты, стоявшие в ряд на нижней полке, на корешках их упаковок были сделаны надписи от руки. Вытащил наугад, прочел: «Профессор Таярский В. М. Лекция 4. История развития личности в России».

— Ну-ка, Коля-Николай, сиди дома, не гуляй! — окликнула его из кухни баба Мила. — Чаевничать иди.

— С удовольствием.

Закрывая шкаф, он запомнил еще два фото. Любительское — смазливое товарища под сорок. И до черноты изможденное, небритое, в садинах, с лихорадочным блеском ввалившихся глаз лицо молодого человека времен войны (точнее, актера, исполняющего его роль: это был кадр из фильма).

Разительно непохожие, из разных эпох — словно разных миров, оба лица между тем показались Николаю знакомыми.

Часы в комнате били в свой срок, напоминая бой курантов.

Недовольство Зуева непривычным ему местом обитания — печка! — постепенно проходило, он примостился поудобнее, прихлебывая из кружки чаек, пригрелся, вдыхая запах разложившихся на припечке трав и с завистью косясь на бесшумно вспрыгнувшего на печь кота, сонно жмурящегося, развалилась: ему-то, Зуеву, надлежало быть начеку, он и держал уши «топориком».

...Бой часов походил на новогодний, и «новогодним» казался снег — никакой будто весны, — вдруг крупными хлопьями поваливший за оконцем.

Мирно клокотало пожирившее поленья пламя за дверцей печки, куда время от времени дотягивалась кочергой, не вставая из-за стола, баба Мила.

Нарисованный на печке смешной симпатичный ежик, казалось, вот-вот подмигнет.

На столе чашки-блюдца-вазочки, соленья-варенья, — пили с Николаем чай.

И текла беседа. Радио, чтоб не бормотало впустую, Лабутин незаметным движением руки выключил.

— Всё, коль проложили к нашему дому тропку, теперь зачистите. Это уж как пить дать, не сомневайтесь. Нравится у нас, а?

— Любопытно.

— То-то! Летом вовсе благодать. Не жалею я, давно не жалею, что живу тут.

— Значит, частенько к вам сюда гости навещаются? — допытывался Лабутин.

— Да как кому приспичит. Вы оба-то из Москвы или из города?

— Мы из города.

— Ну тут под боком. Москва теперь тоже вроде рядом — электрички вон, два часа и там. Не то что когда я поселилась, после войны... не так было. Сама-то я Москвы уроженка, — сказала она.

— Да?

— Да! Да не про меня та сказка — Москва. Не там жизнь жила, не там и выжила... Зато Надюшке сгодилась. Сбежала она от своих, сюда, к столице-то поближе.

— Одна сбежала? — любопытствовал Лабутин.

— Она да Никита с Любашей, с детьми, друзья ее. Полдомишка купили тут недалече, Виталик прибился... вся наша коммуна.

— Как вы сказали? Ком-муна?

Слово-то какое, гм. Он был немало удивлен и, должно быть, не сумел этого скрыть.

— Давай-то вам всем бог, хоть и безбожники мы все, а я — первая. Уж тогда помогай вам Марк! А через вас с профессором вашим и я, грешная, к марксизму и то уж причастилась капельку. Как послушаешь его, Владимира Михалыча, все мысли дыбом, в жар и холод кидает. Смолоду-то что мы знали?

— Разве вы не в советское время росли, Милица Георгиевна?

— Как это не в советское? — отставила баба Мила чашку. — В какое же? Я другого и не ведаю... Только каждому это время шило свой наряд, — медленно проговорила она, — и не велело спрашивать: а в пору ль он?

Лабутин внимательно посмотрел на нее, намереваясь еще что-то выспросить, но Милица Георгиевна сказала, прислушавшись:

— О, нашего полку прибыло, — уловила она топтанье чьих-то валенок у порога. — Свои, что ль? — позвала весело.

— Здравствуй, — разгоряченный после бега, явился им сын Ангелины Петька. — Там на машине кто-то приехал, — доложил он.

В дверь уже стучали.

— Можно?

Лабутин приподнялся. Давешний незнакомец — на сей раз без гвоздик — входил в дом с выражением несмелого вопроса на лице.

С удовлетворением Николай признал в нем того, чье фото помещалось за стеклом книжного шкафа.

Ну а баба Мила от изумления даже присвистнула, поднимаясь навстречу ему:

— Нежда-анный гость...

— И нежеланный? — откликнулся вошедший.

— По мне так не очень, а уж как Надя... — отвернувшись от него, она засобиралась вдруг за водой, зазвенела ведрами.

— Водопровод вам, вижу, так и не провели, баба Мила? Что ж ваши коммунары-то? Или основной состав сменился? — скользнул он по лицам присутствующих. — Там вон, на печке, не хозяин ли молодой?

— А у нас так: кто гость — тот и хозяин, и работник, и друг нам, — отвечала баба Мила, будто спорила. И, меняя гнев на милость: — Разоблачайтесь, Олег Юрьевич, грейтесь. Айда-ка, Петушок, по воду!

Но Николай, заметив в окно комнаты мелькнувшую улицей свою «Волгу», поспешил перехватить у Пети ведра, сказав Милице Георгиевне:

— Пусть отдохнет.

Водитель «Волги», повинувшись лабутинским (незаметным для бабы Милы, склонившейся над колодцем) командным взмахам рук, отвел машину несколько в сторону от васильковых ворот — с глаз долой.

— Ишь, разлегся, крысолов, — вскарабкавшись тем временем на печку, обозвал Петька kota и, нимало не смущаясь оставившегося на него Зуева, по-хозяйски уверенно откинул полусвернутое одеяло. Под одеялом оказался магнитофон. Петя воткнул штепсель в розетку на стене, из-под подушки извлек наушники, надел. — Я тут вчера малость недослушал, — пояснил он, включая магнитофон.

Медленно закрутились катушки с пленкой, и Петькино лицо замерло в выражении отрешенной сосредоточенности. На вдруг осознавшего свое ротозейство Зуева он больше не взглянул.

— Оказывается, именинница нынче наша подруга, — возвестил, внося следом за бабой Милой ведра воды, Николай. — Слыхал, Зуев?

— Приятное совпадение, — откликнулся тот, знаками указывая Лабутину на Петьку с магнитофоном. Лабутин кивнул: вижу, мол, понял.

— Приятное-то приятное... неси сюда, Коля, — показала баба Мила и добавила, покосившись на меряющего шагами кухни Олега: — Только явится ли она нынче, бог весть.

— То есть?

— Это как? — воскликнули как по команде оба — и Николай, и Олег.

— В городе она, на новую работу поступает. Да еще в Москву собиралась, к Владимиру Михалычу на лекцию. А вы не горюйте! Наливочка у меня припасена, а пирогов сейчас напечем!

— Интересный поворот, — выдохнул Олег.

— Как в кино, да? — Николай бесстыдно-пристально заглянул ему в лицо. — А что, уважаемая баба Мила, сам-то легендарный Владимир Михалыч, профессор, на пироги к вам не пожалует часом? Вот бы кстати.

— А то, — старуха посветлела лицом, вздохнула. — Да когда ему! — сказала. — Я уж говорю ребятам: за домового он у нас, Владимир Михалыч. Сам-то в первопрестольной-белокаменной где-то, а голос его у нас поселился, на печке. Как есть домовый.

— Дух святой, — пробормотал Олег.

— Святой, значит? — переспросил Лабутин угрожающе. Приказал: — Зуев!

Тот приказа этого ждал.

— Ну-ка, ученик, — слегка потянул за локоть Петьку. — Подавай сюда святого-домового. — И сам переключил магнитофон на общую громкость.

— «...к пониманию нашей революции. А она, наша Октябрьская революция, самым печальным и неизбежным образом доказывает правильность этих положений Маркса и Энгельса», — ворвался и заполнил собой дом глуховатый гибкий баритон. И все невольно оборотились взорами туда, откуда он звучал, — то сдержанно-медлительный, задумчивый, потом вдруг быстрый, страстный, — к печке. — «Революция — трагедия в самой ее основе: она — неизбежность, но она ставит с самого начала неисполнимые для нее задачи. Она — слагаемое из не зависящих от воли отдельных людей обстоятельств. Поэтому сама революция — как действие огромных масс людей — моральным оценкам даже не подлежит...»

Снег все валил за окнами — но уже не первозданно пушистый, не мягкий. Хлопья словно отяжелели, тая на лету, мокрыми пятнам липли к стеклам. Хлопнула, раскрывшись, форточка. И вырвался голос наружу, и взмыл — вывыс, к тучам, скрывающим солнце:

— «...как восход или заход солнца. Грешно тут и говорить о вине тех, кто верит в этот восход. Беда же неизбежна...»

Над городом солнце сияло. Слепило — и Надя улыбалась, щурясь, чуть кривясь от его света, бившего прямо в окно просторного библиотечного зала.

— Ивлева!

Вздвигнув, обернулась, шагнула от окна.

— Заявление с собой?

У женщины, стоявшей на пороге кабинета заведующей, взгляд и голос экзамена-

тора. Кивнув, Надя поспешно раскрыла сумочку.

— Зайдите, — заведующая растворила перед нею дверь.

Войти Надя не успела.

— А ну, разрешите-ка! — Некто солидный, запыхавшийся, в коже и норке — только что с улицы — оттер ее вежливо, втискиваясь в кабинет: — Наташенька Иванна, я буквально на минутку...

— O-o! — последовал радостный возглас, и Наде оставалось только, вздохнув, отступить.

Перед нею был зал, где всё, как в сотнях тысяч городских библиотек — по одному сложившемуся стандарту: и стенды, и портреты, и всё, что считается положенным. Большой портрет главы партии и государства, недавно скончавшегося, обвит траурным крепом, но стоящие по низу его гвоздики в баночке уже перестали быть алыми — почернели и ссохлись, а над очередным стендом-выставкой корпела, взобравшись на стремянку, куколка-библиотекарь.

— Помогите, а? — позвала она Надю.

Наде в этот момент видны были извлекаемые руками Наташеньки Ивановны из бумаги живые свежие гвоздички, любовно опускаемые в услужливо подставленную посетителем вазу...

Кнопки гнулись, и «куколка» вбивала их молотком — как гвозди.

— Собираетесь у нас работать?

— Да вот, собираюсь, — одной рукой Надя поддерживала стремянку, а в другой на ладони держала горсть кнопок.

— Нормально вроде. — Полоса ватмана с надписью «К 115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина» была уже почти прикреплена. — Еще р-раз! — последний удар всё испортил, «куколка» всхлипнула: — Зараза... Хоть гвоздями прибивай!

— «...И конечно, дорогие товарищи, конечно, самой яркой трагической фигурой в истории является Владимир Ильич Ленин. Более трагической личности в истории человечества не было и быть не могло, и быть не могло...»

Баба Мила затеялась-таки с тестом. Меряли шагами тесное пространство кухоньки Николай — весь воплощенное внимание к голосу с печки — и ощущавший себя явно не в своей тарелке Олег.

— «...Трагизм жизни Ленина колоссален. Я же вам рассказывал, что устроили с ним самим еще при его жизни и фактически сократили его жизнь. Это самое страшное, что он мог пережить, когда понял, что он как в мышеловке! Это Ленин-то оказался в таком положении... по действиям его же ближайших соратников... что может быть страшнее? Страшнее не может быть ни-че-го. И

можно предположить, сколько он выстрадал за эти месяцы, пока прикованный лежал... ну Прометей, да величественнее в миллионы раз того легендарного Прометея — и он прикован, понимаете ли? Вот в таком положении он все осознал, все познал... действительно, большего трагизма быть не может. А потом?...»

Олег попытался прикурить прямо из пачки — тщетно, лишь подавился дымом, тихо выругался, и Николай молча щелкнул перед ним зажигалкой.

— «Это разве не трагизм, — спросил и ответил невидимка-профессор, — что партия, на день смерти Ленина насчитывающая около четырехсот тысяч человек, если она почти полностью оказалась уничтоженной к восемнадцатому съезду физически, а те, кто остались живы, они же и уничтожили, — была ли большая трагедия в истории? А между тем никто даже и не заметил уничтожения этой партии...»

— Лихо, — сказал Николаю Олег.

— Зуев, верни-ка ближе к началу, — велел Лабутин, не упустив возможности лишний раз «вцепиться» в Олега взглядом.

Зуев переключил магнитофон. Он в спешке, не покидая печи, переодевался.

Петька протянул разочарованно:

— У, я на этой дорожке уже все прослушал.

— Теперь дяди послушают, — отвечал Зуев, натягивая брюки.

Петька спрыгнул вниз, влез в валенки.

— Пойду пока Муське дам, — сказал бабе Миле. Взял ведро с пойлом и, набросив куртку, вышел.

Кончив перематывать пленку, включив звук, по-кошачьи неслышно соскочил с печи и Зуев.

— «И вот мы сегодня с вами приступаем к разговору, — неторопливо начал профессор, и Зуеву с Лабутиным хватило нескольких секунд, чтобы на доступном им языке мимов договориться о дальнейших действиях, —...к разговору, который полностью построен на исторических фактах и документах марксизма, но который, кроме вашего покорного слуги, никто... никогда... не вел. Это — трагедия, комедия и ирония истории».

С трудом натянув наконец непросохшие ботинки, Зуев выскользнул во двор.

— «Сам по себе это небольшой цикл лекций, он посвящен тоже проблемам человека, это естественно. Это все из того же ряда. Потому что корень всего, как писал Маркс, сам человек...»

Зуев стучал в дощатую дверь дворовой пристройки.

— Ах ты, красавица ты розовая, — слышал

он Петькино приговаривание. Рванул дверь — это оказался туалет, перепутал Зуев! Чертыхнувшись, бросился к другой двери — рядом, распахнул.

— Ах ты, умница,— поглаживал Петька большую розовую свинью.

— Имя,— потребовал Зуев.

— Муська.

— Ваше имя.

Выпрямившись, Петька поспешно вытер руку о штаны и протянул Зуеву:

— Петя.

Тот руки не подал.

— Отчество, фамилия, кто родители? Год рождения, адрес?

— Ты прям, как этот... Миронов в кино. «В каком полку служили?» — и Петька дружелюбно рассмеялся.— Про стулья фильм, видал?

— Фамилия ваша,— повторил Зуев холодно.— Я жду.

Петька независимо передернул плечами.

— Синицын. А ты... тебя как?

— Оперуполномоченный Комитета госбезопасности Зуев,— ткнулась Петьке в нос красная книжечка.— Свиной мы пока что вместе не пасем, поэтому зря тыкаете!

— Комедия... трагедия... ирония... история! — В такт движениям приговаривала баба Мила, уминая, дубася кулачками тесто. Перевела дух: — Коля! Закури, дружочек, мне папиросу.

Олег направлялся к выходу.

Лабутин перегородил ему дорогу:

— Минутку, баба Мила... Куда?

— Откланяюсь, с вашего позволения. В чем дело?

— Весьма сожалею, но!..— Одной рукой Лабутин выключил магнитофон — лекция оборвалась на полуслове, другой показал Олегу удостоверение.— Вам придется поехать с нами.

— Трагедия, комедия... Куда это? — услышала баба Мила последнюю фразу.— Что надумали? А пироги?

— Благодарим за гостеприимство, Милица Георгиевна. Извините, что не представился сразу,— Николай подошел к ней с раскрытым удостоверением.

Она сощурилась:

— Зрение у меня того...

— Вам, баба Мила, очки дать? — дрожащим от язвительности голосом спросил Олег.— Пardon, я их в машине, кажется, оставил. Ну как, Милица Георгиевна, довольны? Дождались?!

Пройдя в комнату, Николай деловито выгребал из шкафа, перекладывая к себе в «дипломат», магнитофонные кассеты.

— ...Доигрались? Достукались? Вы и племянничка ваша, марксисточка-идеалисточка!

Предупреждал вас, дур, говорил вам! — Олег жадно хлебал воду прямо из ведра, обливаясь, глядя с ненавистью на обомлевшую старуху.— Ну, что вы на меня-то смотрите? Теперь-то хоть дошло до вас? Коммушки, невинности святые! Не гора к Магомету, так кагэбэ к таким вот... чтоб вас всех! Дернул же меня черт, отгул, главное, выпросил,— он нервно засмеялся,— мчался, предвкушал...

— Рекомендую держать себя в рамках,— холодно бросил ему Лабутин, подходя к бабе Миле с листом бумаги. Он зачитал:

— «Акт изъятия. Настоящими органами Комитета госбезопасности конфискованы с целью проверки магнитофонные записи лекций доктора философских наук профессора Таюрского Вэ ЭМ в количестве двадцати одной кассеты». Дата, подпись. Подпись владельца ниже. Прошу.

— Подождите! — Олег вдруг бросился в комнату, выхватил что-то из шкафа и, бегом вернувшись, совал в руки Лабутину: это было журнальное фото киногероя.— Вот. И его захватите. Приобщите. Это очень важно, уверяю вас,— Олег, казалось, был невменяем.— Тут корень...— бормотал он.

— Кто это? — спросил Николай.

Оглушающе — так почудилось бабе Миле — хлопнула на выходе дверь. Удалявшиеся шаги, ничуть не слышные в доме, в ее сознании отозвались звуками кованых сапог. Она не помнила, как оказалась у окон комнаты.

Шли к машинам: Петька впереди Зуева, впереди Лабутина — Олег. И хотя уже светило солнце, снегопад кончился, все было ярким, многоцветным — забор, автомобили, небо и куртки на всех четверых,— с бабой Милой, припавшей к окошку, вдруг что-то случилось. Она перестала различать цвет. Так видят сквозь закопченное стекло: всё лишь темно-лиловое и черное... Как медленно они движутся — туда, к машинам. Будто не наяву, не перед нею, а во сне, в воспоминании, в кошмаре. И — звуки. Словно тоже из сна, из кошмара: тяжелые шаги, лязг железа да еще собачий лай, отрывистые междометия команд и стократ усиленный стук захлопывающихся дверей автомашин.

Негромко мяукнув, вспрыгнул на подоконник кот. Милица Георгиевна машинально вцепилась в него — такого живого, теплого, схватила его и прижала к груди. И сознание, уже ускользавшее, вернулось к ней.

Бросилась на улицу.

Машины успели отъехать.

Последнее, что увидел, оглянувшись назад с заднего сиденья «Волги», оперработник КГБ Николай Лабутин, была застывшая

у васильковых ворот фигура старой женщины с громадным котищем — словно с ребенком грудным на руках.

— Вы понимаете, надеюсь, что работа наша — не тяп-ляп и не фигли-мигли. Это фронт идеологический!

Кабинет заведующей библиотекой уютен по-женски. Цветы, керамика. Среди неразобранных свежих газет на видном месте журнал мод. В сторонке, погрузившись в глубокое мягкое кресло, перелистывал книги кожаный гость.

— Хорошая, хорошая работа для культурной девочки, — не отрываясь от книги, вставил он.

— Тут и пропаганда, и умелая рекомендация читателям, — строго возразила ему заведующая. — Помощь лекторам, агитаторам. Нужно быть в курсе политических событий, юбилейных дат. Нас посещают работники, — стрельнула она взглядом в сторону кожаного, — партийных и советских органов.

Надя вздохнула, терпеливо пережидая эту прелюдию. Они сидели лицом к лицу — две женщины, одна молодая, другая постарше, — их разделял только служебный стол. Роскошные волосы заведующей цвета «орех», позолоченные бьющим в окно солнцем, изнемогали под шпильками, распускались прядь за прядью, Наталья Ивановна то и дело кокетливо их прибирала.

— Ваша трудовая книжка, — Надины документы были у нее в руках, — говорит о характере неуравновешенном, о том, что вы, прости за прямоту, ты сама не знаешь, чего хочешь. Согласна?

— Нет.

— Почему ты оставила институт?

— Я учусь на историческом, заочно.

— Но вначале ты училась на очном. И в политехническом! Дошла до последнего курса. Отчислили?

Надя улыбнулась:

— Бросила.

— Почему?

— К этому времени я нашла наконец для себя... свое нашла. Я все время искала с тех пор, как попала в Москву. Понимаете? Политех — это случайно. Приехала — р-раз и поступила. Ну учусь, — вырвался у нее смешок, — а в душе все равно голод, жажда. Чего-то ищу. Бегаю, слушаю, узнаю. Москва ведь... неисчерпаема она. — Надя посмотрела на заведующую: та слушала с веселым участием, кивая головой.

— Одно время даже в актерскую студию поступила — и приняла, — со смешком продолжила Надя. — Потом ушла.

— Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Слыхали, Александр Геннадьевич, какие мы прыткие стрекозочки? Государство на

ее обучение средства затратило — нет, из института ушла! Ушла из актеров, из дворников, — заведующая листала ее трудовую, — с трикотажной фабрики, так-так... А кем вы работали в школе?

— Пионервожатой.

— Тоже сбежала. В уборщицы! Теперь вот к нам, птичка перелетная. Надолго ли? И куда прыг-скок потом?

...Глаза этой «Наташеньки Ивановны», что вот-вот распорядится ее, Ивлевой Надежды, участью, хоть и веселы, а не добры. Глядит — точно ошупывает, улыбаясь. Как игла — острие шпильки, выбившейся из волос. Надя не опустила глаз:

— Я все равно стану историком. Стану, да, но пока-то, пока надо же на что-то жить! А у вас во-от такое объявление на двери: «Требуется!»

— Э-хе-хе. Историк — хорошая профессия для жены, — отозвался (благодарно эдак, с зевком) кожаный гость. Взглянув на часы, он с сожалением спрятал книжку в кейс. — Валентина Пикуля, наверное, любите? Как?

— Нет, меня волнует история совсем другая.

— Древняя, наверное.

Надя покачала головой.

— Мне не близок сам такой подход. Пикуль может, конечно, увлечь. Или — отвлечь. Но история... нет, это другое.

— То есть? — строго спросила, тряхнув головой, Наталья Ивановна, и шпилька вылетела из ее волос.

Надя выпрямилась, подобралась: словно и вправду экзамен (перед кем?) и надо суметь убедить (в чем, зачем?) — надо, и все!

— Быль это. Быль, которую ни пересочинить, ни перестроить. Постигнуть бы вот! А тогда уж — тогда живые сумеют понять живых тех... Сблизиться. Или наоборот. Только трудно это, конечно. Быль — она почти что всегда боль...

Занятая прической заведующая и гость ее переглянулись.

— Ну, и какие периоды, гм, прошлого лично вот вас, так сказать, интересуют, девушка? Так сказать, особенно? — осведомился кожаный.

— Малоисследованные.

— А конкретно?

Поднимаясь со стула, Надя отвернулась к окну. Возникла краткая пауза, в которой мелодию капли за окном заглушал дробный стук вороньего клюва о подоконник. Заведующая и кожаный, однако, ждали.

— Конкретно: марксизм в России, — повернулась к ним Надя лицом. — Что нам об этом известно?

— Н-не понял.

— История партии нашей — ну что мы знаем о ней?

— Ивлева, да вы в своем уме?! — Наталью

Ивановну, казалось, обуял восторг. Встала, опершись кулаками о стол: — Тебе сколько лет? Вы с Марса к нам прилетели? Из какого медвежьего угла?

— Я...

Но уже не смотрели, не слушали — гость покидал кабинет, заведующая спешила проводить его: «Наташенька Иванна, большое спасибо. Мой совет: прощупайте эту девочку, а то как бы чего не... Это же типичный а в а н т ю р м о р т, хе-хе». «Да-да. Не забывайте нас, Александр Геннадьевич», — она обернулась:

— Я запираю кабинет.

Надя вышла.

Оказалась на улице раньше них.

Прошли будто мимо пустого места. Кожаного поджидала машина с водителем за рулем.

Проводив его да еще и помахав вслед отъезжавшей машине рукой, заведующая возвращалась. Надя мешала ей — не перешагивать же, как через труп.

— Вы мне мешаете пройти.

— Но когда... как мне теперь?

— У нас на это место прекрасные претенденты. Не чета... Желаю успехов.

Надежда осталась на улице.

День солнечно-синь. Весна?.. Что из того? Солнечный блеск нестерпим, позолота церковных куполов неестественно ярка. Кто-то сверху сыплет на тротуар крошки, но не воробы и не голуби — черные вороны тут как тут. Кричат и ссорятся. Внезапно брызнули слезы — солнечный зайчик от зеркала в руке мальчишки, промчавшегося мимо с ватагой школьников с бессмысленно-веселым воплем, больно резанул по глазам, Надя зажмурилась.

— Кыш, подлые! Гули-гули-гуль... Коллега, эй, — дернули ее за рукав: «куколка» из библиотеки крошила голубям булку и ела сама. — Булочку хочешь? С какого числа приговорили?

— У вас нет мест, — Надя отвернулась, собираясь уйти, но «куколка» вцепилась ей в локоть:

— Как это нет, когда пахать некому? Двое в декрете, одна слиняла, загигаюсь тут... тебя сам бог послал! С Марьюшкой говорила?

— Кто это?

— Заведующая, ну!

— Как? Разве? А со мной кто?.. — Надя сделала непроизвольный жест в сторону двери. «Куколка» поняла и рассердилась:

— Корчит из себя! Нахалка Иванна, ноль без палочки! Документы твои где?

— У нее, — спохватилась Надя.

— Не тоскуй. Марьюшка — своя тетка, уболтаем, железно возьмет, вот те крест! Не передумай только, а? — просительно сказала «куколка».

— Ладно, — засмеялась Надя. — Пока?

— Жду тебя, — весело кивнула «куколка».

В электричке было солнечно и сонно.

Надя стояла. Сидевший рядом мужчина всхрипнул, раскрытая книга сползла с его колен на пол, страницы рассыпались.

Надя, нагнувшись, собирала их. Мужчина очнулся.

— У, вот спасибо вам, спасибо, — принял из ее рук книгу, благодарно подмигивал.

Площадь трех вокзалов являла собою — как и обычно средь бела дня — круговорот людского муравейника.

Вот и еще электропоезд подполз и замер, и немедленно густо заполнилась людьми и без того не пустынная платформа.

— Надежда!

Двигавшаяся вместе со всеми Надя обернулась, приподнялась на цыпочки, вытянув шею, ища окликнувшего.

Звали — Надя мигом это поняла — вовсе не ее. Повернуться не успела — грубый, намеренный толчок отшвырнул ее в сторону, мелькнула покореженная внезапной злобой физиономия соседа по электричке. Плотной его фигура уже — тараном — неслась дальше, но — обернулся, сверкнул издевкой, теряясь затем среди множества спин.

Загрохотав, рванул в туннель набитый битком поезд. Что ни вагон — полна коробушка. Спины, локти, плечи, сумки, чемоданы, развернутые листы газет, раскрытые на колесных книгах...

Надя, стиснутая со всех сторон, держалась за поручень и — «на ней не было лица». Действительно не было... Внутренне сжавшаяся, не видела ничего, никого, не ощущала толчков, двигаясь в нужный момент, как автомат.

Оставаясь «автоматом», спешила по улице — неширокой, расположенной в одном из мест старой Москвы, малолюдной и этим освобождающей. Но дыхания перевести еще не было сил, да и ветер... Дул прямо в лицо, неприятно-колючий, взвихривая пыль-песок, обрывки мусора, неживые — от прошлой осени — сохшиеся листья.

Так — воротясь от ветра, боком, взбежала она наконец на институтское крыльцо, и дверь на тугой пружине захлопнулась за ней.

Поправляя волосы, только теперь подняла голову к висящему над умывальником женского туалета зеркалу — лишившееся живо-

ти лицо ее было сейчас сухо и этим некрасиво.

Звонок не дал застыть в оцепенении.

Устремившись по коридору, Надя подхватила на ходу подвернувшийся стул — и не ошиблась: в нужную ей аудиторию шумно проталкивалась, застревая в дверях, кучка ребят, тоже со стульями в охапке.

Втиснулись. За ними и Надя.

Аудитория как аудитория, вот только, фигурально выражаясь, было здесь «яблоку негде упасть».

— Надежда, здоров, мой компас земной — приветственно тряс ножку ее стула хипповатого вида паренек. — Гляди вон, какой вопросик я Владимиру подкидываю.

«Что вы думаете о грядущем Пленуме ЦК?» — выведено было мелом посередине доски, висевшей подле кафедры.

Надя покачала головой:

— Спешешь ты.

— Полагаешь?.. Эй, куда?! — возопил вдруг хипповатый. — После меня давай, братя, в очередь!

Но у доски топтались уже, толкались, стучали мелом, новыми вопросами как бы оттесняя этот, первый.

— Братя, я же первый!

Осадили:

— Не за пивом, Санек.

Надя с рассеянной полуулыбкой приглядывалась, где можно приткнуться. За столиками, рассчитанными на двоих, теснились по трое-четверо. Некоторые прямо в проходах. Кто-то махал — а может, и не ей — из дальнего угла. На передних столах замерли наизготове микрофоны нескольких портативных магнитофонов.

Усевшись, достав тетрадь и ручку, спросила:

— А Юлю не видел, Сань?

Впавший внезапно в глубокую задумчивость, Саня не расслышал.

— Полагаешь, я лезу «поперед батька»? — вернулся он к своему.

— Юлька не придет, Надюш, — тронула Надю за плечо сидевшая сзади девушка.

— С желудком, что ли, опять?

— И с желудком, и хозяйка рвет и мечет: собака простыла. И, говорит, хандра.

— У собаки... хандра?

— У Юльки. А к собаке врача вызвали.

— А к Юльке?..

Но соседка, отпрянув, вдруг вскочила, будто школьница, с места. Дверь открылась, и все встали. И сели... Вместо профессора вошла юная пара. Совсем юная, державшаяся, должно быть, для храбрости за руки.

— Здесь лекция профессора Таюрского? — голос юноши от волнения дал «петуха».

— А вы, молодые люди, извините, откуда? — Появившаяся следом дама, по виду

преподавательница, сделала знак рукой: «сидите» и обратилась взором к новичкам.

— Я из МИФИ, а что?

— А я учусь в десятом классе сто девяносто первой школы, — отчеканила, как на пионерской линейке, жавшаяся к юноше подружка.

Преподавательница укоризненно покачала головой. Обвела взглядом присутствующих.

— Опять половина посторонних! Лекция отменяется, товарищи. Владимир Михайлович срочно вызван в райком партии.

...Если бы в аудиторию сейчас залетела муха — ее бы услышали, такая воцарилась тишина. Видавшая виды, знакомая-перезнакомая кафедра неожиданно ощутилась не просто пустой — осиротевшей. И обнажились на доске — скопом все — темы, просьбы, вопросы:

«Еще раз, пожалуйста, о мироздании»;

«Загадка русской общины?»;

«Обсуждение героя» — по Гегелю;

«Социализм или государственный капитализм — где мы живем?»;

«В. М.! Что Вы думаете о грядущем Пленуме ЦК?», — и в добавление к последнему, неуверенными мелкими буквами в уголке, в самом низу: «Пришло ли времечко?..»

Стук-стук-стук каблучки дамы-преподавательницы по полу, до дверей. Обернулась: — Можете расходиться, все свободны.

И, уже выйдя в коридор, услышала исполненное разочарования единодушное «у-у-у!»

Апрельский день длинен. В городе — что в сотне километров от Москвы — еще светло, лишь чуть пасмурно, — и уже горит электричество в зашторенных окнах напоминавшего старинный особнячок здания.

От шумной вертлявой компании ребят, шедших мимо, отскочила к зданию-особнячку девчонка. Подразнивая, крутила головой: мол, дальше не пойду, и не зовите. Сделала вид, что хочет скрыться в особнячке, и... увидела вывеску.

Точно пушинку сдуло ее обратно — к своим. Шепоток, вытаращенные глаза, общий комический испуг и хохотки, с которыми они и удалились.

«Управление Комитета государственной безопасности СССР» — извещала вывеска «особняка».

Час пробил. Войдем туда.

«Час пробил. Я вышел на подмости. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку». — Голос дрожал, хоть строки эти и не могли быть произнесены — сейчас, здесь — вслух. Голос принадлежал молодому человеку, что, сидя вполоборота к столу, по другую сторону которого сидел Лабутин, не мог ст-

вести заворуженно-растерянного взгляда от перебираемых Лабутиным магнитофонных кассет. Предвечерний крик воронья за окном — там, где сереет небо, клочок которого виден в щелку между шторами, и оставшийся беззвучным какой-то заданный Лабутиным вопрос, заглушенный неотвязным: «На меня направлен сумрак ночи, и неотвратим конец пути. Если б только можно — авве отче! — чашу эту мимо пронести...»

Раздался свист. Молодой человек вздрогнул и, выходя из шока, бессмысленно вззрился на Николая, изготовившегося свист этот в четыре пальца повторить.

— Заложило? Что тут написано, я спрашиваю вас,— тыкал ногтем Лабутин в кассетную упаковку.

— Тема... Это тема лекции.

— Каракули вы мне расшифруйте.

— Где, вот здесь? — переспросил молодой человек.— «Судьба термина "идеал"»,— прочитал он.

Зазвонил телефон. И в ту же секунду быстрыми шагами вошел немолодой, той сурово-привлекательной внешности мужчина, какую в наших детективных фильмах обычно наделены высшие чины системы МВД и госбезопасности (преположительнейшие, как водится, персонажи).

Лабутин при его появлении поднялся. Сидевший у стола молодой человек позы своей не изменил.

— Цветков,— ответил в трубку вошедший.— Нет, я сейчас занят,— произнес он, и трубка вернулась на рычаг.

Сел за стол. Рядом сел Лабутин.

— Итак,— Цветков уже взял заполненную молодым человеком анкету: — Перед нами Белых Никита Сергеевич, тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года рождения... Веселенькое имя-отчество.

Никита выпрямил позвоночник:

— Я назван так в честь одного из руководителей нашей партии.

— Вряд ли это стоит афишировать. «Нашей партии...» Вы же беспартийный!

— Поневоле.

— Что значит?..

— Пытался вступить. Но вам, должно быть, известно, что с определенного времени прием в партию интеллигенции ограничен.

— У нас государство пролетарское.

— Но Ленин считал...

— Ленина трогать не будем. Что еще в нашей партии не устраивает? — Цветков откинулся на спинку стула. Он казался безразличным. Задаваемые им вопросы звучали по-житейски буднично, отчасти скучновато.

Возникла пауза. Затягивать ее Цветков не стал.

— Ну-ка, поднимитесь, Белых,— велел негромко.

Никита встал.

— Стульчик вон туда, в центр. И лицом к нам.

Никита автоматически повиновался.

— Можете садиться. Так нам будет удобнее.

Никита сел. Растерянно уставился в чисто вымытый пол, поднял глаза — дистанция! Ощутил ее внезапно всей кожей.

— Я могу спросить? — голос Никиты тоже «сел». — Это... допрос?

— Беседа, — и Цветков дыроколом пробил его анкету. Подкалывал ее в папку-скоросшиватель, где уже были — были! — какие-то бумаги. Никита невольно подался вперед, вытянув шею — что твой гусак, — но в тот же миг опомнился: отвернулся. Цветков же высказывался, работая: — Не кочегары мы, не плотники, а мы... философы-историки, так? Или же и то, и другое? И третье, и четвертое? И наконец, вытекающее из всех этих ваших перевертышей, Никита Сергеевич, пятое! Оно-то нас и интересует.

— Пятый... угол? Нет, что я? — дернулся на стуле Никита. — О чем вы?

— О том, как и что побудило вас, круглого отличника с видами на аспирантуру, перекроить свою судьбу. Бежать за тыщу верст с семьей, детьми, шататься в нашей местности по дворам, предлагая услуги, как бродяга какой...

— А любопытно,— вмешался, перебив его, Лабутин,— вы действительно владеете плотницким ремеслом?

— Отец обучил. А его... судьба его!

— Затем, дабы избежать наказания за туеядство,— продолжал Цветков,— устраиваетесь в историки. И превращаетесь в «зайца» — эдакого нелегального вечного студента и, что характерно, вуза, идентичного вами уже законченному.

— Вас это удивляет? — пожал плечами Никита.

— Удивляет? Нет, Белых, мы не места в зрительном зале занимаем тут, и вы не Верная Рука Друг Индейцев, чтобы удивлять кого-то да изумлять. Мы призваны выявлять истинный смысл фактов. И истинную цель действий. А также основные тенденции в мыслях, умонастроении, политическом сознании объекта.

— Вы хотели сказать: субъекта?

Что-то наподобие улыбки мелькнуло в лицах их: он вздумал их поправлять!

— Субъективный момент важен также, не оспоримо,— покосился в сторону шефа Николай.— Почему именно вы, а не Иванов, Петров, Сидоров, имярек? Объясните нам себя.

Это прозвучало как просьба. Может, даже призыв к исповеди? Но сей же миг:

— Как противника нашей официальной идеологии,— уточнил Цветков.

— Я покамест не об этом,— попытался возразить было Лабутин.

— Об этом, об этом! — сказал, как отрубил, Цветков.

А Никита понял внезапно, что старший из его собеседников глядит пристально, но как бы не видя. Не в сторону, не мимо, а как бы сквозь тебя. Может, от привычки, ставшей уже второй натурой, видеть и знать то, что недоступно восприятию и пониманию простого смертного? Взгляд Лабутина вбирал, изучал, впитывал — казалось, он слушает глазами, ничем не выдавая своих эмоций. Лицо точно сжатый кулак. И все же Никита остановился на нем. И сказал ему, указывая на Цветкова:

— Он прав: человеческое «я» и убеждения — это единый сплав, синтез. Но диагноз неточен: я не противник. Потому что еще не марксист. Как говорил герой одной сказки: я еще только учусь.

Секундное молчание. Здесь оно — точно гирька, брошенная на весы: звяк! Или это капель на улице?..

— А как спросил один известный поэт: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Ваш поводырь вот этот,— потряс Николай магнитофонной кассетой,— выдать, завел вас в такие дебри, как Иван Сусанин врагов, что вы и в эпохах заплутали. На минуточку! Против чего вы собираетесь — в будущем я так понял — направить свой... вы говорите: марксизм? Заворот мыслей от несварения: самодержавие припомнилось? Цари, помещики или что? С чем боретесь-то? Когда социализм давным-давно уже данность, причем абсолютно необратимая, то и марксистское учение для нас уже не пиф-паф-паф! Не средство уничтожения противников, а рабочий инструмент. Который должно держать в порядке!

— Как музейный экспонат, ну да! Под охраной и вода кончиком указки: вот тут, уважаемые граждане, теория Маркса и Энгельса об отчуждении, а тут взгляды Маркса на Россию... осторожно, не прикасаться! А там на полочке ленинский этап в философии — проходите, товарищи, не задерживайтесь, не задавайте лишних вопросов, спихивайте свои госказаны и партмаксимумы и с чувством исполненного долга освобождайте следующим поколениям проход мимо музейных витрин! — выпалил единым духом (да еще и жестикулируя) в ответ Никита.

— Вы здоровы, Никита Сергеевич? — не поднимая головы и не отрывая ручки от бумаги — он что-то записывал,— поинтересовался Цветков.

— Я? — слегка опешил Никита.— Не жалуюсь вообще-то. А что?

— Вы тут употребили слово «диагноз» — он якобы в отношении вас неверен, это в политическом смысле? А как с точки зре-

ния медицинской? Что если мы попросим психиатров обследовать вас?

— Зачем это?

— А, зачем! И пуд соли не нужен, чтобы уяснить искаженность вашего восприятия, уродливость в интерпретациях!

— Я протестую,— будто вместо шеи у него веревочка, заматал Никита быстро-быстро головой.

— Вот именно, а против чего? Против чего направлен ваш протест? Сформулируйте-ка ясно и четко,— в терпеливой позе зрителя-слушателя скрестил руки на груди Цветков.

— Да даже против себя самого прежнего — атеиста и отличника липового, каким я был! — воскликнул в горячности Никита.— Не мог истмат от диамата, как мы ни бились, отличить — это ж обо мне! Почти по «Евгению Онегину». Во что верил Онегин? В бога? В человека? Не знаю вообще, «но он умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему...». Помните? А мы о чем можем судить? Я говорю «мы», потому что был как все или большинство: скатывал конспектики, вызубривал общие положения, и все эти «общественные дисциплины» так называемые были мне, как Онегину ямб и хорей,— до фонаря. А история грезилась эдакой завлекательной Шехерезадой, полной любопытненьких сюжетов, пощипывающих воображение,— да что ж, хотя бы так! Настоящее-то было скучным, я рос в серости, в тоске, всегда знал, что живу на свете случайно, ибо по чистой случайности в живых остался отец — он не должен был... И я боялся! Всего: будущего — непонятно какого и темного холодного погребка прошлого, ближайшего,— пожелался и словно забыл он о присутствующих, о том, где он.— Я его обходил, это ближайшее, не относя его к истории, подвалище этот, где что-то еще гудит, дрожит, шевелится — я гнал себя от него прочь! И гулял с Шехерезадой, обманутый, обманувшийся, попугай и круглый отличник, жил с подменной памятью, почти без сознания, без предназначения и смысла, и меня ставили в пример! Теперь-то я искупаю те грехи, мне повезло.

— Так. Хорошо,— подытожил, не изменяя позы, Цветков.— Ну а когда намерены искупать эти?

— Что? — Никита не понял, что произошло: какой-то щелчок, и часть комнаты, где он сидел, погрузилась в полутьму. Будто он на сцене перед ними, и они смотрят на него и впрямь как из зрительного зала. Театр задом наперед!

— Ваша программа? — обратился к нему оттуда Лабутин.

— Порвалась связь времен! Найти эти разрывы, соединить их... вы понимаете?

— Нельзя ли яснее,— поморщился Цвет-

ков. В тоне его уже сквозило раздражение.— Ну? Переведите на нормальный язык.

Никита послушно кивнул. Они смотрели на него и ждали. Только ждали. Никита закусил губу. Миг, еще миг...

— Помочь Ленину,— сказал он и голос свой не узнал.

Стояла тишина.

Цветков легонько кашлянул:

— Настаиваете на том, что вы здоровы?

Никита молчал.

— Никита Сергеевич? — Он молчал.— Отдайте себе отчет, на что вы посягаете? Чье имя склоняете? — Никита кивнул вновь.— Что вы головой киваете, как болванчик? Не сообразили до сих пор, где находитесь?

— Вы не предложили мне раздеться,— отвечал хмуро он, начиная разматывать длинный свой шарф.

— Ага, поняли, что придется у нас задержаться? Так, хорошо, Николай, сдай его амуницию в камеру хранения, будь добр.

Лабутин встал и направился к Никите.

— Не надо! — вскочив, Никита во внезапном испуге попятился, прижимая куртку к себе.

— У нас не воруют.— Николай куртку у него забрал (Никита уже не сопротивлялся) и вышел из комнаты.

Но не успел Николай сделать по коридору и нескольких шагов, как из кармана этой самой куртки что-то попадало вдруг, посыпалось и покатилося. Глянул с досадой: чепуха, мелочь, медяки. Замусорил весь пол. Сделал еще шаг и, вздохнув, вернулся, присел на корточки: особенно обидным казалось подбирать крошечные копейки. Ссыпал их в Никитин карман.

Коридор, слава богу, был пуст.

На лестничной площадке курили, переговариваясь, двое.

— Дай-ка,— Лабутин выхватил из губ одного из них сигарету, всучил ему Никитину одежку, подтолкнул в спину, и тот послушно поскакал вниз.

— Что, старик, при деле? — спросил второй, глядя, как нервно, спеша, управляетсЯ Николай с куревом.

Буркнул:

— Угу.

— И что, с окраской?

— И ярой. Тот тип задачки, старик, когда «дано» предполагает уже и ответ. Без вариантов.

— Повезло. Подарок?

Николай кивнул:

— Ценный. Но с табличкой «руками не трогать». Руки коротки.

— Это наши-то?!

— Тех, чей подарок. Еще тот чертополох: и торчит на виду, и голыми не возьмешь — колюч, так хоть через семя... А семена

ветерок в наш огород занес, корни пустили. — И всходы есть? — заинтересованно спросил коллега.

Лабутин тщательно гасил окурок о край урны. То ли с обидою, то ли с вызовом пообещал:

— Выполем!

— Нет!..— перед самой дверью услышал он сдавленное.— И не было! — не кричал, а словно бы через силу выстанывал Никита, мотая головой под направленным ему в лицо (но не достигавшим цели — он слишком далеко сидел от стола) светом настольной лампы, когда Лабутин возвратился.— Нет и не было никакого подполья!

Словно померещившаяся Лабутину, погасла лампа.

— Что, Коля, уже?.. Так, хорошо. В чем в таком случае суть вашей связи с этим ортодоксом-философом Таюрским? — вопрос был вновь обращен к Никите.

— Мы его ученики.

— А суть ученичества — если это вообще можно так назвать,— в чем? Что оно лично вам дает?

— Надежду, — отвечал Никита.

— На что? — с брезгливым сожалением осведомился, как на недоумка глядя на него, Цветков.

Лабутин (до этого словно не знавший, куда деть себя) встал у Никиты за спиной. Тот молчал.

Цветков вдруг как-то странно засмеялся.

— Пойдите-ка, да вы это о надежде — Надежде Федоровне Ивлевой, что ли? А? — Вот, оказывается, какая догадка развеселила его!

Стянувшее лицо Никиты внутреннее напряжение ослабло — он удивленно приоткрыл рот и усмехнулся:

— Вы не так поняли. С Надей мы знаем друг друга вот с таких,— показал он.

— Они же земляки,— пояснил из-за его спины Лабутин.— Она его с Таюрским и свела. Да, Бельх?

— Да...

— И он дал вам надежду. На что?

— На неизбежную справедливость. Она рано или поздно...— (Лабутин в упор смотрел ему в затылок, от этого взгляда вздрагивающий).— На историческое возмездие. На очищение от скверны.— Проще было бы обернуться, но то ли не осмеливаясь, то ли уже плохо владея собой, Никита нелепо запрокинул голову назад, и получилось, что он произнес в потолок:— На то, что, в общем, возможен верный путь.

— Возможен верный? — переспросил Николай, и Никита затылком утвердительно кивнул.— А путь реальный для вас как бы не в счет? Что вы называете

скверной, к чему призываете возмездие?!

— Счет неоднозначен,— только и успел вставить Никита.

— А вы и этот пан профессор ваш взяли на себя миссию ревизования? Во имя чего, черт вас побери? Ура, к нам едет ревизор! Цель ваша, цель?

— Цель и действия диссидентской группировки, где вы, как нам понятно, являетесь не последним лицом,— уточнил, нажимая на клавиши телефона, Цветков.— Василий? — сказал он в трубку.— Зайди. Указания, которые получали от Таюрского, наконец, что вам известно о связи вашего мэтра с цэрзу.— Произнося это как само собой разумеющееся, не требующее аргументов, Цветков готовил чистую бумагу, чернила.— Есть у нас свободное помещение? — обратился к вошедшему Зуеву.

— Так точно,— отвечал тот.— Пойдемте, провожу.

Никита не шевельнулся.

— Что-нибудь неясно? — осведомился сзади Лабутин.

Но Никиту будто парализовало. Силится что-то вымолвить, возмутиться, вскричать, но — точно глотнул кипятку и обжег нёбо, язык — задохнулся.

Цветков уже направлялся к нему с пачкою бумаги и пузырьком чернил.

Зуев легонько качнул стул. Никита поднялся.

Цветков вручил ему еще и какой-то на машинке отпечатанный текст, сказав:

— Вникните как следует и, коль найдете в себе достаточно здравого смысла, укажите вот тут, сбоку: «подтверждаю».

Но так как в осоловшем взгляде Никиты «здравый смысл» явно не просматривался, то, с отеческою усмешкою покачав головой, отечески же заботливо посоветовал Цветков:

— Решайте, Никита Сергеевич. Ваша судьба — в ваших руках.

— И в наших,—счел нужным добавить, уводя Никиту, Зуев.

С боковой стены, с портрета в рамке смотрел глава ВЧК или — как его называли — Железный Феликс, чье отнюдь не железное сердце разорвалось до срока и чьих родных и близких встречал впоследствии за проволокою Карлага мой отец,— смотрел зорко, пристально, куда-то вдале. В былое? В будущее? Что виделось ему?..

— Ну и кем же ты хочешь быть?

На месте Никиты (но не посреди комнаты, а почти впритык к столу) сидел теперь Петька. Глаза — долу. Ноги в валенках (в которых его привезли) прятал под стул.

— Раньше космонавтом думал...

— Передумал?

Не поднимая глаз, кивнул.

— И что решил?

Стрельнул исподлобья взглядом (отнюдь не боязливым) и смолчал.

Спрашивал Цветков. Сохранявший прежнее невозмутимое выражение Николай не вмешивался.

— Ты взрослый парень, Синицын, через месяц вот паспорт получишь, комсомолец, наверное. Комсомолец?

— Угу.

— А ведешь себя, как самый несознательный темный элемент. Лабутин, ты его на месте преступления застал?

— Да-да.

Петушок вздрогнул и вытаращил глаза:

— Чего-о?!

— Ну как же. За прослушиванием запрещенных записей. Вот этих,— выдвинув ящик стола, Цветков показал ему магнитофонную кассету.— А иначе, как ты думаешь, почему мы пригласили тебя к нам? В шашки с тобой сыграть?

— Я... я не з-знал!

— Не знал. А голова на плечах для чего? Сообразить не мог, что любые подпольные сборища, сговоры, заговоры могут быть только во вред людям, Советской власти? Не бдительный до чего парень!

— Подпольные... Подпольные?! — Это слово поразило Петьку — глаза на лоб полезли.

— А какие же? Еще коммунарами себя называли, герои. Тебе-то еще простительно, ты ведь случайно в эту компанию влип?

Петька страдальчески, в неосознанной надежде поддержки, воззрился на Лабутину.

— Владимира Михайловича Таюрского видел когда-нибудь? — спросил Николай.

— Не. Нет,— замолтал Петька головой.

— Ясно. На печке-то много чего интересного услышал? Самое интересное что — вспомни.

Но Петя, переваривая только что услышанное, набычавшись, молчал.

— Да он, видно, героем-подпольщиком в застенках у врага себя воображает,— сказал, обращаясь будто бы к одному Лабутину, Цветков.— Умру, а пароль не выдам.

— Бросьте. Обычный-преобычный трусишка. Коленки вон дрожат.

— Не врите! — Николай попал в «яблочко»: уязвленное самолюбие вытеснило из Петьки испуг. Глаза сверкнули: — Я никакой не трус!

— А я сомневаюсь. Докажи. Один ходил домового слушать или папа-мама водили за ручку?

— Мои-то? Хо! Им это все до одного места!

— Хороший сын,— укоризненно сказал Цветков.— Скрыл свои увлечения от родителей, от школы. Опасные увлечения, Синицын! А ведь мы вынуждены будем сообщить, вы-

турят тебя из школы, куда пойдешь? К друзьям своим? С ними у нас разговор особый.

— Я им доверялся... я хотел... — голос Петушка срывался, путались слова. — Они мне сами верили.

— Вот-вот. Одурачили, понимаешь, мальчишку. Они люди взрослые, а у тебя жизнь только начинается. Кто в вашей компании был заводилою — Белых, Ивлева, Рыжиков?

— Все... Нет, никто!

— Мнѐв у вас часто бывал? — спросил Лабутин.

— Какой это, кто?

— С которым мы вас вместе сюда привезли. Олег Юрьевич Мнѐв.

Петя опустил голову, насупился.

— Он не наш. Он так себе просто... кадр.

— Чей, Надежды? — догадался Лабутин.

Петька кивнул, не поднимая головы, добавил:

— Он ее бросил.

— Тебе откуда известно?

— Баба Мила ругалась. Надя его тоже бросила! А я раз всего его и видел, давно.

— А в настоящее время кто у нее, как ты выражаешься, кадр? — заинтересовался Цветков.

Петушок поднял глаза — и взгляд был чист, упрям.

— Тот человек на свет не родился.

— Особенная такая? Необыкновенная? Очень тебе нравится, да? — Лабутин улыбнулся — как он это умел — подкупающе.

У Петьки исказилось лицо. Губы запрыгали:

— Я не виноват!..

А она шла в этот час через двор, Надежда, — двор московской «высотки», — час же был тот, когда возвращаются с работы, и уже выгуливают собак, сбиваются в кучки подростки, и старухи (нет, пожилые дамы, владелицы собак) заводят мимолетные беседы, машины подруливают к гаражам, а деревья дышат весной, всюду огни, и небо весеннее, тучи плывут, ветер...

Запрокидывая лицо к небу — ветру подставляя, шла Надя.

Взгляд из-под приспущенных на нос очков лифтерши-стража в подъезде бдителен остр:

— Гражданочка, к кому?

— В тридцать седьмую квартиру.

— Не повезло, милая. Алисы Прокофьевны нету.

— Я к Юлии.

— Какой такой Юлии?

Но приятельница лифтерши, торчащая рядом, подсказывает:

— Это к домработнице.

— А-а. Хм. Ну идите уж. — И потом, уже в спину: — Шастают тут...

Звонок — перелив соловья — в квартире, собачий лай. «Наша Надежда!» Миг — и они катятся кубарем по ковру просторнейшей прихожей: не устоявшая на ногах Надя, кинувшаяся к ней с радостным визгом Юлька и огромный пес из породы московских сторожевых с забинтованным, как у больного ребенка, горлом.

С высоты входной двери скалила над их кучей-малой свои невзаправдашние зубы маска индуса-бедуина. Он подмигивал.

— Пустите, ребята. Юлька! Фома, уберите язык. — Пес успел облизать Наде лицо. Юлька, не давая встать, стаскивает с нее сапоги, отбирает сумочку. Потом подает руку и помогает снять пальто, говоря, захлебываясь:

— Я только что о тебе думала. Даже говорила. Вслух! Фома, подтверди. Я говорила: брошу сейчас тебя, Фома Собакевич, или с собой заберу, и рванем мы к Наде — на чистый воздух, на день рождения, в тишь да глушь!

— На печку? — смеясь, подсказала Надя.

— На печку! В избушку...

— На курих ножках?

— В коммуну, на волошку-волою!.. — И, вздохнув тяжело, уже совсем другим — упавшим голосом Юлька проговорила: — Да, хорошо бы на волю.

Горькая безнадежность была в ее взгляде, обращенном к подруге, понятая Надеждою без слов.

— Ты не убежишь так сразу, Надь?

— Хочешь, я заночую?

— Нет, правда?!

— А что! Можно? И в ванночку бы!..

— Ура! — от радости Юлька подпрыгнула.

Волчком завертелась она по апартаментам. А Надя проследовала в ванную — в ослепляющее цветным кафелем и зеркалами парфюмерно-косметическое царство.

Под стать была и вся квартира, по которой носилась, создавая особый, с роскошной сервировкой стола интерьер, Юлька.

И музыка возникла. Пританцовывая у плиты, Юлька спешно жарила яичницу. Пес преданно толкался рядом, мешая ей. Вдруг тихо тявкнув, выбежал. В двери щелкнул замок.

Надя стояла под душем, лилась вода, и лишь выключив краны, услышала:

— Ты показала подруге, каким пользоваться полотенцем?

— Она — моим. У нее день рождения. Это — Надя.

— Я поняла. Поздравляю. Так... где же моя губная помада? Куда я ее... Что еще сказал врач?

— Полоскания. Мы уже два раза делали. Он терпел.

— Терпел, Фомочка? А почему опять сквозняк? Ты же его погубишь, ну Юлька-кастрюлька! Гастрит твой как, советовалась?

— Послал в районную.

— Была? Что молчишь, Юля? Фома, куда подевал губную мою?

Надя наспех вытиралась, драла расческой волосы — они запутались, и тогда, рассердившись на свой испуг, она стала двигаться намеренно медленно.

— ...Дальше регистратуры не пустили. Лечитесь, говорят, в своих Красных Горках. Где вы прописаны.

— Вот мерзавцы. М-да. У меня такси, Юличек... В домоуправление обращалась?

— Как и всегда: «справки о местожительстве не выдаем, мы не милиция».

— Негодяи. Впрочем, они правы. Они не увздэ, Юльк.

— Что же мне делать?

— Посоветуемся с гомеопатом. Напомни мне. Надя, вас можно побеспокоить?

— Алиса Прокофьевна, вы считаете, что это так и должно быть? Это правильно и справедливо?

— Что? Твоя подруга такая стеснительная? Меня уже таксист проклял.

— Справедливо, что даже вот у пса вашего куда больше человеческих прав в столице Родины, чем у меня?

— А-а, вот ты о... Ну, Фома, он хоть и пес, а в столице родился. Ты же — нет? Богу богово... А как же ты хочешь? Ну поступай на лимитное предприятие.

— Я без дух минут историк.

— Тем более. Назвалась груздем... Чем ты недовольна? Общество существует по определенным правилам... регламенту... режиму, да. И ты не исключение. Какие могут быть претензии? Пуп земли ты, что ли?

— Я человек.

— Ты Юля-капризуля. Все мы человеки, — Алиса Прокофьевна засмеялась, приобняв Юльку. Это была миловидная, но уже наоборотно увядающая особа, одетая с изысканнейшей «фирменной» небрежностью. — Не куксись, Юлик. Мне бы твои заботы... Надюша, можно к вам? Там губная моя где-то.

Алиса приоткрыла дверь в ванную. И это был миг пронизавшей все ее существо острой бабьей зависти, той, что внезапно возникает при ощущении чужой, юной, уже невозможной для тебя и такой естественной в ком-то, прелести. Надя же просто стояла перед зату-

маненным зеркалом, машинально расчесываясь, думая, казалось, о чем-то. Но оцепенение Юлькиной хозяйки уловила, встретившись с ней взглядом в зеркале, — одновременно и власть свою мгновенную над ней.

Обернувшись, произнесла, как ультиматум:

— Завтра, Алиса Прокофьевна, Юля оставит Фому на ваше попечение. Имейте уж в виду. А мы с Юлей берем ее законные оттулы и — на все четыре... Мы так решили. Да, вот так!

Алиса только передернула плечами. Не противясь. Бросила в сумочку тюбик помады. И дар речи вернула себе, уходя:

— Колбаски там подрежь, Юльк. Кто будет звонить — я в цэдэка. Кайфуйте, лапоньки, чувствуйте себя совершеннейше как дома! Защелкнулась за нею дверь. Скулил пес Фома.

Скалил индус-бедуин. И вдруг показал подругам язык.

— Он, в общем-то, демагог, — с доверительной усмешкою сообщил Цветкову и Лабутину занявший перед ними «свято место» Олег. — Но ораторским даром, знаете, безусловно, наделен. Умеет заворочить. Ну птенцы-студенты и клюют. Я, собственно, всего раз у них на занятии и присутствовал. Забрел. Любопытно. Но не более. Нестереотипно. Ну, а юношеский незрелый ум, знаете... их это будоражит.

— Вас, — в упор спросил Лабутин, — нет?

— Меня — нет. Я человек сложившийся, извините, технарь. Много работаю. Ну я вам тут, — кивнул он на анкету, — про свой род деятельности изложил. Спортлом занимаюсь, член профкома, словом, — глубоко и непритворно вздохнул он, — и быт, и досуг, и интеллект мой загружены под завязку, так что в подобного рода увлечениях просто потребности нет.

— Хорошо сказано: увлечения. Хобби, забавы!

— Вот-вот. Ну и разногласий у меня с нашим курсом, основным курсом... ну вы понимаете, в смысле идеологии... разумеется, нет. Не было никогда, — поспешно добавил Олег.

— Выходит, вы у нас тут по ошибке?

В голосе Цветкова Олег различил сарказм. Выдавил улыбку:

— Я не в претензии. Со своей стороны тоже приношу извинения.

— Так, словно на красный свет дорогу перешли? Всего-навсего?

— Ну недоразумение же. Она у меня практику когда-то проходила, Надюша Ивлева, это уж, дай бог памяти, сколько лет. В кои-то веки выбрался за город и взбрело: дай-ка навещу. Навестил... — Олег потер

пальцем переносицу, заслоняясь этим жестом от буравящего лабутинского взгляда.

Отвернулась выходящая в боковую комнату дверь. Выглянувший оттуда Зуев знаками подзывал кого-то из старших.

Лабутин вышел.

Олег в нерешительности взглянул на Цветкова, взгляды их встретились, и Олегу почудилась (или нет?) злая ухмылка. В ту же секунду раздался резкий щелчок, погас свет. Еще щелчок — и Олег зажмурился от ослепившей его настольной лампы.

— Образ жизни вашей подруги, — быстро и требовательно проговорил Цветков. — Образ мыслей? Цели, стремления? Отвечайте, Мнёв.

Олег замотал головой, заерзал, пытаясь отвернуться от слепящего света, но внезапно, вздрогнув от неожиданности и испуга, обмер, застыл: на голову его легла рука Цветкова, неслышно подошедшего сзади.

Олег слышал за спиной его дыхание. Не смел и не мог пошевелиться, лишь покрепче сплющил веки. Лоб его покрылся испариной. Обострившийся слух зафиксировал звон упавшей — где-то там, далеко, на воле — сосульки. Слово во сне звучало обращенное к нему, беспощадное, неумолимое:

— Какова степень близости Ивлевой к Владимиру Таюрскому? Вспомните всё. Всё, что знаете. У вас нет другого выхода, Мнёв, вам никто не позволит здесь спать...

...А в узкой, куда не проникали звуки извне, напоминавшей пенал комнатке с голым канцелярским столом и стулом, ловя из окна вечерний убывающий свет, читал и перечитывал Никита врученные ему Цветковым листки. Они вздрагивали у него в пальцах, строки сливались. Никита прищепывал отдельные слова и фразы вслух. «Одурманивание молодежи с целью...», «последовательное клеветническое искажение», «идеологическая диверсия...» В горле запершило. Хотелось пить. Судорожно схватил пыльный графин, взболтнул — в воде плавал покойник-паук — вылил на голову. Потекло по лицу, шее, за шиворот — облегчения не было. Он зябко пожегил, пытаясь унять охватившую его дрожь, но она лишь усиливалась, Никиту трясло.

— Эх, батя, — проговорил с горечью вслух, — как ты всегда твердил, твердил...

И явственно, отчетливо до щемки в сердце, увидел его, своего отца, которого не знал и даже представить не мог ни молодым, ни зрелым, полным сил; увидел и себя подростком, волокущим его, отяжелевшего от выпитого, а еще более — от давяще-невыкрикнутого, невысказываемого, что не исцелялось, а напротив, лишь пуце каменело в нем во хмелю, давило, гнуло, — под вечер на раскисшей дороге, когда отец свалился-та-

ки, шмякнулся в грязь, а потом, не сделав и нескольких шагов (после того, как Никита поднял его), упал вновь, и когда вконец обессиленный мальчик отошел и почти рухнул на промокшую траву, уже ничего не различая от слез, — отец внезапно возник рядом, привлек его к себе и обнял — это врезавшееся на всю жизнь в память лицо его в тот миг: мгновенно трезвое, встревоженно-ласковое, успокаивающее: «Ничего, сына, ничего. Небо чистое да воронок по улицам не бегаёт, чего нам, грешным, больше?» А небо, серенькое, моросило дождем, но оно бывало и солнечным, ослепительно голубым; как чайки в воду, бросались в него голуби с чердака их дома, — о, как умело отец «водил» их, как лихо и зло гнал их, ленивых, высь: «...чего нам, грешным, больше?» Да, он бывал счастлив в те минуты, его отец, но — пугающим, мучительным для жавшегося где-то сбоку сына, неприемлемым и недоступным Никите счастьем.

— Чего больше?... — медленно повторил Никита и вместо простора бескрайней голубизны с парящими в ней белыми-белыми «птицами мира» увидел в окно узилища своего — вернувшись в настоящее — неприятно рябую от оккупировавших ее ворон крышу дома на противоположной стороне улицы. Внизу по тротуару как ни в чем не бывало сновали прохожие. Чья-то несурзая — в куртке и валенках — фигурка брела, остановилась на углу, затравленно мотая головой. Валенки и притянули к себе Никитин взор — он признал Петьку. «Как, и этого малыша?..» Петька старческой походкой удалялся, его скрыла, растворила в себе уличная мышиная мгла.

Взгляд Никиты зацепился за железную палку-перекладину, вставленную зачем-то поперек окна, между рам. Не решетка, а только эта проржавевшая палка, словно бы случайно тут оказавшаяся — напоминание, символ, намек? Окна — не раскрыть.

Бросился к двери, грохнул кулаком, ногой. — Откройте! Где мои друзья, где все?! Тишина была ему ответом.

Никита заметался. Стих и вновь прислушался: крошечная тишь. Блуждающий взгляд его наткнулся наконец на выключатель: свет вспыхнул неярко — голая лампочка на шнуре, а на стенке, противоположной окну, обнаружилась старая картонка для отрывного календаря (отсутствующего).

Образцово-благостное изображение Владимира Ильича в Горках украшало картонку сию.

— Так я не один тут, — даже обрадовался поначалу Никита.

Подошел, постоял возле.

— Тираж триста тысяч, цена десять коп., — машинально прочитал мелкие буковки внизу. И еще некоторое время постоял...

Затем твердо проследовал к столу, отодвинул стул и сел. Подвинул к себе лист бумаги, достал авторучку. Пузырек с чернилами, выданный ему, был явно ни к чему. Но в этой комнате — прообразе камеры — всё обретало свой особый смысл и свое назначение.

И, открутив пробку, Никита решительно окунул в чернила палец.

С высоты растворенного в Юлькиной комнате окна сотнями, тысячами огней мигала, светилась, сверкала вечерняя столица. Ветер был теплый, так и тянуло высунуть под его струи руки, лицо.

Юлька крутила телефонный диск.

— Будьте любезны, Владимира Михайловича. Его ученики... Он не возвращался, Надя!

Похрапывал на узкой Юлькиной кушетке, полностью заняв ее, пес Фома.

Юлька подошла, накинула на плечи сидящей на подоконнике подружки платок.

— Не простудись. Нам нельзя болеть. Мы — не Фомы.

— Фомы не мы, — засмеялась в ответ Надя и прижала Юлькину голову к себе — будто брала под защиту, под крылышко.

Звезд было несчитано в этот вечер в небе над Москвой. А вот та, пятнадцатая, рубиново-алая, должно быть, видна из этого окна и в непогоду.

— «Как красота, заложенная во всем мироздании, может воздействовать на судьбу человечества? Красота спасет мир! Но она спасет его не как вездесущая всемогущая сила, а речь идет о триединстве истины, добра и красоты».

Голос профессора Таюрского звучал сейчас как-то расслабленно, мягко. Медленно крутились катушки с воспроизводившей его пленкой. У Зуева слипались веки. Он был без очков. Часто-часто моргал, заставляя себя вслушиваться. Авторучку из руки не выпускал. Лист бумаги, лежащий перед ним, был испещрен выдержками из профессорских лекций — своеобразный конспект. Кассеты с пленкой лежали там и сям, на столе, стульях, диване, в упаковках и без. В углу кипел электрический чайник. Лента крутилась:

— «Красота — и содержание, и форма жизни. К истине, добру и красоте надо прибавить еще веру — не как религию, а как способность души...»

— И последнее. Кто это?

Стакан чая вместе с зажженной сига-

ретой дрогнул в руке Олега. Злополучный кинокадр Лабутин поднес к самому его лицу.

Олег зажмурился. Капли пота вновь выступили на лбу.

...В открытой железной печи полицейского участка полыхал огонь. Человек лежал ничком на грязном полу. У самого лица его с прилипшими к щеке клочками сена встал фетровый сапог.

— Ты кто?

Олег и Надя сидели в темном зале кинотеатра. Руки их были сплетены. Шел фильм.

...По кивку следователя на экране Сотников был поднят, брошен на стул.

— Так кто ты? — повторил, впиваясь в него взглядом, Портнов, следователь.

— Так кто это? — услышал Олег и, открыв глаза, увидел склоненное к нему лицо Николая Лабутина. Дернулся на стуле.

— Не губите ее! Она человек чистой души, ну максимализм, романтика — это же болезни роста, это проходит. Ну ошиблась, впуталась, попала под влияние...

— Чье?

— Да чье же, как не этого «последнего большевика России»? Так они его называют, представьте себе. Не надо ей жизнь ломать, прошу вас! Замуж выйдет — я всегда ей это рекомендовал, — всю дурь как рукой снимет.

«За кого?» — мысленно поинтересовался Лабутин, а вслух сказал доверительно и даже всем корпусом подался вперед, к Олегу:

— Только вы можете ей помочь. И ей, и нам. Баба с возу — кобыле легче, верно? Это тот случай. Так вот — вы, Олег Юрьевич, профилактируете девочку, а мы в свою очередь забываем о ней и о вас. Идет?

— Но... А... — Олег замычал, спеша выразить и недоумение — искренне, и, на всякий случай, готовность.

— Да мы же понимаем друг друга, — ободряюще сказал ему Лабутин, берясь за бумагу и ручку. — Зафиксируем наши отношения, и по рукам! А это, — вспомнил он о лежащем перед ним фото Сотникова и протянул его Олегу, — возвратите ей.

...Толпа, выходящая из кинотеатра, сливалась с уличным многолюдьем. Надя шла так, когда «ноги сами несут», когда безразлично, куда брести. «Надюш», — позвал Олег и, догнав, обнял ее за плечи, но она будто и не почувствовала. Шли мимо памятника Пушкину. Есть ли еще в Москве пятачок, где — что ни мгновение — встречалось бы столько влюбленных? Всего пару часов назад и Надино лицо, обращенное к нему, вынырнувшеему из людского потока, сияло — совсем как у той вон

девушки — сбывающейся неприкрытой радостью. Теперь Надя — сама отрешенность.

— Пойдем куда-нибудь, посидим. Или ко мне, — предложил он. Она не отреагировала никак. — Ну индюшечка! Что с тобой? Это же всего только кино, дурочка ты моя, ну!

Она не отзывалась. Шла рядом, но... не было ее рядом с ним. Олег приостановился, закуривая, не спуская с нее глаз. Она брела себе дальше, — все же, сделав несколько шагов, как бы инстинктивно обернулась, и он поразился происшедшей в ней перемене. Ждала, пока он подойдет (но словно бы и не ждала), — тогда еще совсем юная, еще обликом провинциалочка, из которой — он всегда чувствовал — можно вылепить что угодно! — так податлива ему она была, цельна и доверчива. Но уже независима в этот миг, чем-то неясным отделена — и не только от него: от всей этой текучей уличной толпы, от этого летнего московского вечера... какой, бишь, год тогда был?

— Ты где? — позвал.

Оглохла, что ли? Взгляд отсутствующий, улыбки никакой.

— Ты где?! — орал, тряся ее за плечо. Вздохнула, отстраняясь. Губы шевельнулись беззвучно почти:

— Я — там...

Там — на деревенской околице в чернобелый страшный зимний день, на месте мальчика в потрепанной буденовке, в чьей памяти навеки сохранится всё: казнь, предательство «во имя жизни» и предсмертный тот (светлый!) к нему, в него обращенный взор Сотникова из петли, а потом...

Она была, была, была там.

Олег смотрел на нее — недоумевал.

— А ведь она, по сути, ушла тогда от меня, — внезапно понял Олег, припомнивший тот стародавний эпизод, сидя уже в своих «Жигулях». — М-да, сколько еще после встречались, роман, а... А куда, к кому? К этому вот? — пытаясь почти помимо воли что-то запоздало уяснить себе, он неприятно вздрогнул на возвращенное ему Лабутинным журнальное фото, что все еще сжимал в руке. И вдруг взорвался: — Но это же призрак, вымысел, его убили, повесили, не было его никогда. Не было! А... кто был? — вдруг тупо спросил он сам себя, уже плохо соображая. — Кто вообще был, где и когда, и при чем тут мы, причем я, она? Маразм, господи, — он вконец запутался, мучительно тпщась нечто уразуметь, и до него дошло вдруг: — Да, но ей-то — ей и требовалось именно подобное нечто, я теперь понимаю, — блаженный, чтоб страдалец за идею, фанат, чтоб не от мира сего. Так, видимо, гм... Кто ищет, тот найдет. Этот Аввакум с док-

торской степенью! Такого на костре жарь, гвоздями его к доскам — и оттуда будет завлекать, звать. И найдется... найдется вон. Ком-му-на, хрен. Мало вас вешали. А я-то, кретин: ах, девочка из провинции, чистая душа! Поделом мне!

Скомкав в кулаке, швырнул злополучное фото наружу, на тротуар. Туда же отправилась и гвоздики. Теперь захопнуть дверцу машины и... Звук с шумом растворившегося окна за спиной, в здании, из которого он только что столь счастливо выбрался, заставил его вздрогнуть. Олег замер. Боясь оглянуться, быстро пошел вперед. Дал газ и — не подведи, мотор! — не зажигая фар прочь, прочь от старинного особнячка, в окнах которого все еще горит свет.

Зуев, вытряхнув одеяло, закрыл окно. Зевал. На Олега и все его манипуляции он и внимания не обратил. Ставил раскладушку, стелил постель. Магнитофон молчал.

Шаги приближались, отчетливые в тишине. К нему. Никита весь подобрался. Стоя, ждал. Дверь открылась (незапертая! Он, выходит, стучал и ломился в открытую!), от неожиданности Никита сделал рывок к порогу и оказался с ними лицом к лицу. Тьма в коридоре. Тусклый, но свет — в комнате. Стояли друг против друга.

— Я ничего не подпишу, — сказал, возвращая Цветкову отпечатанные странички. — Ничего.

Они молча, в упор смотрели на него. Нос и подбородок его были в пятнах чернил.

— Ничего, — запинаясь, повторил Никита. — Мой отец, он и под пытками... он не подписывал, и я...

— Что? — шепотом спросил Цветков.

— Он и под пытками, и я...

— Под какими пытками?! — свистящим шепотом переспросил Цветков, и от Никиты не укрылось, что Николай в эту секунду отвел взгляд. Цветков же впервые вышел из себя: — Салажонки! Ишь! Думаешь башкой, что говоришь?!

«Почетному чекисту» — разобрал Никита надпись на изображавшем щит и меч значке, украшавшем лацкан его пиджака, и, вздрагивая, выговорил:

— Вашу фирму не всегда... не всегда возглавлял Феликс Эдмундович.

Но Цветков уже взял себя в руки.

— Не будем заниматься эксгумацией. Не время этому и не место, Никита Сергеевич. И вы, и мы представляем себя, а не ушедших. Так или нет?

— Ушедшим ушедшим рознь, — возразил

Никита, желая и еще что-то добавить, но Лабутина перебил его:

— Может быть, вы все-таки позволите нам войти?

— Ох, извините, пожалуйста. Прошу вас. — Никита отступил от двери.

Первым зашел Николай. Ему-то первому и ударило в глаза крупно выведенное чернильным пальцем на стене, где висела жалкая забытая картонка от календаря: «ЛЕНИН ЖИВИ!»

Часть II

Черный вороненок, подросток-птенец, бился покалеченным крылом о мокрую грязную твердь шоссе, пытаюсь взлететь. Тщетно — он был потерян для своих крикливых вольных сородичей, для стаи, для полета. Но жив. Штоссе, о бок которого простерся деревенского облика знакомый нам поселочек, обычно пустынное, в этот ранний — самый ранний — час утра содрогалось гулом и ревом моторов двух встречных машин. Шипели шины, нажимая на замызганный асфальт. В любой из них крылась гибель. Дождь добивал птенца. Он был беззащитен и обречен, но еще жив, когда детская рука выхватила его почти из-под колес тяжеловоза.

— Скорей, ну скорей же!.. — Петькин братишка, заняв свое место в их маленьком строю, бежал и спешил — теперь он нес вороненка.

Время ли и место для утренней пробежки? Ливень, грохот проносащихся машин, угрожающих мальчишкам режущими уши гудками, брызги воды с грязью пополам в лицо, в спину, в бок.

Ноги... нет, это намокшие валенки, они отказали Петьке, став пудовыми. Какой там бег — добрести бы. Не остановиться. Из последних сил трусил рысдой: шарк-шарк... Ввалившиеся за одну ночь глаза на почерневшем лице. Остывший, остановившийся взгляд. Не бегун... Но отчаянный призыв брата в спину:

— Беги, ну беги же!

Он старший. Вожак. Братья не обгонят, они только за ним, они следом. Вперед, Петушок! Он бежал. Если это бег... Но он бежал. Он боролся сейчас — с собой. Он менялся. В его взгляде рождалось презрение к тому, что всё — против них! — вокруг. Но они прорвутся. Куда?.. Они пробегут и этот отрезок пути. Иначе-то как?

Странный маленький строй. За старшим — средний со спасенным птенцом. А сзади малыш. Вот кто легок и весел. Он же вместе с большими, он с ними в ряду, и у него все впереди! Такая счастливая рожица.

Три их живые фигурки и никого боль-

ше, безлюдье. Небо, льющейся с него водой соединенное с землей. А на земле под ливнем, в ливне голая роща, поселок — как вымерший, да дрожь выдерживающего движение шоссе.

Свернув с шоссейной обочины, тройца встревает в «железный поток», в опасную его середину — между... Откуда уверенность, что не задавят их, не собьют? Может, в сигналах предупреждающих гудков чудится им «привет»? Ибо не роботы правят машинами — люди. Машет ручонкою всем им, невидимым обгоняющим и встречным, замыкающий строй карапуз.

И бегут мальчишки, бегут.

«Куба, любовь моя, остров зари багряной...» Николай Лабутин разлепил веки, просыпаясь, а песня еще звучала — глухо, смутно, неслаженным, но дружным хором детских голосов, песня ушедшей эпохи, оваянной мелодиями Александры Пахмутовой. Снявшийся Лабутину сон был его памятью, и теперь, пробуждаясь на кожаном казенном диване, где провел ночь, он еще допевал: «Куба, любовь моя!..»

Жужжание электробритвы разбудило его окончательно. Брился Зуев — одетый уже, и раскладушка убрана.

— Зуев, ты в сны веришь?

Зуев обернулся. Лицо его без очков в полумраке утра показалось Николаю голым. Помотал головой.

— А во что ты веришь?

Николай потянулся за лежащими на столе часами. Там же лежали очки Зуева. Нанешил их и изумился: стекла-то без диоптрий!

— А, Зуев?

Тот аккуратно укладывал бритву в футляр. Пробурчал:

— Во что... Во что все нормальные люди. Я же не с вывихом.

— А точнее. Точнее-е-е, — поддразнивая его приспущенными на нос очками, не отставал Николай.

— Что полезно, — твердо отвечал Зуев, пряча раздражение. — Полезно, а не фимиами всякий, сны какие-то и прочий бред... В магазин сходить?

— Зачем?

— Буфет когда еще откроется. Начальник-то сытый придет, а мы...

— Я тебя не держал, ехал бы ночевать к мамочке. — Николай уже одевался-обувался. Спросил, кивая на магнитофон: — Много еще работы?

Зуев тяжело вздохнул и махнул рукой.

— Мозги пухнут, — пожаловался он.

— А ты как хотел? Интеллигенция — это, дорогой ты мой Васисуляй, самый сложный контингент. Сложнейший. У них и де и.

— Я б одного такого идейного на десять

бездейных нарушителей променял. Вот положи руку на сердце, Коля,— признался Зуев.— От души горюю.

— Тогда ты ошибся дверью,— нахмурился Николай.— В милицию бы шел. Забери свои,— швырнул он Зуеву оставшиеся на стуле домашней вязки носки.

— Они не мои.

— И не мои!

— Это бабкины. Помнишь, вчера?.. Получается, вроде я их увел.

Лабутин засмеялся.

— Клевые носки, самодельные, Вася. Чужое добро присвоил, нехорошо!

— Что ж теперь делать?

— А отвези. Отвези, верни. А? — дразнил он Зуева.

Зуев криво усмехнулся. Ему тоже стало смешно.

— Слабо тебе? А? Что? — резвился Николай.

— Да она меня придушит. И не за носки,— не то что жалобно, а с поразившей Лабутина тоскливостью в голосе произнес Зуев, и еще больше сказали его глаза, не защищенные стеклами в оправе. «Это касается и тебя»,— читалось в его взгляде.

Шутить враз расхотелось.

Лабутин молча отдал ему очки и отошел к окну. За окошком лил дождь. Доступный глазу вид улицы был полутемен-полусер, как, очевидно, и любой другой пейзаж сегодняшнего утра.

— Объект «Рыжий» ты разрабатывал? — спросил, уставясь в окно.

— Я.

— Установочные данные напомни-ка.

— Могу наизусть. Рыжиков Виталий Артемьевич. Местный. Обрелся на БАМе и бог знает где еще. Летун. Ни семьи, ни... Вернулся года два с лишним назад и с родными жить не стал. Отец у него отставник, сейчас по линии гэо, орденоносец, известная фигура.

— Фигура,— повторил Николай, прижимаясь лбом к стеклу.

— От него было заявление,— продолжал Зуев, как обычно бубня себе под нос.— В прошлом году, я еще в стажерах ходил, помню. Зря проигнорировали! «Отец на сына, семейные дела!» Вот тебе и семейные.

— Знаю,— оборвал его Лабутин.— Дальше?

— Ну, а сыночек спутался с этими — там у них и живет, у Бельх. То у них, то в вагончике, где сторожит. Занятие мне для молодого мужика! Это он, чтоб было время в Москву кататься.

— Рыжик — ученик Таюрского,— вновь как бы про себя произнес, прислушиваясь к разглагольствованиям Зуева, Николай.

— Ага, на его лекции только и ездит,

ученичек. Только к нему,— подтвердил тот.— Да, и представь себе, он член партии.

— Таюрский? Ты делаешь поразительные открытия!

— Да я ж про объект «Рыжий», Коля,— обиделся Зуев.

— Все-таки, значит?..

— Умудрился, да. Губа не дура. Но от освобожденного комсорга — а ему предлагали — отказался. Дескать, мол, не справлюсь и вообще подите вы... С завихрениями товарищ. Не любят его в коллективе-то. Как неродной, говорят. Эгоист.

— Эгоист,— повторил Лабутин и, резко обернувшись, спросил:— Рыжий он?

— Так рыжий же, как этот...

— Я поехал к нему. Машину мне, планчик нарисуй, где эта его шаражка, живо, Вася! — Он еще раз посмотрел в окно, где так же монотонно лил и лил дождь, выбил пальцами на оконном стекле мотивчик.— «Руде-руде-руде-раф, а по-русски рыжик!..» — напел.— Сон в руку, вот ведь дела.

Искры от зажженного на лужайке костра взлетали в темнеющее темно-синее небо... Это и был сон Николая, а когда-то это была явь: юность его, пионерский лагерь, песня и костер. «Слышишь чеканный шаг? Это идут барбудос! Слышишь, гудит под ногами земля? Куба, любовь моя!» Как легко шагалось под этот марш! Детские ноги в сандалиях, в тапочках — раз-два! раз-два! — по песком посыпанной дорожке, по траве, а впереди его, Лабутина Коли, пионервожатого, «взрослые» кеды: раз-два!

Рыжик нес знамя. У костра аплодировали им и пели. Аккордеон держал Рыжиков-отец, поблескивали ордена и медали на подполковничьем мундире, рыжий, как у сына, чуб спадал на лоб, когда он в такт при-топтывал ногою. Они окружили его, подойдя, и отец Рыжика — еще далеко не старый, даже не пожилой герой последней мировой войны — пел с ними вместе: «Куба, любовь моя, это отважных песня». Что-то потом он им рассказывал — сидели вокруг, кто где на травке, костер догорал, тьма сгустилась, и уже не различить лиц, не вспомнить имен... Но Рыжика Лабутин не забыл. И сейчас будто перед глазами его лицо — бледное, сияющее, гордое. «Хороший был пацан. По пятам за мною ходил, правая рука моя. И не подлиза, нет, а просто по-мальчишески любил меня, у пацанов так бывает. Всех забыл, а его помню. Помню, как кто-то обзвал пионерский галстук «ошейником», а он — в драку. Не себя защищал, а... что-то большее, святое. Что казалось нам тогда святым. А почему «казалось»?» — вдруг оборвал свое воспоминание Лабутин. «Газик», в котором он сидел, тряс-

ся по неровной, в выбоинах, дороге, осторожно вкатывался из боязни застрять в жидкую хлюпающую грязь бездорожья новостройки.

— «Казалось», а теперь-то? — Он поймал себя на том, что не может ответить на этот вопрос. И это поразило его. Поскорее перенесся мыслями на Рыжикова, но мысли уже путались, переменялись: — И почему «казалось», казаться и быть — не одно и то же. Я в Рыжике видел будущего... кого? Кем он должен был стать?

— Теперь куда? — спросил водитель. Перед ними был дощатый временный забор, огораживающий территорию стройки.

— Дальше не надо, стой.

Однако Николай будто медлил: что-то застегивал-расстёгивал на себе, причёсывался, лез в карманы... Словно хотел додумать что-то недодуманное, что-то упущенное вот-вот схватить, но времени — все, пшик, нет!

— Зонт дать? — спросил водитель.

Николай помотал головой, вылезая. Дождь вроде бы стихал.

— Езжай. Обрато сам доберусь, — хлопнул он дверцу «газика».

Вот и вагончик, настезь распахнута дверь. Но попробуй пройти. И охнуть Лабутин не успел, как ноги его по шиколотку увязли в глинисто-цементной жиже.

— Ты бы еще в белых тапочках явился!

Темный берет и бледное прыщавое лицо. Легко темнеющие светлые глаза, вызывающие и вместе стыдливые, вздувшиеся — словно вмазал кто — искусанные, верно, губы. Он!

— Ну здравствуй, что ли, Виталик.

— ...И не запылится! Совести у вас с Долдонычем нету, Прометей, суки, нашли! Когда ты должен был придти?

— Так ты меня ждешь, Рыжик? — Николай ступил наконец на узенький деревянный настил подле вагончика. — А кто такой Долдоныч?

— Папа римский, кто! Я вторые сутки без смены. Мог и дольше бы, не впервой, но сейчас мне вот так! — Провел Рыжик ребром ладони по горлу, перекидывая сумку через плечо. — Чао, — кивнул Лабутину.

Сейчас он уйдет!

Легонько ловкая подножка — и Рыжик не упал, а споткнулся, изумленно оглянувшись на Николая.

— И ты даже не поинтересуешься, кто я? — спросил Лабутин.

— Кто — индивидуум. Из пожарной, что ли?

— С памятью у тебя как? Тебе сейчас сколько?

Рыжик молча смотрел на него.

— Четвертак небось? Больше? — Рыжи-

ков напряженно кивнул. — Старше, чем я тогда, — сказал Николай. — Долдоныч-то это что, начальство твое?

— Прораб. — Рыжик в растерянности опустил сумку. — Так ты... вы не вместо меня?

Лабутин, улыбаясь, покачал головой.

— Елки! Послушай... послушайте, мне без разницы, кто вы, мне не до того! Карточка вроде знакомая, — умоляюще устался он на Лабутина, — но мне надо вот так! Позвонить. Позвонить только. А уйти, пост оставит не могу.

— Ворюг, что ли, много?

— Чо тут красть-то! Не могу — слово Долдонычу дал: не отлучаться.

— Я посторожу. Беги, звони, — Николай решительно овладел его сумкой, — я подожду.

Рыжик помотал головой. Казалось, он сейчас расплачется.

— Да в чем проблема-то? — уже сердито спросил Николай.

...О-о, вот он — этот его детский недоумевающий и одновременно осуждающий за непонимание знакомый взгляд на бледном лице, взгляд обиженный и твердый! И эти надутые губы!

— Я же дал честное слово!

От души смеялся Николай. Ах, черт подери, ну классика советской детской литературы, да и только!

Но Виталий уже заговорил, торопясь, сбивчиво, теребя его за рукав:

— Поможешь мне? Помог! И нечего ржать. Вот телефон, — выдрал он из карманного блокнота листок. — На троллейбусе до центра, на перегovorный. Слетай! Там по автомату в Москву. Вот, трещки хватит! Спросишь Владимира Михайловича.

— Понял, — вмиг подобрался Лабутин. — Дальше?

— Если он подойдет сам — ничего, положи трубку. Положи, ничего. Извинись. Главное, чтоб он...

— А если нет?

— Если его нет? — переспросил Виталик, морща лоб, и выкрикнул: — Так спроси, где он! Когда будет! И... будет ли вообще?

— Сделаю.

Рыжик благодарно кивнул.

— Пойдем, на путь истинный наставлю, — отвел он Лабутина чуть в сторонку, указав на едва заметную дорожку из проложенных в грязи кирпичей. — Ступай, как по проволоке, не ошибешься.

— Не ошибусь, товарищ знаменосец отряда имени Фиделя Кастро Рус! — И, не оглядываясь, Николай зашагал по кирпичной стезе.

Он знал, что Рыжиков смотрит сейчас ему вслед, — что ж, и в этом не ошибался Николай.

Троллейбус ушел только что.

Лабутин огляделся: это была окраина города, его задворки, где все дышит стыдящейся самое себя заброшенностью, смиренной скудостью бытия, привычной, впрочем, как слежавшиеся слои серой ваты, приукрашенной блестками бисера или конфетти, на подоконниках низких окошек приземистых разнотипных домиков, выросших тут еще явно «до исторического материализма».

Мало зависящие от летосчисления календарей с их быстрой сменой цифр, ко всему притерпевшимся глазами старух и распахнутыми в жадном любопытстве ребячьими глазенками сквозь оконные стекла глядят домишки в мир — как в экран телевизора с одной-единственной программой, которую ни переключить, ни изменить им, кажется, не дано. Но, может быть, только кажется?..

Прохожих не было, лишь невдалеке, подле строения с не сразу различимой вывеской маячило среди ящиков, разбросанных как попало, несколько мужских фигур. Туда-то и направил стопы Николай, подмигнув прежде ребятенку, чье прижавшееся к оконному стеклу личико случайно подвернулось ему на глаза.

— За ним будешь, — едва он приблизился, предупредил сидевший на ящике белобрысый увалень, кивая на серьезного мужика, покуривавшего поодаль.

Еще один кемарил, свесив буйную головушку на грудь. Трое, с жаром и не обращая внимания на остальных, предавались полной взаимопонимания, дружеского мычания и хохотков беседе. Еще двое, неприкаянные и явно не знакомые друг с другом, но по молчаливомуговору державшиеся рядом, в мхуром ожидании воззрились на вновь подошедшего.

— Почтение хорошему обществу, — поприветствовал он всех, направляясь напрямик к крыльцу, и физиономии этих двоих разом будто посветлели — они переглянулись.

— Здоров, коли не шутишь, — прокашлявшись, отвечал один из них.

— Хозяйки что, нету? — осведомился Николай у подпиравшего заветную дверь с вывеской «Вино. Табак» рослого ясноглазого старика.

— Пришла, — охотно доложил тот.

Николай мельком взглянул на часы: было рано. Недолго думая, с силой саданул локтем в дверь. Размахнулся еще и охнул: старик железной хваткой сдавил ему сзади обе руки.

— Шалить-то, паря, зачем?

— Отпусти, — Николай рванулся, но куда там!.. — Отвали, батя, плохо будет.

— Тебе ж сказали: за ним будешь! — крикнул белобрысый и вразвалочку пошел к крыльцу. — Языка не понимаешь, кидюк?

— Бог терпел и нам велел, — разжав лапицы, старик примиряюще хлопнул Николая по плечу, протягивая ему комканую пачку папирос.

— Отойти, дедуля, — тихо попросил Николай и двинул в дверь ногой.

— Эй, дед, чо он там? Ты! — Заволновались трое. — Зинуля так не любит!

— Будь человеком! Ты! — Поддержал их кто-то сзади.

— Зинуля порядок знает, — с намеком пояснил Николаю старик.

А белобрысый молча отпихнул его от двери. Тогда Николай так же молча хватанул белобрысого за грудки и, не отпуская, приставил к самому лицу его развернутое удостоверение. Взглянул и старик...

В следующую секунду белобрысый уже сам и каблуками, и локтями что есть силы колотил в дверь. Нагленькие голубые глазки побелели от уважения и страха. Николай разжал пальцы. Ну, а что до старика — то он успел отпрыгнуть от уже громыхавшей изнутри засовной двери, шагнул через ступеньки и, взмахивая будто в наваждении рукой, сокрушенно покачивая головой, под недоуменными взорами пошкандыбал прочь.

— Солнышко, Зинуля, извини, — успел предупредить возможную реакцию Зинули белобрысый, рванув на себя чуть открытую ею дверь и пропуская Николая вперед. — Товарищ по государственному делу!

В голосе его было торжество. Удостоверение ткнулось в сизое Зинулино лицо.

Вслед за Николаем белобрысый вошел в магазин.

— Телефон есть? — спросил Лабутин.

— Обязательно, конечно. — Белобрысый провел его за прилавок в заднюю комнату, спросил: — Зинку звать?

Лабутин помотал головой: не надо. Сделал знак рукой: уйди. Белобрысый покивал и исчез.

Николай присел за стол, вздохнув, достал бумажку с записанным Виталиком номером телефона, повертел ее в руках. Лицо его приняло сосредоточенное выражение. Быстро набрал несколько цифр.

— Зуев? — в трубке ответили. — Шефа мне скоренько... Борис Анатольевич, доброе утро, работаю «Рыжий». Тет-а-тет. Прошу сведения о пане профессоре: где, что, какая стадия, местонахождение сегодня. Лапша не пройдет. Можете выйти на канал?.. Перезвоню, да. — Он положил трубку.

В дверь тихонечко скреблись.

— Ну что там?

Широкое — с плоску — Зинулино лицо, покрывшись пятнами, из сизого приняло пунцовый цвет, став вровень с цветом мохеровой шапочки на голове. Глаза круглились в дверную щель, о чем-то моля.

— Извините, я еще ненадолго займу ваш кабинет, — сказал Николай.

Она с готовностью мигнула и, решившись, грузной тенью метнулась через порог, с ловкостью фокусника явив Николаю на стол пару заморских «флаконов» и сей же миг пропав за дверью.

Ни единый мускул не дрогнул на лабу-тинском лице. Он звонил.

— Але?.. Да. Понял, — выслушав, сказал он. — Спасибо. Пока все. — Положил трубку и почесал в раздумье затылок, глядя на соблазнительные «флаконы».

В комнатке — а это была подсобка — громоздились ящики еще с кое-каким содержанием. Он взял бутылку «столичной». Приоткрыв дверь, пальцем поманил продавщицу к себе.

Она вошла, неловко прихорашиваясь, вымучивая улыбку.

Николай, достав кошелек, рассчитывался за «столичную».

Зинуля протестующе замахала руками. Язык, похоже, все еще не повиновался ей.

— Без сдачи, — сказал Николай, кладя деньги на стол. — И бутылочку ситро, Зинуля.

Во дворе не было ни души. Если не считать, конечно, белобрысого, чье выражение лица да и вся поза излучали прямо-таки собачью преданность и готовность услужить — только что хвостом не вилял.

Над Москвой кружили редкие легкие снежинки, то тут, то там начинала сыпать крупа — весна медлила с приходом, весна выжидала.

Стоя в телефонной будке, Юлька набирала номер.

— Алло, здравствуйте! Можно попросить Владимира Михайловича? Что-о? Алло, — кричала Юлька. — Туда ли я попала? Алло!

Рядом была витрина большого галантерейного магазина, уставленная среди всякого рода всячины и зеркалами. Поджидая подругу, Надя рассеянно поглядывала на свое отражение.

Сбоку послышался всхлип. Показалась перекосенная гримасою Юлькина рожица — точно зеркало вдруг стало кривым.

— Его исключают из партии!

— Кого?

— Как это «кого»?..

Ничегошеньки не изменилось вокруг от этого известия. Не только улица, где они стояли, но и вся огромная столица жила своей привычной обыденной жизнью — всегда торопливой, озабоченной и деловой, в чем-то даже и торжественной, а то и кокетливой, но давно уже подспудно устоявшейся изнутри, принявшей отвердевшие нормы бытования всего сущего, всего живого и последовательно крепившей их, охранявшей — и то

откровенно, а то и незаметно, исподволь внушавшей всем и каждому, кто попытался бы усомниться в них, соизмерить их с чем-то иным, что иного не дано.

И вот светлое многоэтажное здание с внушительными — красными с золотом — вывесками, сонмом разномастных легковых машин у парадного подъезда и — как неотъемлемая принадлежность — невидимым с улицы милиционером изнутри. Молоденький и ладный, в хорошо подогнанной форме, он, естественно, не чета стародавним швейцарам казенных учреждений, за версту чувящим, кому — поклон нижайший, с кого — на чай, а кому и от ворот поворот. Караульщик новейшей формации, он (овно тень: с ним не здороваются, не окликают по имени, да и имени у него как бы и нет, как нет ни лица, ни возраста. Пост, форма, функция и классический, не утеревший преемственности нюх, безошибочно определяющий, кто «свой», кто «чужой».

— Вам куда?

— Сюда, в райком.

— По какому вопросу?

— По очень важному. — Надя сделала попытку обойти или хотя бы прошмыгнуть под его загораживающей дорогу рукой, да не тут-то было: милиционер ловок, юн и в популярной (детской ли?) игре в «кошки-мышки», видать, знал толк и имел опыт.

— Мы, конечно, беспартийные, — просительно заглядывая ему в глаза, заговорила Юлька, — но где-то тут у вас сейчас находится наш профессор. Преподаватель. Он член партии, знаете, с какого?.. С сорок третьего года. А сейчас он здесь. Мы хотим знать, что с ним!

— Ну подождите, — он кивком подбородка указал на скамейку, но не в вестибюле, а как бы в прихожей — что между входом с улицы и входом в вестибюль.

Они отошли и сели. Разговаривать не хотелось. Надя долго рылась в сумочке, отыскала носовой платок. Юлька встревожилась:

— Тебя все-таки продуло. Дай-ка пощупаю лоб.

Надя молча отстранилась. Юлька посмотрела на нее и тоже притихла. Обе волей-неволей всматривались в проходящих мимо людей. Кто они? Вот этот солидный, осанистый, в дубленке и лисьей шапке, а с ним двое, семенящие рядом и не смеющие забежать вперед, которых он снисходительно выслушивает на ходу. И этот — румяный, источающий здоровье и бодрость, несмотря на одышку, в караульном «пирожке» и пальто с таким же воротником. А этот маленький, подпрыгивающий, как зайчик, с кожаной папчонкой под мышкой? Или эта статная женщина с выбившимся из-под ворота шубы кружевным

воротничком белой блузки, непроницаемостью лица, высокомерным взглядом и затейливой, пышной (как украшение торта) укладкой на голове напоминающая «сидящих на дефиците» продавщиц? Милиционер — когда они проходят — держится в отдалении, в стороне. Ни о чем не спросил он и высокого военного с портфелем, и симпатичного немолодого дядечку в импортном светлом пальто, какие носит знающая вход в «Березку» молодежь, и другого — во всем темно-сером, с серым поношенным лицом, похожим на скучный, траченный временем, но неотменный парграф.

А потом прошла целая группа — из черной «Волги», из белой «Волги» — деловые походки, уверенность и легкость, сплоченность, но и субординация даже в малом: кому войти первому, кому посторониться, а кому дверь за всеми поприветствовать. Один (из тех, кому держать дверь) даже удостоил вопросительного взгляда наших подруг, и Юлька сразу же «клонула» — вскочила, заторопилась: «Извините, пожалуйста, вы не...» Но державший дверь, видимо, был «не...» — только его спину и видели.

Обиженная Юлька вернулась на место. Спросила:

— Как ты думаешь, Надя, они все марксисты?

— Ага, как один, — усмехнулась, шмыгая носом, Надя.

— А как же тогда они будут судить о Владимире Михайловиче? Ну не они, так другие, — рассуждала Юлька вслух. — Помнишь, так однажды уже было? В прошлом году на институтском партбюро. Он тогда всех на лопатки!

— Тогда — да...

— Они ему, помнишь: ах-ах, разве можно молодым да зеленым давать какой-то никому не известный марксизм? Не тот, что в программе? Неправильно же поймут! Юные души не выдержат. А он им: вы карлики. Вы всему придаете свои собственные карликовые размеры.

— Ты в детстве про Гулливера в стране лилипутов читала?

— Но мы-то все не лилипуты? — возразила Юлька.

— Мы?..

— Шухер! Агас! — Юлька вскочила вдруг, как ошпаренная, рывком подняв Надю со скамьи. — Сюда! Отвернись. — Подтолкнула ее к боковой стеклянной стене — к стене лицом, стоя рядом, шепнула: — Не оборачивайся... Теперь можно, — сказала спустя мгновение.

Обернувшись, Надя разглядела только чью-то исчезающую во чреве райкомовского вестибюля спину.

— Наш институтский парторг, — шепнула Юлька.

Надя в изнеможении опустила на скамейку:

— Что же делать-то?

А Юлька все еще жалась к стеночке.

С территории «запретной зоны» на них взирал скучающе милиционер.

Дождь кончился. Синело в проемах разгоняемых ветром туч небо, пробивалось солнце, а омытое дождем здание долгостроя, подле которого ютился сторожевой вагончик Рыжика, сейчас могло показаться даже нарядным — от подсыхающих на солнце кумачовых плакатов, вдоль и поперек развешанных по стенам его.

Надписи на плакатах были, какие положено: «Наша цель — коммунизм», «Народ и партия едины», «Претворим в жизнь...» и т. п.

Вокруг — ни души.

— ...Когда, спрашиваешь, началось? А в восьмом еще. В комсомол вступали. Дружененько, всем классом, всем стадом. — Давно уже в вагончике шел разговор. Стыл в стакане Рыжика чай, и совсем остыл, а Виталик все помешивал в забывчивости ложкой. Бутылка водки стояла в стороне — нетронутая, не распечатанная. — А тут на дом сочинение: «Мой любимый герой». Опять же все дружененько, в ногу: «Мой! Любимый! Герой! Павка Корчагин!» Ну а я...

— А ты, небось, про пир-рата какого-нибудь! — Николай улыбался. Ему хотелось озоровать — расслабиться. Не расстался еще с прежним образом Рыжика-пацана, возникшим из тьмы памяти, тянул ниточку от него — к нынешнему.

— Мимо! — Перед Рыжиком был прежний Коля — объект для подражания, кумир и родная душа. Вот только годы, время... Полжизни, прожитые врозь. Рыжик всматривался в него — узнавал. И что годы, коль ниточка связи цела? Он хотел убедиться в этом: цела. Наверстывал: — Я — правду. О чем страдал... Что лыбишься? Страдал. О чуде-монашке. Странном! Сто лет назад русский писатель выдумал, а я поверил. Поверил — заболел. Хохма? ...И выпал я, Коля, в осадок. По-черному! Вроде он рядом тут и живой, вроде и город этот самый, наш, а не «до-революция» — такое со мной!

С симпатией и сочувствием глядел Лабутин на своего подопечного.

— И?... тихонько подсказал.

— Искал я тебя тогда, как искал, Коля! По улицам бродил, ног не чуя: вдруг да повезет, встречу? Нужен ты мне был.

— Это зачем же? Прости, что я так прямо...

— Да кто его знает, зачем. — Рыжик вздохнул. Подпер голову рукой, щекою прислонясь к металлическим прутьям зарешеченного окна вагончика. — Как перст я тогда был.

Одинешенек. Один с Алешей моим. Живее живых он мне стал. А пойми — чего так... Как понять? — Отрядный знаменосец смотрел на своего вожатого: вот и встретились! Поймешь? — Кто объяснит? — продолжал он. — Пацаны — так им бы только Фантомаса, им до фени. Папаня высмеял. И я, как птичка в клетке. Мучаюсь, боюсь: зачем всё? Для чего? На фиг я сам? И Алеша был — для чего? Он землю от врага не защищал, так? как папаня мой, — стал загигать Рыжик пальцы, — и шашкой не махал, а что-то такое все равно знал, чего мы не знаем. А вот что, что?.. — Рыжик пристукнул кулаком по ящичку, служившему им столом, чай выплеснулся.

— Об этом ты и хотел спросить меня, Виталья?

Рыжик кивнул.

— Думаешь, я ответил бы?

Рыжик махнул рукой.

— Да не, я после догадался: не тебя ищу. А вообще человека, который бы... ну как старец Зосима был у Алеши, вот и я такого возжаждал себе.

— И нашел?

— Нашел. Когда уж и не чаял встретить. Повтори-ка, Коль, пожалуйста, что тебе на кафедре сказали.

— Где-где?

— Ну, куда ты звонил. Кафедра общественных наук. — Рыжик отхлебнул остывший чай и нетерпеливо повторил: — Будет, значитца, сегодня лекция?

— Чья?

Впрочем, Николай уже все понял. Помрачнел. Ниточка, связующая с прошлым, натянулась — того и гляди лопнет.

Рыжиков перемены в нем не заметил.

— Чья-чья! Старца Зосимы, — засмеялся. — Только никакой он не старец, кулачищи — во! Если наши с тобой вместе сложить — один его выйдет. Сила мужик. Что кулаки, что дух, что душа, что ум — ила, мощь. — Рыжик озабоченно взглянул на часы: — Еще можем успеть, хочешь? Он на вечернем читает. Ночной электричкой назад. Не пожалеешь, зуб даю.

— Гм. Ты, я вижу, не сомневаешься, что твой Зосима интересен абсолютно всем?

— Не то слово, Коля, — убежденно сказал Рыжиков. — Его стоит послушать раз — всё, увяз. Не забудешь — не сможешь. Гарантия. Как запустит тебе в башку ежа!

— Чего, чего? — удивился Николай.

— Это у него выражение такое, — снова засмеялся Рыжиков. — «Запущу в головы вам ежа, и пусть он там крутится», вот.

— Ежа... А! — Лабутина сразу вспомнил рисунки на печке в доме бабы Милы: смешной ежик, которому он вчера не придал значения. Спросил: — Курить у тебя можно? — Ему хотелось собраться с мыслями.

— Кури, вожатый. Я помнил. А помнишь,

мы пели: «Вожатый наш! Ать-два!» — вскочив, промаршировал Рыжик на месте. — «Читает книжки нам! Фьють-фьють!» — Он стукнулся локтем обо что-то, ушибся и сел на место. — Ты как, учительствуешь? — спросил.

— Не пришлось. Сначала в комсомоле. — Дым от лабутинской сигареты пошел прямо на Рыжика, тот машинально отмахнулся, и Николай тоже стал отгонять дым в сторону. — Потом по партийной линии. Не выбирал.

— М-да. И не пожалеешь? Что не выбирал?

— Партийная дисциплина, Виталья. Нас не спрашивают.

— О, так ты номенклатура, что ли? — Рыжик рассмеялся. Ему не сиделось уже, верченый был парень. От избытка энергии, не зная, куда себя деть, стал налаживать чаепитие по-новой: полоскал кружки, чайник, наливал воду, заварку доставал и трещал: — А я ведь, Коля, без рядов вэлкаэсэм обошелся — отлучили из-за «карамазовщины», а вот в партию задуло меня. Ветром, на БАМе. Крутая там житуха была, ребят много отличных. Сейчас они кто где, кто еще там, а кто — на круги своя, обратно, вот как я, но связь держим. Кого в наши края занесет — я сразу за шкирку и в Москву, к Владимиру Михайловичу. На маг его стали писать. Он сначала-то наотрез: уберите свои цацки, я вам не Хазанов. А кореш мой, сибиряк, два месяца тут отпуск проводил, — рогом уперся: мол, и мы, профессор, на стройке века нашей без ежа в голове жить не хотим! Общество создали там, коммуну. Владимира политруком своим считают, а я, веришь, разорюсь скоро. Вся зарплата на кассеты уходит — пересылаю мужикам, что запишу, они там у себя прослушивают, размножают и — по Союзу!..

— Да-а, — проговорил вслух, но как бы про себя, Лабутин, слушающий его дыхание затаяв. — Да-а... Что называется, информация к размножению!

— Ась? — не уразумел, увлекшись, вжившийся с чаем Рыжик.

— Тяжела шапка Мономаха, говорю. Листовки, часом, не выпускаете?

— Не. — Виталий язвительности его не заметил. Шарил по сусекам: — Сахар, елки, кончился... Журнал — это да, хотим. «Предыстория» назовем.

— Почему «пред...»? — спросил Лабутин.

— По цифирчику, что ли? Или с молоком? — Все хлопотал вокруг него Рыжик. Пояснил: — Мы ж с тобой, Коля, пребываем-то где? В предыстории. В прихойей-преисподней, а не дома. Только при коммунизме человек у себя дома, вывод Маркса.

Николай машинально принял из его рук кружку с чаем, секунду помедлил. И вдруг, привстав, резким рывком приоткрыл дверь и выплеснул чай во двор.

— Дай сюда,— почти вырвал кружку из рук Рыжика и, приговаривая: — В сенях мы, говоришь, в сенцах? — Опорожнил и ее, закрыл дверь,— Рыжик наблюдал за ним с изумлением,— грохнул о ящик бутылку сидро и завладел «столичной». — Ну чего вызверился? Дурачок! «Давай поговорим с тобой чин чином. И разливай, как следует мужчинам. В стаканы — водку, в рюмки — лимонад»...

Рыжик удивленно хмыкнул.

— ...как писал любимый поэт моей юности.— Лабутин сам и разлил.— Разные у нас с тобой любимцы? — неожиданно для себя спросил.

Рыжик пожал плечами и улыбнулся:

— Не сотвори себе кумира, говорят.

— Но ты-то сотворил?

Лицо Рыжика стало детски знакомым, серьезным.

— Пожалуй,— ответил он не сразу.— Но есть кумир, а есть — идеал. Это не тождество. Тут эволюция, тут путь... Его надо пройти. От личного поклонения — к единоверию. Не мнимому! Тогда — свобода. А не прошедший путь — пленник, раб.

— Ты не раб?

— Я коммунар. «Коммьюнис» по-латыни — общий. Но нет хуже стада с пастухом. Мы — совсем другое, мы — братство. Осознанное. Но мы еще в пути.— Он поднял в нетерпении свою кружку.— Ну, за нашу встречу, да?

— За нее,— Николай чокнулся с ним.— Только я тебе, Виталия, не брат.

— Да? — На миг растерялся тот.— Хм... Но ведь и не враг?

— Выпьем,— вместо ответа предложил Николай.

Виталик кивнул. Оба выпили. Рыжик из горлышка запил сидро.

Николай сразу же налил еще.

— Как твой отец? — спросил.

— Здоров, спасибо. Не видимся почти.

— Чего так?

— Проклял.

— Понятно,— Николай кивнул. Зажег спичку, но не закурил. Смотрел, как тлеет огонек.

А Рыжик глядел на него и уже не мог справиться с подступившей тревогой, непонятно чем вызванной. Отхлебнул торопливо из кружки, поморщился, жалко улыбнулся:

— Когда я мотанул на БАМ, он прости: «Я рад, что ты нашел свое место на переднем крае», — писал. Но когда я действительно нашел это место, он не понял, он...

— Что, не дал в себя запустить ежа? — не сумел скрыть торжества Николай.

— Броня крепка.— Голос Виталия сорвался: — Для него и мы, и Владимир... Владимир Михалыч для него...

— Что, «предатели»? — подсказал Николай.

У Рыжика остановился взгляд. Онемел.

— «...всего святого, чем живет и дышит социалистическое отечество»? «Злостные клеветники и перерожденцы»? — уже не мог остановиться Николай.— «Я глубоко виноват перед партией и советским народом в том, что не успел воспитать сына достойным...» — цитировал он.

— Замолчи! — Рыжик закрыл лицо руками, глухо спросил: — Откуда, откуда ты?..

— «...и считаю своим гражданским и партийным долгом поставить об этом в известность органы, стоящие на страже...»

— Нет!! — завопил, не выдержав больше, Рыжик.— Не мог он!

Но Николай с беспощадной методичностью чеканил наизусть:

— «Готов нести полную ответственность за отсутствие бдительности. Участник Великой Отечественной войны, подполковник запаса, член капэсэс с тысяча девятьсот сорок третьего года Рыжиков А. Пэ». Домашний адрес, подпись.

— Гад, врешь же ты все! — Разом выйдя из оцепенения, бросился на Лабутина Рыжиков-сын, прижал к стене.— Что же ты за гад такой, а?! — хрипел ему в лицо.

Не сопротивляясь, Николай тихо попросил: — Залезь ко мне в верхний карман, Рыжик.

— Да я... я из тебя...

— Залезь, не бойся.

Что-то такое было в его голосе, отчего Рыжик вдруг повиновался.

Вместе с удостоверением извлек вчетверо сложенный листок.

— Разверни,— предложил Лабутин.

Тоненькой струйкой вытекала из опрокинутой бутылки недопитая ими водка.

...Отцовский почерк Рыжик узнал сразу, а с фотографии развернутого удостоверения сотрудника КГБ СССР задорно глянул его молодой, любимый и незабвенный — его пионерский вожатый!

Щедро сыпалась сахарная пудра на пончики — румяные, золотистые.

С бумажным кульком в руках Надя отошла от ларька, пережидала поток машин.

Кулек был полон, пончики — горячи, пудра таяла на них, а может, это таяла, смешиваясь с пудрой, снежная крупа?

Надя вбежала с кульком в дверь райкома: между милиционером и Юлькой уже исподволь налаживался контакт, они беседовали.

— Оно вам надо? — вполголоса нравоучительствовал юный страж порядка.— Начальство дерется — рядовые не вступай. Пословицу знаешь? Береги шкуру смолоду. Вот так вот!

— Ты перепутал все. И мы не рядовые...

— О! О! А какие же вы?

Надя приблизилась к ним с кульком.

— Угощайтесь, что ли.
— Мои любимые,— Юлька тут же завладела кульком.— Угощайся, Сережа.
— И мои,— не заставил упрашивать себя миллионер.— Я когда в Москву приехал, их навалом было, на всех углах,— говорил он, уплетая за обе щеки.

— Ага, было,— вторила ему с набитым ртом Юлька.

— И у вздеэнха скажи? А потом все поносили, к Олимпиаде.

— Вот дураки, зачем?

— В общем, приятного аппетита, ребята,— Надя решительно шагнула в вестибюль. Она не оглядывалась.

Юлька всполошилась:

— Нады!

Но миллионер вежливо попрердержал ее, а Надю уж возвращать не стал. Лишь сокрушенно покачал головой и обронил:

— Зря.

Красиво подкрашенные глазки секретарши приемной источали неподдельное изумление, даже обиду:

— Вы будете приходить с улицы, а я — вам отвечать?!

Надежда стояла перед ней.

Все стулья приемной заняты посетителями — смиренными, вышколенными. Замкнутые лица, ускользающие, прячущиеся или же подчеркнута непроницаемые «глухие» глаза. Лишь один, даже сидя опирающийся на палку и то и дело шумно сморкавшийся пожилой человек с орденскими планками на пиджаке, не стал отводить взгляда, и Надю поразила утрюмость и безмерная усталость его глаз.

Секретарша говорила по телефону. Надя ждала.

— Не стойте, девушка,— секретарь положила трубку.— Персональные дела рассматриваются без лишних соглядатаев, и никто вам тут не обязан... Что вас, вызывали?

— Нет,— Надя торопливо облизала пересохшие губы,— нет, я сама. Но я не лишняя, нет. Понимаете...

— А нечего понимать. Есть определенный порядок. И никто не позволит его нарушать.— Она вновь взяла трубку, телефон звонил.

— Да скажите хоть, за какой дверью! — взмолилась Надя.

Секретарь, не кладя трубки, замахала на нее свободной рукой — отгоняя, выпроваживая.

Пенсионер кашлянул и встал. Прошел к двери и молча ждал, пока Надя выйдет, чтобы закрыть за нею дверь.

И Надя вышла.

Он вышел следом. Закуривал и смотрел на нее — тот же усталый, обреченный какой-то взгляд.

— Кто-нибудь из ваших близких? — неожиданно спросил.

— Да,— ответила она,— учитель наш...

— Давно с билетом?

— С каким? А,— не сразу догадалась Надя. Показала на его колодки: — Он, как и вы. Под Сталинградом — там еще.

— Ранен был?

Надя пожалала плечами.

— Не знаешь? Стыдно,— попрекнул он.— Сталинград — это такое было, откуда ты либо в санчасть, либо уж сразу в рай. Целым-живым ни один не вышел, раненые — те еще да, могли.— Он задымил, не обращая внимания на косые взгляды молодого человека, начальственными взмахами рук распоряжавшегося кем-то в глубине коридора.

Оттуда что-то несли, тасили, волокли. Громоздкое и тяжелое.

— Посторонитесь, товарищи.

Надя и фронтовик прижались к стене.

— А теперь, значит, под зад коленом... — пытаясь заслонить Надю от тасивших мимо них огромных размеров портрет, бормотал он,— теперь по одному нас... Чем же помешал им? — мотнул головой в сторону приемной.

Тасившие остановились передохнуть. Срывали с портрета бумагу и шапгаг. И несли дальше, держа вниз головой,— то самое до громадных размеров увеличенное фото, где взгляд Ильича исподлобья так напряжен, пронзителен, так беспощадно пристален и остр, что и ретущ десятилетий оказалась бессильной перед ним — всё ждущим и ждущим ответа. Вниз головой его вносили в зал заседаний.

— ...А тем, что живой! — вырвалось в ответ у Нади, и она рванулась к двери, но этот случайный собеседник прердержал ее:

— Не надо, дочка. Не лезь ты на глаза ни им и ни ему. Билет спасет, нет, а шкуру спустят. Выйдет — мясо да кости, не надо тебе видеть этого. Никому не надо!

— Мне надо.

— Не надо, нельзя! Беги домой, чеши. Я знаю, со мной было... Верить ему — значит, пожалей, стинь, и чтоб духу твоего тут...

— Нет,— качала Надя головой, не соглашаясь.

Сталинградец не на шутку рассвирепел.

— Что, не дотуркаешь никак? Кишки наружу — выйдет твой, а тебе зенки пялить? Что ж, ни стыда, ни сердца в вас,— хрипел он, наступая на Надю,— опилки вот тут, да? — стучал в грудь.— Имя, говори-ка, как?

— Н-надежда.

— Учителя! «Надежда»!

— Владимир... Владимир Михайлович Тюрский.

— Запомнил. Увижу — доложу. Что была тут и болела.. Надежда! — Искра улыбки вспыхнула — всего на миг — в усталых и

неулыбчивых глазах.— Скажу: отослал. И ступай,— подтолкнул он Надю.— Выбрось там,— отдал ей еще тлевший «бычок», махнув в сторону лестницы, и, тяжело припадая на одну ногу, подался обратно — в преисподнюю приемной.

Надя вышла на площадку лестницы. И прежде, чем швырнуть «бычок» в урну, вдруг поднесла его к губам и жадно, явно неумело затынулась раз и другой.

Глаза ее были закрыты.

Откуда ни возьмись, незнакомый голос: — Ну и как, девушка, вкусно?

Оглянулась.

Орденские планки — первое, что бросилось в глаза. Высокий. Выправка! Седой, однако, пышный чуб. Взгляд — испытующий, насквозь. «С иголки» костюм.

Отвернулась. Незнакомец ждал. Уже строго повторил:

— И что вас заставляет?

Ответа не дождался. Надежда стояла изваянием, «бычок» в зубах.

Махнул рукой и отошел. И уходя, ни к кому не обращаясь, громко сокрушенно спросил:

— Эх, и за что мы воевали?..

Только теперь Надя смогла перевести дыхание. «Бычок» — в урну.

Брела по лестнице. Вниз.

Бежала. Мчалась к выходу.

С чувством двойного сожаления: «видать, достала жизнь-жестянка, что приволоклись, бедняги» и «а ничего девочки, поторчали б тут еще, тоска!» — смотрел им вслед милиционер.

Юлька едва попевала за Надеждой, спотыкаясь, семена.

И пошли они, солнцем палимы...

Над Москвой, впрочем, солнца в тот час не было.

Солнце разгоняло тучи над городом.

Густая синева, будто и не было недавней хмари-серости, краски яростно густые, без светотеней, и под стать им музыка. Марш! Зовущий и вдохновляющий. ...Нет, ему неоткуда здесь, на заброшенной этой стройплощадке, взяться и вообще — не до маршей. Но он звучит — Николай, сидящий на порожке вагончика, явственно слышит его. Нравится Лабутину открытый взору пейзаж: эта синь и эта яркость, и пятнистость непросохших стен, и алый, полощущийся на ветру новенький флаг, что водружают сейчас — вдобавок к десятку плакатов — на стене здания-недоростка двое работяг, и дети — целый класс, заявившийся сюда, — по-муравьи-

ному шустро стаскивающие в кучу железный лом. Словом, ожила картина! Закипела жизнь! Весна, радость, движение, энтузиазм. Как же тут без марша? И не захочешь, а услышишь. И не будем пенять Лабутину — нам ли не знакомы его чувства? Мы ли, дети своего времени, не воспитаны э т и м?

Но вот из наблюдателя этой «живой картинки» Лабутин становится ее персонажем, вписываясь в пейзаж: один из прикреплявших флаг помахал ему, он подошел и теперь, взобравшись на складную лесенку, что-то держит там, помогает, и трепещет на ветру алое полотнище, касаясь щеки его.

Не мигая смотрел на все это шагнувший на порог Виталий. Все увидел. И, может быть, услышал «марш». Перекосилось лицо.

— А ну вон отсюда! — Спрыгнул, схватил какую-то подвернувшуюся под руки палку, ворвался в «пейзаж». Бежал и вопил: — Прочь, прочь, вон, я вам сказал! Линяйте, сваливайте, все! До единого! До единого! Кядрене фене!

Вид его был страшенький — нелеп. Он не умел орать, хоть и орал, жалобно и жалко. Дети сбились в стайку, запищали:

— Мы собираем металлолом!

Они сложили уже целую гору железа. Рыжиков истерично, зло захохотал:

— Ах-ах-ах! Юная смена! Смена за сменой! Зачем?! Чтоб ...надцать месяцев ржавело тут под дождиком? Во, видали? — Схватил он за руку первого попавшегося пацаненка, показывая в угол стройплощадки, где уже громоздились груды лома.— Вон ваш металлолом и вон! Для чего? Смысл? Ищите смысл!

Дети, перепуганные, непонимающие тарасились на него, кто-то уже пятился, готовясь задать стрекача.

Николай спешно спускался с лесенки. Нарпник его закричал:

— Эй, рыжий, ты чо там?

— А вы чо? — переключился на них Виталик, паясничая.— Кто такие? А ну доложить по всей форме, чем занимаетесь на вверенном мне объекте!

— Тронулся?

— Чего-о? Я ж-живо вас!.. — Он бестолково размахивал палкой, но паясничанье-то и сошло за чистую монету, один струхнул:

— К праздникам же, друг.

— К каким таким?

— Ну как... Ленин, потом майские. Как же?

— А-а, яснонько,— изогнулся в шутовском поклоне Рыжик. И с вызовом глядя на приближающегося Николая, закричал: — А ну, дети, хором: «Трудовые будни праздники для нас!» подпевай! — замаршировал он на месте, но тут-то Николай и хватанул его за шиворот, толкнул вперед.

И Рыжик вмиг обмяк, опустил голову, осунулся.

Брел на свое место. Николай за ним.

И вновь — вагончик.

— Понять хочу.

В голосе Лабутина упрямство, похожее больше на каприз. Он требует.

Но Рыжик будто оглох. Следит безучастно за тем, как бьется о мутное стекло невесть откуда тут взявшаяся оса.

— Ты слышишь?

Лабутин уже просит, почти с отчаянием. Вывает!

Пожал равнодушно плечами. Ответил:

— А я — тебя.

— Ты меня знаешь, — обрадованно отозвался этот бывший вожатый, а ныне... — Я — как те пацаны, которые собирали тут лом и которых ты выгнал. Что любил, то и люблю. Я тутешний весь, — спешил он сказать. — Наш! И ничего другого мне надо.

— Значит, это ты допрашивал моего друга?

— «Допра-ашивал!» Громко сказано. Я не следователь. Следствие, Виталья, впереди.

— Когда?

Ватный безвольный голосок. Лабутину стало его жаль.

— Это зависит не от нас, — решился признаться, помолчав. — Мы не рычаг. Всего лишь приводной ремень.

— А от кого?

— Хочешь правду? — Николай, однако, медлил. — Да выпрямись ты!

Рыжик как сел, так и сидел в одной позе, скрючившись, поджав колени к подбородку, и на него, Лабутина, не смотрел: далась ему та дура-оса!

Николай махнул рукой и встал. Медлил. Но, сказавши «а»...

— Это задание тех, для кого кость в горле твой Зосима-Таюрский. На которого ты променял своего отца! «Последний большевик России», — с усмешкой вспомнил он «данные» Олега Мнёва. — Вы что, и в самом деле его таковым считаете? Да и не вы одни? — Рыжиков прищленно молчал. — Слухами земля полнится, и ты, мой названный звездный братишка (почему он так сказал?..), к этому, по твоему же признанию, изрядно руку приложил. Распространение клеветнических измышлений с целью подрыва... статья семидесятия ука эрэсфэсэре от четырех до десяти лет лишения свободы. Вот как это классифицируется, милый ты мой.

— Подрыва, — всем существом вслушиваясь не только в смысл лабутинских слов, но и во что-то от Лабутина скрытое, свое, повторил за ним Рыжиков, незаметно для себя

расправляя затекшие члены. — Подрыва... чего?

— Устоев. Подрывал устои, а? — неожиданно весело спросил Николай, а Рыжик даже глазом не моргнул, соглашаясь:

— Подрывал.

— Ну вот видишь.

Рыжиков пристально смотрел на него: — Устои чего?

— Ты что, маленький? — Николай нахмурился.

— Нет. Я давно уже не собираю лом и другим, как видишь, не даю. Не кидаюсь в драку, как когда-то, за честь атрибутов, коль они оторваны от сути. И отвергаю идею власти, если она подменила власть идей!

...Всего несколько минут назад перед ним был раздавленный, им же припертый к стене паренек. И вот — злой, стоящий во весь рост под пулями (Рыжик сидел) и взрослый — он же. И вновь — такой, как в детстве. Лабутин был рад, что «раскрутил» его.

— Есть идеи и и д е и, — закинул он «крючок», ощущая в себе неясную дрожь проснувшегося азарта игрока. Это свойство натуры Николай обычно давил в себе, держал под спудом. — Это раз, — сказал он. — А во-вторых, мы все-таки материалисты, а не младогегельянцы какие — что нам до них, что нам Гекуба! Я говорю «мы», — полувопросительно взглянул он на Виталика.

— Я не знаю твоего символа веры, — отчужденно пожал плечами тот.

— А чего тут знать? Да что есть — то и есть, я же тебе объяснял! Символы, идеи, устои — это же не само здание, а орнамент на нем. Украшает, воспитывает, поднимает дух, вселяет веру, комментирует, даже, я бы сказал, выполняет функцию преемственности. Я вульгаризирую малость, но ведь ясно? А ты: «не отражают сути!» Какой? Базис, здание — это и есть суть. В него нельзя верить-не верить, оно — есть.

— Но какое?

— Социализм — вот какое. Не нравится?

Виталий посмотрел ему прямо в глаза:

— Нет.

— Это уже серьезно.

— А ты думал, мы в бирюльки играем?

— Это серьезно, — повторил Николай, зашагав взад-вперед по тесному и захлапленному пространству вагончика. — Я-то, честно говоря, еще надеялся, что у вас это на уровне «ла-ла-ла». Увлечлись детки вместе с чудиком-профессором, нарисовали себе семнадцатый год: «Ленин жив», «дайте винтовку», «трагедия нашего движения...» Трагические герои! Да вы юмористы. Или шизики — одно из двух. Ну не может человек, если у него все дома... Или вы, сучьи дети, точно диссиденты? — быстро и неуверенно спросил он.

И Рыжик впервые за весь разговор слабо так улыбнулся:

— Нет, Коля.

— Ну пойдете-то все равно по этой графе,— махнул Лабутин рукой, но эта констатация нисколько не удовлетворила его.— Ну согласись,— продолжал он допытываться, не замечая, что вопросы свои адресует не столько Рыжинову, сколько самому себе — своему мировоззрению, опыту и представлениям обо всем сущем,— что это уже чистейший Герберт Уэллс, выпадение из времени. Идентифицировать революцию и нынешний денечек — бредятина какая! Может, еще за власть Советов пойдешь в бой?

Но весь выраженный им в последней фразе арсенал эмоций, переполнявших его: недоумение, досада и перекрывший все сарказм, оказался не более чем горохом в стенку. Виталик просто, эдак спокойно произнес:

— Пойду,— как о чем-то само собой разумеющемся.

Хоть кол на голове теши... Все же Николай пробормотал:

— Заставь дурака богу молиться,— и опустился на ящик — вдруг навалилась страшная усталость, отупение.

Рыжик новым, изучающе пристальным взглядом глядел на него и в него.

— Мы-то за социализм и только, Коля,— начал он,— но...

— Что «но»? — уныло отмахнулся Николай.

Вконец обессиленная оса уже не билась, но еще жила, доживала, карабкалась по металлическим прутьям зарешеченного окна, замирала и вновь ползла.

— Попробую тебе... Я ехал на БАМ, нас встречали. Девчонки с ветками черемухи, оркестры, митинги — везде. На всем пути следования. И вот Тайшет — такая станция, ты слушаешь меня?

Николай сделал вялый жест: валяй. Оса, однако, забавляла его.

— Заночевали там, отбой, значит, а сна ни в одном глазу. Вышли с ребятами — вокзальчик там... в общем, слово за слово забазарили с одним мужичком. Сам — в чем душа... а глаза — век не забуду. Покорные, вон как у дворняги, но отчего-то мороз по коже от них... Закурили, то да се, сторож он. Вдруг выдает: я, ребята, ветеран БАМа. Мы в ржачку: БАМу-то без году неделя, мы и есть ветераны — будущие, значит. Ну он объяснил,— Виталик на миг безмолвно глянул на Николая, сильно закусив губу.— Оказывается, никакие мы не первые. Они были первыми, они — враги народа, как их именовали.— Он вновь смолк и взглянул на Лабутина: тот внимал.— Зона там была,— продолжал Виталий,— а трест так и назывался «Бамстройпуть». Я к чему это? — пояснил он, покусывая губу.— Зона, представь, проволока

колючая, часовые на вышках, конвой, а над входом лозунг висел, над зоной — «Твой труд... Твой труд вливается в труд твоей республики!» И флаг. Наш флаг. Оркестр марш наяривал. По уграм, когда на работу гнали. Колонна — штыки вокруг, волкодавы, шаг в сторону — палат без предупреждения, а надо всем этим «Марш энтузиастов». Блюли орнамент-то! — с вызовом добавил он.— Потом, когда и мы уже ветку вели, я все его слова вспоминал: ежели б нас тогда, говорит, заместо шпал укладывать, мертвяков наших, до Тихого б океана и дальше хватило, а не то что...— Виталий чутко помолчал и уточнил в завершение: — Тайшет — Лена их ветка была.

— Но ведь построили? — спросил Николай.

— Построили.

— И поезда ходят?

— Мы же ехали по ней!

— Ну вот,— удовлетворенно кивнул Николай, и Рыжику показалось (или нет?), что бывший вожатый улыбнулся.

Лабутин же посмотрел на часы, поднялся, потянулся слегка.

— Извини, я должен идти. Служба!

Виталий тоже встал. Выпрямился. Мелко дрожала искусанная губа, но был спокоен.

— Солгал мне? Что Тайжурский в институте? Где он?

— Не плачь, девчонка. Жив-здоров ваш... Решается вопрос о его партийности. Там,— поднял Лабутин палец вверх.— Что умолчал сразу, прости.

— Ложь при исполнении — не ложь,— кивнул Виталик.— Цель оправдывает средства?

— Была бы цель... Слушай, а давай на посошок,— неожиданно предложил Николай.— Там у нас осталось еще? — Он взял бутылку: чуть-чуть оставалось, разлил, не обращая внимания на оторопь «объекта». Он вел себя так естественно, Николай! Свободно и непринужденно.

Вложил в руку Рыжика кружку, чокнулся об нее своей:

— Ну, за что?

Они стояли друг против друга. П р о т и в — именно так.

Глаза в глаза.

Рыжик поднял кружку.

— К борьбе... за дело... Ленина... готов.

...Когда-то они стояли похоже: друг п е р е д другом, только что без кружек — и эти самые, давно оторванные от своей сути слова Виталик Рыжинов выкрикивал звонко, задронно и весело, будто из елочной хлопушки палил. Теперь он произнес их очень тихо, полупшепотом, но с такою внутреннею силою, как не произносил их на памяти Николая Лабутина еще никто!

Противно жужжала, кружа, оказавшаяся на диво живучей оса.

Со двора колотили в дверь:

— Рыжий, конца не отдал там? Сдавай пост.

Лабутин стоял неподвижно, лицом к окну. Руки в карманах, верхнюю одежду снять не успел.

На уголке стола, склонившись над подстеленной газеткой, Зуев тихонько поедал плавленный сырок с булочкой, запивая молоко.

Аккуратно убрав остатки трапезы, разложил на столе большой, разграфленный на клетки и столбцы, лист ватмана. Кашлянул.

Лабутин склонился над столом. Зуев приготовился объяснять, орудуя авторучкой, как указкой. Извиняясь, сказал:

— Все не успел. На каждой стороне кассеты по четыре лекции.

— Что успел?

— Тут — о внеземных цивилизациях. Я не все понял, хотя интересно. Говорит: считать земную цивилизацию единственной во всем мироздании — это не по-марксистски, это земной шовинизм.

— Дальше.

— А тут,— показал Зуев,— ругает партийных, а Деникина... слышь, Коля, Деникина хвалит и называет личностью.

Николай сосредоточенно кивнул: хорошо, дальше.

— Поносит коллективизацию,— продолжал водить концом «указки» Зуев.— Утверждает, что труд не может быть коммунистическим. А вот здесь...— Он замолчал, покрутив головой, и многозначительно взглянул на Николая.

— Ну? — подстегнул тот.

— Заявляет, что после смерти Ленина у нас якобы в стране произошла... вот, я тут выписал: многоэтажная... тьфу ты, дьявол,— поправил он себя,— не многоэтажная, пардон, а «много-этап-ная контр-ре-во-лю-ция».

— Не понял,— набылчился Николай.— В чей стране?..

Зуев молча смотрел на него. Затем дотронулся до магнитофона — осторожно, будто это был не казенный инвентарь, а нечто живое, притягательное и опасное.

Застыл Лабутин, вслушиваясь:

— «Контрреволюция умеет ввергнуть общество в состояние, когда в забвении оказываются герои революции. На каком-то этапе она сдирает одежду с убитой ею революции и под как ни в чем не бывало развешивающимися ее флагами, переодевшись в доспехи погибших, подхватывает тут же их песню... И тут — ирония истории!»

Генералиссимус Сталин — вот он: красавец-мужчина, орел, самозванный мессия двадцатого века в том образе и подобии, что намертво впаян в память нескольких поколений — на глянцевой фотооткрытке, а за ним Иисус Христос — «готовенький», распятый (тот же глынец, бог весть с какой копии копия); и Высоцкий с двумя неизменными спутницами своей жизни — гитарой и Мариной Влади; и Алла Пугачева при Паулсе и без него, а в довершение этого «джентельменского набора» — конечно, киски, пушистые котятка с бантиками. О, этот столь знакомый всем нам фотонабор — воистину «что угодно для души», помните? — с навязчивой услужливостью подсовываемый пассажирам как пригородных, так и поездов дальнего следования «глухонемыми» молодыми людьми в недавние годы: рубль фото. Не скупись, соотечественник!

— Мама, я хочу кошечек.

— Молодой человек, возьмите с нас, кошки — это наша слабость.

— Шеф, одного Владимира Семеновича кинь или... два, два давай!

— Тань, а, Тань, берем? Кого хочешь — Алку или Высоцкого вон? Обоих?

— Генералиссимус, парень, почему? Рупь? Мы за него всю кровь до капельки! хозяин был! — а ты «рупь»? ...Держи.

Мчится пригородная электричка — та, что «со всеми остановками». То мчится, то замедляет ход, переполненная, вечерняя, будничная.

В тесноте да не в обиде, не привыкать. Надя стоит, нахохлившаяся, а глаза зырк-зырк... еще живут. И Юлька стоит — сидячих мест нет,— вертит по сторонам головой, глянцевые фотокартонки плывут по вагону мимо них.

— Предъявите билетики!

— Э-эх, подари мне билет... прошу пани,— откуда ни возьмись веселый, а скорее навеселе, голос, всклокоченная шевелюра, повадка резвого персонажа кукольного «мультика» — по контрасту с монолитной фигурой вооруженной щелкающими щипцами контролерши в черной шинели.— Н-на поезд куда-нибудь!..

В чью-то протянутую длань Юлька передает портрет Сталина, но задержав в своей руке, оборачивается к подруге:

— Трагическая личность? — В ее улыбке напоминание и намек, понятные лишь им обим, и Надя едва заметно усмехается в ответ:

— У моей бабы Милы одна характеристика: хриstopродавец.

Их толкают: это взлохмаченный «персонаж» с пьяньеньким громким хихиканьем уже настиг «глухонемого»:

— Лик палача в розницу? По сходной цене? А от мертвого осла уши? У вас тоже есть? А круг от бублика?

— Сейчас милицию позову,— обещает контролерша, дырвя щипцами Юлькин билет.— Девушка?

— Не могу найти,— судорожно роется в сумочке Надя.

— Ищи три рубля. Уймите его!.. Проходи,— подталкивает она к выходу «глухонемого», загораживая его от ревящегося «персонажа».

— Нет, позвольте,— упорствует тот,— я желаю приобрести. Оптом! Челоз-эк! Я закупаю палача!

Ну разве может вагон остаться безучастным?

— А по соплям тебе не врезать? Мокрица.

— Черт знает что.

— Распустились, спасу нет.

— Во дает, а, Тань?

— Счас я за милицией... Девушка, поживее, три рубля!

— У нее есть билет. Мы вместе брали, вот же мой,— волнуется Юлька.

— Ничего не знаю. Три рубля или пройдем со мной.

— Распустились.

— Да такого б в наше время раз — и к стенке, шибздик патлатый!

— Истину глаголешь, папаша,— не спорит тот,— хочешь, я тебе в подарок?... Челоз-эк, подай вон тому даде палача! Я плачу.

— У нас нет денег,— пищит Юлька, стараясь оторвать от Надиной руки цепкую руку контролерши.— Но мы честные!

— Выродки,— с отвращением громко говорит красивая дама.— Обнаглели.

— «Честные девушки», ох, умру!..

— Наше гуманное воспитание, если хотите!

— У кого там нет денег? — вытягивает шею патлатый, но Надю контролерша и добровольцы (а как же без них?) уже волокут под руки к тамбуру.

— На, подавись,— выхватывает патлатый трешку, тыча ее в лицо контролерше.— Пусти девку!

— Тебя не спросили. Жлобье поганое!.. — уже не разобрать, чей это «отклик». Заливается слезами — нечего уже стесняться, незачем сдерживаться — Юлька.

Приблизжалась станция.

Вдруг...

— Билет,— тихо сказала Надя. Ее притиснули к стенке тамбура, но руки пустили, и вместе с носовым платком из кармана... — Билет! — в отчаянии повторяет она.

Гул затих. И все головы как по команде — к ней.

— Ну вот так бы и сразу,— как ни в чем не бывало говорит контролерша, и щелкают, пробивая дырочку, ее щипцы.— А то с фокусами! — добавляет она уже вполне добродушно.— А ты не сори деньгами-то,— сует

парню его трешку и отдувается шумно, вздыхая: — Ох, беда с вами, сил уж никаких.

— Не сердитесь на нас,— просит мгновенно осушившая слезы Юлька, встревоженно глядя на Надю.— Надь, мы приехали? Что, больно?

— Не трогай меня,— Надя скривилась и, встряхивая выкрученной рукой, не помня себя, двинулась прямо на контролершу.

И не думая отступить, та удивленно покрутила пальцем у лба: того, мол?

Совсем не злое, простецкое лицо ее — сама неприязнь, обыденная, ленивая, устоявшаяся. Привычно торжествующая. Привычно стирающая в порошок, в пыль. Словно весь мир, все, чем живем-дышим, вобрало сейчас для Нади это лицо.

— Привыкли уничтожать людей! Привыкли, да?

— Умнее будешь.

— Извинилась бы хоть, служивая,— тут как тут и патлатый.

— За что ей извиняться? — «Массовка» не заставляет себя ждать.— Она на работе.

— Иди, иди.— И контролерша как бы нехотя, с ленцой, толкнула Надежду в грудь.

И это уж было всё... Последняя капля.

— Вот тебе!

Вагон вздрогнул и качнулся — станция.

Надин плевок угодил контролерше в щеку. И тогда, совсем уж неожиданно, эта могучая здоровая бабища в черной шинели разрыдалась. Жалобно так... как ребенок.

Подружек почти вынесли из вагона. Но, успев еще обернуться, Надя поймала и вобрала в себя контролершин взгляд — к ней же, к Надежде, и обращенный, ей жалующийся, ее сочувствия просящий!

Поздно. Двери захлопнулись. Стремительное пустела платформа.

— Где я? Господа присяжные заседатели, куда я попал? — сидя на перроне, потирая ушибленное колено, вопрошал патлатый гореперсонаж, под шумок ловко выпихнутый из вагона «глухонемым и К°».

Надю же разом оставили силы. Ноги подкосились, тихо сгуля, она опустилась на перрон. Ее мутило и трясло.

— Сейчас, ребята,— бормотала,— сейчас...

Вспокоившаяся Юлька металась между ними — патлатый уже не был для нее чужим.

— Так нельзя,— мотала Надя головой. Перед ее глазами все еще стояло лицо отомщенной ею контролерши. У Нади начинался жар.— Нельзя,— бормотала она,— нельзя...

Патлатый на четвереньках подполз поближе, привстал на коленях.

— Если не мы их, то они — нас. Константин,— протянул он руку.— Можно просто Котик.

...Чуть в сторону от слабо освещенной платформы, где таким вот образом знакомятся наши герои, — и уже тьма, смутно белеющая березовая роша и случайный на сырой опушке костер, в безлюдье не принадлежащий никому, как естественная малая частица мироздания. Как ветер. Как мгlistая ночь. Как бог знает что означающий шорох лесной. Как весна — пусть еще и не красна.

Огонь пожирающий.

Язычки пламени лижут картонную обложку толстого рукописного журнала, еще видна надпись на обложке: «ПРЕДЫСТОРИЯ». Огонь переворачивает страницы — исписанные и чистые, они обугливаются, рассыпаются, обращаясь в пепел, они исчезают? Или, сгорая, переходят в инобытие, становясь частью царствия огня — вечно заволаживающего взор, ежесекундно переменчивого зрелища, полного нераскрытых смыслов и тайн?

Сколько же раз и в каких огнях-пожарищах горела — не сгорая — Предыстория общая наша?

— «Мир зарождается из огня и вновь обращается в огонь, и эта смена совершается периодически, в течение всей вечности, происходит же это по определению судьбы».

— Что? — рассеянно переспрашивает Рыжиков. Он грубо вторгся в огненное царство кочергой.

— Гераклит, — лаконично пояснил Никита.

Виталик хмуро кивнул. Наши коммунары сжигали свою «предысторию».

Нет дыма без огня. Листы тетради занялись огнем, ну а от клеенчатого переплета пошел вдруг едкий да злой дым.

— Любаша, забери детей, — крикнул в комнату Никита.

— Лада, Сергей, идите сюда, — послышался голос Никитиной жены.

Еле виден стал сквозь дым нарисованный на печке ежик.

Летела копоть. Ребята растерялись. Дымовод ли враз отказал, или она сама, всегда добрая, теплая и мудрая их Печка, с которой так часто звучало им то, что сейчас — записанное на бумаге — тщились они уничтожить в ее же огне, воспротивилась этому?

— Что за черт? — пробормотал Никита, постукав по ней кочергой. — Эй, печь?

— Нет дыма без огня! — раздался из сеней незнакомый им веселый голос.

Котик-Константин, вошедший первым, оглядывался на замешкавшихся Надю с Юлькой:

— Спасительницы мои, где мы? В геенне огненной? — И пока Надя оттуда, из темных сеней, кричала: — Вы с ума сошли? Откройте форточку! Юль, раскрой двери! —

он, с любопытством оглядывая три живописно грязные физиономии, улыбнулся им: — Здоров, грешники!

Один-единственный светил на спящей улице тускловатый фонарь. Ни огонька уже в домах. Но ночь не темным-темна — полнолуние.

Силуэт оставленных поодаль от домика «Жигулей» в лунном свете несколько зловещ. Олег отошел от машины — оглянулся, пожившись.

Калитка не скрипнула.

Из бокового окна падал на землю слабо различимый квадрат света — там, внутри, горел, очевидно, лишь ночник.

...О, не только ночник. В руке маленькой девочки — Никитиной дочки Лады — была зажженная лучинка. То самое окно, в которое вчерашним промозглым утром вглядывался Лабутин. Поозиравшись настороженно по сторонам, всмотрелся сейчас и Олег. Его не видели. Сидевшие в комнате за столом — все они, кроме кудлатого парняги рядом с Надей, были Олегу знакомы — смотрели, как Лада торжественно одну за другой зажигает тоненькие, воткнутые в стоящий перед Надей пирог свечи.

Олег попытался сосчитать огоньки свечей и сбился. «Сколько же ей уже?..» — Он не помнил. Она сидела лицом к окну и была — все еще! — пьянщяще молода и... И прекрасна? Он никогда не знал, красива ли она, скорее, нет. Но лишившись гладенькой девчачьей свежести, она обретала взамен нечто другое... Нет, это был не «расцвет», — он жадно вглядывался в нее, — это была не п о х о ж е с т ь, вот что! Она обретала ту редкую единственность (без него, без него! сознание этого резко кольнуло его), к которой обычные женские ухищрения уже мало что могут добавить. Понимает ли она это?.. Но ей было в эту минуту хорошо — полумрак же комнаты и пламя свечных огоньков, снизу освещавших лицо ее, скрадывали, прятали и усталость, и напряжение, и болезненный жар. Она была среди своих — этих глубоко чужих, а теперь и почти ненавистных ему «своих», и, кстати, что это за лохматый тип с ухватками профессионального тамады, занесший над огненным пирогом острый нож?

Олег решительно поднял руку. Выждал мгн. И, отвернув от окна лицо, продолжительно, громко постучал, зная, что одним махом уничтожает там, в комнате, и х праздник.

Успел еще зафиксировать общий на всех лицах (за исключением детей и кудлатого незнакомца) испуг.

В тишине были слышны шаги под окном — к крыльцу. Ребята замерли. Ни у кого, кроме

Котика, не было сомнений в том, что произойдет дальше.

— Кончен бал, погасили свечи.— Виталий стал лихорадочно задувать (зачем?) огоньки.

Любаша прижала к себе детей. Котик с удивлением переводил взгляд с одного на другого.

— Вы чего, а, граждане? — В дверь уже стучали.— Открыть? — спросил он.

— Там открыто,— пискнула Юлька.

— Встретить?

— Я сама,— сказала Надя, поднимаясь.

— Сиди.— Виталик и Никита встали разом.

— Я сама,— повторила она и пошла к двери. Никита с Виталиком остались стоять.

Никита подошел, судорожно обнял всех троих.

— Люба, получишь мою зарплату и уезжайте, и береги их...

Любаша тихо заплакала. Понурился голова, стоял Рыжий.

Котик смотрел на них на всех, разинув рот.

— Нет! — Надя даже закрыла глаза, не веря.— Нет...— Олег подхватил ее: «Ты моя Надежда!», прижал к себе, и она повисла у него на шее.

Петька так и прирос к полу.

— Ты моя Надежда!

— Ты... ты один?

— С мотором. Я за тобой.

Она то ли засмеялась, то ли всхлинула. Петушок стоял ни жив, ни мертв.

— Олег! Олег, тут у нас опасно,— сбивчиво заговорила она.

— Я все знаю,— Олег бережно отстранил ее, повторил:— Я за тобой. Быстренько собирайся, самое необходимое, мотор на улице, давай,— подталкивал ее.

— И куда? — игриво спросила она в приливе безотчетной радости, словно в миг о многом позабыв.

— На кудькину гору. Ну быстро, Надька, индюшечка, давай!

— Угу, ладно. Ну... а, может, посидишь немножко с нами? — потянула она его в комнату.

Ей очень захотелось вдруг, чтобы он был рядом. Все остальное отошло, отступило, провалилось в тартарары.

— Только так: раз-два и вперед,— подался он вслед за ней.— И без лишних слов,— предупредил.

Она согласно улыбнулась.

— Привет бывшим коммунарам.

Плывать он на них теперь хотел. Олег вернул себе власть над Надей — это доставляло удовольствие. Она уже вытаскивала дорож-

ную сумку, он помог ей и прошел к столу, уверенно плеснул себе наливочки. Все молча смотрели на него, постепенно приходя в себя.

— Мы не бывшие,— это отозвалась маленькая девочка, Лада.

Олег засмеялся, подмигнул ей с братиком.

— Вы-то еще нет. Вы — загадочное будущее. А это всё...— пренебрежительно махнул он рукой, указывая на молодого Ленина на картине, портреты Маркса и Энгельса, а заодно и на всех присутствующих,— прах! Ну, за Надежду,— поднял стакан.

Его не поддержали.

— Рано отпевае нас,— подал голос, кажется, Никита.

— Самое время.— Олег и взглядом не удостоил его. Чуть пригубил из стакана.

И вот тут-то пробили часы — как по заказу. Двенадцать, полночь.

Все невольно оживились, задвигались, перевели дух. Улыбаясь сквозь неприсохшие слезы, Любаша чмокнула Никиту в щеку — у того было виноватое лицо — и понесла уснувшего Сережку на печь, Никита обнял дочку, Виталик вновь стал зажигать свечи, а Котик, не спрашивая разрешения, снял гитару со стены.

И только Надя застыла над несобранной сумкой у всех на виду — будто теперь лишь опомнилась. Никто не смел ее ни о чем спросить. Но все ждали.

Ее мгновенный порыв к нему, вызванный неожиданностью его появления, был данью прошлому, не больше. Она вернулась в явь. Оглядела лица близких, обращенные к ней. Все тут, не хватало лишь фото Сотникова на шкафу, но да вот оно — в руках у Олега. Она не ведала, почему оно оказалось у него, и не слышала, как Котик тихо спросил: «Кто сей?» и хмыкнул недоверчиво, когда Олег в ответ сердито ткнул пальцем в фотографию Таюрского.

Слово было ее.

— Давайте за то, что всегда: чтобы мы — не последние!

— В цепочке,— досказал Виталий, поднимая стакан.

— Или в очереди,— не сдержался, прикуривая у Котика, распознавший в нем новичка Олег.

— За чем? — не преминул полюбопытствовать тот.

— А на Голгофу,— хладнокровно пояснил Олег, негромко, но так, чтобы слышали все.— Не хотят, видишь ли, быть в хвосте.

— По-вашему, мы уже жертвы? — нарушил неприятную паузу Рыжиков.

— Причем не безвинные. Не безвинные! — не стал отступать Олег.— Знала Маруся, шо купувала... Только где вам эту вину прозреть!

— В чем же она, по-вашему? — спросил Никита.

Олег коротко, язвительно рассмеялся:

— Что, Никита Сергеевич, ты меня гипнотизируешь? Тебя, кстати, давно спросить собирался, не случайно эдак-то нарекли?

— Не случайно,— ответила вместо мужа Любаша.

— В честь, значит, знаменитого тезки? Поздравляю. Еще одно имя на красном знамени. Помните, как он... Вы пешком под стол ходили, не помните, а мы в школе на голубом глазу складывали-вычитали: до коммунизма о-го-го, ребята, еще целых восемнадцать лет, до тысяча девятьсот восьмидесятого, значита, года... А сейчас какой? Какой год, Ладушка, не подскажешь?

— Тысяча девятьсот восемьдесят пятый.— Лада встала, отвечая, будто первая ученица на уроке.

— Вот! — с удовлетворением поднял палец вверх Олег.— А воз и ныне там. Критерий истины что, отличники, а? Практика. Вывод?

— Вывод напрашивается,— усмехнулся Котик. Время от времени он трогал гитарные струны, с любопытством прислушиваясь к разговору.

— Да какой истины? — крикнула Надя.— Какой?!

— А той самой, за которую наша социалистическая Родина заплатила ценой изряда вон для всех народов и всех веков! — гневно выкрикнул в ответ Олег.— Фашизм человечеству во столько не обошелся, во сколько нам эта вот ненаучная фантастика,— потряс он выхваченным с полки томом и отшвырнул его на диван, где сидел в стороне от всех Котик, едва не угодив в него.

Тот в наигранном испуге отпрянул, хохотнув:

— Граждане, он ушиб меня Марксом! Лада прыснула.

Никита, сняв дочку с колен, медленно поднялся, но Олегу точно шлея под хвост попала — не дал ему и рта раскрыть.

— Бородачам еще простительно,— кивнул в сторону портретов,— они только книжки сочиняли. Но нашелся же «кремлевский мечтатель»,— мстительно ткнул он в репродукцию с картины Петрова-Водкина,— от которого фантаст из фантастов, Уэллс, и то опупел. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» Сделали! Сделали, мать вашу... И еще: дескать, бытие определяет сознание. Фигушки! Не бытие, не житуха человечья порождает идеи-то у нас, а наоборот: абстракция насловала жизнь. Не идеал для человека, а человека для идеала, что, не так?

— Точно! — восторженно поддержал Котик.

— Так,— Никита набрал воздуха в легкие,— да не так. У нас всё не по Марксу, не по Ленину — ими прикрывались. Предали! Я, когда это понял... — Он не договорил.

— Но они не жертвы,— о тех, кто изображен был на портретах, сказал Виталик скорее полувопросительно, чем утверждая, и добавил: — Как и мы.

— Потому что непобедивших революций не бывает, правда ведь? — наивно обратилась ко всем Юлька.

Ее детскость окончательно вывела Олега из себя.

— Крошка Цахес, утонувший в собственном горшке,— вот она, ваша революция со всеми ее «идеалами»!

— Наша? — Надя сорвало с табуретки, вынесло из-за стола.— Наша! И — не твоя?

— Я ее не звал!

— Но пользуешься?

— Плодами? Как и все. Отцы ели кислый виноград, а у детей оскомины. Но я терплю. А вы... вы...

— Что? Ну, договаривай!

— Самообман не панацея от обмана. Ваша дорога — в никуда. Но у тебя есть шанс, Надежда. Последний.— Он приподнял ее сумку.— Поехали.

— Куда, Надя? — испуганно подалась вперед Юлька.— А мы?

— Насчет вас указаний не было.— Олег, умяв вещи в сумке, застегивая молнию, спросил: — Ничего не забыла? Травку можно захватить,— снял пучок травы со стены.— А это,— фото Сотникова сунул Котику, негромко попросив: — Отправь в печку.

— Стоп,— сказал Рыжиков, вплотную приблизившись к Олегу так, что тот чуть отступил.— Каких это указаний? Чьих?

— Ихних,— со смыслом поглядел на него Олег.

— Чьих? — повторил, подходя, Никита.

— Архангелов — как это у Ильфа — Петрова... К которым я по вашей милости сподобился. Тоже, кстати, люди. И надо же хоть кого-то из вас спасти!

Его взгляд был устремлен к Надежде. И все невольно обернулись к ней.

— Спасти? — переспросила она.

— Угу. С условием, что я тебя отсюда умыкаю. И х условие.

— Как, насовсем? — еще не доходило до нее.

— Насовсем, Надья, милая, насовсем! — Он подошел и, не обращая ни на кого внимания, стал гладить ее по волосам, по лицу с искренней нежностью, уговаривая, ища ее ускользающий взгляд: миг был решающий. Или — или: — Тебе жить надо, жить, мир не так плох, если самому не лезть в огонь, свет еще клином не сошелся на твоей коммуне... А тетушку, Милицию Георгиевну, мы известим.

— Ты опоздал, Олег,— Надежда не делала попытки отстраниться, но из-за плеча бывшего возлюбленного ей видно было, как с кинокадром в руке зачем-то направился в кухню

Константин, волчком кинулся на него Петька: «Отдай», и оба скрылись за дверью. Кроме Нади, никто этого не заметил, все смотрели, ожидая развязки, только на нее.

— Лучше поздно, чем никогда. Я вовремя,— торопился, умолял ее Олег.

— Может, и правда, Надя, поезжай,— едва успела подать голос Юлька, как из кухни раздался душераздирающий вопль.

Олег не смог удержать ее — Надя рванулась туда, и всю компанию вымело вместе с ней.

Он побрел к выходу — через кухню, к сепям. Остановился.

— Масла! Надя, у тебя есть подсолнечное масло? Сейчас, Петушок, терпи, казак...

Петька сидел на полу, стонал, тряс обожженной рукой. В другой руке держал обуглившееся фото Сотникова, выхваченное им из огня, из раскаленного нутра печи. Надя металась по кухне, доставая бинт, вату, масло, одеколон. Опустилась на колени, дула на Петькин волдырь. Любаша протянула ватный тампон, Юлька готовила компресс.

Рыжиков, а за ним и Никита, не тратя слов, схватили виновника происшествия за грудки.

— Он ни при чем, братья-коммунары,— сказал от двери Олег,— моя воля. Едешь, варяг? — спросил Котика.— Могу подвезти.

— Мне не в ту степь,— ответил Котик, переводя дух. Его отпустили. И он бочком-бочком проскользнул в комнату.

На Олега никто не взглянул. Возились с Петькой, с печкой.

— Прощайте,— сказал он.

Никто не ответил. А Надя так, кажется, даже и не услышала.

Он еще помедлил, чего-то ждал. Стоял один, потерянный.

Ухода его не заметили.

— «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — мечта...» — развалясь на диване, под гитару напевал в пустой комнате Котик, задумчиво морща лоб.

За столом, подложив под щеку ладошку, спала девочка Лада, так и не дождавшаяся именинного пирога.

Свечи на пироге, догорев, оплыли либо, не догорев, погасли. Котик услышал, как на улице завелся мотор, машина отъехала.

А он сидел, не шевелясь, в этом еще мало понятном ему, но отныне знакомом доме и не мигая смотрел на огонек единственной, чудом уцелевшей свечи.

На рассвете автобус увозил его в город.

Зевая после «крупного недосыпа» (как выразился бы сам Котик), он зябко поежился, моргал. Плюхнулся на сиденье, глубоко

ко вздохнул, намереваясь чуток вздремнуть, рассеянно взглянул напоследок в окно, за которым остался покидаемый им безвестный — каким несть числа — поселочек-полудеревня, куда занес его случай (или судьба?), и вдруг, удивленный — сонливости как не бывало,— прижался лбом к мутному стеклу, всматриваясь: трое мальчишек маленьким строем бежали по обочине шоссе. У старшего была забинтована рука. Котик узнал его. Куда устремляются они в этот час, зачем?

Из заднего окна автобуса Котик смотрел на них — отдалявшихся с каждым мигом, но все никак не исчезающих, все различных.

— Зато с уроков отпустили,— похвастался как бы в свое оправдание Петька.

Баба Мила, чистившая картошку, только вздохнула. Петка, как мог, одной рукой помогал ей: налил воды в миску, мыл очищенные картофелины.

Что-то кончилось, что-то должно было начаться.

— Баба Мила, а почему тебя тогда с нами не забрали? — нарушил молчание Петька.

— Я для них, Петушок, теперь безопасная. Что со старой хрычовки возьмешь? Отпущенная я, и бумага есть.. Они знают.

— Что знают?

— А всё. Всё они про нас про всех знают. Дело ихнее такое. Положено им.

— Да откуда ж?

— Поди догадайся.— Милица Георгиевна вновь вздохнула. Спросила шепотом: — Не били тебя там?

Петька помотал головой.

— Ну и хорошо. Ругались-то шибко?

— Не матюкнулись даже ни разу.

— Плохо,— задумчиво проговорила баба Мила.

Петька с удивлением посмотрел на нее.

— Затаились, значит. Ах, беда. Мамки-детки ваши бедные, Любаша-то с двумя, коль что, останется... И сами-то вы все неприспособленные нисколь. Пропадете там,— скорбно, точно в беспомытстве, качала она головой, и взгляд ее был застывший, невидящий. И это бормотание...

В непонятном волнении Петька облизал губы.

— Где — там?

— И Надюшка... Что стоишь? — словно очнулась вдруг Милица Георгиевна.— Глянь, как она.

Взобравшись на лавку, а оттуда на печь, Петька откинул ситцевую занавеску, за которой, разметавшись в забытьи, спала Надя.

— Забылась? Жар у нее.— Баба Мила с пристальной ревностью следила за Петькой, за тем, как он слазит с печи, и, смущенный этим ее взглядом, он сказал грубо:

— Проснется, а у нас жрать не готово. Картошку варить будем или как?

Старуха, не отвечая, как-то странно, в упор разглядывала его.

— Баба Мила... Ладно, я сам.

Она тихо подошла, отобрала у него кастюльку, вынула картофелину, отрезала ломтик. Поднесла ему ко рту.

— Ешь.

— Чего это ты? — не понял Петька.

— Ешь, говорю,— требовательно повторила Милица Георгиевна, чуть ли не мстительно глядя на него.

— Что я, того? Она ж сырая!

— Ешь,— прикрикнула баба Мила.— Тебе говорят, шпаненок! Привыкли к разносолам, ишь, забаловали вас. Грызни-ка, вон зубы-то целы, грызни, миленький, да пожуй, пожуй. Валяй, ну-ка, ну!— Она казалась безумной.

Петька попятился.

— Не буду!

— Да она сладкая, сынок, добрая. Своя картошка-то, вместе ж мы все и сажали, рбстили, коммунары-то, чтоб на всех и хватило, а ты брезгуешь чего-то, чего, а? — Наступала она на насмерть перепуганного Петьку.— Нешто я тебе гнилую дам, гадкую, подельничку-то нашему меньшему? Сок в ней, Петенька, витамин, от цинги первейшее дело, кушай, кушай...

— Пусти! — Петька увернулся наконец от нее, отскочил.

Громко хлопнула за ним дверь. Баба Мила вздрогнула. И застыла, враз обессилев, с позабытою жадностью глядя на волю — в окно.

Свинцовое небо, как низкий потолок над домишками, изгородями и черною, насквозь промокшею землею огородов, вдруг словно приподнялось — этот миг был неуловим, — и тонкие серебристые ниточки-лучи еще робкого, еще неяркого солнца — их можно было даже пересчитать — пронизали тяжелый покров туч, протянулись сюда, вниз, к отвыкшей от вёсен, но вряд ли забывшей их земле.

И, как все живое, чудом, казалось, не умерщвленное в долгие злые холода, баба Мила инстинктивно поддалась им, вбирая в себя эти первые зримые лучи.

Долго ли, коротко ли стояла она так, когда вдруг: «Господи!» — ахнула тихо, спохватившись ли, вспомнив ли что-то. О, эта улыбка — улыбка ли? как это назвать? эту робкую надежду, пробившуюся, как солнечные лучи сквозь тучу, на застывшем маскою лице.

— Баба Мила! — Слабый голос из-за спины вернул ее к действительности.

Оглянулась.

Племянница, одетая и — и чутье не обмануло старуху — готовая «на подвиги», стоя у порога, махала ей: дескать, пока!

— Ты куда?! — не выкрикнула, а только прошептала Милица Георгиевна.

Надя сделала неопределенный жест рукой. И тогда разъяренно наседкою, защищающей своего неразумного птенца: «Не пу-щуй!» — налетела на нее старуха, настигнув уже за порогом. Перепуганный кот метнулся в сторону, присел, прижав уши, уставясь немигающе на полуоткрытую дверь, за которой завязалась борьба.

— Баба Мила, мне туда... Нádюшка... мне в город... кровиночка моя... они, они... не пойдешь... Владимира нашего... не дам... не смеют они... что матери-то скажу... не смеют, пусти... мало нашей кровушки... не хочу... лучик мой последний... я должна... Нádюшка... должна, дура ты... смерть лучше, Нádюшка, с м е р т ь! — Из самого нутра точно выхаркнула последнее слово старуха. Кот вздрогнул, забил хвостом, глядя, как она, пошатываясь, вошла, вешала на крючок Надину сумку, плащ, руки ее дрожали, а Надин, вначале тихий, плач становился все безутешнее, все громче.

И она вновь лежала, зарывшись лицом в подушку, на печи, баба Мила сидела рядом, гладила ее попеременно с этим наглым любимцем — котом, конечно же, растянувшимся рядышком с Надею. В окутанной сумерками комнате — а казалось, далеко-далеко — били часы. Речь бабы Милы и без того не была плавною, а в Надином горячем сознании, сквозь жар и полузабытье, отрывистые фразы тетки путались, пропадали и возникали вновь, выстраиваясь в неровный ряд — не ряд...

— ...для инвалидов,— бормотала баба Мила.— Сперва делали инвалидами, а потом туда... Женский. И меня... Вот были девочки. Галочка, помоложе тебя... Школьницы, подружки... Собирались, Ленина читали... Вместе, кучкою... Зачем кучкою? Одна мама сказала другой, та третьей: зачем кучкою?.. а та и сбегала, рассказала... Всех забрали! Лучше смерть... Жена композитора известного — та все по помойкам... По помойкам, а Галочка... забывалась, стала на ходу... помоложе тебя... В школе-то как учили? Самое дорогое у человека — это жизнь, так, Нádюшка?

— А потом?

— Потом — выздоровеешь ты, печку побелим. Сейчас чайку тебе, с мятою... Дожили мы, и Галочка дожидла... Яички покрасим к пасхе, пасха у людей, воскресенье...

— Воскресение... а потом?

— Что, детонька?

— Дальше?

— А... Самое дорогое у человека — это... Это, Нádюшка... Ты спи, спи. Вот и Тигрик рядом с тобой, Тигрик рядышком, киски-мурсыки, простили нас...

— Нет!..

— Простили, Надюшка. И меня, и Галочку... она после уж померла... всех...

— А ты...— Надя хочет еще что-то спросить — важное, самое-самое важное, вскакивает, садится, но бабы Милы нет рядом, давным-давно ночь, и кто-то неотрывно, вопрошающе смотрит на нее. Она вглядывается и узнает этот воспаленный взгляд на бледном, небритом, в ссадинах, лице, и ворот шинели, и что-то неслышно шепнувшие — ей? ей! — губы, но что?..

— А ты? — допытывается она. Губы его шевелятся, но звука не слышно.— Ты тоже моложе меня, да? Да... Самое дорогое у человека — это жизнь, а ты... Ты восемнадцатого года рождения, я помню. Борис тебя зовут. Нет... нет, Борис — это актер, а ты... Ты? Тебя — простили?

Но его уже нет, и она знает, знает ответ.

— Нет! — кричит она, протестуя, в бессилии проваливаясь куда-то во тьму.— Нет! Тебя нельзя!

— Нет!! — кричит она, закрывая руками глаза в темноте, но это не помогает ей, она видит: металлическая пятиконечная звезда накаляется в огне печи. Сотников (Владимир его зовут?..) привязан к стулу, сейчас распахнут на груди его шинель...

— Не-е-ет!!! — кричит она, но поздно: профессор Таюрский глядит на раскаленную звезду, голова его запрокидывается, он привязан к стулу, сейчас... Она не слышит своего крика, лишаясь сознания вместе с ним, но видит еще — последнее, чего уже не видит он: как шипит, остужаясь, опущенное в тазик с водой орудие пытки, пятиконечная звезда.

Рассвет просочился в щелку между оконными шторами, быстро светлело. В комнате ненужно горела настольная лампа, беззвучно крутились бобины невыключенного магнитофона, шуршала, запутываясь все больше, пленка.

Лабутин так и заснул — сидя, уронив голову на чистый, без единой записи, лист бумаги. Впрочем, нет, не совсем чист был лист, какие-то машинально сделанные штрихи складывались в контур фигурки... ежика, что ли? Ну да, знаете, есть такая игра: не отрывая руки от бумаги, нарисовать ежика или крокодила — это удается не каждому. Вот Лабутин умел.

Отзвучал гимн, негромко заговорило радио, перечислявшее обычные новости жизни страны.

День обещал быть ясным. Николай распахнул окно и, выглянув, воровато осмотрелся — как мальчишка, замисливший шалость и оглядывающийся: нет ли свидетелей? — и стало видно в этот миг, что он еще, в общем-то, молод, Николай Лабутин, не все у

него позади, и сам он, возможно, почувствовал так же, улыбнулся, встрепанный, стяхнувший сон, подставил лицо и грудь ветру, воздуху, и «утренняя зарядка» его (никто же не видит!) была хулиганистой, смешной. А радио бормотало и бормотало себе негромко: закончилась весенняя посевная, еще раз подтвердившая прочность колхозного строя в нашей стране; креп социально-экономический и научно-технический потенциал, не имеющий себе равных в мире; досрочно выполнялись и перевыполнялись планы; выигрывались соцсоревнования; единая семья советских народов несла всему миру пример нерушимой дружбы и братства; радовали успехами культура и спорт; близилось 40-летие Победы; в Москве приступил к работе внеочередной Пленум ЦК...

И начался новый день.

Надя выскочила из автобуса.

Бежала по улицам города.

Она должна успеть!

Не опоздать.

Только что отговорив с кем надо по телефону, Николай Лабутин погрузился в бумаги, разложенные на столе, когда она без стука влетела в его кабинет.

Он узнал ее сразу, хотя на фотографии в шкафу бабы Милы она выглядела безмятежней и моложе. Надежда Ивлева. Он произнес ее имя вслух и встал.

— Вы... Я...— она задыхалась от волнения и быстрой ходьбы.— Вы... Мы...

Она знала, кто он.

Было не до церемоний. Не до вопросов-ответов. И он не дал ей произнести, выплеснуть, выпалить выстрадавший ею монолог.

Улыбнулся — как обезоружил.

— Если будет определено, что ваш профессор не виновен,— он выдержал нужную паузу,— вы получите от меня... какие ваши любимые цветы?

— Определено — кем? — перебила она.

Николай секунду помедлил. Пожал плечами. Ответить мог по-разному. Сказал:

— Партией.

— Но он и есть партия. Настоящая. Именно он.

— «Именно он» может и перестать быть ее членом. Или, скажем, так: все мы смертны, естественный процесс... А партия ничего, живет.

— Но без него она не та.

— В каком смысле «не та»? — Николай сел, знаком указал и ей на стул.— Это наша партия.

— Ваша.

— Наша,— с ударением повторил он. Она несогласно покачала головой.
— Значит, мы по разные стороны? — он попытался придать вопросу шутливый тон. Она присела осторожно на краешек стула.

— Я там, где он.

— А где он?

Она молчала. Он испытующе смотрел на нее. Взгляды их встретились. Надя сказала:

— Я хочу у вас что-то спросить.

— Пожалуйста.

— Вы тоже считаете, что самое дорогое — это жизнь?

— Смотря чья,— рассеянно ответил Николай. Его занимало другое.— Так как же насчет цветов? Да вы не стесняйтесь!

Она поднялась и отступила к двери.

— Розы? А может, гвоздики — цветы революции? Я с удовольствием вручу вам их в знак...

— Прощения? — подсказала она.

— Пусть так. Если он и есть партия. Вы поняли меня? Так какие же? Ваш цвет по гороскопу какой?

— Желтый,— сказала Надежда.— Лютики, одуванчики. Куриная слепота. Я могу идти?

— Бога ради,— ответил Николай,— только куда?

Эпилог

Весна грянула внезапно — дерзко, солнечно, облегчающе и буйно.

Котик (он же Константин) отошел от щита с расписанием лекций и, почесав в затылке, глаза на номера аудиторий, как бы нехотя побрел по пустому институтскому коридору.

Вот и нужная дверь — подошел, приложил ухо к щели.

— ...Те же самые ошибки, просчеты, промахи, о которых я вам говорю, могли бы происходить без миллионных арестов,— услышал он.— Люди бы остались целы. И это бы создавало у нас сейчас совсем другую ситуацию, если бы остались целы те люди. Самая сильная часть общества была уничтожена, самая сильная и многочисленная. И можете не сомневаться, что в этой аудитории сидел бы другой состав.— Голос Таюрского был жесток, сух. Котик просунул голову в щель.— Можете не сомневаться в этом. Многие ли из вас тут сидели... бы? Может, ни одного!

Котик раскрыл дверь и вошел в аудиторию.

Черная «Волга» стояла у васьильковых ворот.

— Ничего не прикарманили? — пересчитывая магнитофонные кассеты, которые

Зуев складывал ей прямо в подол фартука, строго спросила баба Мила.

Смеялась на крылечке девочка Лада, игравшая с братишкой.

Солнечный, ясный денек, лето...

Баба Мила с полным фартуком возвращалась к крыльцу.

Зуев догнал ее.

— Вот,— протянул ей шерстяные носки,— это ваши, спасибо.

Она недоуменно взглянула на него.

— Ваши,— повторил он неловко,— хорошие носки.

Милица Георгиевна кивнула, вспомнив.

— Ну и носи на здоровье, сынок,— и пошла к дому.

Стоя в телефонной будке, Надя набирала номер. Ждала.

— Цветы? Какие цветы? — не сразу сообразил Лабутин, сняв трубку.— А,— он узнал ее и сухо ответил:— Не климат еще, знаете ли.— И положил трубку.

Надя вышла из автомата, постояла, медленно пошла по улице.

В телефонную будку сразу же втолкнулась большая компания ребят.

— Эй,— окликнули Надю, обнаружив забытую ею сетку-авоську с коробочками «моющих средств» (бывших тогда еще в изобилии, кто поверит!) и пачками «Беломора». — Эй, метелка! Дефицит забыла!

Она не оборачивалась, и они догнали ее, отдали ей авоську, но отойти не спешили: разглядывали ее, изучали, примеривались, прикидывали: своя ли? на что годится? отпустить, задержать, «пошутить», захватить с собой?

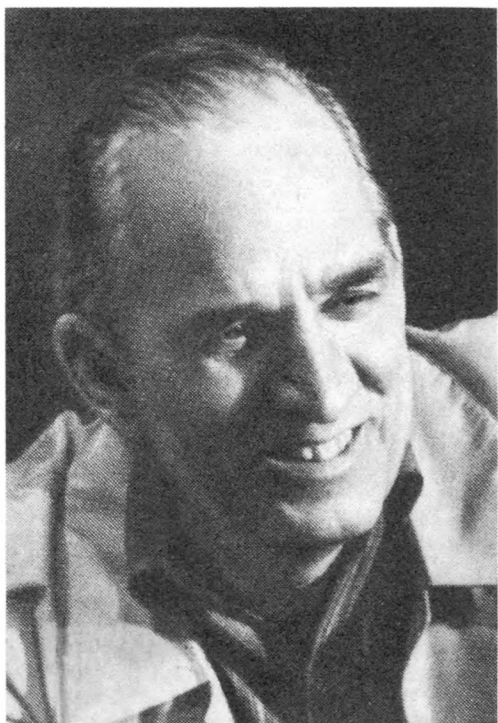
— Куда топ-топ, бабуся? Попыхтим с нами?

Она рассеянно оглядела их, пожалала плечами. Одно лицо показалось ей знакомым: «куколка» из библиотеки, тоже узнавшая и «не узнавшая» ее.

Но компания уже потеряла к ней интерес — из переулка вышли другие, точно такие же, как они, теперь это была настоящая толпа, по-хозяйски уверенно двигавшаяся посередине улицы в им одним известном (а скорее, неизвестном) направлении. Они были немногим моложе Нади, а в остальном... Впрочем, не станем описывать их, нынешних героев многих и многих кинолент. Они шли по улице, наступало их время.

Но — только ли их, только ли?..

1989 г.



**Ингмар
БЕРГМАН**

ЗМЕИНОЕ ЯЙЦО

*Человек — это бездна, голова кружится
у того, кто заглянет в нее.*

Георг Бюхнер

1

Берлин. 3 ноября 1923 года, суббота, поздний вечер. Холодный ветер несет по плохо освещенной Альбертштрассе, которая тянется через бесконечные кварталы и где-то в юго-западной ее части замыкается бойней. Пачка сигарет стоит тринадцать миллионов марок, и люди уже просто перестали верить как в будущее, так и в настоящее.

Абель Розенберг возвращается домой. Он сильно пьян и на ходу пошатывается. Его довольно легкий летний пиджак плохо защищает от пронизывающего ветра.

Пансион, где он живет, находится в глухом переулке. В столовой, расположенной на первом этаже, идет семейный праздник. Там полно народу, слышны крики, смех, звуки музыки. Приятный и в то же время какой-то непривычный чад тянется из кухни, где хозяйка, госпожа Хемзе, вместе со своими подругами суетится у плиты.

Абель сам берет ключ из стола консьержа, отпущенного по случаю праздника домой, и, перешагивая через четыре ступеньки, торопится в свою комнату. Он заворачивает за угол, проходит небольшой, наполненный угаром коридорчик, с трудом попада-

ет ключом в замочную скважину и наконец открывает дверь в свою комнату.

На неубранной постели сидит брат Абеля Макс. Он мертв. Он выстрелил себе в рот. Затылок разбит, и из него стекают кровь и мозг по стене на кровать. Он сидит, немного откинувшись, с полукрытыми глазами и ртом. Большой пистолет военного образца все еще зажат в его руке. Из столовой внизу доносятся шум и музыка.

2

На следующий день, воскресенье, 4 ноября. Контора местного полицейского участка. Бледное осеннее солнце проникает через грязное окно, которое выходит в голый сад.

Комиссар Бауэр, позевывая, входит в комнату, держа в руке кружку с кофе. Он толст, широкоплеч, у него рыжие волосы и борода.

Абель Розенберг приподнимается и протягивает руку, но комиссар делает вид, что не замечает ее. Он грузно усаживается за стол, прихлебывает кофе и, повернувшись к Розенбергу спиной, некоторое вре-

мя наблюдает за играющими в саду детьми. От камина в углу комнаты невыносимая жара.

Появляется секретарша, кивком головы здоровается с Абелем Розенбергом, садится, приготавливает блокнот и карандаш. Ей около сорока лет, она коротко подстрижена, но волосы некрашеные. Безукоризненно белая блузка обтягивает ее полную грудь.

Комиссар снова поворачивается к своему столу, ставит перед собой кружку с кофе и с легкой усмешкой нетерпеливо смотрит на Абеля.

Бауэр: Так, значит, по-немецки вы не говорите.

Абель: (качает головой).

Бауэр: Дьявольское затруднение. Вы испортили фройляйн Дорст воскресенье. (Показывает в сторону секретарши.)

Абель: Мне очень жаль.

Бауэр: Ваше имя?

Абель: Меня зовут Абель Розенберг, тридцать пять лет, родился в Канаде, родители — датчане. Мой брат Макс, его жена Мануэла и я приехали в Берлин месяц назад, нет, вернее, в конце сентября. Макс повредил себе руку, и мы больше не могли выступать вместе. Мы — цирковые артисты. У нас был номер на трапедии.

Бауэр разглядывает свой портсигар, там лежат две сигары, одна половинка. Фройляйн Дорст переворачивает страничку в своем блокноте. Бауэр раскуривает половинку, пускает дым.

Бауэр: А вам известна какая-нибудь причина самоубийства вашего брата? Депрессия? Неудачная любовь? Алкоголь? Наркотики? Истерика? Или просто устал от жизни?

Абель: Я не знаю.

Бауэр: Значит, необъяснимый импульс? Ну что ж, такое бывает. Вы уже сообщили его жене?

Абель: Я ее искал сегодня ночью и утром, но пока не нашел.

Бауэр: Разве вы не живете вместе?

Абель: Нет. Мануэла и Макс два года назад развелись. Когда мы ушли из цирка, Мануэла стала работать в кабаре. Я поищу ее там днем. Кабаре открывается по воскресеньям только в три часа.

Бауэр: Позвольте-ка для порядка взглянуть на ваши документы.

Абель: Пожалуйста.

Бауэр: Спасибо. (Смотрит в паспорт.) Как вы намерены оплатить похороны?

Абель: У нас есть небольшие сбережения.

Бауэр: Замечательно. (Как бы вскользь.) Вы еврей?

Абель: А что?

Бауэр: Да так, ничего. Я просто любопытен, господин Розенберг. Прошу. (Отдает паспорт и визу.) Допрос можно считать оконченным. Какие у вас планы?

Абель: (молча пожимает плечами).

Бауэр: Сколько вы еще пробудете в Берлине?

Абель: Я не знаю.

Бауэр: Вам же известно, что у нас сейчас большая безработица, и мы не очень-то охотно смотрим на иностранцев, приезжающих сюда и получающих даже случайную работу.

Абель: Это мне известно.

Бауэр: У нас ужасная нищета после войны, и мы не собираемся заботиться о вас, когда вы останетесь без денег.

Абель: И это мне известно.

Бауэр: Прощайте, господин Розенберг.

Абель: Прощайте, господин комиссар. Прощайте, фройляйн Дорст.

3

После допроса Абель Розенберг направляется в маленький ресторанчик, чтобы там пообедать. Часы показывают половину второго. Холодный туман тянется с реки. По бесконечным безлюдным улицам разносится звон колоколов ближайшей церкви Святой Елизаветы.

Абель слышит за своей спиной шаги. Не оборачиваясь, он ускоряет свой шаг, но преследователь не отстает и вскоре хватается его за локоть. Изможденное лицо с большим носом и тяжелыми мешками под маленькими темными глазами поворачивается к Абелю.

Холлингер: Фу, черт, ну и несешься ты. Ты обедать? Я тоже. Я тебя приглашаю, пошли... Ну, как поживаешь, малыш Абель? А как Макс и Мануэла? Как по-твоему, скоро у него рука заживет? Нам вас очень не хватает. Вы нужны цирку. Ты, конечно, удивлен, что это я здесь делаю, в Берлине, когда цирк уже давно в Амстердаме. А я смотрю здесь новые номера, парень. Сегодня уже посмотрел несколько звезд. Ведь все знают, что я плачу долларами. Люди-то у нас есть, но мне хотелось бы работать под огромным шатром, и чтобы труппа была в полном составе.

Они входят в ресторан, который в это время всегда полон. Это довольно приличное заведение с едва уловимыми остатками исчезнувшей кайзеровской роскоши. Маленький оркестр в засаленных фраках, расположившийся за пальмами, играет нежный вальс. Метрдотель и официант хлопчут вокруг Холлингера и его гостя. Им отвели стол в алькове, обтянутом пятнистым красным шелком и увешанном картинами, изображающими распутных женщин. Обветшалые бра с несколькими тусклыми лампочками все же отбрасывают теплый свет на стол, покрытый чистой, но уже застиранной льняной скатертью. Кислый запах сырой пле-

сени перемешивается с кухонным и табачным запахом.

Холлингер заказывает себе овощной суп и зачий бифштекс. Кстати, это — единственные блюда в воскресном меню, внушающие доверие. На столе появляется бутылка водки в ведерке со льдом и два бокала с темным пивом.

Холлингер: Народу нужен свой цирк. Все катится в преисподнюю, и нет ничего такого, за что можно было бы ухватиться. Вот, послушай, что я сегодня прочитал в утренней газете. Я попытаюсь тебе перевести, ты же по-немецки не смыслишь.

Холлингер вытаскивает субботний номер «Фолькишер беобахтер» («Народный наблюдатель»), несколько секунд читает, находит нужное место.

Холлингер: Вот, послушай. (*Читает.*) «Все ближе и ближе страшные времена, когда враги христианства, изуверы-азиаты протянут повсюду свои окровавленные руки, чтобы задушить нас. Некий еврей Исаскар Цетерблум, именуемый иначе господином Лениным, устроил резню христиан, от которой даже сам Чингиз-хан покраснел бы. Кучка еврейских террористов, обученных убивать и насиловать, расползается всюду по стране, чтобы на переносных виселицах вешать горожан и крестьян».

Холлингер замолкает и смотрит на Абеля поверх очков, которые сползли ему на горбоносый нос, улыбаются тонкими губами, обнажая желтые, шершавые зубы. Абель быстро опьянел после первой рюмки, он смотрит на Холлингера, ничего не понимая. Холлингер пробегает глазами статью, находит нужное ему место.

Холлингер (читает): «Может, вы хотите увидеть в вашем городе тысячи людей, повешенных на фонарных столбах? Может, вы хотите дожидаться, чтобы в вашем городе действовал большевистский комитет смерти, как в России? Может, вы хотите спотыкаться о трупы ваших жен и детей?»

Еще раз Холлингер испытующе взглядывает на своего друга, циркового артиста, но так как не замечает никакой реакции, он дочитывает абзац до конца.

Холлингер (читает): «И будет еще один день, и не будет другого, не наполненного страхом!»

Тебе нужны деньги? Я могу дать немного, вот, смотри, шестьсот миллионов, бери. Они мне не нужны. Я завтра утром уезжаю в Амстердам, их незачем обменивать, все равно на них ничего не получишь. В четверг я был в Мюнхене. Там все говорят о революции. О революции справа, понимаешь, малыш Абель?

Холлингер опять улыбается, и его острый, темный взгляд вдруг делается усталым. Он

залпом опустошает свою рюмку и снова наливает себе и Абелю.

Холлингер: Страх порождает дьявольское бешенство. Сейчас все боятся, безумно боятся, все эти незаметные, покорные служащие и их милые жены, все эти солдаты, которые болтаются без дела и мечтают вернуться на войну. Все эти бедные крестьяне, ничего не получающие за свои товары, учителя, которые уже не верят тому, что написано в учебниках. Все они боятся, но очень скоро их страх обернется манией бешенства. Ты хочешь увидеть этот день, малыш Абель? Нет, ты не хочешь. И если ты еще не помешался, то лучше тебе показывать свое цирковое искусство где-нибудь в южной Польше, чем здесь, в Берлине, где кроткий страх скоро превратится в бешенство.

Холлингер скалит свои желтые зубы, противный запах из его рта ударяет Абелю в нос. Холлингер распахивает свой пиджак и показывает на пистолет, спрятанный у него под жилетом с левой стороны.

Холлингер: Никто не возьмет меня живым и не обшарит мои карманы, можешь быть уверен, малыш Абель. Давай выпьем, мой маленький умный артист. Мы справимся с этим, вот увидишь, цирк всегда справлялся. Бери пример с папы Холлингера. Почему ты ничего не говоришь, Абель?

Абель: Я слушаю. Ты так интересно говоришь. Но если честно, то плевал я на все это. Я верчусь на своей трапедии, ем, сплю, путаюсь со шлюхами. Что еще сказать, черт возьми. Я не верю в эту политическую шелуху. Евреи такие же глупые, как и все остальные люди. И если какому-то еврею не повезло, то это его собственная ошибка. Ему не везет, потому что он глуп. Я не думаю, что я глуп, хоть я и еврей. Так что, думаю, что мне повезет. Вот теперь ты знаешь все, папаша Холлингер. Спасибо тебе за обед и за деньги тоже. А теперь мне надо идти, в четыре часа я встречаюсь с Манузлой.

4

В кабаре «К голубому ослу» идет дневное воскресное представление. Помещение, в котором раньше был гараж, вытянулось, словно изогнутая кишка, по всему основанию дома. За тесно сдвинутыми столиками сидят редкие зрители, преимущественно пожилые мужчины. Около бара, расположенного в узком пролете у двери, маячат три официантки. Они болтают и курят. В оркестровой яме расположился маленький оркестр, который, несмотря на свой скромный состав, создает значительный шум. На сцене, напоминающей шкаф, сколоченный на скорую руку, стоит молодая женщина и пытается

перекричать оркестр. Она поет песенку, текст которой заключается в том, что молодая девушка продает карамельки, и она сама такая милая, такая милая, что каждый вечер любой может попробовать ее карамельки. При этих словах она делает неприличные движения. Сама певица высокого роста, худая, одета в плохо пригнанное по ней платье с турнюром. Постепенно она все с себя сбрасывает. На ее голову напылен спутанный голубой парик.

Абель Розенберг, все еще не протрезвевший, осторожно пробирается к бару, здоровается со знакомой официанткой, получает бокал с пивом, после чего опускается на стоящий рядом стул. В кабаре очень холодно, пахнет овощным супом и дохлыми крысами.

Как только певица не совсем грациозным движением сбрасывает с себя последнюю деталь одежды, она обнажает свое худое, но хорошо сложенное тело с широкими плечами и высокой круглой грудью.

Музыка с шумом смолкает. Фиолетовый занавес с непристойными аппликациями сильным рывком задерживается.

Кто-то аплодирует, остальные молчат. Оркестранты некоторое время сидят, словно парализованные, утомленные только что законченным исполнением.

Абель Розенберг встает и протискивается в узкую дверь сбоку от сцены. В этот самый момент оркестр снова, как бы воспрянув духом, заиграл марш, занавес пополз в сторону, и на сцену, маршируя, выходят четыре девушки, одетые в форму гвардейцев, в блестящих шлемах и султанах из перьев. Они поют, а скорее, выкрикивают песенку о старой гвардии, которая в кавалерийском строю никогда не сдается. Девушки все время маршируют на сцене взад-вперед, громко стуча об пол каблучками черных лакированных ботфортов.

Абель Розенберг спустился по ступенькам вниз, пригнулся под трубой с сочившейся из нее водой и постучался в некрашеную деревянную дверь. Он вошел в отгороженную часть комнаты, где стоял стол, покрытый рваной клеенкой; некрашенная стена с развешанными на ней картинками, вырезанными из журналов, старое зеркало, два шатких стула, таз, кувшин с водой и ведро дополняли обстановку.

Женщина, которая только что выступала, уже переоделась в выцветший халат и толстую вязаную кофту, поверх которой была накинута шаль. Она натягивала толстые шерстяные чулки, когда вдруг увидела Абеля. Ее серьезное лицо посветлело.

Мануэла: Абель! Привет! Что-нибудь случилось?

Абель: Макс застрелился. Когда я пришел домой, он был уже мертв.

Мануэла садится на стул. Ее лицо ничего не выражает. Медленно она стягивает с себя парик и проводит рукой по коротко стриженным волосам, привычным движением приглаживая челку.

Мануэла: Я знала, что этим кончится.

Абель: Я приглядывал за ним, как мог, но никак не думал... чтобы он... нет, только не Макс...

Оба сидят, уронив руки на колени, глубоко опечаленные. Мануэла водит пальцем по клеенке. Абель вынимает пачку сигарет и предлагает ей, но она отклоняет, тогда он прячет пачку в карман.

Мануэла: У него в последние недели была какая-то работа. Ты, случайно, не знаешь, что это была за работа?

Абель: Я его спрашивал несколько раз об этом, но он только сказал, что работа хорошо оплачивается, а я чтоб не совал нос в его дела. Он тебе письмо оставил.

Абель протягивает ей сложенный конверт, в котором лежат несколько долларовых купюр и бумажка, испещренная неразборчивым почерком Макса.

Мануэла: Почти невозможно разобрать его каракули. Нет, я не могу. Может, ты сможешь.

Она протягивает письмо Абелью. Он долго сидит молча, пытаясь разобрать последнее послание брата.

Абель: Нет, не разберу, что здесь написано. А, вот здесь, в середине, можно прочитать. «Кто-то сказал мне несколько дней назад, что человек — это ложная конструкция. Я попросил его доказать свое утверждение, а он только ответил: посмотри вокруг себя, и ты убедишься. Я осмотрелся, как он сказал, но не подумал...» (*Кончает читать.*) Дальше неразборчиво. А, вот еще: «Отравление неперестанно прогрессирует...»

Абель поднимает глаза и встречается со взглядом Мануэлы. Она качает головой.

Мануэла: Отравление неперестанно прогрессирует.

Абель: Последнее время я его редко видел.

Мануэла: Ведь вы жили в одной комнате?

Абель: Его почти никогда не было дома. Мы как-то с ним даже подрались. Я впервые привел домой проститутку, она осталась до утра, а он вдруг появился. Он тоже захотел провести с ней время, и она согласилась, хотя он заплатил ей только половину цены. А потом начал орать на нее и бить. В конце концов мне пришлось ударить его. Тогда он начал кричать, словно ребенок, хотя я ударил его совсем не сильно, боялся за его сломанную руку.

Мануэла (перебивает его): Черт, мне же надо переодеться к финалу. Помоги мне.

Мануэла сбрасывает с себя шаль, кофту, халат и чулки, сдергивает с крючка нечто

похожее на купальный костюм и натягивает на себя. Абель помогает ей справиться с застежками, поясом и темно-желтым бантом.

Абель: А я и не знал, что ты сейчас выступаешь.

Мануэла: Вообще-то я в конце не занята, но одна из девушек заболела, и я предложила заменить ее в этом номере. Шефу очень понравилась эта идея, теперь я еще и певица кабаре и получаю тридцать пять миллионов в день. Конечно же, это маловато, но все-таки хоть что-то есть.

Абель: Занимаешься проституцией?

Мануэла (усмехается): Можешь зайти за мной вечером, пойдём куда-нибудь, поедим. Поддержи пока у себя деньги Макса, здесь их негде спрятать.

Она целует его в щеку и стремительно убегает. Абель еще какое-то мгновение продолжает оставаться в комнате. Он слышит звуки финала и топот множества ног по деревянному полу в такт словам: «Берлин, Берлин, берлиночка, Берлин, Берлин с легкой ухмылочкой».

Абель открывает дверь и видит в полутьме коридора человека. Это довольно угловатого сложения мужчина с бледным худым лицом, редкими волосами и залысиной на макушке. Взгляд за толстыми стеклами очков ясен и спокоен. Он стоит, легонько опираясь на дощатую стенку, и смотрит на освещенную сцену. Поворачивается к Абелью и вежливо улыбается.

Ханс: Смешно смотреть на все это со стороны. *(Пауза.)* Мне кажется, что я вас знаю. Мы с вами не встречались много лет назад? Может, когда-то курили вместе одну сигарету?

Абель (качает головой).

Ханс: Нет? Ну а если я назову Амальфи, летний день двадцать шесть лет назад. Угодья наших родителей соседствовали рядом. У вас еще была старшая сестра, ее звали, позвольте-ка: Ребекка, так?

Абель (качает головой): Будьте так любезны, пропустите меня, мне некогда.

Ханс (улыбаясь): Ну разумеется. *(Пауза.)* Абель Розенберг.

Абель поворачивается от двери и снова качает головой, но он уже разоблачен и поэтому покраснел. Он сухо раскланивается и поспешно выскальзывает через узкий захламленный запасной выход.

5

Уже стемнело и стало еще холоднее, чем днем. Туман превратился в моросящий ледяной дождь, и пустынные тротуары мерцают своей чернотой в слабом уличном освещении.

Чтобы хоть как-то согреться, Абель уско-

рывает шаг. Он уже собирается свернуть на противоположную улицу, но небольшая кучка людей привлекает его внимание.

Сначала он видит пятерых парней в форме Нового Фатерлянда (Новой Отчизны). Вокруг них стоят несколько гражданских, немного поодаль, в конце улицы маячат спины двух полицейских, не обращающих никакого внимания на происходящее.

Абель подходит поближе. Теперь он видит рослого мужчину в черном пальто, шляпе и золотых очках, спорящего о чем-то с одним из молодчиков в форме. Опрятно одетая дама, по всей вероятности, мать мужчины, тянет его за рукав и пытается успокоить. Мужчина говорит быстро и пронзительно. Абель не понимает, о чем тот говорит. Внезапно один из парней бьет мужчину по лицу, да так, что с того слетают шляпа и очки. Слышен грохот ведра, женщине вручают половую тряпку, мужчине — половую щетку.

Оба падают на колени. Под наблюдением пятерых в форме они начинают мыть тротуар.

Один из парней ногой выбрасывает из сточной канавы собачий помет и что-то говорит стоящему на коленях мужчине. Тот медленно выпрямляется, на какое-то мгновение делает вид, что собирается поднести кал к своим губам, потом внезапно бросается к полицейским и что-то кричит им, но те медленно удаляются.

Начинается побоище. Зрители сразу же растворились в темноте, словно призрачные тени. Абель тоже торопится прочь от этого места. В ушах у него еще долго звучат крик женщины и глухие удары дубинок по спинам людей.

Несколько ступенек с тротуара ведут вниз в небольшой бар. Абель спускается туда и некоторое время растерянно стоит в почти пустом помещении. Потом вспоминает о конверте Макса, вынимает одну долларовую бумажку и кладет ее на прилавок.

6

В старомодной буржуазной квартире на Хёлдерлинштрассе Мануэла снимает большую комнату, которая так заставлена всякими салонными предметами конца прошлого века, что от этого кажется очень тесной.

Абель опустил в кресло, украшенное на спинке салфеточками. Он сильно пьян.

Мануэла: Я не хочу, чтобы ты сегодня возвращался к себе в пансионат, переночуешь у меня. Приподнимись-ка, сниму с тебя пиджак. Сейчас я приберусь и согрею чай, тебе станет сразу легче.

Мануэла приподнимает Абелья с кресла, стягивает с него пиджак, который падает

на пол. Абель обхватывает руками Мануэлу за талию и кладет ей голову на плечо. Мануэла поддерживает его за спину, немного пошатываясь под его тяжестью. Абель несколько раз громко всхлипывает.

7

Та же ночь, ночь на понедельник, 5 ноября. В судебный институт полицейского управления на Александерплатц поступил женский труп, обнаруженный в Трептове. Самое странное было то, что половые органы мертвой были сильно изрезаны, возможно, осколками разбитой бутылки, и на теле заметны следы истязания. Сломаны два ребра, но лицо не повреждено, круглое, почти детское, несколько испитое лицо, не окрашенное, с широким лбом и длинными спутанными волосами. При первом обследовании стало ясно, что женщина утонула на небольшой глубине. На ней было толстое зимнее пальто, но под ним совершенно голое тело. При ней не обнаружили никаких документов, только обручальное кольцо, на кольце выгравировано: «Макс, июль 1923».

8

Около четырех часов утра. Абель Розенберга разбудило хлопанье входных дверей в коридоре. Он прислушался с каким-то вдруг нахлынувшим страхом: тяжелые шаги приблизились, раздался какой-то непонятный глухой шум, что-то приподняли, что-то уронили.

Мануэла (сонно): Это старик меняет бочки. Он каждый понедельник приезжает в четыре утра.

Абель: О, господи!

Он продолжает сидеть, прислушиваясь, как шум постепенно стихает, вот хлопнула входная дверь, послышались шаги по скрипящим ступенькам, мужские голоса на тихой улице, удар кнута по лошади и грохот телеги по булыжной мостовой.

Абель: Лето мы всегда проводили в Амальфи, из-за матери, у нее были большие легкие. Отец тогда был послом в Копенгагене. Помню, что я и Макс играли с одним мальчиком, которого звали Ханс Вергерус. Его семья была из Дюссельдорфа, отец был каким-то высоким чиновником, его все называли правительственным советником или что-то в этом роде. Семьи наши познакомились, мальчики играли вместе. Он был влюблен в мою сестру. Я думаю, что они были тайно обручены. Мать не любила Ханса. Собственно, его никто не любил, но все признавали, что он был гений. Однажды мы поймали кошку и связали ее. Ханс разрезал ее и, хотя она была еще жива, показывал мне, как бьется ее сердце.

Потом маленьким острым ножом он выковырял один глаз и показывал мне, как реагируют ее зрачки. Я все рассказал Ребекке. Она сразу же пошла к Хансу и спросила его, правда ли все это. Тот сказал, что все это ложь, что кошка была дохлая, а я все сочинил. Это было странно. Я тоже был почти уверен, что все выдумал, а Ханс прав. Мы продолжали оставаться друзьями. Потом наша мать умерла, и отца перевели в другое место. Десять лет назад я встретил Ханса в Хайдельберге, где мы выступали с цирком.

Мануэла: Я помню.

Абель: Ты не можешь этого помнить, тебя ведь тогда еще с нами не было.

Мануэла: Да нет же, я отлично помню, что мы встретили Ханса! Макс нас представил друг другу. Но он очень спешил на лекцию, он был профессором в университете, это я точно помню, и еще я помню, как Макс засмеялся и сказал: смотри, как он заторопился, он просто не захотел остаться с нами.

Абель: Да нет же, как раз все было наоборот. Я помню, он был очень доволен нашей встречей, но ему и правда было некогда. Я заметил, что он хотел пригласить нас на обед, но мы были вынуждены поблагодарить и отказать, так как у нас было представление.

Мануэла (зевает): Ты ошибаешься, но это не имеет значения.

Абель: Я его встретил сегодня.

Мануэла: Ханса?

Абель: А разве ты его не видела? Он был в кабаре.

Мануэла: Нет.

Абель: Ты уверена?

Мануэла: Если бы я его увидела, то сказала бы, что видела его.

Абель снова ложится, но спать ему уже не хочется.

Слышно, как по улице проехала машина, потом еще одна, и еще одна. В водопроводной трубе что-то засвистело, в квартире кто-то еще проснулся и начал ходить по скрипящему паркету. Уличный фонарь, качающийся от ветра и освещающий комнату своим беспокойным, мерцающим светом, вдруг погас, и слабый рассвет проник сквозь кромку цветной занавески. В почтовый ящик сунули газету.

Город Берлин готовится к новому дню, понедельнику, 5 ноября. Этот бедный, затасканный город, населенный безмолвными людьми, которые пробуждаются к новой безнадежности, новому страху, к новой попытке выжить.

Сквозь серый рассвет донесся фабричный гудок, первый трамвай прогромыхал по бесконечной улице, и колеса, и камни еще долго скрежещут, пока он сворачивает с Хёлдерлинштрассе на большую авеню.

Абель стоит у окна и смотрит через занавеску. Он смотрит вниз на улицу, на окна каменного дома напротив, где загораются огни и люди двигаются по комнате. Прогорыхала по улице молочная тележка, запряженная худой лошадкой, рядом шагает полусонный возница с хлыстом на шее.

9

Часом позже прозвенел будильник. Абель так и уснул в кресле. Сигарета выпала из его руки на ковер и, прежде чем погаснуть, прожгла дырку. Мануэла стоит за ширмой и варит кофе на спиртовке.

Мануэла: Преимущество иметь влиятельных знакомых дает нам право пить настоящий кофе на завтрак. У меня почти всегда горит камин, правда, он разгорается очень медленно, прежде чем станет по-настоящему тепло. Я поставила в нишу камина кувшин с водой, думаю, она согреется к тому времени, когда ты будешь умываться.

Абель: И дрова ты получаешь таким же образом?

Мануэла: Я случайно познакомилась с одним торговцем дровами. Но зато у меня никого нет, кто бы мне поставлял масло на стол, так что довольствуйся вот этим повидлом, хотя это почти сплошная химия.

Абель: Я тебе должен один доллар, ты запиши себе.

Мануэла: Да ничего.

Абель: И лучше всего, забери эти деньги, пока я их все не пропил.

Мануэла: Сильно пьешь?

Абель: Только когда есть деньги.

Мануэла (удивленно): Значит, ты не хочешь вернуться в цирк?

Абель: А что нам там делать без Макса?

Мануэла: Нам нужно подыскать нового партнера.

Абель: Ты прекрасно знаешь, что сейчас это невозможно.

Мануэла: Нет, я этого не знала. (Пауза.) Тогда нам нужно придумать какой-нибудь новый номер. Что-нибудь такое с собачками. Представь, какой будет смешной номер на трапедии с четырьмя таксами, одетыми, как мы. Пока мы расквашиваемся на трапедии туда-сюда, таксы летают между нами, помахивая ушами.

Абель: Очень смешно.

Мануэла: Да есть тысячи возможностей, стоит только захотеть. Мы могли бы показывать фокусы. Я знаю одного прекрасного фокусника, он ушел из цирка, Маркус, ты его знаешь, он теперь живет в Лихтерфельде, мы могли бы перенять его номер...

Абель: Не знаю, все это с Максом...

Он смолкает, смотрит на свою руку, которой крошит кусок хлеба. Пытается что-то

сказать, но только качает головой, глаза его моргают, зрачки краснеют.

Мануэла: С того времени, как я встретила с Максом, ты был для меня всегда старшим братом. Нам нужно держаться вместе.

Абель (пытается найти слова): Такое состояние, словно пробудился от кошмарного сна, а действительность оказалась еще страшнее, чем этот кошмарный сон.

Мануэла (пораженная): Но, Абель, дорогой мой, у нас же все хорошо, все так просто, стоит только захотеть.

Абель: Я сам не понимаю, что происходит. Вчера вечером я видел, как избивали человека, а полиция даже не пошевелилась.

Мануэла: Милый мой Абель, послушай меня, ты очень устал и последнее время много пил. Теперь я буду заботиться о тебе, вот увидишь, через несколько дней тебе будет гораздо лучше. Мы будем с тобой говорить обо всем, а пока мне пора на работу.

Абель (удивленно): На работу?

Мануэла: У меня есть еще одна работа, понимаешь.

Абель: В такое раннее время?

Мануэла: Вот именно. В такое раннее утро, и я не должна опаздывать.

Абель: Что это за работа?

Мануэла: Я и сама почти не знаю. И потом, это секрет.

Абель: Секрет?

Мануэла: Да я шучу. Я работаю в одной конторе, наклеиваю почтовые марки и бегаю по поручениям.

Абель: И что же это за контора?

Мануэла: Да что-то такое, связанное с импортом-экспортом, я и сама толком не знаю.

Абель: А как называется эта контора?

Мануэла: Да черт ее знает, как она называется. «Феркель» она называется, «Феркель и сын».

Абель: И где же находится эта контора?

Мануэла: На Байерштрассе, в маленьком переулке, около бойни. Ты расспрашиваешь, как ревнивый муженек.

Мануэла смеется и треплет его по щеке, встает из-за стола и привычными движениями начинает убирать со стола.

Мануэла: Сразу видно, что ты — брат своего брата. Максу на все было наплевать.

Абель: Давай я сам все вымою и приберу здесь, хоть будет чем заняться. А ты одевайся, ведь тебе некогда.

Мануэла: Я вернусь около двух часов. Мы вместе пообедаем. Попробую достать где-нибудь мяса, ведь у нас есть деньги.

Абель: Вот, сорок девять долларов.

Мануэла: Господи, целое состояние.

Она быстро умывается, надевает платье, круглую шляпку на свои ярко-рыжие волосы, накидывает на плечи пальто, что-то ищет в

своей сумке, потом застегивает ремешки на туфлях, проверяет, в порядке ли стрелки чулок, и быстрым движением подкрашивает губы.

Мануэла: Слушай, как раз сейчас подойдет мой трамвай, я успею, если потороплюсь. Вот увидишь, у нас будет все в порядке.

Она убежала. Абель стоит с пачкой кредиток в руке, потом начинает ходить по комнате, останавливается около большого письменного стола, который стоит у окна.

Медленно и методично он начинает выдвигать один ящик за другим. Долго искать не приходится. В железной коробке, спрятанной за кучей старья, он находит маленькую пачку долларовых кредиток.

Абель быстро одевается, берет свой летний пиджак, на котором все еще болтается пуговица, выскальзывает в длинный коридор, проходит мимо большой кухни, где завтракают две девушки, заворачивает за угол, находит дверь в прихожей и уже собирается бесшумно ее открыть, как вдруг слышит слабый голос, окликающий его по имени.

Голос: Господин Розенберг!

Абель: Да.

Голос: Зайдите ко мне на минутку.

В прихожей есть еще одна дверь, она полуоткрыта, яркий солнечный луч скачет по ковру и треснутому паркету. Абель осторожно открывает эту дверь и входит в большую комнату с эркерами и сводчатым потолком, украшенным изящным лепным орнаментом.

У стены стоит двупальная кровать, богато украшенная вензелями. Эта комната тоже до предела набита старинной мебелью, картинами и предметами роскоши. Несмотря на яркий солнечный свет, в комнате царит полумрак, тяжелые занавеси на окнах полужащены.

Абель замечает маленькую старушку, наполовину скрытую креслом с высокой спинкой. Она медленно приподнимается из своей богатой кровати, одетая в длинную ночную рубашку старинного покроя, седые волосы опрятно зачесаны в узел, лицо круглое, бледное, почти лихорадочное. Искривленные спина и правое плечо деформируют ее тело.

Г-жа Холле: Меня зовут фрау Холле. Я — хозяйка Мануэлы.

Она протягивает свою узкую, правильной формы руку. Рука сухая и холодная. Абель склоняется над ней.

Г-жа Холле: Мануэла перед уходом сказала мне о вас. Пожалуйста, вы можете пожить здесь некоторое время, тем более что соседка Мануэлы по комнате, как мне сообщили, уехала в Италию несколько недель назад. Извините, но я опять прилягу. Из-за резкой перемены погоды у меня так болит спина. Хорошо, что хоть солнце иногда

светит в ноябре, не так ли, господин Розенберг?

Госпожа Холле скорчилась в своей огромной кровати. Наконец она справилась с целой горой подушек за своей больной спиной и набросила плед на ноги.

Г-жа Холле: Не хотите ли стаканчик шерри? Можете сами достать там в шкафу. Нет, не в этом, в другом, да-да, здесь. Видите маленький хрустальный графинчик справа, да, здесь. Возьмите две рюмки, думаю, мне тоже не повредит маленький глоточек. Спасибо, господин Розенберг. Ваше здоровье, господин Розенберг.

Они чокаются. Госпожа Холле смотрит, как солнце искрится в ее рюмке.

Г-жа Холле: Я очень привязалась к Мануэле. Вы ее шурин и, конечно, знаете ее лучше меня, но все же я должна вам сказать, что Мануэла еще очень молода. Извините, если я вам скажу, что отношусь к ней, как к своей родной дочери.

Серый взгляд за огромными стеклами очков обращен на Абея, и он замечает какое-то выражение страха на бледном лице.

Г-жа Холле: Она такая милая и доверчивая. Слово все то ужасное, что творится вокруг нее, ее не касается. *(Пауза.)* Мне кажется, господин Розенберг, что вашей невестке не особенно везет.

Абель: Что-то я не заметил такого.

Г-жа Холле: Самое поразительное то, что Мануэла даже не защищается, вы понимаете, что я имею в виду. *(Пауза.)* Не случилось бы с ней чего-нибудь.

Абель: Я постараюсь присмотреть за ней.

Г-жа Холле: И потом, эта ее новая работа. Странная какая-то. Общество церковной демократии, что это такое, господин Розенберг? Его нет ни в одном телефонном справочнике. *(Пауза.)* Мне известно, что она и ее подруга гуляли с господами, ну так это гораздо лучше, так мне кажется. А теперь не знаю, что с ней происходит. И это меня беспокоит.

Абель: Мне нужно идти, госпожа Холле. Сколько нужно платить за жилье? Может, вы хотите получить задаток?

Г-жа Холле: Нет, что вы, но если у вас есть деньги, я не возражаю. Я бедная вдова, после моего мужа пансион не приносит дохода. У вас ведь доллары, ну, скажем, десять долларов в месяц, или это дорого для вас?

Абель: Я положу деньги на поднос, хорошо?

Он вытащил одну десятидолларовую бумажку и сунул ее под пустую рюмку. Встанет, чтобы уйти, но госпожа Холле жестом останавливает его.

Г-жа Холле: Вы плакали?

Абель: Нет, отчего?

Г-жа Холле: Просто показалось. Извините.
Абель: Прощайте, госпожа Холле.

Г-жа Холле: Заходите как-нибудь еще ко мне поболтать. Я почти не двигаюсь из-за своей спины. Не могу даже ходить на концерты в Старую Оперу, хотя это совсем близко. Прощайте, господин Розенберг, и посмотрите за своей невесткой.

Абель еще раз кланяется и выходит на улицу. Он прыгает в проходящий мимо трамвай и проталкивается на заднюю площадку, битком набитую людьми.

10

Госпожа Хемзе стоит за стойкой портье и что-то пишет. Заметив Абеля, с озабоченным видом бросается ему навстречу.

Г-жа Хемзе: Полиция ожидает вас в вашей с братом комнате. Нам не разрешили убрать там после этого ужасного...

Абель что-то успокоительно говорит госпоже Хемзе, которая крайне взволнована. Он поднимается по лестнице, дверь в комнату открыта. Посредине стоит комиссар Бауэр с потухшей сигарой во рту. У окна сидит одетый в штатское еще один полицейский.

Бауэр: Добрый день, господин Розенберг. Мы вас ждали. Разрешите спросить, где вы провели эту ночь?

Абель: Мне не хотелось оставаться в этой комнате.

Бауэр: Понимаю. Но вы могли хотя бы сказать госпоже Хемзе, куда вы отправились. Где вы были?

Абель: У моей невестки.

Бауэр: Она живет на Хёлдерлинштрассе, тридцать пять, не так ли?

Абель: Да. Думаю, так.

Бауэр: Думаете?

Абель (нервно): Думаю, что номер тридцать пять.

Бауэр: Ну теперь, во всяком случае, вы это знаете наверняка.

Абель: Можно мне упаковать кое-что из вещей?

Бауэр: Мне очень жаль, но я просил бы вас подождать с упаковкой.

Абель: Вот как. *(Садится.)*

Бауэр: Я должен вас просить проехать с нами в морг судебного института. Для опознания одной молодой особы.

Абель (испуганно): Это необходимо?

Бауэр: Боюсь, что мне придется на этом настаивать.

Абель: Тогда лучше поехать сейчас.

В сопровождении двух молодых людей в белых халатах все спускаются в просторном лифте с двумя боковыми выходами на несколько этажей вниз. Бауэр раскуривает свою погасшую сигару, его молчаливый коллега смотрит в свой портсигар,

находит окурок и тоже закуривает. Комиссар предлагает Абелю сигарету, но тот отказывается.

Бауэр: Советую вам там закурить. Помогает.

Лифт наконец остановился, и все выходят, идут по длинному, окрашенному в зеленый цвет коридору, освещенному матовыми желтыми лампами. Пахнет формалином, зловоние разлагающихся трупов усиливается. Один из сопровождающих в белом халате толкает широкую железную дверь, на которой написаны буква и цифра. Все входят в огромную комнату, облицованную белым кафелем и ярко освещенную четырьмя лампами. Посредине стоит длинный деревянный стол с желобами по краям. Вдоль стен стоят ящики на колесах. В каждом из них лежит труп, накрытый грязной простыней. Двое в белых халатах разворачивают машинописный лист, молча изучают его, потом один из них подходит к ящикам, сверяет цифры на дощечке, прикрепленной к пятке мертвеца, выкатывает ящик вперед и сдвигает простыню.

Бауэр: Вы знаете эту девушку?

Абель: Да.

Бауэр: Кто она?

Абель: Грета Хофер.

Бауэр: Откуда вы ее знаете?

Абель: Она была обручена с моим братом.

Бауэр: Когда вы ее последний раз видели?

Абель: Неделю назад.

Бауэр: А какие отношения были между вашим братом и...

Абель: Хорошие, думаю.

Бауэр: Фройляйн Хофнер была изнасилована. Кроме того, ее половые органы были изрезаны каким-то предметом, предположительно осколками бутылки. Причина смерти — утопление.

Бауэр дает знак людям накрыть тело простыней. Когда это сделано, они откатывают ящик на прежнее место, но сейчас же подкатывают другой. Простыня сползает вниз и обнажает мужское тело, уже начинающее разлагаться.

Бауэр: Знаете ли этого человека?

Абель (напряженно): Нет, я его не знаю.

Бауэр: Вы абсолютно уверены в этом?

Абель: Нет.

Бауэр: Подумайте, господин Розенберг, это очень важно.

Абель: Он кого-то напоминает.

Бауэр: Кого же?

Абель (беспомощно): Он напоминает моего отца.

Бауэр: Немного пояснее можете?

Абель: Единственное, что я могу вспомнить, он напоминает мне отца, который умер пять лет назад.

Бауэр: Этот мужчина был убит путем вве-

дения инъекции в сердце, потом ему вприсунули какое-то вещество в левый клапан, что-то вроде яда, вызвавшее у него ужасные судороги перед смертью, наступившей несколькими часами позже. Значит, вы не видели раньше этого человека?

Абель: (качает головой).

Бауэр (обращаясь к санитару): Убери его.

Оба санитары накрывают труп простыней и откатывают ящик, чтобы сразу же подвезти другой, сдергивают простыню. Мертвая — женщина средних лет с серым лицом и очень худым телом.

Бауэр: Вы раньше видели эту женщину?

Абель: Да.

Бауэр: Кто она?

Абель: Не знаю, но я ее видел.

Бауэр: Где вы ее видели?

Абель (испуганно): Мне кажется, она — киоскерша. Я встречал ее у госпожи Хемзе в пансионе. Однажды она помогла мне добраться до комнаты, потому что я был сильно пьян.

Бауэр: Ее звали Мария Штерн.

Абель: Этого я не знал.

Бауэр: Она повесилась в своем подвале, где жила с мужем и двумя детьми. Она оставила после себя довольно странное письмо, неразборчивое и очень запутанное. Она утверждает в письме, что ее напугали до смерти и что боль была невыносима.

Абель уставился на Бауэра, который спокойно выдерживает его взгляд, попыхивая сигарой.

Абель: Я не уверен, что вынесу все это.

Бауэр: Пожалуйста, потерпите еще немного.

В это время Марию Штерн уже отвезли, а подкатили другой труп, который сильно изрезан. Это — мальчик лет шестнадцати, его грудная клетка сплюснута, а горло перерезано, темный взгляд застыл, черные кудрявые волосы выпачканы в крови, лоб разбит.

Бауэр: Вы видели этого мальчика?

Абель: Нет.

Бауэр: Он был осветителем в кабаре «К голубому ослу». Неужели никогда не встречали его там?

Абель: Нет.

Бауэр: Странно.

Абель: Я редко посещал «К голубому ослу».

Бауэр: Он всегда стоял у входа и освещал прожектором артистов. Вы не могли его не заметить.

Абель: Да. *(Кивает.)* Возможно.

Бауэр: Его звали Ёзеф Бирнбаум.

Абель: (не отвечает).

Бауэр: Мы не уверены, покончил ли он с собой. Выглядит все так, словно его переехал тяжелый грузовик, но что-то нам подсказывает, что до этого его истязали.

Абель: Почему вы мне все это показываете?

Бауэр: За последний месяц мы столкнулись с семью загадочными смертельными случаями с людьми из вашего окружения, господин Розенберг.

Абель: Уж не подозреваете ли вы меня?

Бауэр: Поехали ко мне в контору, вам надо дать что-нибудь подкрепляющее.

11

Бауэр открывает дверь в свою контору, узкую, маленькую комнату с кое-какой мебелью и грязными занавесками на окне, выходящем в узкий двор, на противоположной стороне которого видны решетчатые окна. Комиссар снял с себя пальто и пиджак, надел легкую куртку с заплатками на локтях. Молчаливый штатский полицейский опустил на стул у двери.

Бауэр: Садитесь, Розенберг. Хотите чашку кофе? Хотя кофе — это слишком сильно сказано, но хоть что-то напоминает.

Он кому-то говорит через дверь, чтобы принесли три чашки кофе и, если есть, несколько сухарей, потом садится за свой стол, но снова встает и усаживается рядом с Абе-лем так близко, что почти касается его. Фройляйн Дорст входит с маленьким подносом, на котором она удерживает три чашки с черной бурдой и желтую металлическую вазочку с сухариками. Она тихо спрашивает, нужно ли ей остаться или подождать в другой комнате. Бауэр велит ей подождать, он вызовет, если она понадобится. Когда она уже собралась уходить, он спросил, нет ли каких вестей от комиссара Ломана. Нет, никаких.

Бауэр: Пейте кофе, Розенберг.

Абель: (молча повинуется).

Бауэр: Фу, черт, какая жарница здесь. То чертовски холодно, а то так напоят, что хоть яйца жарь на стенах.

Абель: (молчит).

Бауэр: Вы не очень-то разговорчивы, Розенберг.

Абель: (пожимает плечами).

Бауэр: Вы можете мне сообщить о ваших занятиях вечером двадцать восьмого октября?

Абель: (качает головой).

Бауэр: Нет.

Абель: Я был пьян. Спросите меня, например, о пятнице, девятнадцатого октября, так я тоже был пьян. Я каждый вечер напивался после того, как мы ушли из цирка. Иногда я уже с утра бывал пьяным, иногда не раньше двух, но чаще всего по вечерам. Я уже не помню, что со мной происходило по вечерам. Оставались только какие-то краткие воспоминания, словно смутные фотографии.

Бауэр: И что же изображают эти фотографии?

Абель: Разных проституток, чаще всего голых и пьяных. Теперь вы хотите знать, откуда у меня деньги на проституток и пьянки. У меня были сбережения, мы довольно прилично зарабатывали, и потом наша труппа была популярна.

Бауэр: Что-то здесь не совпадает.

Абель: (молчит).

Бауэр: Если вы были популярны и получали хороший доход, и пользовались успехом, то почему же вы начали пить, когда покинули цирк?

Абель: (молчит).

Бауэр: Я был бы вам благодарен, если вы ответите на мой вопрос.

Абель: Я алкоголик. (Ухмыляется.)

Бауэр: Преуспевающий артист на трапезии и алкоголик, что-то с трудом верится.

Абель: А может, я почувствовал себя нежеланным гостем в вашем прекрасном городе.

Бауэр садится за свой стол, перебирает бумаги и папки (ищет что-то между ними), находит, что ему нужно, и начинает царапать своей брызгающей чернилами ручкой. Долгое молчание. Абель становится страшно, он начинает ходить взад-вперед по комнате.

Бауэр: Сядьте, Розенберг.

Абель (садится): Почему вы держите меня здесь?

Бауэр: Я подумал, может, вы сможете нам помочь разобраться в этих семи загадочных смертях.

Абель: Как я смогу сделать это?

Бауэр: О, кто знает!

Абель: А имеет ли все это какой-то смысл?

Бауэр: Что вы имеете в виду, Розенберг?

Абель: Завтра развернется пропасть, и всё исчезнет в неминуемой катастрофе. Так зачем же вы поднимаете шум из-за каких-то незначительных семи смертей?

Бауэр: Я вам скажу, Розенберг. Я это делаю ради себя самого. Я точно знаю, как и вы, и другие, что катастрофа может развиться над нами уже через несколько часов. Люди голодают. Курс доллара, видимо, подскочит до пяти миллиардов марок. Французы оккупировали Рур. Мы только что заплатили победителям один миллиард золотом. На каждом чертовом рабочем месте есть большевистские агитаторы. В Мюнхене какой-то господин Гитлер вместе с десятью тысячами оголтелых солдат и безумцев в военной форме готовят путч. У нас правительство не знает, что предпринять изо дня в день. Завтра, а может, послезавтра катастрофа развернется над нами, и мы все захлебнемся в крови, если раньше не сло-

рим заживо. Все боятся, и я тоже, я не могу спать по ночам от страха, ничего не соответствует, ничего, кроме страха, не действует. В пятницу я хотел поехать в Штеттин к своей старой матери, чтобы поздравить ее с восьмидесятилетием, но уже давно не существует расписания поездов, был какой-то поезд, который должны были отправить, но не было расписания. Подумайте, Германия без расписания, Розенберг! И что же делает комиссар Бауэр со своим страхом и кошмаром? Что делаешь в кошмарном сне, который грозит стать явью? Так вот, комиссар Бауэр продолжает свою работу. Он пытается создать хоть какую-то видимость порядка и осмысления среди всего этого хаоса и безнадежного разложения. И он не одинок, Розенберг. Повсюду в Германии миллионы и миллионы таких же запуганных и таких же незначительных, маленьких служащих думают точно так же, как и я. Мы только притворяемся ежечасно, что мир — нормален: каждое утро в четверть восьмого мы уже на своих местах и диктуем бессмысленную писанину какой-нибудь фройляйн Дорст, которая знает, что писанина бессмысленна, и никто не станет ее читать, и что, возможно, и она, и эта писанина сгорят, прежде чем ее напечатают в пяти экземплярах, согласно регламенту. Вы напиаетесь каждый день, ну что ж, и это достойно уважения, Розенберг, я был бы еще больше доволен, если бы вы вообще исчезли из города вместе с вашей трапезией и вашими друзьями, тем более, что тем самым вы бы поскорее избавились от своего страха. Ну вот, теперь вы знаете, почему я сижу здесь и расследую то, что мне кажется крайне странным, если не сказать кошмарным. А теперь я серьезно прошу вас помолчать несколько минут, пока я напишу несколько строчек комиссару Ломану, который сейчас занимается другим, точно таким же случаем, похожим на кошмар. Я скоро закончу, и мы продолжим наш разговор, Розенберг.

Абель: В чем вы меня подозреваете?

Бауэр: (усмехается и продолжает писать).

Абель: Я имею право на адвоката?

Бауэр: Это только разговор, а не допрос.

Абель: Вы придираетесь?

Бауэр: (пишет).

Абель: Вы придираетесь ко мне и хотите запугать меня.

Бауэр: (пишет).

Абель: Да отвечайте, черт вас возьми!

Бауэр: Пейте свой кофе и помолчите минутку.

Страх Абелья все возрастает. Он выпивает свою чашку, садится с грохотом на стул и начинает шарить по карманам в поисках сигареты, но не находит.

Абель: Дайте сигарету.

Бауэр: (пишет).

Абель: Я знаю, почему вы хотите запутать меня. Вы придираетесь ко мне, потому что я — еврей.

Бауэр: (улыбается, смотрит на него, потом опять продолжает царапать пером).

Неожиданно Абель начинает кричать. Происходит это совершенно внезапно, он вопит во всю мочь, смолкает на мгновение, закрывает лицо руками, новый крик прорывается сквозь сжатые губы, Абель бросается к двери, но штатский констебль удерживает его и отшвыривает к стене. Бауэр подходит к нему, но получает сильный удар в лицо и падает на стул. Абель делает новый рывок к двери с такой молниеносной быстротой, что опрокидывает полицейского, и выбегает. В приемной стоит шум. Фройляйн Дорст делает знак, трое полицейских вскакивают из-за своих столов. Абель откидывает перекладину и мчится по коридору, пытаясь вырваться из этих решеток. Преследователи настигают его, кто-то бьет дубинкой по голове, Абель отчаянно сопротивляется, получает новый удар и сразу же погружается в какой-то туман. Все это время у него прорывается какой-то отчаянный, бессвязный крик. Он получает третий удар и смолкает, становится тяжелым и вялым, его валят на пол, поворачивают лицом вниз и связывают по рукам и ногам.

Когда он приходит в себя, то уже лежит на деревянной койке в камере, перегороженной решеткой. Абель приподнимается, но валится снова, у него отчаянно болит голова, и он теряет равновесие, когда пытается подойти к водопроводному крану, ему удается повернуть кран, но вместо воды слышен только свист и бульканье в трубе.

По другую сторону решетки стоит констебль. Абель пытается сказать ему, что хочет пить, констебль что-то говорит по-немецки и качает головой. Абель пытается еще раз, но горло у него распухло от недавнего крика, и он только что-то шепчет. Констебль качает головой и выходит из камеры.

12

Уже ближе к вечеру решетчатая дверь открывается, и констебль говорит Абелью по-немецки, что к нему пришли. Но Абель не понимает его, тогда тот знаком велит следовать за ним.

Они входят в комнату с высоким решетчатым окном в стене. Посреди комнаты стоит деревянный стол и по бокам — два стула.

Мануэла уже там, она стремительно поднимается и идет к Абелью, но констебль знаком велит ей оставаться на месте. Справа от двери сидит полицейская сестра милосердия.

Сестра: Я здесь нахожусь, потому что говорю по-английски. Если вы предпримете что-нибудь неподходящее или скажете что-то такое, заслуживающее внимания, то я прерву ваш разговор и господина Розенберга отведу обратно в камеру. Вам разрешено курить. У вас десять минут на встречу.

Мануэла: Ты весь избит.

Абель: Ничего.

Мануэла: Я говорила с комиссаром Бауэром. Он очень вежлив и все понимает.

Абель: Вот как.

Мануэла: Он сказал, что хотел помочь тебе.

Абель: (смотрит на нее).

Мануэла: Он сказал, что ты начал кричать и драться. Он сказал, что ты начал так себя вести, словно сошел с ума.

Абель: Что с тобой, Мануэла?

Мануэла: Со мной?

Абель: Ты странно выглядишь.

Мануэла: Может быть. А как?

Абель: Ты выглядишь так, словно у тебя лихорадка.

Мануэла: Что ты говоришь?

Она вынимает небольшой осколок зеркала и смотрит в него, смеется, поправляет волосы.

Абель: У тебя страшные глаза.

Мануэла: Я просто озабочена.

Абель: Чем ты озабочена?

Мануэла: У меня украли все сбережения.

Абель: Вот как.

Мануэла: Ты случайно не знаешь, куда они пропали?

Абель: Я не знал, что у тебя были кое-какие сбережения.

Мануэла: Во всяком случае их больше нет.

Абель: Хорошо, что деньги Макса у меня.

Мануэла: Были.

Абель: Что?

Мануэла: Комиссар Бауэр сказал мне, что они нашли деньги Макса, когда тебя обыскивали. Это незаконно — иметь доллары, разве ты не знал?

Абель: Нет.

Мануэла: Бауэр спросил меня, не знаю ли я, откуда у Макса эти деньги.

Абель: Ну.

Мануэла: Я сказала, что это сбережения. Мы были с цирком в Швейцарии, многие наши тогда обменивали свой гонорар на доллары перед поездкой в Германию, и никто из нас не знал, что это незаконно.

Абель: А как ты думаешь, кто украл эти деньги?

Мануэла: Что ты сказал?

Абель: Мануэла!

Мануэла: Да.

Абель: Ты не слушаешь меня.

Мануэла: Погоди-ка.

Она сидит с закрытыми глазами, лоб и щеки у нее горят как в лихорадке, малень-

кие капли пота выступили на верхней губе.

Абель: Ты больна. (*Сестре.*) Она больна. Сестра встает и направляется к Мануэле, говорит констеблю, чтобы тот принес воды, несколько раз переспрашивает Мануэлу, плохо ли ей, не хочет ли госпожа Розенберг прилечь.

Мануэла с закрытыми глазами качает головой.

Возвращается констебль с жестяной кружкой воды. Мануэла пьет осторожными глотками. Постепенно недомогание проходит, и она открывает глаза. В первое мгновение она никак не может понять, где находится. Но сознание уже вернулось к ней, и она извиняюще улыбается.

Мануэла: Спасибо, ничего страшного. Мне уже лучше. Просто я сегодня целый день ничего не ела, и потом, я очень обеспокоена.

Она кладет свои руки на стол, долго и пристально изучает их.

Сестра: Я только хочу напомнить вам, что у вас осталось две минуты на разговор.

Абель: Мануэла!

Мануэла: Да, господин Розенберг.

Абель: Что ты сегодня делала целый день?

Мануэла: Я была в конторе, потом пошла домой, чтобы пообедать с тобой, я достала кусок мяса у одного знакомого мясника. Я сидела и ждала тебя, когда пришел Бауэр, он просидел у меня почти полчаса, после чего мне пришлось поехать в кабаре и вернуть платье, которое я брала у Эльзы. Потом села в трамвай и поехала сюда к тебе.

Абель: Это та контора.

Мануэла: Да, ну и что с ней?

Абель: Это экспорт-импорт или своего рода церковная деятельность? Или ни то и ни другое?

Мануэла: Я работаю по утрам в одном борделе. Это не запрещено, насколько я знаю. Это чертовски приличный бордель, туда ходят сотрудники посольств, директора и знаменитые актеры, так сказать, высший свет этого учреждения, к твоему сведению. (*Раздраженно.*) Идиот.

Открылась дверь и вошел комиссар Бауэр. Он вежливо здоровается с Мануэлой, кивает Абелью, садится за стол, скрещивает руки и так сидит молча некоторое время.

Бауэр: Я решил выпустить вас, господин Розенберг, хоть вы и обошлись со мной и моими коллегами очень плохо, черт-те что вы там натворили в своей суматохе. Ну да вы ведь цирковой артист. (*Пауза.*) Я решил выпустить вас, и можете не беспокоиться о неприятных последствиях. Мы все обсудили и приписываем ваше буйство вашим слабым нервам. Вот так-то.

Бауэр откашливается и смотрит вверх,

на наступившие сумерки за окном, потом долго и пронзительно смотрит на Абелья.

Абель: Что вы так смотрите?

Бауэр: А я не смотрю. Я размышляю.

Абель: Ах так.

Бауэр: Я размышляю о том, стоит ли вам говорить, о чем я размышляю, но думаю пока подождать.

Абель: Дело ваше.

Бауэр: Поэтому на сей раз я говорю вам до свидания.

Абель: До свидания.

Бауэр: Сестра покажет вам, где вы можете получить ваши вещи. А вот доллары мы пока задержим. Вы получите квитанцию. Всего хорошего, господин Розенберг, всего хорошего, уважаемая госпожа.

13

Время: половина шестого, все тот же день.

Грохочущий, скрежещущий трамвай битком набит стоящими, сидящими, висящими людьми, возвращающимися домой после работы. В бледном мерцающем свете качающиеся фигуры и ничего не выражающие, худые лица похожи на полуподвижные куклы. В душном вагоне стоит тяжелый запах потной одежды и грязи.

Абель и Мануэла сидят, тесно прижавшись друг к другу, в углу передней площадки вагона, усталые и молчаливые. Абель держит руку Мануэлы в своей, они только что заплестили за проезд и получили маленький желтый жетон, оторванный от перфорированной ленты.

В передней части вагона неожиданно возникло некоторое оживление: какой-то человек встал на сиденье. Он очень толст, и лицо его побагровело от напряжения. Кто-то пытается стащить его вниз, другие энергично протестуют.

Человек (выкрикивает): Вот здесь написано, в этой газете, можете прочесть, что сказал Адольф Гитлер своему народу: «День, ради которого было создано наше движение, наконец наступил. Пробыл час, ради которого мы боролись несколько лет. Настало мгновение, когда национал-социалистическое движение начинает свое триумфальное шествие за спасение Германии. Наше движение создано, чтобы в великой нужде оказать необходимую помощь. Теперь, когда народ в страхе смотрит на приближение красного чудовища — этой вонючей еврейской гидры, наше движение призвано к извращению».

Кто-то кричит, чтобы человек заткнулся, трамвай тормозит, толстяк теряет равновесие и исчезает в давке, слышен смех и улюлюканье, энергичные протесты, брань, кто-то вскрикивает.

Абель: Что он сказал?

Мануэла: Он прочитал речь какого-то Гит-

лера, он сказал, что Гитлер сказал, что час настал, что теперь наступит избавление всех людей от их страха, что он избавит их от этого, он и его движение.

14

Изразцовый камин потрескивает, в комнате тепло.

Они зажгли еще несколько свечей, сидят за столом, только что пообедали и выпили. Граммофон играет знаменитое танго, оба курят маленькие сигары, на столе — настоящий крепкий кофе.

Мануэла: Помнишь, как мы застряли в Дамаске, я и Макс подцепили желтуху?

Абель: А как это было?

Мануэла: Чертовски тяжело.

Абель: Помню.

Мануэла: А помнишь, что тогда делал Макс?

Абель: Нет, а что-нибудь особенное?

Мануэла: Сейчас я повторю это, как тогда Макс. Надо начертить два столбца. Над одним написать хорошо, над другим — плохо. Давай начнем с того, что плохо. А потом уже подумаем, что хорошо. Согласен? Только, пожалуйста, не сиди так и не смотри с иронией. Помоги мне, Абель. Что такое плохо? Масса вещей. Мы ушли из цирка. Макс умер. Кто-то украл наши деньги. Ты упал духом, хотя сам точно не знаешь, почему ты упал духом. Сейчас ноябрь! Если мы заплатим за квартиру, то у нас не будет еды. Если будем есть досыта, то не сможем заплатить за квартиру. Что же может быть еще хуже? Люди думают, что всё безнадежно, всё заражено, люди думают, что их избьют до смерти и их детей тоже избьют до смерти, а женщины думают, что их будут истязать и насиловать. И люди боятся. И все это под чертой плохо. Ну теперь возьмем хорошую сторону. Хорошо, что мы живем вместе, что мы заплатили вперед за квартиру за весь ноябрь, это очень хорошо. Торговец дровами привез достаточно дров, так что нам не придется мерзнуть, и это тоже хорошо. У меня есть работа, и это самое лучшее из всего. Мы можем зарабатывать на жизнь и весь ноябрь не беспокоиться ни о чем, тем более что за квартиру заплачено. Что может быть еще лучше? *(Пауза.)* Может, он и хорош, этот Гитлер, как все о нем болтают. Хотя тебя он не любит, да это и понятно, ведь ты еврей. Нет, Гитлера надо вычеркнуть из столбца, где хорошо. И вообще я не понимаю, что они привязались к этим евреям.

Абель: А я тебе скажу. Евреи прибрали к своим рукам все деньги. Они надувают простых людей, обирая их. Они сидят повсюду во всем мире, держатся вместе и

прибирают к своим рукам все деньги, заработанные простыми людьми тяжким трудом, чтобы скопить хоть что-нибудь. А так как евреи имеют власть над деньгами, то значит, они все определяют. А все простые люди — рабы евреев, обычные, милые, честные люди становятся обманутыми евреями. В конце концов они безумеют от отчаяния и начинают ненавидеть евреев. И это надо понять. Как только простой человек видит еврея, он хочет его убить. Это тоже надо понять. Еврей — это яд, какой-то ненормальный и заразный, который нужно искоренять. В столбце, где вписано все плохое, припиши также, что Берлин кишит евреями: мужчинами, женщинами, детьми. Теперь я скажу тебе, Мануэла, еще кое-что, чего ты, может, и не поймешь: эта твоя хозяйка, фрау Холле, тоже еврейка. Она видит, что я беспомощный, безработный, надломленный, она все это видит, и это меня страшит. И она также знает, черт ее возьми, откуда она только может знать, что у меня припрятаны доллары. И она вытягивает из меня эти доллары, и я ее за это ненавижу и думаю, чертова горбунья, я мог бы убить тебя. Она все время мило болтает о том, какой ты прекрасный человек и как ей жаль, что ты в какой-то опасности, в то же время она ненавидит меня, потому что она хочет одна распорядиться тобой, а я, видите ли, встал между вами, и она берет с меня астрономическую плату за квартиру, а я стою, как идиот. Мы оба евреи, и мы ненавидим друг друга и используем друг друга, а завтра кто-то может прийти и избить нас обоих и еще за это заслужить аплодисменты. А теперь я скажу о совсем другом: я еврей с плохой совестью. Может, я паразит, может, я чертовски порочен от природы. Может, это и так, и нас нужно обвинять за это. Где-то в глубине души сидит маленький пунктик и посылает сигналы, от которых я не могу избавиться. И мне хочется пойти к какому-нибудь глупому немцу-полицейскому и сказать ему: будьте так любезны, избейте меня, накажите меня, может, это необходимо — избить меня до смерти. Но накажите меня, в конце концов, может, я так смогу избавиться от своего страха, который мучает меня день и ночь, избейте меня так, чтобы мне стало больно, хотя эта боль не составит и половину той боли, с которой я вынужден жить изо дня в день. И когда ты меня вот так слушаешь, то ты понимаешь, что у меня именно тот еврейский порок, каким наделен еврей.

15

Время: половина двенадцатого ночи, понедельник, 5 ноября.

Похожее на гараж кабаре заполнено. Люди

жмутся к стенам, восседают перед баром. Очень жарко, сырой запах плесени и испарений забивается непроницаемым табачным дымом.

Стоит глубокая тишина, в оркестре скрипка и пианино играют жалобную мелодию. На сцене разыгрывается аттракцион, акт любви в исполнении двух тощих фигур, находящихся в глубине сцены и освещенных только синим и красным светом рамп. Одна из фигур изображает мужчину, другая — женщину, их тела и движения призрачны, время от времени они выкрикивают нестойкие слова или же издают неестественные звуки, изображая бурную страсть. Движения и звуки извивающихся тел на мягкой четырехугольной кровати становятся все энергичнее. Наконец они торжествующе вскрикивают, свет гаснет, занавес падает, музыка победно смолкает, оба артиста уже стоят, освещенные, на сцене. Они поменялись ролями (девушку играл парень, а мужчину — девушка), публика смеется, некоторые аплодируют, другие открыто выражают свое разочарование. Длинный худой парень в потертом фиолетовом смокинге выступает вперед и начинает петь о том, что жизнь прекрасна, любовь прекрасна, но лучше всего — родной край.

Официанты и официантки, исчезнувшие на время выступления, снова снуют меж столиков и принимают заказы. Абель жмется у двери рядом со сценой. Он трезв.

Свет гаснет. Некоторое мгновение — полная темнота. Директор заведения призывает всех к спокойствию, оставаться на своих местах. Тут и там вспыхивают огоньки спичек. Посетители начинают болтать и смеяться. Клоун кабаре выходит на сцену и, держа свечу в руке, начинает изливать поток слов, рассказывая истории одну похабнее другой. Одновременно его приятель со свечой на лысине то и дело прерывает его и предлагает публике воспользоваться темной для собственного удовольствия. Настроение быстро поднимается.

В коридоре за сценой почти темно. Абель пробирается к каморке Мануэлы, стучит в дверь и, не дожидаясь ответа, входит. Комната освещена одной стеариновой свечой. Мануэла, одетая в костюм куплетиста, стоит у стены. Со стула у стола сразу же поднимается человек. Хотя его лицо продолжает оставаться в тени, Абель сразу же узнает его.

Ханс: Я только что узнал о смерти твоего брата.

Абель: Что ты здесь делаешь?

Ханс (улыбаясь): Я зашел на несколько минут поздороваться с Мануэлой. Надеюсь, ты не возражаешь. Кстати, я часто бываю здесь. Немножко одиноко бедному молодому человеку, и потом, я ведь живу всего в

пяти минутах ходьбы отсюда. Я как раз спросил Мануэлу, не хотите ли вы как-нибудь вечером зайти ко мне на обед и стаканчик вина.

Мануэла: Это было бы очень приятно.

Абель: А я думаю, тебе лучше убраться отсюда.

Ханс: Я уже уйду.

Он произносит это каким-то покорным, извиняющимся тоном. Берет руку Мануэлы и целует ее, потом с улыбкой поворачивается к Абелю. Тот отводит глаза в сторону. Ханс обиженно пожимает плечами, кивает Мануэле и выходит.

Абель: У тебя есть сигареты?

Мануэла: На столе.

Абель закуривает сигарету и опускается на колченогий стул.

16

Около двух часов ночи они возвращаются домой, осторожно проходя через прихожую, в комнате госпожи Холле горит свет, оба пытаются ускользнуть от внимания хозяйки.

Г-жа Холле: Кто там?

Мануэла: Это я, Мануэла.

Г-жа Холле: С тобой кто-то еще.

Мануэла: Господин Розенберг.

Г-жа Холле: Войди на минутку, Мануэла.

Мануэла: Я ужасно устала, фрау Холле. Может, мы поговорим завтра, когда я приду к обеду?

Г-жа Холле: Я хочу говорить с тобой сейчас.

Мануэла делает беспомощный жест и входит к госпоже Холле. Абель видит, как она останавливается около кровати.

Г-жа Холле: Не могу никак уснуть и, кроме того, я обеспокоена.

Мануэла: Это касается меня?

Г-жа Холле: Тебе не следовало бы преждевременно задавать вопросы, Мануэла.

Мануэла: Я ужасно устала и, по-моему, простужена, я хочу пойти и лечь.

Г-жа Холле: Это касается господина Розенберга.

Мануэла: Да?

Г-жа Холле: Я не хочу, чтобы он жил в моем доме. Он мне кажется ненадежным и заносчивым. Кроме того, властям не нравится, что я позволяю неженатым жить в одной комнате. Сожалею, но господин Розенберг должен завтра уйти.

Мануэла: Но он уже заплатил.

Г-жа Холле: Пожалуйста, вон там лежат его деньги. Я их обменяла на марки. Это незаконно носить при себе доллары. Мануэле следовало бы об этом знать.

Мануэла: Если господин Розенберг уйдет, то и я уйду.

Г-жа Холле: Мануэла решает сама за себя.

Мануэла: Мы завтра уйдем.

Г-жа Холле: Мануэла могла бы с этим не спешить.

Мануэла (плачет): Вы мне отвратительны. Вы просто проклятая ведьма.

Она выбегает из комнаты и падает Абелью на грудь, он поддерживает ее, пока она безутешно плачет.

Г-жа Холле (зовет): Мануэла!

Мануэла: Да пошла ты к черту!

Они входят в комнату, Мануэла швыряет свою сумку и большой бумажный кулек с деньгами на стол и начинает расхаживать по комнате. Абель садится, держа в руке шляпу. Неожиданно Мануэла смеется, ударяет рукой по обеденному столу, который так и стоит неубранным.

Мануэла: Думаю, что столбец с хорошими вещами придется сократить.

Абель встает и, не отвечая, начинает собирать грязную посуду. Она подходит к нему, останавливает его, обнимает и так замирает в его объятиях.

Мануэла: Вот увидишь, мы справимся.

Абель: (молчит).

Мануэла: Только надо держаться вместе.

Абель: Что делал Ханс Вергерус в твоей уборной?

Мануэла (жалобно смеется): Уж не ревнуешь ли?

Абель: Ты с ним спала?

Мануэла: Да.

Абель: Сколько раз?

Мануэла (обиженно): Не глупи, Абель.

Абель: Я хочу знать.

Мануэла: Кажется, я спала с ним три раза. А может, четыре, точно не помню.

Абель: Он тебе платит?

Мануэла: Да нет, а в общем-то, да. Один раз.

Абель: Почему он заплатил только один раз?

Мануэла: Этого я не знаю.

Абель: А я хочу знать.

Мануэла: Может быть, мне просто жаль его.

Абель: Ты в него влюблена?

Мануэла: Не знаю.

Абель: Не знаешь?

Мануэла: Мне жаль его. Я испытываю к нему нежность. Может, ему нужно немножко ласки, чтобы кто-то о нем заботился.

Абель: Ах так! Вот, значит, как!

Мануэла: Ну будь немножко поласковой, Абель! Чутьочку поласковой. Это так важно, относиться друг к другу нежно.

Абель не отвечает. Они начинают раздеваться, ходят по комнате, очень грустные, как-то неловко все прибирая. Наконец, они ложатся на узкую софу. Мануэла гасит свет.

Абель: Ты очень горячая. У тебя, наверно, жар.

Мануэла: Если я посплю, то все пройдет. Я почти никогда не болею.

Около набережной образуется тонкий лед, который сразу же трескается и проваливается в грязную черную воду. Тяжелые, обшарпанные гиганты-дома мерзнут, нетопленные, заполненные спящими, бодствующими, плачущими, дрожащими, запуганными людьми. Казармы, фабрики, церкви, вокзалы, школы, бесконечные улицы, памятники, церковные приходы — все мерзнут на ледяном ветру.

Двое полицейских, констебли Шварц и Ауэрбах патрулируют у Бранденбургских ворот. Они замечают какой-то странный темный предмет у подножия триумфальной арки. Оба пересекают широкую асфальтированную дорогу и приближаются к предмету. Теперь они видят, что это — человек, который полусидит, опираясь на стену фундамента.

Когда они подходят ближе и освещают его своими фонариками, то обнаруживают, что у человека нет головы.

Вторник, шестое ноября.

Газеты пестрят страхом, угрозами, слухами. Правительство совершенно беспомощно, и кровавое разногласие между партиями крайних взглядов кажется неотвратимым. В это утро уже нельзя достать молока в Берлине, большинство магазинов закрыто, потому что нечем торговать, государственная марка практически перестала существовать. Рассчитываются пачками кредиток на вес, не обращая внимания на их стоимость.

И все же, несмотря на это, люди ходят на работу. Гудят фабричные гудки, трамваи и поезда тащатся под непрерывным дождем, обозленные шефы контор отчитывают своих несчастных служащих за то, что те опоздали на работу, школьники засыпают над Ксенофонтом Анабасисом или коверкают английскую грамматику, домашние хозяйки скребут свои полы и пустые чуланы, полицейские патрулируют, коммерсанты заключают сделки, проститутки поджидают клиентов, актеры и симфонические оркестры репетируют, могильщики копают могилы, солдаты проходят учения, врачи если не оперируют, то ставят диагнозы. Во вторник, шестого ноября, в Берлине родилось несколько сот детей и не меньшее количество умерло. Дождь не прекращается, а страх возрастает, словно густой пар от асфальта, в нем ощущается явный трупный запах, и все несут его в себе, как нервный яд, слабо осязаемый, вроде учащенного

и замедленного пульса или мгновенного недопомогания.

В это утро Мануэла проспала, будильник прозвенел, но она не слышала и теперь топчется, стоя пьет жидкий горячий кофе, потом надевает потертое зимнее пальто, треплет Абелью по щеке и говорит, что вернется к обеду к двум часам.

Абель тайком преследует ее. Когда он выходит на улицу, то видит, как она бежит под дождем, исчезает за углом. Он следует за ней, выходит на Новемберштрассе и снова замечает ее. Она пересекает улицу, входит в небольшой парк, где находится каменная церковь, окруженная черными опавшими ветвями.

Абель следует за ней. Внутри церкви полутемно, но Абель сразу же замечает ее, она стоит на коленях, ближе к хорам; идет утренняя служба, несколько прихожан ютятся по скамьям, простуженный священник исполняет молитву и причастие, несколько полусонных мальчиков из хора прислуживают, в церкви холодно, как в могиле, створившие уже наполовину свечи на алтаре дрожат от сквозняка.

Служба закончилась, священник скрывается в ризнице, но дверь остается полуоткрытой, все поднимаются и, толкаясь, выбирают-ся под дождь.

Мануэла все еще стоит на коленях, потом поднимается и идет в ризницу, оставляя дверь открытой. Двое мальчиков с шумом выбегают из средней двери, гулко разносится их смех. В дверях появляется священник уже без сутаны, он кричит на мальчиков, чтобы те не шумели. Потом поворачивается, Мануэла что-то говорит ему, священник отвечает. Он надевает длинное черное пальто и сует ноги в галоши. Мануэла говорит что-то очень тихо, священник останавливается, потом входит в комнату.

Скрытый за колонной, Абель может видеть ризницу, это холодное помещение с высокими шкафами вдоль стен и сводчатым окном с решеткой. Посреди стоит грубо сколоченный стол. Священник сидит спиной к двери. Мануэла стоит по другую сторону стола. Абель может отчетливо видеть ее лицо, освещенное четырьмя тусклыми лампочками на люстре, висящей под потолком. Она стоит, подавшись вперед, опустив глаза, лицо ее мертвенно бледно, глаза — красные и воспаленные, она качает головой. Священник кашляет и сморкается.

Мануэла: Я не знаю, почему я пришла сюда и жалуюсь вам. Я никогда не любила бога и думаю, что и бог не особенно жаловал меня. Я никогда не посещала церковь и, кажется, меня не крестили, мой отец был убежденным атеистом, а я думала, как он. Нет.

Она думает, сжав руки, поднимает взгляд на священника, еще раз качает головой.

Мануэла: Меня зовут Мануэла. Мой отец был цирковым фокусником, я его не видела уже много лет. Мать была цирковой наездницей, всю свою жизнь я провела в разных цирках. Мой муж, он умер, тоже был цирковым артистом. *(Плачет.)* Простите, что я плачу, я ужасно простужена и чувствую себя очень слабой, легко могу расплакаться. *(Пауза.)* Да нет, я не боюсь за себя. Я всегда верила, что жизнь хороша, ни разу не думала о том, хороша или плоха жизнь.

Священник молчит, сидит, погрузившись в свое обширное зимнее пальто, иногда покашливает. Мануэла беспокойно оглядывается, словно она вдруг потеряла мужество.

Мануэла: Может, это неправильно — жаловаться, но я должна поговорить с кем-то, кто бы меня понял. Последнюю неделю я ходила сюда на утреннюю службу, потому что вдруг ощутила какую-то нерешительность. Я от кого-то слышала, что вы — американец, несмотря на ваше немецкое имя, это действует успокоительно, тем более что я не очень хорошо понимаю по-немецки.

Священник: Уважаемая фройляйн, пожалуйста, изложите вашу просьбу, через час у меня очень важное дело.

Мануэла: Да, да. Я понимаю.

Священник: Может, вы снова зайдете?

Он быстро поднимается и кутается в шарф. Мануэла все еще стоит у стола, выражение ее лица растерянное и нерешительное.

Мануэла: Простите, что я вас задержала.

Священник: Ничего.

Еле волоча ноги, Мануэла медленно идет к двери, она борется с рыданиями.

Мануэла: Мне хочется только плакать.

Священник: Вы должны быть мужественной.

Мануэла (слабо): Я не выдержу со всеми этими грехами.

Она садится на стул около стены. Священник стоит перед ней, смотрит на стенные часы, делает нетерпеливый жест.

Мануэла: Мне кажется, я виновата в том, что Макс покончил с собой. Я все время знала, что с ним что-то происходит. Когда его брат пришел и сказал, что Макс застрелился, я ничего не почувствовала, скорее, какое-то облегчение. А потом наступило вот это странное чувство, которое я не понимаю, раньше я так не чувствовала. За кого-то несешь ответственность, а потом терпишь неудачу в этой ответственности, стоишь опустошенная и стыдишься, и все время думаешь: что же произошло.

Священник сел на стул рядом с Мануэлой. Он снял очки и тщательно их протирает белоснежным носовым платком.

Мануэла: А теперь я чувствую, что должна

заботиться о его брате, и это самое худшее.
Священник: Худшее?

Мануэла: Он такой же, как и его брат. Он не говорит, что думает. Он только бросается на всех со своими чувствами и все время выглядит каким-то испуганным. Я пыталась говорить ему, что нужно помогать друг другу, но для него это только пустые слова. И мне кажется, что все, что ему говоришь, он считает бессмысленным, и только страх он считает достоверным. И от этого я больна и не знаю, что со мной. Разве нет никакого прощения?

Священник: Для верующих всегда есть прощение.

Мануэла: А для тех, кто не верует?

Священник: Если хотите, я могу помолиться за вас.

Усталый, простуженный человек на мгновение остановился, потом вытянул руку и неловким успокаивающим жестом дотронулся до ее плеча. Она удивленно смотрит на него. Он сразу же отводит взгляд.

Мануэла: Думаете, это помогает?

Священник: Не знаю.

Мануэла: Прямо сейчас?

Священник: Да, сейчас.

Он падает на колени на каменный пол. Мануэла колеблется, потом следует его примеру. Священник скрещивает руки.

Мануэла: Это какая-то особенная молитва?

Священник: Молчи, я должен подумать. *(Пауза.)* Мы живем далеко от бога, так далеко, что он нас уже совершенно не слышит, как бы мы ни молили его о помощи. Поэтому мы должны помогать друг другу. И мы должны прощать друг друга, раз уж бог отрекся от нас. Я говорю тебе, ты получаешь прощение за смерть своего мужа, у тебя больше нет греха. И я прошу тебя дать мне прощение за мое отупение и мое равнодушие. Прощаешь ли ты меня?

Мануэла (слабо): Да.

Священник: Это все, что мы можем сделать.

Он поднимается с колен и очищает свои брюки и пальто. Мануэла тоже поднялась.

Священник: А теперь мне действительно нужно торопиться. Прихожане всегда очень пунктуальны и сердаты, если опаздываешь.

Они проходят через церковь, священник немного впереди. Абель прячется все дальше в темноту за колонной.

Когда Мануэла скрылась, он продолжает свое преследование.

19

Он следует за ней на расстоянии. Они выходят на улицу, окруженную шестизэтажными казармами, сдаваемыми внаем. Позади этих серых кубов видна клиника святой Анны, отгороженная высокой чугунной изго-

родью. Мануэла открывает калитку под номером 28. Она входит в темный подъезд с полированными перилами и мраморной лестницей, поворачивает налево, открывает еще одну калитку и выходит во двор, похожий на колодец и отгороженный от других дворов высокой стеной. Абель следует за ней, пройдя через подъезд дома. Она останавливается перед дверью без таблички, ищет что-то в своей сумке, достает ключ, отпирает дверь, входит, оставляя дверь открытой.

Абель стоит в длинном коридоре, из которого видна довольно большая кухня, а в глубине виднеется еще одна комната. Мануэла стоит в дальней комнате, дождь барабанит по грязным стеклам, Мануэла втянула в себя голову, как побитый зверек, медленно стягивает с себя пальто, потом поворачивается и замечает Абеля.

Абель: Черт возьми, что все это значит?

Мануэла: Мы будем здесь жить, ты и я. Правда, хорошо?

Голос у нее немножко грустный и просительный. Он делает несколько шагов в кухню, потом еще несколько шагов в комнату, она дотрагивается до его руки, как бы пытаясь рассеять его недоверие.

20

В тот же вечер кабаре «К голубому ослу» подверглось разгрому.

Время — около одиннадцати часов ночи.

Мануэла с жалким видом поет слабым голосом о девушке, у которой есть карамельки. Из-за дождя, который не перестает хлестать снаружи, кабаре полупустует. Запах плесени и сырости ощущается еще сильнее, чем когда-либо. Легко одетые девушки в баре накинули на себя кофты и шали, одна даже прислуживает, укутавшись в старое мужское пальто. Вошедший Абель здоровадается с девицей, сидящей у входа и поджидающей клиентов. Он снимает свое насквозь промокшее пальто, отдает его старику-гардеробщику и просит его просушить, пока он здесь, благодарит старика за любезность, проходит в помещение, садится за стол и закуривает окурки сигареты. Директор кабаре подходит к нему с кружкой пива и присаживается рядом. Он маленького роста, у него крашенные волосы, за толстыми стеклами очков бегают испуганные глаза, лицо густо нагримировано, на левом указательном пальце сверкает дорогое кольцо.

Соломон: Что вы скажете о моем английском произношении? Я несколько лет прожил с одной циркачкой из Нью-Джерси. Она учила меня английскому языку. Нет смысла больше оставаться в Берлине. Посмотрите вокруг, господин Розенберг. Всего тридцать шесть посетителей! И такая программа! Да, да, Мануэла сегодня не в форме, не знаю,

что с ней происходит, она выглядит невероятно удрученной.

Абель: Она простудилась.

Соломон: А как вы думаете, господин Розенберг? Если открыть кабаре с борделем, к примеру, в Бейруте? Совершенно другой климат, совсем другие понятия. Сегодня мы закроемся раньше, сократим программу, невыгодно держать кабаре открытым, я еще в жизни не видал подобного дождя. Может, это всемирный потоп? Ваше здоровье, господин Розенберг.

Он уже собирался встать, как входные двери вдруг распахиваются, девица вскрикивает от боли и злости, кто-то подает команду. Задняя часть помещения вдруг оказывается заполненной людьми в блестящих дождевых плащах, сапогах, военных головных уборах и вооруженных дубинками.

Темное лицо господина Соломона сначала багровеет, потом бледнеет. Он поднимается, держа сигарету в правой руке, а кружку — в левой, как-то странно улыбается Абелью, одновременно съезживаясь в своем элегантном смокинге.

Соломон: Я ждал этого.

Четверо парней пробираются к сцене. Один из них хватается Манузлу за руку и грубо сталкивает вниз. Посетители повскакивали со своих мест, кто-то в страхе бросается к выходу, музыканты сгрудились в оркестровой нише.

И вот уже кажется, что все помещение забито этими людьми в черных плащах и с дубинками в руках. Один парень зачитывает резолюцию, несколько раз повторяя — «именем германского народа». Закончив читать, толстый парень, который выглядит предводителем группы, спрашивает, где находится директор заведения. Господин Соломон, не отвечая, опускается на стул. Одна из девиц у бара указывает на него: «Вон он сидит, еврейская свинья». Предводитель подходит к столу.

Предводитель: Мне твой нос не нравится. Сними очки, если дорожишь ими.

Господин Соломон тотчас же повинуется. Парень хватается его за редкие крашенные волосы и бьет лицом об стол, уже через минуту лицо господина Соломона превращается в кровавую маску. Все это происходит при гробовом молчании присутствующих. Абель все еще сидит на своем месте, кровь стекает ему на пиджак и брюки, но он не может даже ни пошевелиться, ни повернуть головы, он только видит искажившееся лицо господина Соломона.

Когда предводителю кажется, что директор достаточно наказан, он свистит в свой свисток. Это сигнал к активному действию. Люди в форме растекаются по всему залу, между гостей, музыкантов, артистов. Слышны два коротких свистка. Начинается погром.

Люди ломятся к выходу. С привычной поспешностью все исчезают. Снаружи под проливным дождем слышен шум отъезжающих редких машин. Внутри все разгромлено: помещение и люди. Абель очутился под столом, он получил сильный удар дубинкой по уху, оно сильно кровоточит, но не опасно. Абель сразу же начинает искать Манузлу и находит ее. Она не ранена, помогает господину Соломону перевязать салфеткой его разбитое лицо. В углу идет страшный спор между девицей, выдавшей директора, и двумя его сторонниками.

Мануэла: Тот парень, что стащил меня со сцены, оказался очень великодушным. Он шепнул мне, что сделает вид, будто бьет меня, а я должна громко кричать. Что я и сделала.

21

Первую ночь они проводят на своем новом месте среди нераспакованных баулов и кучи разных вещей Манузлы от ее прежней жизни. Абель не может заснуть, он полусидит на разобранной софе и курит. Мануэла спит тяжело и беспокорно, у нее жар. Около постели стоит лампа на шаткой ножке с коричневым абажуром. Сверху накинут платок, и потому от лампы исходит мягкий, почти не дающий тени свет.

Снаружи льет дождь. Иногда сквозь тишину прорывается шум мотора, от которого вибрирует весь дом. Глухой звук начинается и так же внезапно смолкает. Абель произвольно прислушивается к этому прерывистому ритму. Просыпается Мануэла, оглядывается.

Мануэла: Не можешь заснуть?

Абель: Мне нужно выпить, чтобы уснуть.

Мануэла: Там в маленькой дорожной сумке есть полбутылки джина. Я не люблю джин, поэтому она осталась недопитой.

Абель тотчас же достал бутылку и принес стакан из кухни. Он наливает себе полный стакан и сразу же выпивает его. Стоит посреди комнаты в старом махровом халате, наливает себе еще почти полный стакан и выпивает. Это его немного успокаивает. Он садится на край постели.

Абель: У тебя такой вид, будто тебе ничего другого не нужно.

Мануэла: А знаешь, даже приятно чувствовать себя больной. Ты грезишь, просыпаясь, все смешивается. Мне то шесть лет, то пятнадцать, все становится четким.

Абель: Слышишь, опять этот мотор завелся.

Мануэла: Какой мотор?

Абель: А ты не слышишь?

Мануэла: Просто что-то грохочет.

Абель: Вот именно. Это мотор.

Мануэла: Помню, я загорала и смотрела, как папа разучивал свой новый номер, а у него ничего не получалось. Мама вышла из вагончика и сказала: если ты вот так делаешь, то будет лучше. И она показала ему, как нужно сделать. А он стоял такой смущенный, сутулый и длинноволосый, со своей растерянной улыбкой, одетый в зеленый с белыми отверстиями пиджак. *(Пауза.)* У меня такое состояние, словно я одна на острове.

Абель (пьет): Вот как.

Мануэла: Не знаю. Это трудно выразить. Наша лодка перевернулась, мы уже почти захлебнулись, люди вокруг нас исчезли, и все это произошло так же, как сегодня в кабаре.

Абель: Чертовски противно слушать этот мотор. Тебе не кажется?

Мануэла: Нет.

Абель: Завтра я раз узнаю, что это за мотор.

Мануэла: А знаешь, что самое трудное?

Абель (пьет): Нет.

Мануэла: Самое трудное, это когда у людей нет будущего. И не только мы с тобой не имеем хоть какого-нибудь будущего. Все люди растеряли свое будущее.

Абель: А мне нет дела до прошедшего и до будущего. Я доволен тем, что наконец-то смогу напиться.

Мануэла: У нас и слов-то больше нет. Пока можно надеяться и мечтать о чем-то, много слов не требуется, но именно сейчас ужасно то, что люди не имеют никакого общения. Остался только крик да злоба, и еще слезы. *(Пауза.)* Тот, кто может произнести слово или выразить чувство, тот все-силен.

Абель: Это ты сама выдумала?

Мануэла: Нет.

Абель: Значит, тогда Ханс Вергерус?

Мануэла: Да. И он тоже. Тот, кто словами выражает человеческие чувства, кто любит людей, тот добрый. Если же он ненавидит людей...

Она вдруг смолкает и ложится, положив себе ладонь на лоб и облизывая губы.

Абель: Лучше этого не знать.

Мануэла: Этот старый халат, что ты надел вместо пижамы, принадлежал моему отцу. Меня это страшно взволновало...

Но Абель уже не слышит ее. Он заснул, прислонившись к спинке софы, с пустой бутылкой в руке, стакан уронил на пол. Рот полукоткрыт, лицо бледное, по-детски беспомощное. Мануэла смотрит на него, осторожно забирает у него бутылку, ставит ее на пол, вылезает из постели и тушит лампу, становится почти темно, только видны струи дождя, стекающие по стеклу окна, слабо различима стена, отделяющая двор.

Мотор уже смолк.

Слышен крик, протяжный, глухой, почти

неразличимый, но все же это крик. Так может кричать человек в смертельном страхе. Абель сразу же открывает глаза и прислушивается. Но все уже стихло. Только слышен шум дождя.

22

Пожилой господин с изысканными манерами, чисто выбритый, с сединой в волосах, с наивными голубыми глазами за стеклами очков в золотой оправе вежливо здоровается с Абелем. Они находятся в архиве, просторном подвальном помещении, расположенном среди зданий, опоясавших клинику святой Анны.

Солтерман: Добро пожаловать, господин Розенберг. Очень приятно. Разрешите представиться: доктор Солтерман, а это мой помощник, доктор Фукс. Мы руководим архивом клиники святой Анны. Это самый большой больничный архив в Европе и один из самых крупных в мире. Его площадь составляет несколько тысяч квадратных метров, господин Розенберг! А наша картотека насчитывает свыше ста тысяч номеров. Ведь клиника святой Анны существовала еще в триста пятьдесят седьмом году, конечно, выполняла самые различные функции. Мы с доктором Фуксом очень довольны, что нам наконец-то дали еще одного сотрудника. Мы уже несколько раз жаловались нашему шефу, профессору Вергерусу, но ничто не помогало. Вы должны почувствовать, как мы вам рады, господин Розенберг.

Фукс (с сильным акцентом): Вам не кажется, что доктор Солтерман превосходно изъясняется по-английски?

Абель: Прекрасно!

Солтерман: Доктор Фукс очень любезен. Я был семь лет в Англии до войны. Моя докторская диссертация касалась эротических извращений в поэзии Бена Джонсона. Интересная, но довольно ограниченная тема.

Доктор Солтерман старается быть скромным, но видно, как ему трудно сдержать свое красноречие. Доктор Фукс, сопровождающий их по длинному коридору между бесконечных поднимающихся до потолка полок, то и дело вславляет свои восхищенные замечания.

Солтерман: Разрешите спросить вас, господин Розенберг, вы раньше когда-нибудь работали в архиве?

Абель: Мне очень жаль, но не приходилось...

Солтерман: Я так и предполагал. Но это ничего. Вам можно уже сегодня дать ответственное, но с технической точки зрения не такое уж утомительное поручение.

Абель (улыбается): Я вам очень благодарен.

Солтерман: Мы с доктором Фуксом обсудили это дело и пришли к единому мнению.

Фукс (по английски): Да.

Так, разговаривая, они миновали лабиринт переходов и полок, открывая и закрывая двери, и наконец остановились в прямоугольной комнате с узкими окнами почти под потолок. В углу стоит письменный стол, на полке горит тусклая лампочка.

Солтерман: Здесь будет ваше рабочее место, господин Розенберг. Мы начинаем работу каждое утро в восемь часов и заканчиваем в шесть. Обедаем в половине второго. Обед получаем в кухне клиники. Обед полчаса. С особого разрешения мы можем также брать ужин домой, это надбавка к нашей зарплате. Все прочие правила поведения висят на стене над вашим столом. Вашу недельную зарплату будете получать каждую пятницу в кассе клиники, когда этот день наступит, я провожу вас туда и покажу, где это находится. Доброго вам утра, господин Розенберг.

Абель (изумленно): Простите за вопрос. А что я должен делать?

Доктор Солтерман визгливо смеется, доктор Фукс улыбается. Они возвращаются, интруктурируют, показывают.

Солтерман: На правой полке вы видите целый ряд коричневых папок. Они очень ценные, мы очень за них боимся. Там, налево, вы видите желтые папки более дешевого переплета. Первая задача: освободить коричневые папки от их содержимого и переложить их в желтые папки, после чего вы пронумеруете и проставите буквы в том же порядке, что и коричневые.

Абель: А что делать с коричневыми папками?

Солтерман: Вы положите в них то, что было раньше в желтых папках. Удачи вам, господин Розенберг.

Доктор Солтерман протягивает свою сухую и очень холодную руку, доктор Фукс церемонно раскланивается.

Абель: А как я выйду отсюда?

Солтерман: Когда наступит время обеда, я или доктор Фукс придем за вами. Можете на нас положиться. Мы вас не забудем. *(Смеется, потом становится серьезным.)* Да, я еще одну вещь забыл, нелишне будет еще раз напомнить, что весь материал в этом помещении строго секретный. Его нельзя выносить, и вам не следует его читать или пытаться вникать во все, что проходит через ваши руки. У нашей клиники есть большая гуманная традиция, господин Розенберг, уважение ко всему человеческому, это всегда было нашим законом. Все эти коричневые папки заполнены отчетами о непостижимом человеческом страдании, о борьбе науки, ее победах и поражениях. Здесь хранятся не-

слыханные тайны труднодоступной человеческой природы.

Абель: А вы сами читали эти папки?

Солтерман: Конечно. Я прочел все, что есть в нашем архиве. Не так ли, доктор Фукс?

Доктор Фукс утвердительно кивает.

Они удаляются, запирают большую железную дверь. Абель слышит, как их шаги замирают в конце коридора. Он остался один в этой комнате, которая кажется ему герметичной. Он пытается прогнать это неприятное ощущение — находиться взаперти; снимает с вешалки серый халат, надевает его и принимается за работу. Он сразу же обнаруживает, что в каждой папке есть еще несколько более тонких папок. На каждой из них есть комбинированный код из цифр и номеров. Он осторожно открывает одну из тонких папок, в ней, в свою очередь, содержится связка машинописных страничек. На каждой написано имя, дата и приложены три фотографии, две — в профиль, одна — анфас. В остальном страницы заполнены записями на немецком и латинском языках, с разными ссылками на даты.

23

В обеденный перерыв Абель спешит к прачечной больницы, расположенной в кирпичном здании, недалеко от котельной с высокой дымовой трубой. Через форточки высоких запотевших окон вырывается белый пар и сразу же рассеивается на холодном ветру. За оконными стеклами непрерывно двигаются женские фигуры в белом. Гора грязного белья штабелями нагромождена на длинных рессорных тележках, большая центрифуга издает оглушающий шум, пол покрыт сырým деревянным настилом.

Мануэла замечает его и дает знак подойти к задней двери. Она встречает его, но не решается пригласить в тесную, окрашенную в зеленый цвет прихожую, а остается стоять на пороге с сигаретой в руке. На ней халат и большой защитный фартук из мешковины, на голове — белый платок, на ногах — неуклюжие башмаки. Лицо красное, глаза — лихорадочные.

Абель: Ну как у тебя?

Мануэла: Очень тяжело.

Абель: Ты плохо выглядишь.

Мануэла: Ничего.

Абель: Ты что-нибудь ела?

Мануэла: Мы обедаем в общей больничной столовой.

Абель: Когда ты кончаешь?

Мануэла: Думаю, что закончу в семь.

Абель: Я могу взять ужин в кухню. Это добавка к жалованию.

Мануэла: А как у тебя в архиве?

Абель: Хорошо.

Мануэла: Я не знаю, могу ли я стоять так долго. Здесь такие строгости.

Абель: Мануэла!

Мануэла: Да.

Абель: Ты похудела и плохо выглядишь. (Он становится беспомощным от своей неожиданной нежности.) Мне хочется, чтобы я смог...

Мануэла: Все хорошо, Абель. Могло быть и хуже. А теперь мне пора. Мы должны раздобыть тебе зимнее пальто, а то ты замерзнешь, если будешь ходить зимой в этом...

Абель: А ты не можешь сказать, что больна?

Мануэла: Я не решаюсь.

Она оглядывается, улыбается чуть испуганно, сзади возникает полная женщина с опухшим лицом. Мануэла закрывает дверь и возвращается в помещение. Женщина непрерывно что-то говорит, ее лицо становится сердитым. Она берет Мануэлу за руку и толкает ее в угол.

Абель бегом возвращается в архив. Он заворачивает за угол, сгибаясь от порыва ледяного ветра, туча пыли хлещет ему в лицо, кто-то берет его за руку, он оглядывается и видит Ханса Вергеруса в зимнем пальто с меховым воротником и в меховой шапке. Мимо проезжает машина.

Ханс: Тебя могли задавить.

Абель: Спасибо.

Ханс: Ну как тебе у нас?

Абель: Я только начал.

Ханс: А Мануэла?

Абель: Можешь сам спросить у нее.

Ханс: Нам надо как-нибудь встретиться вечером, втроем?

Абель: (молчит).

Ханс: (молчит).

Абель: Извини, я тороплюсь.

Ханс: Конечно. Увидимся.

Абель торопится дальше. Он чувствует сильный страх, который старается побороть.

24

Доктор Фукс показывает Абелью дорогу через лабиринт архива.

Фукс: Доктор Солтерман после обеда ушел домой, у него хрупкое здоровье, и я частенько остаюсь один в архиве в это время.

Неожиданно он останавливается и поворачивает к Абелью, который тоже вынужден остановиться, свое озабоченное лицо. Глаза у доктора Фукса большие и светлые, почти бесцветные, редкие седые волосы завиваются колечками на затылке, нос узкий и вытянутый, рот сжат.

Фукс: Теперь, когда доктора Солтермана нет, я вам могу сказать кое-что. (Шепотом.) Здесь происходит нечто ужасное.

Абель: Что? Где?

Фукс: Здесь, в клинике.

Абель: В клинике?

Доктор Фукс кивает, оглядывается, словно боится, что кто-то подслушивает за полкой. Он берет Абелью под руку и проводит его через боковой вход, отпирает окрашенную в зеленый цвет дверь ключом из своей огромной связки и вводит Абелью в комнату. Он зажигает лампу и идет к одной полке, ищет что-то, потом достает что искал, это — серая папка, наполненная актами и перевязанная шнурком. Он раскладывает ее на столе и испытующе смотрит на Абелью.

Фукс: Вы знаете, что это такое, господин Розенберг?

Абель: Я не понимаю по-немецки.

Фукс: Это отчеты, очень подробные отчеты. Строго секретные.

Абель: Да?

Фукс: Отчеты, касающиеся определенных экспериментов, проведенных в клинике под руководством профессора Вергеруса.

Абель: Не понимаю.

Фукс: Вы можете угадать, что это за эксперименты, господин Розенберг?

Абель: Нет, это для меня невозможно.

Фукс: Весьма странные эксперименты.

Абель: Да?

Фукс: Эксперименты над людьми, господин Розенберг.

25

Когда после работы Абель выходит из архива, уже темно, но мощные лампы освещают двор больницы и ее главный вход. Доктор Фукс поднимает воротник пальто, приподнимает шляпу, очки поблескивают, редкие волосы разлетаются на ветру, он энергично произносит по-немецки «до свидания» и бегом направляется к трамвайной остановке. Всюду мелькают темные, согнутые фигуры, направляющиеся к выходу.

Абель закуривает свою последнюю сигарету и отправляется прямо к больничной кухне, расположенной в отдельном длинном здании, прилегающем к одному из внутренних дворов. Он сразу же обнаруживает длинную очередь человек в сто, движущуюся к длинному прилавку. У всех в руках судки, когда они подходят к прилавку, то показывают свою карточку, отмечают в списке, все происходит очень быстро, и после некоторого ожидания Абель уже стоит перед девушкой за прилавком. Он показывает свою карточку, она проверяет по списку, возвращает карточку обратно, качает головой и говорит по-немецки, что ему нужно подойти к другому прилавку, немного подальше. Постепенно Абель догадывается, о чем она говорит. Мужчина сзади него в очереди говорит на чистом английском, что ему повезло, потому что у другого прилавка кормят гораздо лучше. Абель вежливо улы-

бается и идет к другому прилавку, примыкающему к больничной столовой. В дневное время здесь почти пусто, сейчас несколько се-стер сидят за столом и негромко разговари-вают. Абель снова показывает свое удо-стоверение. Девушка изучает его, потом у-вердительно кивает, подходит к большому шкафу, открывает дверцу и достает двой-ной судок, ставит его на прилавок, после чего она отмечает в списке, что выдано. По-немецки она объясняет Абелью, что тот может приходить каждый день. Она показы-вает, что его имя есть в списке. Он же-стом поясняет, что понял ее.

26

В молчании Мануэла и Абель едят суп из картошки и капусты, вперемежку жуют черный хлеб с салом, на дне тарелки пла-вают кусочки вареного мяса.

Абель: Этот мотор сводит меня с ума.

Мануэла: А я ничего не слышу.

Абель: Уверен, что слышишь!

Мануэла: Ну если ты так утверждаешь.

Абель: Здесь чертовски жарко. Неужели нельзя открыть окно?

Мануэла: Можно открыть верхнюю фор-точку в кухне.

Абель стремительно поднимается и идет в кухню, с силой открывает единственное окно, еще не заклеенное. Он достает свою последнюю сигарету, закуривает, стоит у окна и смотрит на желтую стену во дворе. Ма-нуэла все еще сидит за столом. Она уже кончила есть.

Абель: Ужасно болит голова.

Мануэла: Кажется, у меня где-то есть поро-шок.

Абель: Сидишь здесь, как в западне.

Мануэла: Что?

Абель (кричит): Ты, идиотка! Ты что, не чувствуешь, что мы взаперти! Сердце стучит, будто вот-вот вырвется наружу.

Мануэла: Не кричи так, Абель.

Он быстро возвращается в комнату, что-бы наругать ей, но сдерживает себя. Она смотрит на него с таким страхом, что он забывает все грубые слова.

Мануэла: Если мы будем паниковать, все полетит к черту.

Абель: Да.

Мануэла: Лучше давай подумаем, как нам вернуться в цирк. Нужно найти партнера вместо Макса или придумать новый номер для нас двоих. Это не так уж трудно. Я уже кое-что придумала. Вот, смотри, ты стоишь здесь, а я — здесь, и мы встречаемся на се-редине трапеции. Мы могли бы работать без сетки, это нам даст преимущество. Если ты не хочешь, я сама могу поговорить с Хол-лингером. Он меня ценит. Пока репетиру-ем, можем получать еду, нам вернут наш

старый вагончик. Можно будет помогать на конюшне.

Абель не отвечает. Он начинает ходить взад-вперед из кухни в комнату, потом в прихожую и обратно. Мануэла закрывает гла-за и сжимает губы.

Абель: У меня голова болит.

Мануэла: Ты это уже говорил.

Абель: Как думаешь, это не утечка газа?

Мануэла: Нет, это не утечка газа.

Абель: Почему ты так в этом уверена?

Мануэла: Потому что я уже проверяла.

Абель: Ага, значит, ты тоже подумала, что это газ.

Мануэла: Да, потому что у меня тоже болит голова. Я больна, Абель. У меня жар. А ты ведешь себя, как безумец. Если не можешь здесь оставаться, то лучше уходи.

Абель: Значит, ты меня выгоняешь.

Мануэла: Просто я говорю, если хочешь, можешь уходить. Ты ничего мне не должен, и я тоже тебе ничего не должна. Я сде-лала все, что могла, для нас обоих, я дол-ше так не выдержу. *(Кричит.)* Слышишь, ты! Я не вынесу так дальше. Плевала я на твой страх. И на тебя тоже.

Абель: Значит, ты хочешь, чтобы я ушел.

Мануэла: Нет.

Абель: Бедная Мануэла.

Мануэла: Это сожаление? Или ирония?

Она встает из-за стола и протягивает свои исхудавшие руки. Он делает шаг вперед, притягивает ее к себе, так они стоят, об-нявшись. Внезапно начинают целоваться, па-дают на постель.

Абель: Я не могу.

Мануэла: Давай просто так положим.

Абель: Нет, я не могу.

Мануэла: Лежи спокойно. Так хорошо.

Они лежат обнявшись. Она протягивает руку к выключателю над кроватью. Свет из кухни высвечивает прямоугольник на про-тивоположной стене, в полутьме слабо видны их лица.

Абель: Я не могу здесь лежать.

Мануэла (жалобно): Ну еще немножко.

Она все еще обнимает его. Напряжение медленно спадает с него, он закрывает гла-за, голова тяжело клонится на ее плечо. Вдруг слышен слабый глухой шум мотора.

Абель высвобождается из объятий Мануэ-лы и садится на кровати, закрывает лицо руками, но сразу отнимает их, качает го-ловой и встает. Он идет в прихожую, на-девает свой пиджак, возвращается, нере-шительно стоит в дверях, смотрит на Ма-нуэлу, она сидит на кровати, втянув в се-бя голову. Он хочет ей что-то сказать, но не может найти слов. Мануэла тоже онеме-ла.

Он почти бегом покидает дом.

В ночь на четверг, восьмого ноября, правительство мобилизовало всю свою готовность защищать Берлин. Дикий и совершенно неконтролируемый поток слухов и противоречий достиг наивысшей точки, а затем снова последовало глухое, выжидающее молчание. Военные патрулируют в административном центре города и на главных улицах, а в остальном все осталось по-прежнему: магазины и продовольственные склады все еще закрыты из-за недостатка товаров. В порту уже два дня не работают из-за забастовки. Днем в определенные часы отключают электричество. В дома и на газовый завод перестали подвозить уголь. И в этой обстановке окаменелости безумным пламенем польхает беззаботная жизнь изолированного мирка, накаленного внутри умирающего организма.

Абель отправился в бар. Недалеко от Курфюрстендамм.

Бар заполнен посетителями, возвращающимися из театров и кино. У стойки он показывает чудом оставшийся у него доллар и сразу же получает рюмку коньяку, потом вторую и третью. Посреди бара находится маленькая ротонда, где топчутся танцующие. Четверо негров играют джаз, резкий свет освещает их потные, расплывчатые лица. Абель платит свой доллар и на сдачу получает толстую пачку банкнот.

И вот он уже бредет по улицам, расположенным позади Курфюрстендамм, где гораздо темнее, реже движение, иногда с грохотом проезжают грузовики, заполненные солдатами. Какая-то молодая девчонка вцепляется в его рукав и резким, просящим голосом предлагает свои услуги. Он отрывает ее от себя и спешит прочь.

Он заворачивает за угол и вдруг останавливается, сбитый с толку, сердце бьется, голова горит, чувствует он себя опьяневшим и опустошенным.

На другой стороне полуразрушенной улицы находится невзрачный магазинчик товаров для ручной работы — катушки ниток, мотки пряжи. В витрине выставлена вывеска, изящными белыми буквами выведено: «А. Розенберг — товары для ручной работы».

Абель пересекает улицу, обходя крупные булыжники на мостовой, смотрит на слабо освещенную витрину, на подушечки, вышивки, мотки ниток. Он еще раз перечитывает вывеску: «А. Розенберг — товары для ручной работы». В глубине магазинчика открывается дверь, и в светлом проеме появляется пожилой мужчина. Следом за ним идет худая, немного сутулая женщина, ее

темные волосы тяжелым узлом уложены на затылке. Мужчина держит под мышкой две счетные книги, женщина несет корзину. Они разговаривают, но Абель не слышно, о чем они говорят.

В каком-то неожиданном порыве Абель хватается булыжник и с размаху швыряет его в витрину, раздается звон разбитого стекла. Мужчина бросает на прилавок свои книги и толкает дверь, после некоторых усилий ему удается ее открыть. Абель даже не пошевелился, он выжидает с нарастающим порывом бешенства. Не говоря ни слова, мужчина набрасывается на Абеля, толкает его, потом отпускает, как бы давая тому возможность защищаться. Но Абель остается неподвижным, получая все новые и новые удары по лицу. Женщина вцепилась ему в волосы, царапает шею. Мужчина бьет в грудь кулаком, но от удара теряет равновесие и падает на мостовую. Неожиданно он замечает, что вокруг уже собралась толпа зевак. Мужчина хватается Абеля, резко поворачивает его, прижимает к стене, свои очки он уже потерял, свет от витрины освещает его лицо. Абель чувствует неприятный запах турецкого табака из его рта. Большие серые глаза раскрыты и полны слез, губы дрожат, произносятся бессвязные слова. Женщина обращается к окружающим с просьбой позвать полицию. Абель чувствует жгучую боль. А мужчина все продолжает награждать его оплеухами по лицу. Вдруг Абель поднимает руки, хватается мужчину за запястье, одно мгновение крепко держит его, ярость на лице у того сменяется страхом, медленно Абель заставляет его встать на колени, после чего отпускает его и бежит прочь. Но женщина преследует его с громкой бранью, крепко вцепляется в него, он вынужден остановиться и повернуться к ней. Густые темные волосы у нее рассыпались по плечам, худое, озлобленное лицо почти вплотную приблизилось к нему, и она плюет ему в лицо. Одной рукой он хватается ее за талию, прижимает к себе, другой держит за волосы, наклоняется к ней и целует ее долгим поцелуем, прижимаясь своими губами к ее губам, потом отпускает, толкает, она вскрикивает в ярости и падает на тротуар. Абель бежит прочь. Он сворачивает на другую улицу, останавливается и прижимается к стене дома. Постепенно его начинает трясти.

Какая-то девица останавливается и внимательно рассматривает его. Он просит ее уйти. Она говорит, что понимает по-английски. Он отвечает, что его это не интересует, она говорит, что он плохо выглядит. Он посылает ее ко всем чертям, она смеется и отвечает ему, что она как раз там и находится. Тогда Абель поднимает голову

и смотрит на нее. Она маленького роста, лицо круглое и рыхлое, глаза темно-голубые, густо подведены, на ней полудлинная меховая куртка с меховым воротником, шея обмотана шарфом. На коротко остриженные волосы натянута зеленая шапочка. Она берет его за руку и тянет за собой через улицу в тупик, они проходят через сводчатые ворота и выходят в плохо освещенный двор, где сильно пахнет помоями, ключом она отпирает дверь с полуразбитым стеклом, окрашенную в красный цвет, тащит его за собой по крутой деревянной лестнице со сломанными перилами. Над входными дверями тускло мерцают лампочки. На третьем этаже она останавливается, отпирает дверь, толкает его через занавеску и входит следом за ним. Оба очутились в перегородженной комнате, по одну сторону стоит стол со спиртовкой, на грязной клеенке валяются кастрюли и тарелки, по другую сторону висит белье. Узкая полуоткрытая дверь ведет в соседнюю комнату, откуда доносится музыка и льется розоватый свет. Девушка стучит в дверь и, не дожидаясь ответа, берет Абеля за руку и входит вместе с ним.

На полу сидит молодой негр, на нем, кроме оранжевого пиджака, ничего нет. На разобранной постели бесчинствует худощавая девушка с большой грудью и узкими бедрами, она завернулась в восточную шаль, лицо у нее хилое, она все время визгливо смеется. Негр беспрерывно говорит.

Монро: Она говорит, что я не умею работать. А сама только кусается. Скажи ей, что она сама не знает, что говорит. Микаэла, будь так добра и скажи этой ненасытной дамочке в постели, что мы с тобой удовлетворяли друг друга по меньшей мере пятнадцать раз.

Микаэла: Меня зовут Микаэла.

Стелла (громко смеется): Этот черный слизняк — просто дурак! Если ты с клиентом, тогда я с Монро пойду к себе, хотя здесь теплее. Хочешь немножко порошок? Настоящий индонезийский. Здорово возбуждает.

Микаэла (Абелю): Снимай пиджак.

Абель: Спасибо, и так хорошо.

Он опускается в глубокое кресло, которое стоит около двери.

Монро (плаксиво): Стелла — ужасный человек, это все говорят. Хуже ее никого нет. Я только вчера об этом узнал. Ты просто помешанная.

Стелла (громко): Микаэла, ты знаешь меня, и ты знаешь Монро, и ты прекрасно знаешь, что он ни на что не способен, и если ты утверждаешь, что спала с ним и у вас все получалось, то ты просто врешь.

Микаэла: У тебя еще есть порошок?

Стелла: Там, в ящике, я тебе оставила.

Микаэла (добродушно): Очень любезно с

твоей стороны, хотя это мне принадлежит.

Монро: А помнишь, когда ты попала в больницу, потому что ты заподозрила у себя сифилис, кто тогда с тобой был каждую ночь и не боялся от тебя заразиться?

Стелла (вскрикивает): И не было у меня никакого сифилиса, черт же тебя побрал!

Монро: Да ты сама заподозрила сифилис. Ты тогда ужасно выглядела. Вообще ты скверная женщина, это все говорят, ты самая отвратительная проститутка на всей Штайнштрассе.

Граммфон уже умолк и крутится впустую. Монро останавливает его и переворачивает пластинку. Микаэла взяла из ящичка туалетного столика пузырек с белым порошком, подцепила указательным пальцем несколько зернышек, поднесла к носу и втягивает их в себя.

Микаэла: Хочешь? Так хорошо становится.

Абель: (качает головой).

Микаэла раздевается, бросает одежду где попало, перешагивает через Монро, он целует ее в зад. Она открывает шкаф и достает оттуда ярко-зеленое китайское кимоно, смотрит в зеркало, разглядывая свое белое тело, большие груди, круглый живот.

Стелла: Все-таки этот садист, с которым ты гуляешь по четвергам, оставил тебя с пузом.

Монро: С тобой я могу когда угодно. А эта крикливая дамочка в постели меня раздражает. Я могу с тобой сколько угодно. Я не фижис. Это все только Стелла лжет, будто я не умею, как все нормальные, а могу лишь, как собачонка.

Микаэла смеется и ложится поперек широкой постели. Стелла смеется вместе с ней, переходя на визг. Обе очень довольны.

Абель: Здесь?

Их лица поворачиваются к нему, он все еще сидит у двери, немного откинувшись назад, раскачиваясь в своем кресле, шляпа валяется на полу.

Монро: Что здесь?

Абель: Ты только что сказал, что с Микаэлой можешь в любое время. Давай, прямо сейчас здесь.

Стелла (визгливо смеется): Да, да, давай!

Монро: Я могу. Но если ты думаешь, что можешь смотреть бесплатно, ты ошибаешься.

Микаэла: Давай, Монро, покажи, что ты настоящий мужчина.

Стелла: Я тоже положу монету.

Она тянется к своей сумке, которая висит на спинке кровати, и бросает пачку кредиток в лицо негру. Абель выворачивает карманы, держит в руке деньги.

Абель: Ну что скажешь? Будешь богатым человеком, Монро.

Он бросает деньги на пол, встает и уходит. Микаэла безумолку болтает сама с собой.

Микаэла: Мне хорошо, мне прекрасно, ну, Монро, давай, ложись на майора Гиммлера, который уже лежит на докторе Фойере, этот уже улегся на генерал-интенданта Вагнера, а дальше я уж и не знаю, кто на ком. Ну, Монро, давай быстрее, а то кончишь, еще не начав. Мне так хорошо, ты получишь все деньги, и Стеллы, и того парня, который не хочет сказать, как его зовут.

Монро валится в постель, не снимая оранжевого пиджака, его узкая шея вспотела, он сопит.

Стелла: (хихикает).

Микаэла: Замолчи. Нехорошо над ним смеяться. Пожалуй, я ему немного помогу.

Стелла: Нет, к черту! Тогда это будет халтура. Пусть сам работает.

Монро старается, как заведенный, его грудь покрылась бисеринками пота. Он лежит на Микаэле и пытается рукой возбудить свой член, хватая Микаэлу за грудь, целует ее плечи, шею, пытается овладеть ею, но все безуспешно.

Микаэла зажимает рот рукой и отворачивает голову, встречается взглядом с Абедем, у них взаимопонимание, иногда она затягивается сигареткой. Стелла нагнулась над ними, встала на колени и внимательно следит, словно судья. Неожиданно Монро скатывается с белого тела Микаэлы, он судорожно плачет. Стелла вскрикивает и бьет его по задку, потом бросается на пол и подбирает свои деньги. Абель сверху тяжело наваливается на нее, она поворачивается на спину.

30

Спустя несколько часов он очнулся. Худая девица лежит рядом с ним в постели, рот ее полуоткрыт, веки синеватые, как у мертвеца, она сильно храпит. Монро лежит на полу, подложив под голову свой оранжевый пиджак и накрывшись рваным одеялом, из-под которого торчат его худые ноги. Наглотавшийся кокаина, он погружен в глубокий сон. Из отгороженной части комнаты доносится оживленный разговор. Микаэла, по-видимому, договаривается с клиентом.

Абель поспешно одевается, берет свой пиджак, ищет шляпу и уже собирается улизнуть, как вдруг что-то вспоминает, осторожно выдвигает ящик ночного столика, там лежат его деньги, он сгребает их вместе с пачкой сигарет и незаметно скрывается.

Уже половина четвертого утра, улицы пустынные, застыли на ледяном ветру, дующем с севера. Недалеко от клиники святой Анны расположился военный патруль: грузовик въехал прямо на тротуар, пулемет старого образца установлен на кузове, вокруг грузовика маленькими группками разместились люди. Рядом с грузовиком видна молочная, через полуоткрытую дверь

которой струится свет. Хозяйка стоит у примуса и варит кофе, люди пьют горячую жижу из своих кружек, некоторые жуют черный хлеб. Они стоят и сидят вокруг машины, пытаются укрыться от ледяного ветра, высоко подняв воротники своих шинелей.

Абель подходит к группе, показывает украденные сигареты.

Абель: Сигарет?

Кое-кто принимает его приглашение.

Абель: Кто-нибудь из господ говорит по-английски?

Молчание. Сонные, непонимающие взгляды.

Абель: Я хотел узнать, как пройти к Штеттинскому вокзалу.

Один из солдат на ломаном английском объясняет ему дорогу.

Абель: Благодарю за любезность. Берите сигареты. Берите всю пачку. (Пауза.) Я — американец. Мне нужно в Гамбург, мой пароход отходит в полдень. Я приехал в Берлин, чтобы посмотреть на эту инфляцию. Фантастично! Потом познакомился с проститутками, и те украли у меня доллары. Правда, их было не так уж много. Я получил валюту за марки. (Смеется.) Сегодня очень много военных на улицах. Происходит что-нибудь особенное? (Никто не отвечает.) А как прекрасно — снова вернуться в Лос-Анджелес. Во всяком случае там не так чертовски холодно. (Пауза.) Кто-нибудь даст мне прикурить, спички тоже утащили, остались только пустые карманы. (Смеется. Молчание.) Умные девки эти проститутки, должен признаться. Особенно одна, еврейка. Еврейки — хорошие проститутки. У вас здесь очень много евреев, просто весь город кишит евреями. Вам нравятся евреи? (Молчание.) Я не терплю евреев, только проституток. А самые опасные еврейки — рыжеволосые, я это знаю.

Молчание. Кто-то протягивает Абеде жестяную кружку с кофе. Он улыбкой благодарит, у него в глазах слезы, прихлебывает кофе, курит.

Абель: Как хорошо вернуться домой, где тепло, где жена и дети. Эти девки украли мой бумажник, и я не могу вам показать семейные фотографии. Мы живем не в самом Лос-Анджелесе, а на побережье Тихого океана. Просыпаешься и засыпаешь под шум прибоя. Почти круглый год каждый день мы ходим на пляж и купаемся. У моей жены очень красивая фигура. Когда она в купальнике, это особенно заметно. У нас двое детей. Макс и Мануэла. Девочка следующей осенью пойдет в школу. Моя старая бабка живет с нами. Она уже совсем дряхлая, но следит за хозяйством, и дети ее любят. Кроме того, она прекрасно готовит. Вам следовало бы ответить ее яблочного пирога.

Солдат: Проваливай к черту.

Абель (смеется): Разве я его как-нибудь обидел? Может, он еврей? В таком случае в вашей группе затесался предатель.

Солдат: Проваливай, а то я тебя пристрелю.

Абель (показывает деньги): Я имею право заплатить за себя.

Он запихивает деньги в карман рядом стоящему солдату.

Абель: Прощайте, господа. Для вашего же блага я надеюсь, что Германия все еще существует в этот четверг. Но это не совсем навЕРНЯКА.

31

Абель возвращается домой, тихо раздевается в холодной прихожей и проскальзывает в комнату. Лампочка на потолке продолжает гореть. Мануэла лежит на постели, раскинув руки, голова ее повернута к стене, когда он подходит поближе, то замечает, что глаза ее остекленели, она мертва.

Вокруг гробовая тишина. Он смотрит, не веря себе, на это мертвое тело, освещенное холодным светом лампы. Смотрит в глухую темноту за окном. Чтобы освободиться от этого оцепенения, Абель закрывает глаза и глубоко дышит, ощущая боль в груди и пытаясь ее приглушить. Слез нет.

Его пробуждает слабый шум за стеной. Внезапно он чувствует быстрый световой рефлекс в зеркале в золотой раме рядом с платяным шкафом. Каким-то инстинктом Абель хватается за стул и бросает его со всей силой в зеркало, оно разбивается, обнажая внутри широкое зияющее отверстие. На мгновение он ошеломлен и испуган, как вдруг слышит быстро удаляющиеся шаги и скрип закрывающейся двери. Тогда он вскакивает на другой стул и направляет свет лампы на потолке в это отверстие. В глубине мерцает что-то похожее на широко открытый глаз. Абель освещает ближе загадочный предмет и обнаруживает, что это кинокамера с объективом, направленным прямо ему в лицо. Он вынимает осколок стекла из рамы и пролезает внутрь, опрокидывает камеру, кассета открывается, оттуда выкатывается пленка и вьется по полу, словно желтая змея. Абель толкает дверь и оказывается в просторном помещении без мебели, с высокими окнами и треснутыми половицами, которые обнажают лежащие ниже балки, а еще дальше — бездонную пропасть. От стен отходят золоченые обои, незавешенные окна чернеют ночной мглой. Шаткая деревянная лестница ведет на верхний этаж. Еще одна дверь. Внутри все выкрашено в белый цвет, стены покрыты кафелем, окна забиты гвоздями. Посреди стоит операционный стол, в остальном комната пуста, будто всю обстановку в спешке вынесли. Следующая

дверь: просторный лифт. Абель нажимает на кнопку, от звука мотора вибрируют пол и стены, лифт движется через весь темный дом, здесь и там освещенный лампочками. Везде следы поспешного отъезда. Лифт останавливается на верхнем этаже, и Абель попадает в коридор, который тянется во всю длину этажа. Везде полуоткрытые двери, брошенный хлам.

Внезапно позади него появляется тень. Абель различает бледное лицо, два холодных светлых глаза, сжатый рот, он бросается вниз, противник преследует его. Абель бежит, минует одну лестницу, бросается в сторону, но преследователь не отстает, и вот он уже в подвальном помещении, прямо перед ним шахта лифта, открытая с двух сторон, двери за решеткой нет, она закрыта с другой стороны. Преследователь настиг его, приближается в сером свете, падающем сверху. Абель пытается увернуться, но противник прижимает его к решетке и сигнальным кнопкам. Мотор включается, пол и стены слабо вибрируют от глухого звука, лифт медленно спускается вниз. Оба падают, противник подмял Абе́ля под себя и бьет его головой об пол. Лифт приближается. Абель сопротивляется, упираясь пятками о порог шахты. Противник на секунду ослабил свои удары, Абель пользуется этим, хватается того за плечи, прижимает к полу, голова противника свешивается над шахтой. Лифт пронесется почти у самого лица Абе́ля.

32

Доктор Солтерман рассматривает свою связку ключей, медленно извлекает ключик на тонкой золотой цепочке. Наивный взгляд его голубых глаз сейчас холоден, прежней любезности как ни бывало. Рот растягивается наподобие улыбки, обнажая белые вставные зубы.

Солтерман: Когда вы приступали к своим обязанностям, я указал, что мы работаем с восьми утра до шести вечера.

Улыбка погасла так же внезапно, как и появилась. Слабый солнечный луч проникает сквозь грязное окно и освещает седые волосы доктора Солтермана.

Абель: Не будет ли доктор Солтерман так любезен проводить меня на рабочее место. Я не найду дороги.

Солтерман: Разумеется.

Они молча идут по лабиринту. Старый мужчина идет быстро, все время раздраженно позвякивая своей связкой ключей, которую он держит в правой руке. Абель следует за ним, держась немного в стороне. Неожиданно слышен звук шагов и стук закрывающейся двери. Абель останавливается.

Абель: Разве в архиве есть еще люди?

Солтерман: Конечно. Днем нас посещают ученые из других институтов.

Они подходят к комнате Абеля, доктор Солтерман останавливается у двери, кивает и нетерпеливо ждет, когда Абель войдет. Абель протягивает руку, хватая доктора Солтермана за локоть и толкает к столу, тот падает на пол. Абель бросается на него, тяжелая железная дверь захлопывается. Тогда он приподнимает старика, очки у того разбились, он сильно трясется.

Солтерман: Вы очень невежливо обращаетесь со старым человеком.

Доктор Солтерман снова улыбается, ему удается сдержать свою дрожь, он отодвигает разбитые очки.

Солтерман: Все это смешно и унижительно. Вы должны понять, что я все равно ничего не расскажу, как бы вы грубо со мной ни обращались. В отличие от вас у меня есть свое убеждение. Что-то невероятное происходит там, в Мюнхене, господин Розенберг. Родился спаситель, но искупление достанется всем нам страданием и кровью. Наступает страшное время, но что значат каких-нибудь тридцать — сорок лет страданий и смерти. Что значите вы или я. Что значат миллионы жизней, которые должны быть принесены в жертву. Людей, слава богу, хватает, господин Розенберг. Время бессильного индивидуализма прошло. И вот кто-то уже готов пробудить затравленный голос, заставить заговорить онемевших от страха. Убейте меня, господин Розенберг. Я не могу сопротивляться, тело мое одряхлело, но душа сильна и спокойна.

Доктор Солтерман говорит быстро и очень тихо, постепенно его голубые глаза наполняются слезами. Он вынимает носовой платок и сморкается.

Абель: Дайте мне ключи.

Он протягивает руку за связкой, но старик качает головой и проворно прячет связку в карман. Абель делает шаг к нему и пытается схватить связку, Солтерман отчаянно защищается, руки его трясутся, он кричит. Абель зажимает ему рот, валит на стол и бьет головой о край стола, тело старика сразу обмякло, глаза закатились, он начинает хрипеть. Абель берет связку, и после некоторых попыток ему удается открыть железную дверь.

Коридоры и переходы расходятся в разных направлениях. Абель без особого труда находит архив, где он был накануне вместе с доктором Фуксом. Он прислушивается, но кругом все тихо, только в трубе, что проходит по потолку во всю длину коридора, что-то свистит.

Позади полок в противоположной стене виднеется низкая дверь. Абель подбирает к ней ключ и входит в тесную четырехуголь-

ную комнату, похожую на большой шкаф. Посреди этой комнаты без окон стоит странная машина: по обе стороны стола вмонтированы два колеса, между ними установлен объектив. На одно колесо намотана киноплёнка. Абель оглядывается. Вдоль стен тянутся полки, заставленные яфами. На каждом яффе — надпись. С правой стороны машины установлен пульт управления. Абель щелкает первым выключателем. Сразу же загорается скрытая проекционная лампа, и на белом экране, вмонтированном у края стола, появляется застывшее изображение. На экране — женщина сидит на стуле у стены. Ее поза напряжена, а лицо выражает мучение. Абель щелкает другим выключателем. Оба колеса начинают крутиться, механизм грохочет, изображение начинает двигаться. Абель поворачивается.

В комнату незаметно вошел Ханс Вергерус. Он закрыл дверь на ключ, останавливает машину.

Вергерус: Я запер, чтобы нам никто не помешал... (*Улыбается.*) Доктор Солтерман предупреждал меня в отношении тебя, но я ему не поверил. И кстати, кто бы мог подумать, что доктор Фукс начнет сплетничать. Он так испугался. А еще говорили, что он мной восхищается. (*Равнодушно.*) Ты ничего не говоришь. Поверни-ка этот выключатель, и ты увидишь интересные кадры. Это съемки наших экспериментов здесь, в клинике святой Анны.

Вергерус включает ток. Машина зажужжала, и изображение женщины на экране снова начинает двигаться.

Вергерус: Это — попытка сопротивления, к сожалению, технически неважно снята, но наша аппаратура пока еще не совсем совершенна. Тридцатилетняя женщина добровольно взялась ухаживать за четырехмесячным младенцем-уродом, который кричит день и ночь. Мы хотели посмотреть, как поведет себя эта вполне нормальная, довольно интеллигентная женщина, когда она окажется запертой вместе с беспрерывно плачущим ребенком. Сейчас ты видишь ее после двенадцати часов пребывания взаперти, она выглядит совершенно нормальной, в полном самообладании.

Абель смотрит.

Женщина на экране очулась от своего оцепенения, поднимается со стула, подходит к колыбели, где лежит плачущий ребенок, берет его, обращается с ним очень нежно, ходит по комнате, качая его на руках.

Вергерус: Когда женщина заметила, что мы ее заперли, она сначала забеспокоилась. Она стучала в дверь и кричала, но потом осознала свою ситуацию и повела себя очень разумно. Она удобно устроилась, чтобы вместе с плачущим ребенком выдержать это

положение. Вот здесь уже прошло двадцать четыре часа.

Абель смотрит.

На пленке проплывает какой-то текст, отмечающий время. Женщина села в угол комнаты и зажала уши руками.

Вергерус: Теперь мы видим, что она подвержена воздействию. Ее сочувствие к больному ребенку стирается под сильным воздействием. Ее чувства исчезли и перешли в глубокую депрессию, которая, в свою очередь, парализует любую инициативу. Ты можешь видеть, как странно она себя ведет, когда ест, как нагибается к полу, почти не в состоянии жевать. Ребенка она бросила на произвол судьбы.

Абель смотрит.

Женщина стоит перед колыбелью, уперев руки в бока. Голова ее опущена, и Абель не видит ее взгляда, одно плечо приподнято.

Вергерус: Теперь ясно видно, что ее решение — освободиться от ребенка — уже созрела. Но прошло еще шесть часов, прежде чем она осуществила свой замысел. Сила сопротивления достойна внимания. Жаль, конечно, что камера не смогла зафиксировать самого акта свершения замысла. Но я уже говорил, что наша аппаратура еще далеко не совершенна.

Экран померк, но машина продолжает работать.

Абель смотрит.

На экране появляются двое мужчин в белой комнате. Один из них одет в белый халат и белые брюки. Другой — голый, лежит на деревянном столе, связанный кожаными ремнями по рукам и ногам. Глаза его завязаны. Одетый в белое держит большой шприц между большим и указательным пальцем, время от времени он втыкает шприц на какой-то миллиметр в тело связанного. Жертва кричит, его грудь вспотела.

Вергерус: Этот эксперимент протекает в двух фазах, сейчас — первая фаза. Подопытный, он не видит и связан, время от времени подвергается уколу с прерывающимися интервалами, иногда пять-шесть легких уколов в течение одной минуты, иногда этот интервал составляет тридцать минут. Все это постепенно создает невероятную панику у подопытного.

Абель смотрит.

На экране проплывает текст по-немецки, поясняющий, что после десяти часов действия первая фаза закончена.

Вергерус: Интересное будет во второй фазе. Действие начнется примерно через десять часов. Подопытный освободится от своего страха. Врач, проводящий эксперимент, разговаривает с ним, дает ему пить, вытирает его, помогает закурить сигарету.

Абель смотрит.

Вергерус: Врач создает некоторое искусст-

венное доверие между собой и подопытным. Жертва опирается о плечо своего палача и плачет от боли и страданий, он не чувствует вражды к тому, кто его мучает, наоборот, он очень восприимчив и страдает от этой натянутой вежливости. Жертва создает впечатление доверия, которое обусловлено шоком, в котором он находится.

Экран у стола снова меркнет, но машина продолжает работать. Запах горячего металла и перегретого воздуха пышет в лицо Абелю.

Вергерус: Ведь ты хочешь еще посмотреть, не так ли?

Абель смотрит.

Мужчина прижимается к белой стене. Ему невероятно трудно удерживать равновесие, глаза застыли, рот шевелится, постепенно он вытягивает руки, как бы ища опору. Наконец, делает шаг и сразу же падает, встает, снова падает.

Вергерус: Этого человека в течение семнадцати дней держали в запертой камере, которая так сконструирована, что он не мог пошевелить ни руками, ни ногами, ни головой. Кроме того, он был лишен каких-либо звуков и находился в полной темноте. Я понимаю, что ты хочешь сказать: как мы смогли заполучить человека, добровольно согласившегося на подобный эксперимент. Это не так уж трудно, уверяю тебя. В нынешнем положении у нас достаточно материала для отбора. Люди на что угодно согласны ради денег и кое-какой еды.

Изображение блекнет, экран светится вхолостую, проплывает неразборчивый текст.

Абель смотрит.

Вергерус: Эти кадры не особенно понятны, но могут вызвать чисто визуальный интерес. Подопытному ввели дозу танатоксина, это — препарат, вызывающий сильную душевную боль. Ты видишь человека в состоянии ужасных мучений. Тотальный, совершенно не поддающийся какому-либо определению страх. Ты видишь его в тот момент, когда ему уже сделали инъекцию. Он сохраняет равновесие, смеется и стесняется, кстати, это очень вежливый юноша, он был студентом в университете, изучал государственное право. А теперь вернемся к все возрастающему состоянию страха. Через несколько секунд он покончит с собой. Смотри. Это произошло неожиданно, без предупреждения. Он взял револьвер со стола, к сожалению, не все отчетливо видно, а вот теперь ты уже видишь, как он вкладывает его себе в рот. Револьвер, конечно, не заряжен, но он об этом не знает.

Страдающий человек бросает револьвер на пол и падает к стене, он катается по полу, бьется головой.

Кадр темнеет.

Абель смотрит.

Вергерус: Вот что я еще хотел добавить. Этот студент все-таки застрелился спустя несколько дней, хотя действие танатоксина полностью закончилось. *(Пауза.)* Твой брат Макс оказался жертвой такого же несчастного случая. Кстати, он был одним из наших лучших сотрудников.

Абель: *(молчит, смотрит на Вергеруса).*

Вергерус: Он был умным и, кроме того, заинтересован в наших экспериментах. Он сам захотел испробовать танатоксин. Я отговаривал его, но он настаивал. Его невеста частично нам помогала. Они были очень привязаны друг к другу и жили одно время в такой же квартире, что и ты...

Тяжелая машина продолжает неумолимо грохотать, и теперь на экране появляется комната, обставленная примерно так же, как и жилище Абели и Мануэлы.

Абель смотрит.

Мужчина и женщина заняты словесной перебранкой, через некоторое время они начинают драться; жуткая, бессмысленная драка.

Вергерус: Это один из наших последних и, пожалуй, самых интересных экспериментов. Обоих оперировали, мы ввели им в мозг две очень маленькие мембраны. Одна из мембран присоединена к центру агрессивности, вторая — сексуальной активности. Снаружи этой комнаты есть передатчик, который влияет то на одну, то на другую мембрану. От нашего пульта управления мы можем влиять на поведение наших подопытных, управлять их агрессивностью или сексуальностью. Съемка, к сожалению, не совсем удачна, хотя мы применяли сразу несколько камер. Вот смотри, это пульт, а это — две кнопки, одна — для мужчины, вторая — для женщины. Вот здесь мы влияем на их сексуальность, ты видишь, как от дикой драки они неожиданно переходят к ласкам и сразу же после этого — совокупление. Во время этого акта мы активизируем у женщины ее агрессивность, она становится бешеной, размахивает руками, мужчина, который все еще находится в состоянии сексуального возбуждения, пытается овладеть ею. Все это похоже почти на фарс, иногда невозможно удержаться от смеха.

Кадры сменяются.

Абель смотрит.

Вергерус: Может, тебя удивляет, какие намерения были у меня в отношении тебя и Мануэлы после того, как я поместил вас в одну из экспериментальных комнат и выдал вам еду из диетической кухни? Ты можешь мне поверить, если я тебе скажу, что у меня вообще не было никаких намерений? Я просто хотел вам помочь. Еду вы получали необработанной, просто она была чуть лучше, чем в обычной столовой. Квартира, как ты сам убедился, была освождена. Просто мы бы-

ли вынуждены перенести нашу работу в более тихое место. Ты же понимаешь, что мы должны быть осторожными. Кроме того, экономические средства у нас ограничены, нас полностью финансируют частные лица. *(Улыбается.)* Я же не чудовище, Абель. Все, что ты видел, лишь робкое начало необходимого и логического развития.

Он замолкает и закуривает сигарету.

Машина продолжает грохотать. Появляется целая серия лиц, это — люди, которые бредут в сумерках по широкой улице.

Вергерус: В тот самый момент, когда ты открыл эту дверь, ты уже стал мертвецом. Я знаю, что ты побывал у комиссара Бауэра и рассказал ему о своих впечатлениях. Я также знаю, что наш бедный закон в лице глупого и ограниченного комиссара медленно и упорно будет приходить в действие. Через какой-нибудь час он уже будет здесь со своими полицейскими и заржавленными ружьями. Через несколько минут я раздавлю капсулу, которую ношу за правой щекой. Я уже подумывал о том, чтобы сжечь архив и уничтожить результат нашей деятельности, но я сразу же узрел в этом поступке нечто мелодраматичное. Закон позаботится о том, чтобы изучить наши результаты, потом закон сдаст их в архив. Через несколько лет науке потребуются наши акты, чтобы в огромном масштабе продолжить наше дело, опираясь на наш опыт. *(Пауза.)* Мы слишком рано вышли в свет, Абель! Мы должны пожертвовать собой. Это логично. *(Пауза — он улыбается.)* Через несколько дней, а может быть, уже завтра сюда придут национальные союзы из Южной Германии и попытаются свершить революцию под руководством этого неспостижимого безумца, которого зовут Адольф Гитлер. Но это будет беспрецедентный провал. Господину Гитлеру не хватает интеллектуальных способностей и формы методики. Он не осознает, какие неслыханные силы ему понадобятся, и его просто выметут, как опавшую листву после бури. Посмотри на этот кадр, Абель. Посмотри на этих людей. Они не в состоянии свершить революцию, они слишком унижены, слишком напуганы, слишком раздавлены. Но через десять лет! Тогда сегодняшним десятилетним будет двадцать, а пятнадцатилетним — двадцать пять. Они унаследуют от старых ненависть, но приобретут свой идеализм и свое нетерпение. Кто-то выступит вперед и скажет слово этим бессловесным душам, кто-то скажет о величии и жертве. И эти молодые и неопытные заразят своим мужеством и верой этих уставших и колеблющихся, и вот тогда свершится революция, и наш мир погрузится в кровь и пламя. *(Пауза — он садится.)* Через десять лет, не раньше, эти люди создадут новое общество, не неся никакой ответствен-

ности перед мировой историей!

Абель выключает машину, она останавливается и смолкает. Он идет к двери и осторожно пробует замок, пытается открыть дверь, но это ему не удается, ключ вынут. Он опирается на одну из полок и усталыми, большими глазами смотрит на Вергеруса, который удобно устроился на стуле, немного откинувшись назад, и поигрывает ржавыми ножницами.

Вергерус: Пржнее общество, Абель, базировалось на крайне романтических представлениях о человеческой доброте. Все стало слишком сложным, тем более что представления не соответствовали действительности.

Абель: (смотрит на него).

Вергерус: Новое общество будет базироваться на вполне реальной оценке человеческих возможностей и ограничений.

Абель: (смотрит на него).

Вергерус: Человек как ложная конструкция. Природное извращение. И это лишь наши скромные попытки проникнуть в эту натуру. Мы проникаем в начальную конструкцию и потом уже ее выстраиваем. Мы высвобождаем производительные силы и направляем разрушительные. Мы искореняем неполноценные и размножаем используемые силы. Это единственная возможность помешать окончательной катастрофе. *(Улыбается.)* Знаешь, что было самым трудным при проведении этих экспериментов? Я тебе скажу об этом, Абель. Было очень трудно убрать все эти трупы, замести следы. Доктор Айхенберг сконструировал такую печь, которая приводится в действие электричеством, но мы не получили разрешения построить ее. Двое наших стоят на страже там, в архиве, и когда через несколько минут Бауэр со своими полицейскими ворвется и начнет стрелять, то они должны выполнить трудную работу, а их изобретательные способности достойны уважения. Полиции придется расследовать соток шесть убийств и самоубийств. Но это относительно маленький процент, если вспомнить, что мы в своих экспериментах использовали свыше трехсот подопытных, которые потом вернулись домой, совершенно не помня, что с ними происходило. Но вот мертвые — это ненужный балласт.

Где-то в архиве послышались выстрелы, потом крики, команды, и снова все стихло. Вергерус рассеянно прислушивается.

Вергерус: Я всегда любил тебя и Мануэлу. *(Улыбается.)* Она была ко мне очень нежна, и я думаю, что это у нее было искренне. И моим лучшим намерением была попытка помочь вам. Правда смешно, Абель?

Снаружи раздаются удары в железную дверь. Кто-то произносит, что здесь полиция, и если дверь не откроют, то ее взорвут.

Вергерус: Если ты хоть что-нибудь понял из того, что я тебе рассказал за эти послед-

ние минуты, то ты можешь потом кому угодно это рассказать. Все равно тебе никто не поверит. Даже если хоть кто-то попытается хоть что-то понять, что нас ждет там, в будущем. Это похоже на змеиное яйцо. Через тонкую оболочку ты можешь четко различить уже вполне обозначенную рептилию.

Дверь начинает трещать. Ханс Вергерус закрывает глаза, лицо искажается от сильной боли.

Вергерус: Я думал, что это наступит гораздо быстрее. Я и не предполагал, что это будет так больно.

Дверь падает, и двое полицейских с оружием в руках врываются в комнату. Ханс Вергерус соскальзывает со стула, его голова ударяется об пол.

Один из полицейских хватается Абеля за руку, тот отчаянно сопротивляется, но получает сильный удар в лицо и теряет сознание.

33

Абель очнулся в белой комнате без окон. Фигура в белом приближается, наклоняется над ним и удаляется. Абель пытается сесть, но голова его откидывается на подушку. Дверь, которую он не видит, открывается, кто-то приближается, это Бауэр.

Он садится на край постели, закуривает свою неизменную сигару и кивает Абелю, который все еще пытается поднять голову.

Бауэр: Вам дали сильную дозу веронала. И вы проспали два дня.

Абель: Который сегодня день?

Бауэр: Уже вечер, девятое ноября. Вы находитесь в больнице центральной тюрьмы.

Абель: Можно немного воды?

Бауэр помогает ему сесть, подает воды, потом ставит кружку на привинченный к стене стол.

Бауэр: Я связался с Холлингером. Он согласен взять вас к себе. Германское государство оплатит ваш проезд до Базеля, где цирк находится уже четырнадцать дней. Я думаю, что вы примете это любезное приглашение.

Абель: Думаю, да.

Бауэр: Так все просто устроилось, господин Розенберг.

Он поднимается, идет к двери, поворачивается.

Бауэр: Констебль проводит вас до вокзала. Ночной поезд уходит в одиннадцать двадцать.

Абель: Спасибо.

Бауэр: Если вы, против нашего ожидания, начнете восстанавливать в памяти все, что с вами произошло, то вы можете говорить самому себе, что это была целая серия невзаимосвязанных снов. Так ведь, господин Розенберг?

Абель: Да.

Бауэр: Мы позаботимся о Мануэле, вашей невестке.

Абель: Вы ее похоронили?

Бауэр: Похоронили?

Абель: (молчит).

Бауэр: Ее отвезли в психиатрическую больницу. Доктора утверждают, что это продлится довольно долго, прежде чем ее выпишут. Она сейчас в очень плохом состоянии.

Абель: (молчит).

Бауэр: Прощайте, господин Розенберг. (Хочет уйти, но останавливается.) Кстати, у господина Гитлера ничего не получилось с его мюнхенским путчем. Можно утверждать, что это был невероятный провал. Господин Гитлер и его компания недооценили силу немецкой демократии. Прощайте.

Он закрывает дверь. Абель поднимается, стоит, делает несколько шагов, качается,

хватается за белую стену, вытягивая вперед руки, пробирается ощупью, стараясь не потерять равновесия. Он ведет себя так, как подопытный в эксперименте Вергеруса, которого на семнадцать дней заперли в комнате, где он не мог пошевелиться и был лишен звука и света.

Эпилог

Вечером того же воскресенья Абель Розенберг сбежал от констебля, сопровождавшего его на вокзал. С тех пор его больше никто никогда нигде не видел.

Запись по фильму Е. Иванчиковой



НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья!

Прошло полтора года, как альманах «Киносценарии» превратился в журнал и стал выходить чаще — 6 раз в год.

Как Вы, наверное, заметили, во многом изменилось и его содержание.

Пришло время подвести некоторые итоги.

Просим Вас ответить на несколько вопросов:

Ваш род занятий, возраст?

Давно ли читаете наше издание?

Подписываетесь или покупаете в киоске?

Какие публикации наиболее заинтересовали Вас среди сценариев?

В публицистическом разделе?

Что Вас в них привлекло?

Что не понравилось и почему?

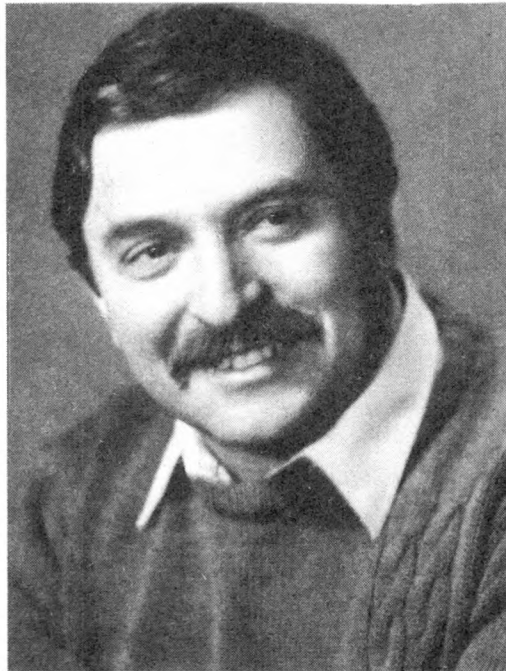
Мы будем благодарны, если Вы поделитесь с нами своими пожеланиями.

Этот разговор мы продолжим на страницах журнала. Итак, ждем Ваших ответов.

Сценарий документального фильма



**Алексей
ГАБРИЛОВИЧ**



**Семен
СЛУЧЕВСКИЙ**

ДВОРЫ НАШЕГО ДЕТСТВА

Цирк нашего детства», «Футбол нашего детства», «Кино нашего детства» — казалось бы, достаточно воспоминаний о послевоенном детстве. И все же ощущение недосказанности не покидало. Что-то важное, о чем непременно следовало бы поведать, осталось за «кадром». В памяти сохранились полуистлевшие лоскуты воспоминаний об играх, нравах, одежде, жилище того времени. Но чаще всего всплывал двор.

Для наших сверстников — это подтвердит каждый — двор не только пространство, окруженное домами. Двор — отец и мать, детский сад и школа. Он вырастил нас и вынес в жизнь, внушив свои правила и свои законы. Так, быть может, имеет смысл рассказать еще о дворах нашего детства и больше не мучиться немотой?

Кого же привлечь, чтобы рассказ получился живым, непосредственным, полным? Товарищей по школьному классу, соседей по коммунальной квартире, обитателей двора, в котором вырос? Но где их искать, связи давным-давно утрачены. Может, обратиться к нынешним приятелям-сверстникам, среди них немало известных писателей и артис-

тов — «записных говорунов»... Так строились прежние картины. Но в таком принципе отбора героев есть изъян: он «недемократичен», элитарен, что ли... А воспоминаниями о дворах должны поделиться самые обычные люди.

Вот тогда и пришла мысль обратиться к москвичам по телевидению. И такую возможность предоставили в передаче «Добрый вечер, Москва!». Выступление длилось всего семь минут. Что успеешь сказать за такое время: мол, собираемся делать фильм о жизни послевоенных дворов. Если вспомните что-либо интересное о ребячьих играх, быте и нравах того времени, напишите нам. Если у кого-то сохранились фотографии, пришлите.

По совести говоря, мало верилось в успех этого предприятия. Вообразите: занятые, обремененные семьями, бытом, службой почтенные граждане усаживаются за стол, хватают перья и пускаются в описания далекой поры, изрядно повыветрившейся из памяти. Это казалось нереальным.

«Ну десяток-другой писем, пожалуй, придет. Будет из них два-три любопытных —

уже хлеб», — думали мы после передачи. Каково же было изумление, когда письма начали поступать на студию мешками. В общей сложности откликнулось более шестисот москвичей. Послания были разными — лаконичными: «Готов встретиться, поделиться воспоминаниями». Фамилия, адрес, телефон. Но в основном мы вскрывали конверты с запечатанными... исповедями. Именно исповедями, по-другому не назовешь — десятки страниц, исписанных от руки, а иной раз отпечатанных на машинке. Одна женщина прислала более трехсот страниц машинописного текста, сброшюрованных в увесистую книгу. Казалось, речь шла не о событиях сорокалетней давности, а о вчерашнем дне, с такой заинтересованностью, полнотой, с такими подробностями, точными деталями рассказывали сверстники о своем детстве. Не ограничиваясь описанием дворового быта, они вспоминали коммуналки, карточную систему, очереди за мукой и керосином, послевоенную голодуху, празднование 800-летия Москвы, шахматный матч Ботвинник — Смыслов, поединок в цирке на Цветном за абсолютное первенство между боксерами Королевым и Огуренковым; писали о денежной реформе, о замене дровяного отопления паровым; об отношении к Сталину и его трагических похоронах.

Во многих письмах звучало осуждение жизни в новых микрорайонах, куда переселили большинство коренных москвичей, жизни, в которой, по мнению наших корреспондентов, отсутствуют аромат и уют, присущие тому быту.

Как же распорядиться горой писем, каким образом не утратить связь с людьми, с горячностью откликнувшимися на наш призыв?

После длительных размышлений решение было принято. Сценарий надо строить только на основе полученных писем, по возможности объединив их тематически и эмоционально. Ни в коем случае не редактировать, тем более переписывать авторов. Задача смонтировать фрагменты писем по тому же принципу, как монтируется киноплёнка с записью синхронных интервью, где не вставишь ни единого придуманного тобою слова. Можно только сокращать, подрезать лишнее, переставлять местами. Таким образом, литературный сценарий будет монтажом писем, авторы которых впоследствии станут героями фильма. Мы надеемся, что наши корреспонденты не сробеют перед съёмочной камерой и расскажут вслух то, что первоначально доверили бумаге. Нашу уверенность подкрепляют состоявшиеся встречи со многими из них.

Прием должен быть раскрыт в самом начале фильма. Очевидно, не следует воспроизводить атмосферу студии и обращение ре-

жиссера к сверстникам-москвичам. Достаточно показать письма и поведать, каким способом их удалось получить. Мы обзвоним наших корреспондентов (фрагменты телефонных переговоров будут сняты на плёнку) и пригласим их на встречу в один из старых московских дворов, сохранивших приметы тех лет. Конечно, придут не все, но, наверное, многие приведут с собой друзей детства, сыновей, внуков. «Собрание» обещает быть внушительным. Мы пригласим аккордеониста, отыщем старые пластинки, раздобудем патефон, радиолу, устроим танцы. Но сперва предложим вспомнить игры двора, ребячьи забавы — пусть «девчонки» попрыгают через веревочку, а «мальчишки» — через «козла».

Такой субботний или воскресный день, проведенный героями в старом московском дворике, видится авторам сюжетным стержнем фильма.

Конечно, предполагается использовать хронику тех лет, эпизоды игровых лент конца 40-х, начала 50-х годов, старые журналы, газеты.

Итак, начнем благословясь: разложим по полу шесть сотен наших писем так, чтобы они занимали все пространство самого общего кадра, и начнем медленный наезд на любой из конвертов, объясняя зрителю их происхождение.

Мы старались монтировать письма таким образом, чтобы вам было не скучно их читать, ограничиваясь минимальными комментариями, так как, на наш взгляд, в письмах есть все необходимое для будущего кино: содержание, искреннее слово, разнообразная пластика, дыхание времени...

...А время обозначается авторами четко: май 1945 — март 1953 годов.

Сергеев Борис. ...По горячим следам, пока «горит воспоминанье», решил написать о нашем доме, о нашем дворе, о наших играх...

Видрович Б. П. ...Я — коренной москвич, 1939 года рождения. Родился и двадцать лет проживал в Цветном переулке — это в треугольнике: Сухарева — Трубная улица, Цветной бульвар. В моем доме до революции обитала прислуга гостиницы (Дворянское подворье).

Голубев И. П. ...Дома наши были расположены на Комсомольской площади и назывались среди старожилов и мальчишек «Титовской крепостью» по имени «соляных дел» купца Титова, построившего большинство этих домов для сдачи внаем ремесленникам, торговцам, работникам Казанской, Николаевской и Северной дорог. Крепостью назывались потому, что дома были построены впритык друг к другу и образовывали большой квадрат... В «крепости», кроме дворов, было два прудика, вендиспансер, пис-

чебумажный магазин, военкомат и баня.

Бусахин С. В. Дом наш назывался Курбатовский по имени бывшего домовладельца, который владел им до революции. Другие дома тоже имели свои «имена»: Мудрецов, Розов... и это несмотря на то, что у них были свои номера... Старожилы всегда называли дома «по именам».

Баклакова Ю. П. Наш «Грачевский дом», по имени бывшего домовладельца Грачева, был большим, квадратным, «отороченным» сараями. В мае дом исчезал в зелени сада, посаженного еще в 20-е годы нашими отцами. С улицы была видна только крыша дома...

Козлов Л. М. ...Окружавшие нас дома и дворы были разные и по времени застройки, и по виду. Это облупленные одноэтажные особнячки, с двумя-тремя колоннами, с вылезавшими наружу дранками; дома с деревянными крылечками и садиками с ноготок, с непременными сараями, палисадниками и даже грядками (в центре Москвы); дома с лепниной, кариатидами, мраморными лестницами, огромными арками...

Мальцев В. И. ...На округу всего четыре больших дома, где есть проемы для лифтов, но нет лифтов. Есть огромные ванне комнаты, но нет горячей воды. Ходили в бани, а ванны использовали, как кладовки, где хранили картошку, квашеную капусту...

Богомолов И. М. ...Семьи были многочисленные, по четыре-пять детей. И жила семья, как правило, в одной комнате...

Худовская Н. Н. ...А коридорная система с двадцатью хозяйками на кухне, стряпающими, стирающими, купающими детей...

Богомолов И. М. ...За водой ходили на колонку, готовили на керосинке, обогревались печкой-голландкой...

Семин В. В. ...Поэтому во дворе были сараи для дров...

Марков Ф. Н. Дрова — вечные хлопоты. Надо намерить, отгрузить, напилить, наколоть эти дрова. Зато летом в сарае можно жить, спать, прятаться, подглядывать... На крышу влезешь — загораеть, с нее можно прыгать...

Бусахин С. В. ...Мы жили на первом этаже. Высокое крытое крыльцо с пятью ступеньками выходило в небольшой и очень тихий дворик, огороженный со всех сторон высоким деревянным забором, за которым круглосуточно дымила резиновая артель, именовавшаяся жителями нашей улицы «шаражкой». Густой черный дым от «шаражки» постоянно поднимался из высоченной ржавой трубы. Воздух улицы пропитался запахом резины, и вся она казалась закопченной, а особенно наш двор. Со стороны «шаражки» к забору притулились сараи, крыши которых были едва покаты и крыты толем. Летом мы, пацаны, забирались на эти

плоские теплые крыши и, болтая о всякой всячине, загорали до одурения...

Луцки В. ...А возле нашего подъезда каждый год сажали кукурузу, и мы, дети, ухаживали за ней... Во дворе всегда было много цветов. У каждого окна был маленький палисадник...

Александрова И. М. ...Жители как бы соревновались в стремлении превзойти друг друга красотой своего палисадника. Высаживали лучшие цветы, красили заборчики. Самые яркие хранители цветов — бабушки и дедушки — нередко таскали за уши мальчишек, попадавших мячом в палисадник...

Козлов Л. М. ...Скамеечки, голубятни, сараюшки, тополя, сирень... А тут же рядом — голый асфальт, мрачный «черный ход», подвал и непременная помойка в виде здорового деревянного ларя...

Баклакова Ю. П. ...Сколько прекрасных часов провели мы в нашем дворе. Он был нам и дачей, и лагерем, и курортом...

Гальковский. ...Видимо, каждый двор того времени был своеобразным герцогством со своими неписанными, но жесткими, а иногда и жестокими правилами... Двор был университетом товарищества, нянькой и воспитателем. Практически ни у кого из нас не было отцов — погибли на фронте. Матери работали. Воспитывал двор.

Шабутова Елена В. ...Мы, дети, видимо, составляли какую-то общность, республику, жили по своим законам: не ври, не зазнавайся, не хвастайся, что имеешь, тем поделись. Пороки наказывались всеобщим презрением...

Гальковский. ...В почете были стойкость, умение не подавать вида, что больно, умение держать язык за зубами. Постоять за честь двора перед чужими дворами! Не приведи господь жаловаться! — приклеют эдакую кличку, от которой папахивает за версту! Да и не примут ни в одну игру играть...

Нарсия Г. Н. ...Во дворе не было ни качелей, ни каталок, ни домиков, ни прочей теперешней дребедени. Игры были в нас! Мы устраивали их сами...

Девятова А. М. ...Никаких спортивных площадок, песочниц и всяких домиков не было, но зато было много игр... Играли с упоением, до изнеможения, пока над потемневшим двором не раздавались настоячивые, зовущие голоса матерей и бабушек: «Ира-а-а, домой! Петька, паршивец, ты где? Домой сейчас же!»

Галкин В. М. ...Мать надрыгается в окно: «Вовка! Домой, сатана бесхвостая!» Старая еврейка Ида Шнайдер тоже зовет своего внука: «Леня! Леня! Иди домой пить какавку!» Где там! Чуть в штаны не валится от беготни, весь мокрый, лётаешь и лётаешь...

Девятова А. М. ...Игрушек было мало. Велосипед был, по-моему, один на весь двор. Когда его владелец появлялся с ним во дво-

ре, его окружала вся детвора от мала до велика. Катались по очереди. Конечно, некоторые побольше кругов, некоторые меньше — в зависимости от дружбы с владельцем...

Карпухин Б. В. ...Помню, что у меня было непреодолимое желание прокатиться на велосипеде. Но как это сделать? Я ведь ни разу в жизни не садился на него. И вот однажды я заявил, что умею кататься. И что вы думаете? Видимо, огромное желание и собранность в тот момент помогли мне. Сев в первый раз на велосипед, я поехал без чьей-либо помощи. Еду и вижу, что вот-вот врежусь в девчонок, которые прыгают через веревочку (они тогда все время прыгали). Кричу им: «Отойдите!» Они: «Вот еще, обьедешь!» Обьехать я их не сумел...

Колосов Е. Ф. ...Любимой игрой были, конечно же, «казаки-разбойники». Мы снимали свои пальтишки, набрасывали их на плечи и застегивали только на верхнюю пуговицу. Таким образом, все мы были одеты в «бурки»; отламывался штaketник (был у нас во дворе такой заборчик), за что нам сильно доставалось от нашей дворничихи. Среди нас всегда находился умелец, который несколькими ловкими действиями перочинного ножа превращал наши палки в шашки. И начиналась увлекательная погоня по стрелкам-указателям, нарисованным мелом на асфальте, стенах домов или заборах. Проходные дворы, гаражи, сквозные подъезды, переулки... Догнали! Шашки наголо! И пошла рубка. Иногда, разгорячившись, действительно оставляли друг другу «боевые шрамы».

Галкин В. М. В подъездах игра — «в чеканку». Она же — «лямочка», «жонка». Стоит пацан и гордо подкидывает сбоку ногой защитую в тряпочку пуговицу или камушек. У некоторых были особые, форсистые: из размохрявленной в хвостики суконочки.

Карелин Ю. Е. ...В идеале это был кусочек меха с пришитым к нему каким-нибудь тяжелым плоским предметом для веса. Мне бабушка его сделала из сшитых лоскутов материи. Этот «пушок» нужно было подкидывать внутренней стороной стопы, «щечкой», и не дать ему как можно дольше упасть. Кто больше раз набьет, тот и чемпион. Помню, как я тренировался. Привязал к концу «пушка» веревку, другой конец держал в руке и поддавал ногой...

Галкин В. М. ...«Козел» еще. Это вот как: водящий, «козел», стоит, согнувшись и держась за колени, и через него поперек прыгают. «Здравствуй, козел», «До свидания, козел», «Женский козел», «Мужской козел», «В Америку за золотом» (уже через голову его, вдоль спины), «Из Америки с говном» (так же, но наоборот, да еще поддать ногой по заднице), «Нагрузить козла» (все,

прыгая, кладут на спину шапки, и надо прыгнуть так, чтоб не сшибить их), «Разгрузить козла» (все в обратном порядке, но это труднее всего)... Жестокие у нас бывали игры! А любимыми все-таки из игр были «чиж» и «колдунчики». В «чижа» играли серьезно. Сам «чиж» был большой, острый, били по нему дубинами. Могли его и на пятиэтажник залепить.

«Колдунчики» — вот эпопея. В них играли больше всего, пожалуй. Это была какая-то напасть, болезнь. Играли и мальчишки, и девчонки. Хоть и учились в школах мы отдельно, но во дворах все игры были общие. Даже «дочки-матери». И бывало, пока различаешь лица, даже только рубашки в летнем вечере, носишься и носишься по двору как угорелый.

Девятова А. Н. У мальчишек были и запрещенные игры. Обычно они затевались где-нибудь за сараями или в закоулке, куда выходил черный ход нашего дома. Там они покуривали, играли в «расшибалку», «пристенок», в карты на деньги и др.

Галкин В. М. ...Ну, игры на деньги монетами — «расшибалочка» и прочие — это обычно. Но был еще и «пристеночек». Ребром монетки об любимый кирпичик ты бьешь так, чтобы она летела в казну, квадратик на земле. Что-то похожее есть у В. Распутина, но это какой-то сибирский вариант, он беднее, примитивнее. Если монетка в казне, все, что есть, — забираешь. Это трудно, чаще — мимо. Тогда другой стукнет денежкой, и откуда она упадет, тянет раствором пальцев по твоей. Дотянул — твою забирает и снова целит в казну. Главное тут не дотяжка, а сама казна.

Мальцев В. И. ...Начиналась зима и началось повальное изготовление клюшек...

Андреев В. И. ...В хоккей играли в основном палками или клюшками, согнутыми из проволоки. А если кому-то родители умудрились выпилить клюшку из фанеры, то счастья не было предела... Играли двор на двор, улица на улицу. Перед игрой волновались, плохо спали, как же, придут болеть наши девочки...

Тофель Ю. В. ...В сорок восьмом году, насмотревшись большого канадского хоккея, решили, что и нам пора переходить на «канаду». Из каблука сделали шайбу, с русских клюшек сняли сырмятную обмотку. Оторвать шайбу от льда еще не научились. Сыграли игру. Почему-то она получилась резкой и грубой и в конце концов закончилась дракой. «Изобретатель» шайбы схватил ее и утопил дома в унитазе. Все согласились, что именно шайба виновница драки...

Суходолов В. Н. ...А помните каток того времени? Знакомство с девочками, соревнования, драки — все на катке!..

Голицына Н. Г. ...Какие в парках залива-

лись катки, а при них теплушки, которые отапливались дровами. Катались мы и в самые трескучие морозы, только заскакивали в теплушку погреть руки, ноги у железных «буржук». В теплушках всегда были буфеты — горячий чай, бублики, пирожки, разные сладости, конфеты «Мишка». Только не часто приходилось полакомиться, денег-то не было...

Назаров. ...Ну, а верх счастья — поход в Центральный парк Горького... Давка за билетами...

Галкин В. М. ...В самом начале 50-х годов на большие катки попасть было непросто. У касс ЦПКО дежурила конная милиция. Кассы были тогда деревянные, их могло снести напором толпы, а мы по толпе, по головам лезли к кассам...

Назаров А. М. ...Это целая поэма... Протиснуться в раздевалку, найти краешек скамейки, надеть коньки, сдать пальто и ботинки в гардероб и на лед... Прекрасный лед, залиты все аллеи, разноцветные фонари, музыка...

Галкин В. М. ...По льду шла буквально сплошная масса конькобежцев, не свернуть! Только со всеми! Не образ ли времени?!

Андреев В. И. ...Покажите, как зимой на коньках цеплялись за борта «полуторок» и «трехтонок». Один, кто постарше, накидывал на борт крючок, а остальные цеплялись за веревку, длиною в 30—40 метров... Часто машина останавливалась, и шофер с заводной ручкой гнался за нами... Мы рассыпались, как горох, кто куда... Покажите «снегурочки» и «гаги», прикрученные веревками к валенкам. Как грязный мяч попадает в чистое белье, повешенное для просушки во дворе, и как тот же мяч влетает в окно, после чего все разбегаются, а дворник выясняет составы команд...

Девятова А. М. ...Где мы, там и звон разбитых стекол! Ах, этот звон и топот торопливо убегающих ног. Ну а если мяч залетал в палисадник или попадал через разбитое окно прямо в комнату пострадавшего? Какие делегации снаряжались на выручку мяча! Как кричали хозяйки, как ругались мамы, когда приходилось в очередной раз платить за разбитое стекло... Но буря утихла, и опять слышался во дворе звонкий стук мяча...

Тофель Ю. В. ...Не умеющих ударить по мячу презирали, да таких, кажется, и не было...

Были у нас свои Карцевы, Демины, Бесковы... Если кто-то побывал на футболе, рассказывал во дворе игру со всеми подробностями... У черного репродуктора Синявского слушали, затаив дыхание...

Назаров А. М. ...Футбол, конечно, не волейбол... Волейбол — это уже игра с девочками, с многочисленными болельщиками, игра до-

поздна, когда уже мяча не видно. Сетки обычно не было, вместо нее натянутая веревка. Отсюда длительные склоки и споры с судьей — над сеткой или под сеткой прошел мяч...

Девятова А. М. Мячей настоящих было мало, их очень ценили и с нетерпением ждали, когда выйдет во двор владельца мяча...

Назаров А. М. Хозяин мяча — фигура, почитаемая во дворе. Помимо длительных уговоров выйти с мячом поиграть, нашей откровенной лести и заискивания, хозяин мяча назначался капитаном, ему доверялось набирать команду...

Карелин Ю. Е. Мы с ребятами долго копили деньги на кирзовый мяч. Не один месяц. Какие в то время у ребят были деньги? И вот наконец праздник! Купили! Новый! Насоса для мячей нет. Рядом с домом шли какие-то ремонтные работы. Мы подошли к рабочим и попросили надуть мяч компрессором. Через секунду от мяча остались одни лоскутки. Не буду рассказывать, сколько было слез — трагедия...

Один из корреспондентов предлагает изготовить для съемок деревянный «чижик», битую для лапты, 12 палочек, поле для пуговичного футбола.

Кондратьев Б. В. ...Пуговичный футбол. Играют двое. Ворота из проволоки. В каждом воротах по большой пуговице... В «поле» тоже по одной большой пуговице и одна маленькая — «мяч». У играющих в руках тоже по одной пуговице. Игра начинается с центра поля. Удар производится так: пуговицей, которая находится в руках, нажимаешь на пуговицу в поле. Отскочив, пуговица в «поле» должна попасть по пуговице-«мячу»... Противники делают удары по очереди. Задача: загнать пуговицу-«мяч» в ворота соперника... Если одна пуговица-«игрок» задевает другого «игрока», производится штрафной удар. В остальном — все футбольные правила...

Назаров А. М. ...Сейчас уже не помню из-за чего, но мы постоянно дрались с соседним домом. Поодиночке ходить мимо него было боязно, поймают и отлупят... Вообще-то, если честно говорить, драки между пацанами случались частенько. Но все они проходили по четким правилам: до первой кровянки; двое дерутся — третий не лезь и т. п. ... И эти правила всегда свято соблюдались...

Карпухин В. В. ...Перед схваткой обязательно шли краткие переговоры о том, когда надо считать схватку законченной. По договору бой продолжался до «кровянки» или до «слез». Причем драка до «слез» считалась наиболее трудной, так как кровь из носа почему-то появлялась быстрее, чем слезы из глаз...

Галкин В. М. В школе бытовали «обломы» — это когда нехорошего, неугодного кто-то подбивал лупить после уроков всем шалманом, преимущественно, портфелями и по голове. А также «стычки»: «Давай стыкнемся после уроков». Значит, драка один на один. Но это уже по-рыцарски: «Лежачего не бить, в кулаках ничего не иметь». Дрались мы еще двор на двор. Да, еще камнями. Ужас! Был излюбленный блатарями удар головой в лицо. Это был шик! Это надо было уметь делать.

Моржов Ф. Н. У шпаны было вооружение в драках — прут из толстой проволоки. Могли из-за него быть увечья, убийства.

Карпухин В. Б. Довольно часто собирались огромные кучи враждующих кодл, возникали драки, велись какие-то долгие «дипломатические» переговоры. Множество «дел» было связано с голубями и голубятниками.

Девятова А. М. Почти все мальчишки были голубятниками. Лазали по чердакам, сараям, гоняли их палками с привязанными тряпками. Голуби были не такие противные и нахальные, как сейчас, а красивые: белые, палевые, с хохолками, мохнатыми лапками. Как сейчас вижу нашего самого завязатого голубятника Женюку в ковбойке, в сатиновых шароварах, в кепочке с пуговкой, два пальца во рту, пронзительный свист и стая белых голубей в синем майском небе!

Галкин В. М. Странно, но в центре, у Садовой, их было больше, чем на окраинах. На каждом сарае хоть ерундовенькая, а голубятня. Даже верхнеэтажные жилыцы держали в окнах голубей и гоняли. Я, правда, не гонял и теперь жалею. Привычные слова тогда были: «чистый», «почтарь», «чиграш», «бантастый» (это какой?), «гамбургский» (страшно дорогой), «чаечка», «сизарь» (те, что сейчас пасут помойки, самая дешевка — два рубля теми деньгами), «монах». А вот «турманов» уже не было, это довоенное. Из-за голубей поджигали сараи, дрались дом на дом...

Мальцев В. И. Шикарные голубятни, чистопородные голуби — удел старших. Мы у них на побегушках. Затем появляется естественное желание завести собственных. Из старых досок, ржавых гвоздей и сетки сооружается голубятня. Потом с измятым рублем или трешкой — на птичий рынок или к маститым. Желание поддержать голубей безмерно. А руки всегда грязные, в царапинах и ссадинах, поэтому только что купленный «чистый» моментально превращается в грязного. А какое счастье, когда удавалось подманить «чужого» в свою голубятню!

Семин В. В. Гоняли голубей, ездили на конный (теперь птичий) рынок. Это было всемосковское увлечение. Птичий рынок — прекрасный объект для съемки. Туда постоянно ездили голубятники: и стар и мал.

И сейчас там продают голубей...

Голубев И. П. С 1944—45 годов заполнились рынки народом. Там торговали чем попало, не гнушась всучить «лоху» (простаку) часы, где вместо механизма шевелилась муха с оторванными крыльями.

Ширман А. Л. Моя юность началась с того, что мама купила мне на вещевом рынке на долг скопываемые 1000 рублей (естественно, в ценах 46-го года) туфли на каблучке, которые, увы, рассыпались уже через две недели, так как они были клееными и вместо подошвы поставлен прессованный картон.

Галкин В. М. Можно было вроде бы «чисто» купить пластинку с Лещенко, а дома заведешь — мат и шипение. Там в толпе блатари удобно резали карманы и сводили счета со своими же. При мне — пацане — толпа вдруг ахнула и раздалась, а в центре уже лежал молодой вор с финкой в спине. «Лишь спокойно лежала она, финский ножик торчал под косой».

Алексеев О. В. Послевоенные московские барахолки — не только возможные места приобретения тряпок и продуктов, но и место увеселения и приобретения жизненного опыта. «Специализированные» барахолки были на Тишинке, на Перовском поле, на Преображенке.

Пожалуй, самая яркая была на Преображенке. Нигде потом я не видел столько всевозможных денежных игр, приспособленных для очищения карманов ближних своих.

Галкин В. М. Воры — интереснее всего! Блатные и приблатненные урчата носили в конце 40-х годов кепочки с кнопками и пришитыми козырьком, клиновые; ходили в белых кашне с поднятыми воротниками, пальто, брюки широкие, под матросский клеш, чтобы ботинки были закрыты.

Мы и в 50-е «феню» любили. Учились «ботать»: «правилка», «подломили лоток», «кусок» — тысяча, «бумага» — сотня (и вправду, большая, с Кремлем), «толковище», «кодло», «хавера». Мои ровесники уже этих облатненных молодых учили правильно держать бритовку в руке, давать взрослым подножки, стоять на «атасе». Говорили и мы по-особому, оттопырив верхнюю губу, чтоб «фикса» была видна. Ее мы делали из шоколадной фольги, наворачывая на зуб...

Что еще характерно для московских окрестностей и кварталов, так это местные дурочки и дурочки. Уроды всякие. Сдвинутые. Это очень для Москвы показательно. У нас был Филюшка. Когда-то работал шофером, и вот — угонял машины. А то в магазин войдет, на продавщицу вилкой замахнется (он так и ходил всегда с вилкой), и хватает батон с прилавка... Был еще один — в шинели, подпоясаный веревкой, под шинелью подсумок. Станет на перекрестке и регули-

рует движение. И ведь где-то палку миллицейскую достал и сам красил. Электрички с Курского вокзала отправлял: станет возле машиниста, поднимет расческу и говорит: «Готов!» Как раньше метро отправляли. И точно — поезд трогается...

Закутаев И. М. Яркий солнечный день. Во двор входят трое. Один — одноногий — с аккордеоном, второй — с бубном, третий — певец. Становятся посреди двора и начинают исполнять: «Поедем, красотка, кататься», «Степь да степь кругом»... Вокруг собираются люди, мы, мальчишки. Девочки, конечно. Наш сосед покойный (между прочим, был страшный жулик) сидит у окна и швыряет им тридцатки — были такие асигнации...

Галкин В. М. Везде инвалиды, инвалиды. Они шли по электричкам и пели: слепые, безногие, одноногие, однорукие, безрукие, с исковерканными до ужаса лицами. Очки были синие. Правда, под них «бомбили» и здоровые тыловики.

Очень запомнились безногие. Их почему-то называли танкистами, ездили они на колесных платформочках, сидя на зашитых в кожу обрубках ног, с деревянными, облитыми резиной болванками в мощных руках, которыми с силой отталкивались от мостовой или асфальта.

Инвалиды всё были злущие, пьяные, нервные, работали в разных артелях (пуговичные, металлоремонт, зажигалки, машинки для поднятия ресниц). На толчках они торговали своим нехитрым товаром, так нужным начинавшим опереться после войны истощенным вдовам.

Карпухин В. Б. Я прихожу со двора, набегавшийся, наигравшийся до изнеможения, и спрашиваю у мамы: «Мам, есть что-нибудь поесть?» Она с болью, глядя на меня своими ясными синими и печальными глазами, отвечает: «Нет, сынок. Иди, еще погуляй». И я, отдохнув и попив воды, отправлялся во двор...

Андреев В. И. ...Было «модно» выходить во двор с куском хлеба, и обязательно кто-то просил: «Оставь...»

Колосов Е. Ф. ...Иногда во двор выходила бабушка из дома напротив. Она держала тарелку, на которой лежала котлета и вилка. «Сережа, — кричала она, — скушай котлетку!» Сережа подбегал к бабушке и кушал котлетку. Его за это не любили...

Карпухин В. Б. ...Врезался в память эпизод, когда няня уговаривала какую-то девочку съесть яйцо всмятку, перемешанное с маленькими кубиками белого хлеба, а девочка кривлялась, не поддавалась уговорам. По силе воздействия на мое детское сознание этот эпизод помнится мне как один из самых впечатляющих: я не мог понять тогда, что можно не хотеть есть и тем более такую необыкновенную пищу...

Помню еще, с каким удовольствием мы ели всей квартирой гнилые яблоки, которые мои старшие братья принесли из овощной лавки. Яблоки были темно-коричневыми, мягкими, водянистыми и назывались «мякшами»...

Так же хорошо помню, как тетя Фаня, наша соседка, принесла из Кремля, она там работала уборщицей, полбидона мороженого. Я тогда ел его на кухне, впервые в возрасте 6—7 лет...

Семин В. В. А помните карточки на продукты? Сколько было драм вокруг них. Стоило их потерять или украли в трамвайной толчее карманники, сколько было слез, ругани...

Еще труднее было с мукой. Ее добывали перед праздниками. Записывались семьями с ночи. На руке писали номера фиолетовыми чернилами, «химическими» карандашами. Мерзли всю ночь, чтобы на завтра получить по три кг на брата.

Морзов В. Н. «Вечные очереди, проклятье войны!»

Девятова А. М. Стояли часами: за пшеном, хлебом, подсолнечным маслом, керосином. Дальше... Один раз зазевалась и прыгалками опрокинула бидон! Что там было!..

Калинина Р. М. ...Готовили-то на керосинках и примусах, газа не было. Часто сидели при коптилке — отключалось электричество...

Карнов В. Д. Одевались плохо: зимой валенки с галошами, летом брезентовые туфли. Курточки, пальто — из американской помощи; телогрейки. Когда зимой играли в футбол, галоши прикручивали проволокой. На голове кепка — «восьмиклинка с иждивением».

Калинина Р. М. Ученики нашего класса одеты кто в чем, иногда совсем бедно. Можно было видеть ребят в одних валенках — на босу ногу. Учителя тоже одевались бедно: зимой — одно платье и летом — одно.

Девятова А. М. Были одеты кто во что горазд. Особенно мальчишки. У девочек тоже не у всех были школьные формы. У меня, например, было зеленое платье с белым воротничком, перешитое из мамино. Фартук не было класса до 3-го, на ногах мальчишеские ботинки или парусиновые туфли с кожаными носками. Портфели тоже были не у всех. Мальчишки просто перетягивали книжки ремешком и все! Пользовались офицерскими планшетками, сумками от противогазов, были и холщовые сумки. В руках маленький мешочек для чернильницы — «непроливайки».

Андреев В. И. Самой доступной и модной одеждой были сатиновые шаровары. В них и в школу, и на футбол, и на танцы, и во дворе... Почти у всех на голове «чубчики».

Петрова Н. И. Выглядели мы очень скром-

но: косы подвязаны корзиночкой, с коричневыми ленточками, юбки сатиновые или из школьной шерсти на широких бретельках, кофточки-тенниски и туфельки на резине, а то и просто тапочки.

Гальковский. Упитанных и толстых не было. Майки и рубашки пацаны носили редко: дефицитно, да и без них — удобнее. Обувь у многих была самодельная. Я, помнится, носил пошитые мамой тапочки на «веревочном ходу» с матерчатым верхом.

Рассказы наших корреспондентов иллюстрируют присланные ими фотокарточки, но вот чего нам не удалось пока раздобыть — фото московского старьевщика, любимца тогдашней детворы.

Бусахин С. В. Иногда во двор забредал старьевщик и со свойственной только ему интонацией нараспев истошно вопил: «Старье берем! Старье берем!» Мы волокли ему что могли, и среди этих вещей был и антиквариат! Лисьи, заячьи, цигейковые воротники, которые наши родители, видно, оставляли для новых пальто. В ответ мы получали жестяные свистки или набитые деревянными опилками мячики на длинной тонкой резине. И тогда несколько дней подряд мы свистели и играли мячиками, пока бумага не рвалась и опилки не высыпались наружу.

Закутаев И. Л. Только наши матери услышат из двора: «Старье берем!», тотчас хватают нас и тащат домой. Потому что боялись: за какую-нибудь свистульку мы могли утащить нужную в хозяйстве вещь. Вот сейчас бы пункты «Вторсырья» так работали бы.

А когда стекольщики, точильщики, которые ходили по дворам, занимались своим делом, мы, мальчишки, бросали все свои игры и глазели...

Богомолов И. М. Следует добавить о мастеровых, которые в нашем дворе на глазах изумленной ребятни превращали лист железа в ведро. Еще надо рассказать о сапожниках, стекольщиках, продавцах самодельных игрушек...

Назаров А. М. ...Да, и еще я хотел бы упомянуть об одной фигуре, которая и теперь есть, но его уже никто не знает... Это участковый милиционер — высший авторитет и судья во всех дворовых делах. Раньше участкового милиционера мы все знали по имени-отчеству, да и он был в курсе всех дворовых дел...

Галкин В. М. Да, что-то дореволюционное в Москве долго сохранялось. Например, участковый наш — краснорожий капитан Борис Иваныч Сильнов — вел себя, как квартальный: судил, рядил, взятки брал. почти открыто, разрешал пьянки, но по-тихому — «без фулюганства». Я видел однажды, как

дворничиха угощала его водкой. Возможно, «для дела», «для заступы». Дворники во все времена дружили с полицией, но в советское время им особо досталось: известно, как они недосыпали в самые «арестные» годы, мотаясь ночами по квартирам в качестве понятых... Да и убираться приходилось как следует — Сталин требовал чистой столицы. А прописаться в Москве так хочется. И домоуправа — его тоже ублажи, он вторая фигура после участкового, вроде как домовладелец. Наши матери даже перед его женой заискивали...

Травкина В. П. ...Вечерами мы играли в лото; фишек всем не хватало — начинались слезы, но все переходило в шутки...

Галкин В. М. О этот длинный стол во дворе! Вечером, зажегши лампочку на палке, пожилые, молодые, бабки и ребятина, всякие бывшие нарсудьи Василь Ипатьичи и домоуправы усаживались за этот похоронный стол на скамейки, и шла увлеченная игра в карты и домино. «Козел» карточный был почему-то тогдашним поветрием. Играли и на деньги. И ничего. Борис Иваныч — участковый — зайдет, глянет строго, но раз тишина — уходит, все же пригрозив кому-то пальцем.

Калинина Р. М. Вечером во дворе разыгрывали спектакли по прочтенным книгам.

Бондаровский И. Б. Тогда были в продаже игрушечные настольные театры. Из картона и бумаги сами делали сцену, декорации к определенным спектаклям. С ребятами ставили в общей кухне спектакли, делали сами декорации. Я играл Сергея Тюленина...

Галкин В. М. Был в полуподвале нашего дома чулан, туда мы открывали дверь, а в проеме вешали белую простыню — занавес, на ступеньках садились зрители. Простыня поднимается и выходит «артист». Кто-то из сопляков фокус примитивный покажет с платком и спичкой. Или анекдот неприличный расскажет. Каждый номер объявлялся! «Сейчас юный жилец сорок четвертой квартиры Галкин Владимир прочтет стихотворение Пушкина «Анчар». И очень даже слушали, хлопали. На стенах дома, на заборе расклеены «афишки»: «Товарищи! Сегодня, 12 июня 1951 года, в 1 подъезде нашего дома в 5 часов вечера выступает народный (!) самодельный театр нашего двора. Вход — 1 рубль». Значит, по-нынешнему, гривенник. Но приходили и без гривенников. У кого они тогда были? Это мы так, больше для солидности, понту...

Девятова А. Н. ...А потом кто-нибудь из девочек начинал петь. Пели хором, долго и охотно, иногда к нам присоединялись даже взрослые женщины. Больше всего запомнились песни: «Раскинулось море широко», «Катюша», «На позицию девушка», «Ой,

цветет калина», «Каким ты был, таким остался».

Галкин В. М. ...«У дороги чибис», «Грустные ивы склонились к пруду», «Поезд идет на восток», «Подрастает в поле лен», «Помнишь, мама моя...», «Сердце мое, не стучи...»

Девятова А. Н. ...А еще про Джонни, Мэри, таверну...

Курахтанов Н. М. ...Черт знает, какую ерунду мы пели! И откуда только бралось? Про крошку Мэри и юнгу Билла. Про Гарри и атамана. Про матроса и леди. Про несчастного скрипача, который был пылкий и порывистый, как ветер. Про бездомного мальчишку из Нью-Йорка... «Гоп со смыком» и прочую блатную мишуру... Ну конечно, не только это... А вот то, другое, уже не вспомнишь, а «мишуру» помню...

Хижняк И. Б. ...Очень любили мы воскресенье. В этот день во дворе устраивались танцы...

Коган Э. И. В окне второго этажа появлялась радиола и начинались танцы...

Клюквин Ю. М. Часто устраивались танцы под патефон, аккордеон...

Шабутова Е. В. Когда спускались сумерки, во двор выносили патефон, и начинались танцы...

Петров Н. И. ...Выносили патефон, ставили его на табуретку, обычную, с кухни, крашеную коричневой краской, с прорезью посредине для ладошки...

Кузьмина Е. Ф. ...Большую роль в нашей жизни играл в ту пору патефон. Каждый мечтал иметь его, но мало кто имел...

Страхова М. Ф. ...Да и патефон редко у кого был. Кто его имел, был кумиром двора...

Александрова И. С. ...Вечером посреди двора на всячем проводе повисала зажженная лампочка и устраивались танцы. Звук усиливало специальное устройство...

Суходолов В. Н. Обыкновенный трехваттный динамик был привернут к ведру с вырезанным дном и устанавливался на втором этаже в окне. Сам усилитель и проигрыватель находились в комнате...

Обычно громкоговорители подвешивали на каком-нибудь дереве, скорее всего это был дуб: на него легче было взобраться...

Алексеев О. В. Музыка послевоенных дворов — радиола, аккордеон, патефон... Танцевали «до участкового». Нет, конфликтов не бывало — просто приходил наш «ангел-хранитель», где-то под два метра роста, капитан милиции, а может, лейтенант, и говорил устало: «Давайте, ребята, закругляйтесь...» Драк, попойки не было, а вот пыли сколько угодно — танцы-то были во дворе, не на асфальте...

Купцова А. К. Самая модная обувь на танцах — спортивные белые тапочки, кото-

рые чистили зубным порошком с водой. Когда порошок высыхал, то старались не топтать, так как он оставлял белый след на земле...

Хижняк И. Б. ...Танцевали мы самозабвенно, причем танцев мы знали и умели исполнять много. Эта страсть у меня сохранилась на всю жизнь...

Алексеев О. В. ...Если говорить о пластинках, это, конечно, Утесов, Шульженко, вальсы в исполнении духовых оркестров, ну и, само собой, Петр Лещенко, которого переписывали и любители, и спекулянты...

Шарин В. В. Звучали песни Лещенко, не теперешнего, а довоенного. Я помню: «Вино любви», «Журавли»... Я почти всю эту песню помню: «Здесь под небом чужим я, как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль...» Были пластинки с «Рио-Ритой», «Брызги шампанского»...

Коган Э. И. ...«Утомленное солнце», «Цыгане», «Рио-Рита» — это все пластинки нашего детства...

Шабутова Е. В. ...Танго «Брызги шампанского», песни Утесова, Шульженко, Бернеса... Это помнится до сих пор...

Хижняк И. В. ...Танцевали танго «Брызги шампанского», вальсы, фокстроты, падепань, кровавяк, падекатр...

Ширман А. Л. ...Под звуки заезженных плохими иглами пластинок танцевали танго и фокстроты, вальсы и вальсы-бостоны...

Петрова Н. И. Пластинок было немного. Каждую прокручивали за вечер по несколько раз. На звуки музыки выходили жители всего дома, и стар и мал. Малыши топтались парами, подражая взрослым, а старушки улыбались, глядя на молодежь...

Страхова М. Ф. ...Помню, как танцевали в квартире, где проживало очень много жильцов. Но у них была большая кухня. Никогда никто из соседей нас не выгонял, хотя там проживали и одинокие люди, и люди в возрасте. Я вот сейчас думаю: может, это оттого, что люди, недавно пережившие войну, мало в ту пору видели радости, и им самим было приятно послушать хорошую музыку, что-то вспомнить и, может, взгрустнуть...

Купцова А. К. Хочется отметить терпимость взрослых, ведь крутили пластинки до 24 часов, и с их стороны не проявлялось недовольства. Теперь даже ума не приложу, как они терпели... Не то, что мы теперь...

Александрова И. С. Странно, не правда ли? Если сейчас в поздний час со двора раздаются звуки музыки, это многих раздражает, а раньше это было всеобщей радостью. Может, оттого, что тогда было мало играющих устройств...

Шабутова Е. В. ... Для нас, самых маленьких, огромным счастьем было постоять возле патефона и, если взрослые разрешат, покру-

тить у него ручку или сменить пластинку...

Травкина А. А. ...Нам, 9—10-летним, тоже хотелось научиться танцевать, и мы пробовали. Обычно девочка с девочкой.

Коган З. И. ...Собственно, танцевали одни девчонки, а мы, мальчишки, стеснялись, дурачились. Кто-то выходил в круг и начинал кривляться, изображая танец. В душе каждый их нас хотел научиться танцевать, но почти все не умели и по-хорошему завидовали девчонкам...

Софонова Э. С. ...Танцевали девчонки с девчонками. Мальчишки приходили только посмотреть, в танцах не участвовали, обучение-то было раздельное... Этим-то и определялась разобщенность ребят...

Купцова А. К. ...До 1954 года обучение еще было раздельное. Но иногда, по праздникам, в школах устраивались совместные вечера для старшеклассников с танцами под радиолу. Девочки шли на танцы с замиранием сердца, любовь всегда была тайная для мальчишек. Только с подружкой делишься, сколько раз ОН тебя пригласил... До сих пор помню мелодии того времени. Это и падеспань, и падеграс, и краковяк, и полечка, и, конечно, вальс... Мы с удовольствием танцевали балльные танцы. Мальчишки тоже умели их танцевать...

Ширман А. Л. ...Вальс-бостон — величественный «белый» танец. Даже в то время не все умели танцевать его красиво, а нынче он и вовсе забыт. Я умела его танцевать, и вместе с «бостоном» новенькие туфли и юбка «солнце-клевш» делали меня счастливой на целых две недели... Но больше всех танцев я любила танго — танец любви. Положение партнеров в танце невольно позволяло ЕМУ коснуться кончика ЕЕ волос, а ЕЙ «случайно» прижаться к груди, увешанной орденами, где начинало учащено биться окаменевшее в боях сердце...

Петрова Н. И. Часто во двор заходили демобилизованные солдаты, офицеры с наградами и нашивками о ранениях на груди. Это очень оживляло женскую часть танцующих, так как кавалеров было мало. Когда появлялись эти кавалеры — вся грудь в медалях, — случались обиды между девушками старшего возраста и подростками. Получалось, что мы у них «отбиваем» невольно кавалеров. Теперь стыдно, но ведь ни мы, ни они не виноваты, что столько молодых парней не вернулось с войны...

Вот однажды, в 47-м, и я была приглашена на танец таким заглянувшим на «огонек» дворовой музыки гвардейским старшим сержантом, прошедшим всю войну да еще два года отслужившим в Германии.

В 1947 г., в дни празднования 800-летия Москвы, у нас во дворе были танцы... С этого вечера, с того самого танго кончились мои хождения просто на танцы, а началась любовь...

Три года (!) он ходил со мной за руку — под руку я стеснялась — ведь ему было 24 года, а мне 17. А в 1950 г. мы поженились.

С 65-го я живу в Зеленограде, а в 82-ом мой муж умер...

«Поистине прекрасная история!» — искренне восклицают в этом месте авторы. Но все ли выглядело столь идиллически? Один из героев остужает наши восторги.

Галкин В. М. В начале 50-х какие танцы? Только падеграс, падекатр, падеспань. Боже упаси, фокстротик... Разрешалась еще полька, краковяк, вальс. Тайком мы, девятиклассники, приносили в школу вечером после второй смены патефон с пластинками, запирались в классе, и полногрудая секретарша директора Сима учила нас двигаться «в темпе фокстрота».

Учились, как известно, раздельно, вроде дореволюционных гимназистов или реалистов. И очень страдали от этого. Ребята — дикари. Женскую школу (или они нас) приглашали специально, делегацией, с особого разрешения директора. Девочки еще кое-как умели «танговать» или «фокстрировать», а мы больше — под стеночкой. Но, обучившись у Симы, некоторые из нас уже козыряли, вечер был полнокровным. И «почта» шла веселее: знакомиться легче в объятиях. Так мы, четверка ребят, сдружились с четверкой девчонок из 476-й школы на Таганке и уже с ними отгачивали мастерство «буржуазного» танца на квартире, где-нибудь между комодом-шкафом и хромированной кроватью.

Страхова М. Ф. ...Несмотря на ужасные по нынешним понятиям жилищные условия, жизнь на Арбате вспоминаю с теплотой...

Девятова А. М. Нам, коренным москвичам, не хватает уюта тех далеких московских двориков и общения, которое они создавали. Ведь раньше в этих дворах все всех знали: взрослые детей, а дети взрослых. Вся жизнь, и плохая, и хорошая, на виду. Дети воспитывались как бы сообща...

Луцик В. ...Мы, дети, чувствовали заботу окружающих взрослых. Мы часто любили ходить к Клавдии Ивановне. Она всегда варила варенье и любила угощать им нас, намазывая на большие куски хлеба.

Карелин Ю. Е. ...Жил у нас в квартире дядя Павел. Летом по воскресеньям он собирал всех желающих, и мы ехали купаться в Серебряный Бор или Щукино. У кого из ребят не было денег, он вез на свои. Дядя Павел очень хорошо плавал и научил этому всех ребят нашего двора...

Шабутова Е. В. ...Странно, но я до сих пор помню наш старый двор, и дом, и всех, кто там жил... Да, взрослые нас ругали и жало-

вались на нас родителям, но зла не было...

Хижняк И. Б. ...Любой взрослый мог, если возникала необходимость, наказать нас за шалость, утешить или накормить...

Карелин Ю. Е. ...Ничего необычного не было, если ты, пацан, пообедаешь у соседей...

Коган З. И. Я думаю, что двор каким-то необъяснимым образом объединял жильцов нашего дома. Все мы становились одной семьей, когда выходили во двор и сообщая, все вместе обсуждали или решали что-то. Кого-то успокаивали, кого-то ругали, если был виноват...

Прокурнова Л. В. ...В районе Дорогомиловской улицы была баня, и в эту баню ходили чуть ли не всем двором. В то время ни у кого из нашего двора ванной не было, а в банях были большие очереди. Тогда из нашего двора 2—3 человека занимали очередь. Когда она подходила, посылали «гонца», и тот через детей оповещал, что пора идти в баню. Все выходили со своими тазами, сумками, детьми и всем «кагалом» шли мыться. В бане занимали несколько скамеек, в тазы сажали детей и мылись как следует. Друг другу спины терли до красноты. За поведением детей следили все взрослые, в то время не было чужих — все свои...

Маткин И. П. ...Жили общей жизнью: если горе, то горе общее, если гулянье, то гуляла все...

Нарсия Г. Н. «Двором» справляли праздники. Первый раз собрались встретить новый, 46-й год. Наголодавшиеся за войну, мы — школьники 5—7 классов решили с 1 декабря не есть в школе бублики, а продавать их по три рубля и, собрав таким образом деньги, в «коммерческом» магазине (они были без карточек тогда) накупили всяческой еды и устроили себе «пир» в самой большой комнате нашей квартиры... И последующие годы праздник мы отмечали то у одних, то у других соседей...

Худовская Н. Н. Самый счастливый праздник — Новый год! Мы и не задумывались над тем, что он нам принесет, — просто праздник, радость, веселье, красиво! Сорок комнат в квартире, и везде — елка, наряженная, в игрушках с мишурой, мандарины, конфеты, которые можно потом срезать и есть! Наши старые окна тоже наряжались — между рамами накладывалась вата с набросанными конфетами и тщательно уложенными узорчатыми бумажками-снежинками...

Лукина В. В. Перед Первым мая самым любимым занятием было смотреть подготовку к военным парадам, когда на набережную приходили на тренировки солдаты и военный духовой оркестр. Когда он появлялся — все переставало существовать для нас: родители, скудная еда. Мы жили жизнью оркестра, маршировали с солдатами, а в ми-

нуты отдыха просили подуть у музыкантов. В какие только инструменты мы не дули: в маленькие — они у нас пищали, в средние — они умудрялись от нас вздыхать; в большие — эти вообще не поддавались нашим слабым легким, но мы усиленно дули, и иногда какая-нибудь труба тяжело кричала, принося нам столько радости, что, глядя на нас, музыканты весело смеялись и гладили нас, чумазных и тощих, по головам, и давали, давали нам подуть еще... А как мы любили барабанщиков и тех, кто играл на «арелках»!

С той поры, как слышу на концертах, в театрах настройку оркестра, вспоминаю детство и чувствую приближение праздника. Духовой оркестр — оркестр моего детства.

Колосов Е. Ф. ...Солнечное первомайское утро. Я лежу еще в постели, но меня уже захлестывает ПРЕДВКУШЕНИЕ счастья. Это ощущение исходит от звуков, доносящихся со двора и с Садовой. Во дворе заливаются трещотки (глиняные колпачки на конском волоске, привязанные к палочке и издающие треск при вращении), пищалки «уйди-уйди» и иногда слышится звук лопающихся воздушных шаров. Это мои нетерпеливые сверстники уже успели сбегать на Zubovskuyu и внести атмосферу праздника в наш двор. А со стороны Садовой доносится глухой шум тысячной толпы. Боже мой! Такое бывало только дважды в год — 7 ноября и 1 Мая. Не попадая ногами в штаны и руками в рукава рубашки, я кое-как одевался и бежал на Zubovskuyu. Площадь была вся запружена народом. Все ждали, когда по Садовому пойдут, возвращаясь с парада, войска. Телевизоров не было, и для всех, маленьких и взрослых, это являлось незабываемым зрелищем. Над толпой плыли огромные разноцветные гроздья воздушных шаров, которые могли улетать в небо и то и дело улетали, выпущенные на волю детскими руками. Вокруг продавалась масса заманчивых вещей: уже упомянутые трещотки и «уйди-уйди», «тешины языки», набитые опилками, завернутые в фольгу мячики на резинках, вкуснейшие петушки на палочках и незабываемое эскимо за 1 р. 10 коп. А потом шли войска... Это был ПРАЗДНИК!

Калинина Р. М. Помню праздничные демонстрации, когда мы пешком шли от Сокола до Красной площади, и как радовались, что видели живого Сталина... Помню праздник, посвященный 800-летию Москвы... В 47-м, когда отменили карточки, на нашей кухне собрались все восемь соседских семей, каждая принесла дрова, затопили печь-плитку, долго искали противни, собрали всю имевшуюся муку (кто где достал или купил) и напекли пирогов. «Пир» был великолепный. Печь эту не топили всю войну, готовили в комнатах на керосинках.

Карелин Ю. Е. ...На праздники все пекли пироги и угощали друг друга...

Луцки В. ...Начиналось все дома, а потом что у кого было выносилось во двор...

Коган З. И. ...Почему-то в моих воспоминаниях двор выглядит солнечным, светлым, праздничным... Может быть, потому, что всегда перед праздником он заполнялся запахом пирогов, которые пекли в каждой квартире, а может быть, потому, что жильцы нашего дома всегда ходили на праздничные демонстрации, а потом веселые, нарядные собирались во дворе, а мы, ребята, около них...

Девятова А. И. В подвале жил безногий инвалид дядя Паша, он отлично играл на трофейном аккордеоне. Обычно праздники — 1 Мая, октябрьские начинались со звуков его аккордеона. Он выходил, садился на лавочку возле своего окошка, рядом становилась его жена в красивой косынке на плечах, и дядя Паша, принаряженный, с орденами на груди и уже подвыпивший, играл до вечера.

Галкин В. М. На майские или октябрьские выходили во двор наши дворничихи — молодые деревенские бабы, разодетые по-своему. В легком подплатии. И начинали голосить частушки с притопом. Тут обязательно выглянет и пристроится к ним какой-нибудь с баяном. Все же что-то деревенское в Москве сохранилось. Да и просто — дореволюционное... Дворничихи жили по подвалам, дети вечно простуженные, все они — бабы молодые, да уже вдовы — мужиков война не вернула. Вот они с горя, как в деревне, голосили. К ним выходила прочая публика, по-праздничному одетая, причесанная (у мужиков — «политический зачес») с бриллиантом. И выпивают тут же, на длинном-длинном столе. Он тянулся вдоль дома, замыкавшего на Садовой наш двор...

Закутаев И. Л. Мне скоро 50, я коренной москвич, и в последние годы иногда просыпаюсь по ночам и долго не могу заснуть. Это когда мне снится покойная мать или наш старый дом и двор.

Виноградов Ю. М. В отличие от большинства немолодых людей у меня нет уверенности в том, что раньше футболисты играли лучше, арбузы были слаще, а небо — синее...

Баклакова Ю. П. У зрителей вашего будущего фильма ни в коем случае не должно сложиться впечатление, будто авторы призывают вернуться назад — к коммуналкам, барачному жилью, подвалам, сараюшкам во дворе. Что было — то было, назад дороги нет, и слава богу. В свое время мы покидали наши неказистые жилища, свои дворы без оглядки в прошлое, с радостью и надеждой. Дрова, «санузел» (простите) где-то за «черной» лестницей, один на всех, дымящиеся печи, «культпоходы» в баню —

это не самый лучший способ существования людей, согласитесь.

Козлов Л. М. Кино, футбол, дворы, игры, переулки, быт, одежда того времени — тема бесконечная. Она только на вид проста, но по сути необычно многослойна, противоречива, деликатная и очень ранимая...

Крюков А. И. ...После публикации в газете материалов дела о «врачах-убийцах» (было такое дело в 52-м году) наш математик по фамилии Морозкин, педант и сухарь, не допускавший ни единого отвлечения от темы занятий, целый урок посвятил рассуждению о высоконравственном поступке молодого врача Тимашук, разоблачившей «преступную банду». В заключение он призвал нас к бдительности, пояснив, не впрямую, разумеется, что доносительство и наушничество не позор, а необходимая мера, помогающая вырвать из грядки, на которой мы все произрастаем, сорную, поганую траву...

Борисов О. М. ...Наша школа помещалась в узеньком переулке напротив здания канадского посольства... Однажды весной, когда окна класса были распахнуты настежь, кто-то из ребят выбросил в окошко огрызок яблока и угодил им в милиционера, дежурившего возле посольства. Через несколько минут в класс влетел директор. Полное лицо его было налито кровью. Задыхаясь от гнева, он зашипел: «Если виновник сейчас же не назовет себя, придут люди в черных машинах и всех, всех поголовно отправят куда следует...» Помню, как мы стояли на вытяжку, помертвевшие от страха...

Петров Б. С. ...Я боялся учителя физики, математики, директора школы и завуча, боялся «пары» в табеле, боялся, что родителей вызовут в школу, боялся исключения и перевода в «ремеслуху», так прежде назывались ПТУ...

Орлов П. П. ...Однажды меня «засекла» в школьном буфете учительница географии. Урок уже начался, а я все еще жевал пирожок. Она обозвала меня «саботажником», которого должна воспитывать не советская школа, а колония для малолетних преступников...

Галкин В. М. ...Директор «воспитывал» нас связкой ключей по «кумполу». До этого он управлял школой для дефективных...

...Отец мне никогда не открывался в ненависти к Сталину, он был из тех крестьян, которых Сталин выкорчевывал, и только после 53-го заговорил свободно. Поэтому до многих уродств того времени я доходил своей головой. Многие ребяташки, мои товарищи по играм, были младшими братьями тех 14—17-летних, которых Сталин безжалостно сажал в лагеря со взрослыми — за пустяки: за снятый на лестнице счетчик, отвезенные на Перовский рынок

стулья из клуба, свистнутые с прилавка бутылки постного масла — голод же.

Таскали, правда, сухую ерунду с голодухи да от безотцовщины, но уж калечились навсегда, а кто и вовсе не возвращался...

За что Сталин губил детей, а губить он их стал еще с начала злых 30-х годов? Сейчас про смертные указы для детей молчат, будто их и не было, но ведь были ж!

С 49-го открылся Музей подарков товарищу Сталину. Кажется, он размещался и в Музее Революции и в Изобразительных искусствах на Волконке, и еще где-то. Подарков было очень много — народы страны и планеты обожали вождя. Водили нас туда организовано, классом, насильно... Я уже тогда изумлялся: зачем все это? Даже рисовые зернышки с целыми поэмами на них — зачем все это одному человеку? Неужели он вон с той пречудовищных размеров дыней под мышкой поедет на чешском вишневого цвета мотоцикле «Ява»? А «Явы» первые были прехорошенькие.

Так же гуртами нас водили на цветной двухсерийный шедевр того времени «Падение Берлина», где действовали святые — Сталин во всем белом, с саперной лопаткой сажает яблоню или разливает суп из фарфоровой кастрюли на своей даче, и все в слезах улыбаются, да и в Берлин он прилетел, как ангел... Но мне, помню, больше всего понравилась миленькая Ева Браун. Интересно, кто ее играл?

Данишевская И. А. ...Регулярно по радио передают медицинский бюллетень. Всем ясно, что вождь умирает, но хочется верить в чудо. И все же настает минута, когда диктор радио с великим прискорбием вещает народу о кончине вождя. Скончался великий зодчий коммунизма, мудрейший партийный и государственный деятель эпохи. Люди застыли у приемников в том положении, в котором их застало столь скорбное для советских людей известие. Все плачем, сдерживаясь кто как может, но это плохо нам удастся. У окна стоит мама Аня и содрогается от рыданий всем телом. Никто не успокаивает друг друга, это бесполезно. Горе велико, и каждый остается со своими мыслями наедине, а они сейчас у всех одни: ушел из жизни Большой Человек. Что будет дальше?

Уже поздно, но в квартире никто не спит. Соседи то и дело выходят на кухню обменяться мнением или поделиться своими чувствами, у большинства потерянный вид. И лишь тетя Эльза не выразила и слова соболезнования по поводу кончины Сталина и занималась уборкой комнаты, мыла окно, чем вызвала у всех соседней полное недоумение на свой счет.

Семян В. В. Когда умер Сталин, мы, мальчишки, плакали. Дело было на голубятне.

Плакали в школах учителя.

В. Т. ...Пришла я в свою 520-ю женскую школу. Первых уроков не было. Все пошло в физкультурный зал, где состоялся митинг. Как хорошо все это помню. Выступали десятиклассницы с длиннющими косами — сейчас таких нет. Говорили и плакали — и весь зал рыдал. После занятий решили пойти в Колонный зал прощаться с любимым вождем. На улицах было море народу, и мы присоединились. Вышли на Новокузнецкую, шли спокойно, с печалью в глазах. Но вдруг поперек улицы появились автобус и грузовая машина. Началась давка, послышались крики. Кто лезет под машину, кто на крышу! Мы выскочили из этой западни. И так до самой Красной площади народ шел с преградами. Нам повезло — все кончилось хорошо, а у Красной площади милиционеры на лошадях с нагайками гонялись за людьми. Сейчас это может и смешно, и нынешнее поколение не поверит. Но это было так. Так мы добежали до Колонного зала — осталось перейти мостовую, и мы увидели бы Сталина! Но всадники никого не пропускали на другую сторону. Столпилось много народу, но все было бесполезно. Милиционеры объясняли толпе, что пропускают только делегации от заводов и фабрик. Но его хотели видеть все москвичи! Хотели провожать, как когда-то в морозные январские дни провожали Ленина — мне об этом рассказывала мама... Так мы и не попрощались с вождем...

Данишевская И. А. С тетей Граней не сдаемся в своих стремлениях прорваться к Колонному залу и после очередной передышки снова устремляемся к своей цели. Неожиданно в нашей колонне объявилась шустрая и невидная собой худощавая женщина средних лет и поразила всех присутствующих громкой речью о том, что товарищ Сталин ничего особенного для страны не сделал, совсем другое дело — товарищ Ленин! Женщина стоит у дома и почти не говорит, а кричит всем проповедь и вскоре исчезает так же неожиданно, как и появилась. Опешившие от всех беспорядков этой ночи, уже второй после смерти товарища Сталина, и от дерзости этой женщины, мы едва приходим в себя. Мы с тетей Граней долго жалеем о том, что не схватили эту провокаторшу и не сдали ее в милицию.

Стараюсь как можно вернее определить преданность квартиры сталинской эпохе.

Полностью ей преданных, по моему мнению, 5 семей из 9. Две семьи из числа политработников, семья прокурора, семья шофера и семья служащих. Не выразивших отношения к прожитой эпохе — 2 семьи, из крестьян, переехавших жить в город.

Не уверенных в прожитой эпохе — 1 семья, врача.

Непонятно относившихся к ней — 1 семья бездетных мещан крестьянского происхождения, неизвестно откуда взявшихся в нашей квартире взамен семьи, неизвестно куда исчезнувшей в дни войны.

Ненавидящих сталинскую эпоху — 1 семья.

Пожалуй, на последнем письме можно было бы поставить точку. Но напрашивается вопрос, зачем в памяти растревожили мы столь давнее время?

Возраст нашего поколения, чье детство пришлось на послевоенные годы, сегодня — пятьдесят-пятьдесят пять лет... Время подводит итоги прожитой жизни: что сделано, что упущено, как выглядим мы в глазах детей, внуков?

...Из писем наших корреспондентов: «Во дворе могли быть драки, ссоры, хулиганство, но никогда не было подлости, наушничества. Если даже такие люди попадались, они оказывались вне двора. Я уверен: кто прошел школу послевоенного двора, мог стать неудачником, алкоголиком, но никогда подлецом» (Карнов В. Д.). Или еще — Шабутова Е. В.: «Дети выросли разными, но с уверенностью могу сказать, что нет среди нас подлецов, рвачей, просто непорядочных людей...»

Очень многие выражают благодарность дворам, воспитавшим в них мужество, честность, «чувство локтя», взаимной выручки, взаимной поддержки, неприхотливости в быту.

Наше поколение осваивало целину, строило Братск, дорогу Абакан — Тайшет. Да стоит ли перечислять все, что легло на его плечи,

что затевалось в 50—70-е годы, хоть многое из затеянного оказалось бессмыслицей, хаосом невыполненных постановлений, фальшью и немотой застойного периода. Самые крепкие годы многими из нас были потрачены впустую или с ничтожной отдачей. Мы терпели. И как тут не помянуть недобрым словом сталинскую среднюю школу, планомерно уничтожавшую в нас личность, воспитывавшую бессловесных рабов. Поистине: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Сталинскому воспитанию обязаны наши сверстники тридцатилетней покорностью, немотой, привычкой «не высовываться»... Бунтуя в душе, мы заикались на людях, и лишь в анекдотах проявляли несогласие с творившимся...

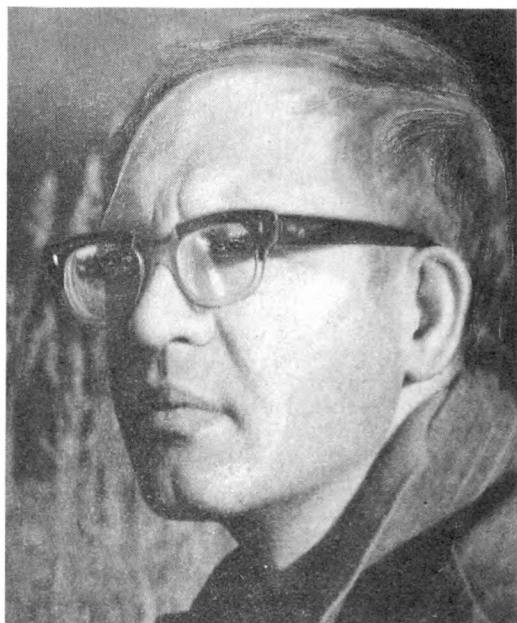
И все же мы гордимся своим поколением, ибо наши ровесники нашли в себе смелость и силы пробудить страну от спячки, сделали попытку разорвать цепи сталинских укладов, раздробили оковы покорности и немоты.

Зрелое поколение, настрадавшееся, набравшее опыта, — оно сегодня пытается наверстать упущенное...

Так дай же вам Бог, мальчишки с московских, ленинградских, киевских — разве перечислишь все послевоенные дворы! — дай вам Бог сил выдюжить еще одну революцию. Пусть придут вам на помощь законы и правила нашего дворового братства...

1989 г.





**Рудольф
ТЮРИН**

ПОСТ № 1

Москва. Красная Площадь. Из ворот Спас-ской башни появляется караул Поста № 1. Курсанты, точно нарядные куколки, четко бьют шаг. Карабины с плоскими штыками, кажется, приклеены к их плечу. Молодые, чистые лица. Отточенный взмах руки. Напряженье зрачка. Солнце, пробившее облако, вспыхивает на штыке Касьянова...

Дорога.

Вагон экспресса. Вечер. Касьянов сидит у окна. Невольно слышит рассказ теточки пассажирки.

— Стоит этот солдат на посту, а гадюка придет, на хвост подымет, солдату в глаза глядит, гипнотизирует...

— Ой, я прям не могу!

— Ага. Гипнотизирует, а он со страху чуть память не теряет. За автомат схватится, а кобры уж нет, в кустах скрылась. Так каждую ночь. Рассказал товарищам, те его, конечно, на смех: «Мерещится!» А вот, говорит, придете, как она опять ко мне явится, я вам с поста позвоню, прибегайте, увидите. Заступил на пост. И что ж ты думаешь, Люся, опять пришла змея эта! Солдат боком, боком, к телефону. Только за

трубку взялся, прыгнула, хвостом по голове ударила, оглушила, солдат упал. Прибегают к нему, он без сознания лежит. Никакой кобры, конечно, нет. Отвезли его в госпиталь. Утром очнулся в палате, глядит, из форточки, в окошке, змея на хвосте висит, глазами на него смотрит...

— Ой, прям я не могу.

— Ага. С солдатом нервный удар, белая горячка. К вечеру умер. Похоронили. И что ж ты думаешь, Люся, в тот же день на его могиле нашли мертвую кобру. Вскрыли, а у ей внутри сердце и человеческие мозги. Оказалось, умерла от любви к этому солдату, и, оказалось, девушкой еще была, нетронутой девственницей.

— Ой, я прям не могу.

— Ага.

Касьянов поднимается. Идет искать Шамрая и Хомутова. Перед глазами привычная вагонная жизнь: сидят, лежат, закусывают и пьют чай, глядят в окно, спят, читают, играют в карты, толпятся у дверей туалета и в тамбурах-курилках. Проход Касьянова через вагоны, тамбуры и тормозные площадки сопровождается фонограммой...

— Все плачемся, плохо, а в праздник к кому ни приходи — да хоть и в будни, — мясо-то мясом заедают, колбасу колбасой закусывают.

— Забыли, как раньше-то в куфайках, в резиновых сапогах ходили; я вот от дочери из гостей еду, в поселке живут, а с городом, бывает, не сравнишь; у мужика двести шестьдесят, шофер, у самой сто восемьдесят чистенькими на руки, квартира с паркетом, гараж построили, на машину копят, я приехала, поглядела, чего у них нет; и это есть, и то есть, и третье есть, и мебель эта финская, гарнитур, и стенка, и хрусталь этот, и ковры; духовно живут! ох, духовно живут!

— Спрашиваю его: «квасил» вчера? Нет, говорит. А чо, говорю, у тебя лапки-то «дребезжат»? С похмелья, синдром? Так он, гад, кипятком мне в глаза кинулся: «В любую нитку иглу вставляю!» Я, не будь дурак, сразу ему иголку с ниткой, специально всегда на такой случай при себе держу. На! Вдень. Вденешь?

— Ты, парень, куда? куда? по бубям-то крестями мостишь, разуй глаза-то!

— «Р-руки как ноги, н-ноги как р-руки...» Это поэзия? Это поэт?

— У него есть и приличные строки.

— Лично я, извините, не встречал. Я знаю одно: поэзия не должна быть ползучей. Поэзия призвана летать. Символ поэзии — лютня. И крылья. Лютня без крыльев — полковой барабан. А поэт при нем — барабанщик. Гвардии барабанщик.

— Анекдот. Чем отличается старая высокая поэзия от новой. Раньше писали: «Олея ранило стрелой». Нынче пишут: «Козлу попали в жопу пулей».

— И печатают. Громадными тиражами. В собственном собрании собственных сочинений...

— На кусок работаем, не на душу.

— Пришел ко мне, сел в кухне, лицо желтое, усох весь, под глазами мешки; все, говорит, Никитична, помираю, врачи лечить больше не берутся, диагноз поставить не могут, выручай. Диагноз я ему тут же поставила: желтуха, болезнь имени Боткина называется. А лекарство такое: возьми, говорю, натальную вошь, закатай в тесто и проглоти, болезнь как рукой снимет. Где ж, говорит, Никитична, я эту вошу возьму?

Дефицит. Летом у пионеров в лагере бывают, зимой где взять? Ехай, говорю, на Малинову гору к цыганам, у их и зимой есть...

— Меня сразу хлесть к начальству. «Что происходит?» А происходит, говорю, то, что ничего не происходит. Какой он на фиг начальник, когда имеет две главные жизненные установки: не ходи домой пустым и не подымай ничего тяжелее стакана. А в партию вступил? Он мне признался. Первые, говорит, три года работаю на партбилет я, зато потом всю жизнь партбилет пашет на меня...

— Тюрьмы только дураки боятся. Тут, на воле, кто кому нужен? А никто никому! А в зоне? Да за тобой там на каждом шагу вниманье и забота. Вечером отбой, спать укладут. Да еще с вышек пулеметами твой сон охраняют. Утром — нету забот — на работу подымут...

— Заходим. Ребеночек на полу сидит. Запущенный, грязный. Бутылками в «солдатиков» играет. Винные — «рядовые», коньячные — «офицеры». Врачи оба. А пьют беспощадно. И не пугают их ни волны, ни ветер...

— Папаша! Из ресторана? Чего там?

— Суп был, весь выпили.

— Возьмем капитализм. У них как? Я — никому, и мне — никто. Звериный, волчий закон, частная собственность. Теперь возьмем социализм. Все наоборот. Ты — мне, я — тебе. Закон братской взаимовыручки и дружбы. Правильно я понимаю?..

— Отдать жизнь за Родину имею право с восемнадцати лет. А взять в магазине бутылку с двадцати одного. Где логика? Где справедливость?..

— Материя не творит. Творит дух. Еще в 1627 году Кеплер заметил: количество света, испускаемое взорвавшейся звездой, превышает массу самой звезды. Парадокс? Отнюдь! Прямое доказательство, что материя не может творить себя, тогда как дух способен творить материю.

— Следовательно, бог существует?

— Да.

— Это надо еще доказать.

— Вот, опять за рыбу деньги...

Купе. Мягкий свет лампы. Торт, фрукты, шампанское. Две тридцатилетние женщины.

Надя и некрасивая, с простым, добрым лицом Ираида.

Хомутов головою в ее коленях; грызет яблоко и дымит сигаретой; другой руке Ираида делает маникюр с помощью пилочек, инструментов. Шамрай с гитарой в растегнутом кителе лежит в ногах Нади, поет «хватательный» романс.

Костер пылающий угас,
Его судьба задула злая.
Я больше ненавижу вас,
Я знать вас больше не желаю.

Красивое лицо Нади залито слезами. Текущую по щекам тушь утирает комочками ваты. Пальцы путают, теребят шевелюру Шамрая. Вырывает волос, рассматривает в свете лампы.

— О, варвар, как ты ревнив! — Вырывает, глядит другой. — Чудовище! тиран! безумец!

Моей любви прервался стаж,
Она с обрыва полетела,
И позабыл я голос ваш,
Черты лица и формы тела.

Дверь купе с треском откатывается. На пороге Касьянов. Гитара обрывает. Хомутов закашливается, подавившись яблоком. Немая сцена. Касьянова явно не ждали. Поняв это, он рывком накатывает двери обратно. Уходит...

Касьянова настигают в тамбуре.

Шамрай (хватает Касьянова за руку). Обиделся? Мальчика не взяли на randevу?

Касьянов (вырывает руку). Отстань.

Шамрай. Мальчика приглашали. Мальчик сказал «нет».

Хомутов (Шамраю). Саня, только без рук.

Шамрай (Хомутову). А ты вообще не возникай, понял?

Хомутов. А я говорю, без рук!

Шамрай. А я говорю, не возникай!

Хомутов. А ты кто такой?

Шамрай. А ты кто такой?

Хомутов. Убери руки!

Шамрай. Сам убери!

Касьянов растаскивает сцепившихся приятелей.

— Вы что, пресного оба охлебались?

Через тамбур, ужинать в вагон-ресторан, проходит группа хороших юных спортсменочек в челоках и в ярких трико. Шамрай вмиг забывает ссору. Устремляется за ними знакомиться вслед. Возвращается с гитарой и шампанским:

— Какие телки! Видали? С ума сойти. Меня даже внутренняя дрожь охватывает. —

Хомутову: — Потрогай. Шкурка волной ходит. Нет, женщины — это моя страсть!

Поет:

Не плачь об России,
Поручик Голицын,
Корнет Оболенский,
Налейте вина.

Шамрай (под гитару). Хомут, у тебя там, в деревне, чего есть?

Хомутов. Воздух.

Шамрай. Касьян, у тебя тоже воздух?

Касьянов. А тебе чего надо?

Шамрай. Мне много чего надо. Короче. Делаем, как договорились. Трое суток гостим у меня. Трое — у Касьяна. Трое, Хомут, — у тебя. Но сперва — у меня. Городок не ахти, но вполне. И даже свой старинный герб имеем: дятел, на пне сидящий и пень долбящий.

Шамрай провожает взглядом рослую длинноногую девицу, несущую из вагона-ресторана лимонад.

Шамрай. А вот на таких ногах ходила королева.

Хомутов (ехидно). Английская.

Шамрай. Дурачок. Женщина — это тайна, космос, мировая загадка. Прекрасней женщины ничего нет.

Хомутов. А дети?

Шамрай. Что дети?

Хомутов. А природа? Цветы? Флора и фауна?

Шамрай. Что флора и фауна?!

Касьянов. А мир во всем мире? Если хочешь знать, важнее борьбы за мир вообще ничего нет.

Шамрай. На политзанятиях? Да. А в жизни? Спроси любого, что главное? И тебе ответят: женщина.

Хомутов. Наша, советская женщина.

Шамрай. Наша в первую очередь.

Под гитару:

— «Солдат, девок любишь?» — «Люблю». — «А они тебя?» — «Я их тоже». Помню, в отпуске, иду у себя, через скверик. Смотрю, сидит. На лавочке. Одна. Лет двадцать восемь. Самое то, что надо. Черты лица, конечно, небесные. Ну и остальное. Чего у них там еще бывает? «Туманный стан, шелками схваченный, и в кольцах узкая рука». Короче, все при ней. В глазах, конечно, страсть. Гибельная. Помните: если страсти нет, лучше не подходить. Облает.

Хомутов. А если есть?

Шамрай. Смело подходи.

Хомутов. Подошел?

Шамрай. Строевым! (Изображает сценку в лицах.) Кидаю под козырек. «Здравия желаю! Гвардии старший сержант Шамрай прибыл в ваше распоряжение!»

Касьянов. Трепло!
Шамрай. Клянусь. Разрешите, говорю, познакомиться. А она: «Гвардии старший сержант, слушай мою команду. Кругом! Шагом марш!левой!левой!левой!»

Хомутов. Здорово!

Шамрай. Ага. Пришел строевым домой.

Хомутов. И что?

Шамрай. И лег спать.

Касьянов. И все?

Шамрай. А что тебе, мало?

Под гитару:

— Отпуска — это моя страсть! За полтора года четыре раза дома был. Два раза на похоронах, два — так повезло. Хотите секрет?

— Ну!

— Мы счастливые.

— С чего ты взял? Мы только вчера, в поезде, познакомились. Даже рода войск разные. Ты связист, я мотопехота, Касьянов кремлевский курсант.

— И что?

— Ничего. Вы с Касьяном, может быть, счастливы. А лично я нет.

— О! Видали пижона? (Поворачивает Хомутова к зеркально-темному стеклу.) Гляди на себя. Видишь? Ты счастливый. И даже очень. Ты мог совсем не вернуться из своего Афганистана. Ты вернулся. Значит, счастливый. И я счастливый. И Касьян счастливый. Мы все счастливые!

Под гитару:

Прилетела, крыльями звеня,
Птица счастья завтрашнего дня...

Хором:

Выбери меня, выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня!

Касьянов. И еще хором!

Выбери меня, выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня!

Ночь. Хомутов украдкой достает армейскую ушанку. Надевает. Завязывает тесемки под подбородком. Выходит в тамбур.

Касьянов на верхней полке открывает глаза: он не спал и все видел.

Хомутов встает перед темным окном. Глядит на свое отражение. Там какое-то страшное, почти мертвое лицо. Хомутов трогает отраженные в стекле лоб, глаза, губы, подбородок...

Утро. Касьянов и Хомутов уже на ногах. Стаскивают спящего Шамрая с верхней полки.

— Эй, Оболенский! поручик Голицын!.

— Подъем! Одевайся...

Хомутов зажигает спичку.

— Засаекаю. Горит тридцать пять секунд. За это время солдат должен одеться.

Шамрай дает Хомутову подзатыльник. Идет умываться. Возвращается свежий, с мокрыми от умыванья волосами. Прыскается одеколоном. Укладывает и убирает несессер. Манеры, привычки, несессер, «кейс», шегольские сапоги и ослепительный подворотничок скопированы Шамраем с белогвардейских поручиков, которых он нагляделся в кино. Замечает несматую постель Хомутова.

— Ты что, совсем не ложишься?

Хомутов следит горящую спичку, не отвечает.

— Хомут! — кричит Касьянов.

— Чего?

— Тебя спрашивают, совсем не ложишься?

— Фокус, — объявляет Хомутов. — Из одной горелой спички делаю две.

Производит фокус.

— Пошли, — говорит Шамрай. — Станция. Подъезжаем.

Хомутов со спортивной сумкой идет первым. Следом с новенькими черными «кейсами» выходят в тамбур Шамрай и Касьянов.

Перрон пуст. Дымится лужицами ночного дождя. Поодаль стоит юная мама с грудным ребеночком на руках и с синей детской коляской. Глядит на вышедших солдат хрупким кукольным личиком.

Радио над зданием вокзала, перроном:

— «Внимание! Даю техническую пробу. Раз, два, три, четыре, пять. Даю техническую пробу».

— Саша!

Шамрай останавливается. Глядит на девочку с ребенком.

— Не узнаешь?

— Почему же! Узнаю. Наташа?

— Марина.

— Я и говорю: Марина. Привет. Ты чего тут? Встречаешь кого?

— Ага.

Шамрай считает долгом вежливости приблизиться, взглянуть в личико ребенка.

— А это у нас кто? Мальчик?

— Девочка.

— Твоя?

— Твоя тоже. Наша. Общая. Ну-ка, Леночка, доченька моя, поругай папку! зачем, скажи, такой невнимательный, нас не узнаешь! поздравь, скажи, нас, папка, что мы родились, и себя тоже поздравь! у нас, скажи, папка, носик твой, бровки твои, ушки и глазики твои, и эти вот ямочки на щечках, когда мы улыбаемся, тоже твои, тоже наши...

Радио:

— «Внимание, даю техническую пробу...»

— Ой, обсикались! Подержи. Сухую пленку достану.

Шамрай принимает малышку. Он в глубоком шоке. И, кажется, не вполне способен владеть собой.

— Уронишь!

Ребята подхватывают дитя. Марина достает из-за пазухи пленку:

— На себе держу, чтоб тепленькая.

Ребята помогают пеленать девочку.

— А мы нашего папку ждем, ждем, а он все не едет, Леночку, доченьку нашу маленькую, от агрессоров охраняет, хороший папка, герой наш папка, он нас любит, и мы его с Леночкой любим. Ой, обсикались!

Шамрай вдруг садится там, где стоит, прямо на перрон. Ему все еще не по силам осмыслить происходящее.

Радио:

— «Раз... два... три... четыре... даю техническую пробу... даю техническую пробу...»

Шамрая бьет нервная дрожь. Хомутов поднимает его:

— Встань-ка...— снимает с Шамрая китель, набрасывает на плечики Марины.— Касьянов, помоги ему...

Касьянов бережно сажает Шамрая обратно на землю.

— Вы не останетесь с Сашей? Вы должны ехать? — спрашивает Марина.

— Да.

— Мы даже не познакомились,— говорит Марина.

Знакомятся. И тут же прощаются:

— До свидания.

Хомутов дает Шамраю щелчок в лоб.

— Счастливой семейной жизни!

В вагон садятся уже на ходу.

За окном затопленное паводком предместье. Заборы, дома, огороды, столбы, деревья, стоящие по колено в воде. По улицам, от крыльца к крыльцу, плавают в лодках.

Поезд набирает ход. Вдруг появляется Шамрай. Швыряет на полку дипломат. Валится на сиденье.

— Уф! Успел в последний вагон... ни о чем не спрашивайте... дайте сперва отдышаться...

Через минуту Хомутов спрашивает:

— Отдышался?

— Боне мене...

— Тогда вперед,— говорит Хомутов.

Подталкивая в спину, ведет Шамрая в тамбур. Там вручает ему дипломат. Распахивает вагонную дверь. В тамбур врывается стук колес, ветер.

Касьянов бросается к Хомутову.

— Хомут, не надо!

— Отойди!

Бросается к Шамраю.

— Шамрай!

Шамрай отталкивает руку Касьянова. Подходит к открытой двери. Мимо несутся откос, кустарник, столбы. Шамрай готов прыгнуть. Но медлит.

Хомутов (бешено, на Шамрая). Она стоит там одна! С ребенком! С твоим ребенком!

Шамрай (бешено, на Хомутова). А кто ей велел?! Дура! Пообжимались в подъезде и привет: мне налево, ей направо! Я даже не помню ее имя!

Хомутов (сдерживаясь). Короче.

Шамрай. Короче? Короче, все в дерьме, ты в белом фраке, так, что ли?

Хомутов. Еще короче.

Шамрай. Ладно, пусть будет еще короче.

Шамрай пинком выбрасывает дипломат из вагона. Следом соскакивает с подножки сам. Катится под откос. Повиснув на поручнях, Касьянов говорит Хомутову:

— Лежит... Поднялся... Хроает... Ишет фуражку... Нашел... Кулаком машет...

— Нам?

— Ага,— отвечает Касьянов и, свесившись с подножки, кричит и машет Шамраю: — Эге-ге-й!..

Вагон. Разговор мужчин в соседнем купе.

— Зачем тебе самогонный аппарат, милиция, штраф, протоколы? Все делается проще. Берешь кусок рельсы. Подшеиваешь на стрелу автокрана. И льешь. Клей, политуру, антифриз, тормозуху, мозольную жидкость — без разницы. Мороз минус сорок, так? И вся эта дрянь на железе от мороза в ком схватывается. А спирт, чистый спирт, отудова струйкою вниз. Под рельсу, конечно, ведедку ставишь. Метод холодного конденсата называется. Японцы миллион предлагали: продайте изобретение нам...

— Фигу им! Нам это и самим пригодится. Ведерка у меня уже есть. Где автокран с рельсой взять?

— Не напрягайся, Россия больше не пьет.

— Ага, на хлеб машет...

Касьянов у окна один. И ему невольно слышен рассказ женщины из другого купе о временах военной оккупации.

— ...пришли в избу обыск делать, дивизия сэсз называется, мы их очень боялись, они жуткие, в петлицах скрещенные кости и череп, мы их «мертвые головы» звали. Солдаты по кадушкам и шоболам шмонают, а офицер подсел ко мне и вдруг задает вопрос: «Кому вы желали бы победы?» Я до того обозлилась, думаю: «Ах, сатана!» Спрашиваю его: «Вы любите свою Родину?» Он прямо отшатнулся. «Какой вопрос, конечно, люблю, зачем вы меня об этом спрашиваете?» И говорит: «Вы напрасно наде-

етесь, победим мы». Я говорю: «Это будет видно, почему вы?» «Потому что мы правы». — «В чем правы?» — «В том, что мы во имя креста воюем». И правда, у них везде черный крест нарисован, на самолетах, на мотоциклах. «Наша Германия — это парящий орел, а выше орла никто не летает». Я говорю: «Звезды выше орла, ни один орел к звезде не подобрется». Он говорит: «И звезды с неба падают». Я говорю: «Советские звезды крепко держатся». Он прямо зубами заскрежетал...

Парень в штатском трогает Касьянова за плечо:

— Эй, война. Там солдат закрылся. Твой кореш?

— Где?

— В туалете. Об стенку колотится.

Возле туалета испуганные проводница и женщины. Мужчины пытаются открыть замок. Касьянов отстраняет их. Стучит. Ответа нет. Изнутри слышны глухие, задвленные стоны, удары в дверь и в стены.

— Контужен, наверное, — предполагает кто-то.

Касьянов стучит в дверь.

— Хомутов, открой, это я!..

Тамбур. Стаскивает с Хомутова ушанку. Шапкой же утирает с Хомутова пот. Тот стаскивает череп в кулаки. Опускается на корточки.

— Гудит, зараза! Спать не могу. В госпитале сказали: надолго...

В тамбур заглядывает проводница предложить помощь. Касьянов знаком показывает: не надо. Садится рядом с Хомутовым.

— Подремли.

Хомутов пристраивается щекой на плечо Касьянову. Стучат вагонные колеса. Хомутов закрывает глаза.

Красная площадь. Продолжается проход караула к Мавзолею. Но шагов не слышно. На фонограмме перестук вагонных колес...

Деревня.

С холма открывается простор, луга, пойма реки. На берегу, у воды, небольшая деревушка.

— Дома, — говорит Хомутов, расстегивает китель и снимает фуражку.

Пастух на лошади гонит из деревни пылящее стадо. Подъехав, с седла здоровается за руку.

— Курить найдется?

Получив сигарету, шутит:

— «Ява»? Люблю «Яву» на халяву!

— Как жизнь, Гена?

— Как скажут, — отвечает пастух. — Вот ферму ликвидировали, коров забирают. Кончается наше Заборье. Приказано деревню под плуг, на ее место картошку посеять. Очень интересное решение вышло.

— Чье решение?

— Район решил.

— А председатель?

— Брусенков? Он своему дерьму не хозяин. Что сверху по телефону спустят, тем и командует.

— А народ, люди?

— Тоже единогласия нету. Завтра сход собирают. Пошумят да разойдутся. Кто нас, рядовых, об чем спрашивает?

Срывая зло, хлещет кнутом по мордам коров.

— Куды, тварь, скотина безрогая?!

Уезжает за стадом.

Идут улицей. Хомутов вдруг садится на землю.

— Не пойду.

— Домой не пойдешь?

— Не пойду.

— Куда пойдешь?

— Никуда не пойду.

Касьянов тоже садится, говорит:

— Давай не пойдём.

Хомутов сразу вскакивает.

— Ладно, пошли.

Ломают школу. Крыша уже сорвана. Разбирают потолки, верхние венцы сруба. Завидев солдат-отпускников, бросают работу.

— Ребята, гляди, кто приехал!

Ожига свистит в пальцы.

— Перекур!

Спускаются вниз. Аким, Ожига, Чаликов, Юкин-старший и его сын, подросток Шурка.

— Ломаем? — говорит Хомутов.

— А что, запрещается? — отвечают ему.

Собираются в бывшем классе. Рассаживаются за парты. Когда-то сидели здесь детьми.

— Чалый, к доске! Пятью пять сколько?

Отвечай.

— Бутылка!

— Аким, ты как?

— Всегда «за».

— Юкин? Бутылек коньяка, слабо?

Юкин, все время надсадно кашляющий и отплеывающийся, отказывается.

— Нет, ребята, я мимо. От коньяка нынче ослепнешь, не увидишь ни полочки, ни аванса.

На классной доске мелом веселая рожица и подпись: «Прощай село — здравствуй город!»

— Какой город выбрали? — спрашивает Хомутов.

— А нам без разницы.

— У нас вон кино и то запретили.

— Я вообще умываться перестал, — говорит Ожига. — Обрыдло все тут. С городом буду сливаться. А то на Север махну. Аким, ты насчет Севера как?

— Чего там?

— Тайгу рубить.

— А я ее не сажал, — отвечает Аким.

Юкин опять закашливается.

— Так и живем, — говорит Чаликов.

— И еще лучше жить будем, — говорит Аким.

Хомутов вдруг поднимается. Берет заступ, лом, кирку. Через дорогу, против школы, брошенная усадьба. Дом свезен. Остатки фундамента заросли бурьяном. Хомутов начинает корчевать гнилье киркой, ломом.

Подходят ребята.

— Хомут, ты чего?

— Дом буду здесь ставить, — говорит Хомутов.

— Ты что, датый?

— Дыхнуть?

— Рассуждаешь, как со стакана.

Хомутов не отвечает. Продолжает работу.

— Ну поставишь ты дом или два. Изменил это? Нет! — говорит Чаликов. — Ты вот нарисовался тут на неделю, в отпуск, погончиками блеснул и ушел. А мне тут жить. А как мне тут жить? Ферму убрали. Где бабе работать? Машинный двор ликвидировали. Трактор сюда закажешь, к десяти утра с центральной придет. Пока сопли жевали, двенадцать, обед. Это работа? Детей учить негде. Кино глядеть негде. Бутылку купить негде. Это жизнь?

Хомутов не отвечает. Продолжает работу. Касьянов, поколебавшись, снимает китель, готовясь помогать Хомутову.

— О, смотрите, еще один в поле воин!

— Нет, у меня опускаются руки! — говорит Ожига.

Чаликов пытается остановить Хомутова.

— Отойди, — предупреждает Хомутов.

— Да пусть строит! — говорит Аким. — Жалко, что ли?

— Не туда, Хомут, копаешь, не в корень дела. Не тут свинья зарыта, понял? Деревня ты деревянная, «Ваня с телеги!» Погляди, кругом на промышленные рельсы встают, — говорит Юкин.

— Давай тоже встать, — отвечает Хомутов.

— Народ спроси, хочет он, нет?

Хомутов бросает кирку.

— И спрошу!

— И спроси.

Дом бабушки Кати. Хомутов и Касьянов ужинаят.

— У Плясунковых окна расколочены и белье сушится. Приехал кто? — спрашивает Хомутов.

— Люсьена, кто еще. Каждое лето ездит. Шляпу наденет и голая в огороде лежит, солнечную ванну принимает. Нынче дочь привезла. Хорошая девочка, невестой стала, увидишь.

Кладет перед Хомутовым конверт.

— Письмо от матери. Взамуж опять вышла. Шахтер. Аркадием зовут. Пишет, хороший человек попал, хорошо живут, забыла город-то как...

Хомутов мелком взглядывает на конверт.

— Мончегорск.

Вечер. С «кошкой» и монтажными поясами Хомутов, Юкин, Касьянов лезут на столбы, ставят электролампочки. Их сопровождает ватага детишек, Ожига с ружьем и Шурка.

Наконец все готово. Хомутов дает команду: — Включай!

Включают рубильник.

Гирлянды лампочек вспыхивают разом. Улица озаряется ярким праздничным светом. Мальчишки восторженно прыгают, кричат. Ожига палит из ружья в воздух. Убогий дурачок тринадцатилетний Гуня, не умеющий ходить, ползающий задом в дорожной пыли, тянет руки к лампочкам. — Дяй!.. дяй!.. дяй!..

В тот же миг появляются две фигуры в белом. Это Люсьена тридцати семи лет и ее пятнадцатилетняя дочь Аня. На Люсьене роскошное вечернее платье, перчатки, зонтик, итальянские шпильки.

Мальчишки:

— Ё!

— Дачницы!

— Зонтик-то зачем?

— От комаров, деревня!

Вид Люсьены среди изб, заборов и пыльной, выбитой тракторами дороги потрясает. Ожига приветствует ее появление салютом из ружья. Гуня пускает пузыри, тянется к великолепной Люсьене руками: — Дяй!.. дяй!.. дяй!..

Ночь. В лугах, у реки, туман. Слышен смех и преувеличенно испуганный визг Люсьены. Это Ожига и Шурка, раздвигаясь до трусов, ловят для Люсьены раков, которых она ужасно боится.

Касьянов и Аня сидят у небольшого костра. Он тусклым пятном светится сквозь туман.

— Дура, — говорит Аня. — Королева Марго. Корчит из себя девочку. Перед кем? Перед Ожигой! А самой скоро сорок и десять аборт. Таскает за собой этюд-

ник, мольберт с красками. Играет художницу. Интеллектуалку. А на завтрак съедает чугунок картошек в мундирах...

— Анюта! Володя! Ау! Идите к нам купаться! Вода ужас как теплая!..— кричит из тумана Люсьена.

Аня не отвечает. Глядит в костер. Вдруг спрашивает Касьянова:

— Тебе нравится Сталин?

— Нет.

— И мне.

Через паузу:

— А Карл Маркс?

— Не знаю, не думал.

— А я люблю воду, она течет...

Опять доносится зов Люсьены.

— Володя-а! Анюта-а-а! Ау!.. Мы уходим!..

— Катись,— отвечает Аня.

Помолчав, негромко читает:

Снова дрогнуло сердце от боли,

Снова падают листья в ручей,

На изрытом картофельном поле

Собираются стаи грачей.

Вот и вечер пришел незаметно,

И просторы уснули в тиши,

Может, все-таки вправду бессмертна

Хоть какая-то память души?

Через паузу:

— Идем, покажу, чего ты еще не видел. Но обещай никому не рассказывать. Это моя тайна.

Взявшись за руки, поднимаются на холм. Отсюда, с точки, господствующей над местностью, открывается залитый луною простор. Аня подносит к губам ладони. Кричит:

— Нет! нет! нет!..

Крик уходит по цепочке холмов к горизонту и умирает. Ждут. И вдруг откуда-то издалека возвращается ответ:

— Да!.. да!.. да!..

Снова кричит холмам:

— Да! да! да!..

Холмы долго молчат. Приносят ответ:

— Нет!.. нет!.. нет!..

— Кто это отвечает?

— Не знаю.

— А мне ответят?

— Попробуй.

Касьянов кричит. Ему отвечают. Потом кричат вместе, порознь, разное. Ночные холмы откликаются:

— Да!.. да!.. да!..

— Нет!.. нет!.. нет!..

Утренняя тишина взрывается маршем из репродуктора. Вспыхивают гирлянды электроламп на столбах. Улицей села движется необычное шествие, двадцать семь душ: женщины, старушки, детвора, мужики.

Впереди — красное знамя. Его несет вете-

ран войны и труда Круглов. Шествие олицетворяет и символизирует собой этапы пути, пройденные советским крестьянством.

...Эпоха сохи, нищеты, эксплуатации. Это старухи в лаптях с иконой, серпами, в бедных платках и платьях.

...Эпоха коллективизации. Это огромный сноп хлеба в телеге, которую влечит за оглобли колесный «Беларусь». У подножья снопа сидят старухи-ударницы в кумачовых косынках, девятилетний Лукьян и Гуня. К телеге привязаны сзади корова, козы, пяток овец, демонстрирующие крестьянский достаток.

...Период военного лихолетья. Куча женщин, старушек, детей во главе с пенсионером-счетоводом Лютым. Несут полотнище на палках: «Хлеб — фронту» и пылят, впрягшись в самодельную борону.

...День сегодняшней. Это самоходный комбайн, «луноход» Т-40 на «дутиках», «Запорожец» механизатора Акима — все олицетворяет энерговооруженность нынешнего села и благосостояние колхозников. Замыкает шествие старик Казин на тарактящем, стреляющем дымом мопеде. На Казине борода, мотослел, очки-консервы и перчатки-краги.

Громкоговоритель кричит приветствия. Запись взята с праздничной демонстрации промышленного центра. Тематика лозунгов не всегда совпадает с происходящим. Но громы оркестра и «ура» многотысячных колонн оглашают поля и деревню.

— Рабочие, инженеры и техническая интеллигенция! Повышайте производительность труда, боритесь за экономию материалов и средств производства! Ура!

— Ура!

— Работники торговли, общественного питания и бытового обслуживания! Ширьте сферу услуг и уровень культуры населения! Ура!

— Ура!

— Братский привет народам развивающихся стран! Свободу узникам империализма!

— Ура!

Возле разрушенной школы шествие останавливается. Сбивается в кучу: техника, скот, люди. Репродуктор обрывает. На трибуну поднимается ветеран Круглов.

— Я дрался за Сталинград. Что такое Сталинград? Это тысяча пуль и осколков на каждый метр земли, пятьсот семьдесят артстволов на километр фронта, тысяча двести самолетовылетов и на каждом семнадцать бомб. Не скрою, за подвиги в Сталинграде, да хотя бы за то, что выстояли, наград не имею. Там вся слава досталась генералу Чуйкову. Но говорить о личных подвигах некультурно и очень нехорошо. Скажу только, что за ночь нагоняет морячков Тихоокеанского флота столько, что трехметровая траншея битком, только по верху проползти

можно, пройти негде, сплошные солдаты, а к обеду ни одного в живых нет, куски мяса и кровь из траншеи котелками выплескиваем, и уже другие на смену подходят. Вот так дрались. И лично я никаких старших командиров рядом не видал, и никто мне команд не подавал. Я как коммунист сознательно удерживал свой участок траншеи, чтоб немец не проскочил к Волге, а если бы проскочил и зачерпнул из нее воды своим плоским котелком, то могла бы пойти на нас Япония и Турция и было бы еще тяжелее. К чему это говорю? Я не отдал ни пяди своей траншеи там, в Сталинграде, и я не отдам ни пяди земли здесь, в Заборье. Как сказал политрук Клочков: «Велика Россия, а отступать нам некуда. Позади — Москва». Ни шагу назад — вот наш девиз!

Делает под козырек. Сходит с трибуны. Встает у красного знамени по стойке «смирно».

Счетовод Лютый. Забравшись на трибуну, неспешно раскладывает какие-то бумаги, ищет и надевает очки, снимает, протирает и надевает опять. Голос у него тихий.

— Я не защищал Сталинград. У меня одна медалька за труд. Но у меня есть вот тут выпisky, цифры. Об чем они говорят? Об нашем хозяйстве, об нашем районе. И об том, что кругом у нас — бардак. Возьмем по порядку. Производство — бардак. Транспорт — бардак. Жилье — бардак. Торговля — сплошной бардак, хлеба не купить, то у них печь завалится, то у них тесто сторит. Не буду перечислять другие области нашей культуры — кругом бардак. Полям не хватает азотных удобрений, дефицит по стране, а в районе этими удобрениями посыпают гололед на дорогах. Начальство видит и закрывает глаза. У них перестройка. И сплошные заседания. То по шерсти. То по яйцам. Какой мой вывод? Вывода нету. Жить нам тут или подыхать? Каждый должен решить за себя...

Аккуратно собирает бумаги, снимает очки, покидает трибуну.

Тетка Тамара.

— Ребеночков жалко! Наши дети в недохватах росли, бывало, оставлю своим хлеба и молока, сама на ферму на весь день убегу. Молоко съедят, а хлеб не тронут, не хватает силенок ломоть отрезать, маленькие еще. Вернусь, они возле хлеба голодные сидят, только корку на ём всю обглодают. Зареву в голос, свекровь упрекну, а она сама никудышная, голова трясется, с лавки подняться не может. У нынешних детей — все есть. Шоколадки-мармеладки. А мамки с папкой нету. С первого класса ребяточек в интернате, без родительского тепла живет. Один. При казенной кровати и тумбочке, как арестантик!

Всклипывает, утирает платком глаза.

— Ребеночков жалко... Чё жалиться? Хлеб

есть и ладно. Свиным на ферме по консервной баночке отрубей в мешанку давали, голодные, страшные, как эскимосы, идут через дорогу, шатаются. А людям на покосе по столовой ложке пшена или шесть кило ржаной муки на бригаду в сто баб. Как делить? Стекланную рюмочку в пятьдесят грамм принесут, ею и делят, а чего уже разделить нельзя, то бабы детные еще раз чайной ложечкой поделят. Вытерпели. И теперь вытерпим. Терпенье — наше оружие...

На трибуну выскакивает Юкин. Сбрасывает изо рта на ладонь искусственную челюсть. Пальцами распяливает голые десны.

— Во, глядите. Зубов нету. Волос нету. Морщин во, вся рожа, как у мартышки, в морщинах. Мозоли на руках — копыта, железо могу точить. Оглох. Дед! А мне только сорок три года, по ранешним временам мужчина цветущего возраста. Кто меня изнасил? Трактор! И земля! Эта вот, родная земля. Но теперь говорю: все, хватит! ищите дурей меня! Вон Шура, мой родной сын. Учиться не желает. Желает, как я, трактором пахать. Так вот, Шурка, при всем народе тебе скажу: останешься в колхозе работать — прокляну! И чтоб ноги твоей в доме не было!

— Не выступай,— говорит Шурка.— Пасть вывалил, как дурак, от людей стыдно.

— Ты это кому, отцу?

Хватает с земли железяку. Гонится за сыном. Запускает железякой вдогонку. Возвращается на трибуну. Достает пачку документов.

— Вот. Шоферские права, свидетельство классности, книжка механизатора. Кладу. И ухожу. Хватит. Нет больше моих сил и возможностей.

Бабка Оля:

— Скорей бы к людям отсюда, хоть каку каморку в одно окошко бы дали, ведь всю жизнь тут саврасками впряженными ломили, всю силу тут поклали, ужель вниманья не заслужили!

Бабка Тоня:

— Я в сорок втором годе крышу с сваю дома в колхоз отдала. Дошли буренки. Председатель собрал доярок: где ваша сознательность? Отдала соломенну крышу с избы. А нынче кирпича печь починить не допрошусь. И никому я не нада!

Реплики:

— Каждый об своем, а нас в газетах, по радио правильно призывают, жить надо для других!

— Тут для себя-то жить неохота!

— Вырыть большу яму да всех нас туда покласть и засыпать вот я чего предлагаю!

— Молодым дайте, пусть скажут, как жить собираются!

Хомутов:

— Я не умею говорить слов. Вот рядом стоит мой товарищ Володя Касьянов. Он ох-

раняет в Москве Мавзолеем Ленина, Пост № 1, главный пост СССР. Он вам скажет...

Что мог сказать Касьянов этим людям? Что Волга начинается с ручейка, а Россия с деревушек, таких, как Заборье? Что он стоит у Кремля и за этих старух, и за их избы? Что не станет Заборья и убавится на одну каплю — но убавится! — и страна?

Но слова оказались не нужны. Из толпы вышла Маша Балалаева, приземистая, с широким монгольским лицом. И вдруг сильным грубым голосом запела.

Лучина, лучинушка
Березовая,
Что, лучинушка,
Неясно ты горишь?..

Топнула ногой. Раскинула руки. Пошла плясовой по кругу. Подхватили женщины и старухи.

Неясно ли горишь,
Не вспыхиваешь
Или ты, лучинушка,
В печи не была?..

В круг, к женщинам, выталкивают ветеранов Круглова, Лютого, Казина, Хомутова, Ожигу с пустым ведром, в которое он колотит, как в бубен. Кричит, приплясывая:

— Ансамбль «Веселуха!» Бздык-бздык! ча-ча-ча!

Убогий Гуня тоже тянется с телеги в круг. — Дай!.. дай!.. дай!..

Маша Балалаева подхватывает его на руки.

Ты в печи не была,
Красна девка не светла.
Ай, люлюшки-люли
Не светла, не весела...

Город.

Металлургический комбинат. Он — шеф района. И Хомутов надеется на его помощь. Стоит с Касьяновым у проходной. Идет на работу утренняя смена: море голов, плеч, лиц, глаз людей.

— Сила! — говорит Хомутов. — Рабочий класс! И не спасут одну деревеньку?

Стоят на пути идущих. Масса людей разбивается об них, как об волнолом. Нужного им руководящего товарища пока не видать. Хомутов достает записку с фамилией:

— Крохин. Игорь Мартынович.

Делают звонок из проходной и входят на территорию.

Дым, пар, грохот, удары мощных прессовых молотов, сплетенье рельсов, труб, горы шихты и угля, железнодорожные составы, целиком въезжающие в гигантские заводские цеха; а в лужах радостно купаются черные от сажи, взъерошенные заводские воробыи.

С селектора идет переключка диспетчерской и цехов.

— «Диспетчерская? Приветствую. Сафонов. Как поработали? Как надо. Бери карандаш. Уже взяла? Умница. Крепче держи. Пиши. Вал за сутки. План 2300. Дали 2550. Процент 119». — «Молодцы». — «А мы и сами знаем». — «Товар за сутки?» — «План 42. Дали 40. Процент 98. Недобрали маленько». — «Номенклатуру давайте». — «Даю. План 630. Дали 27». — «Мало дали». — «Пушки к бою делу задом. Месяц-то только начался...»

Наглядная агитация.

Черный щит — «У них»:

«Машина властвует над человеком».

«Машина диктует человеку».

«Машина пожирает человека».

Красный щит — «У нас»:

«Человек создает машину».

«Человек дружит с машиной».

«Человек любит машину».

«Человек управляет машиной».

Хомутов вскакивает на проезжающий мимо кар. Прокатившись, соскакивает. Едва не попадает под колеса. Догоняет Касьянова. В литейном пьете у автомата кислородные коктейли. Подряд — три стакана. Предлагает Касьянову:

— пей! Бесплатное.

Крохин занят на заседании профкома. Идет отчет комиссии по оборонно-воспитательной работе с молодежью. В приоткрытую дверь слышны выступления участников.

— Мы хоть и ветераны-участники, но мы должны держать порох сухим и быть сильно бдительными, как диктуют ошибки истории и героическое прошлое. Приведу личный пример. Прошло много лет и сроков секретности, теперь я могу открыть народу свою тайну о том, что лично я знал о нападении Гитлера на СССР еще за сутки. Как это произошло? Я служил на западной границе. И двадцать первого июня сорок первого года меня, младшего офицера, переводят в другой гарнизон. Приезжаю. Меня селят в общежитие. Комнатка чистая, все покрашено, белье на койке крахмальное. Лег с дороги, уснул. Просыпаюсь от жуткого шуршания. Включаю свет — мама! — волосики на теле дыбом. Вся комнатка, стены, потолок, окна шевелятся под полчищами отвратительных тараканов. Тараканы — к войне, всякий знает. Что делаю я? Срочно вооружаюсь. Бегу в караулку. Звонком поднимаю с постели майора Ершова. Взволнованным голосом докладываю: Гитлер выдвигается на позиции, чтоб коварно напасть на нашу Советскую Родину. Сообщаю об тараканах и прошу разрешения срочно звонить в Особый отдел и контрразведку округа. Что делает майор Ершов? Отъебукал меня цензурными словами и предупредил:

«Будешь еще с утра пить, накажу!» Через несколько минут небо загудело, на наш гарнизон посыпались фашистские бомбы. Общежитие на моих глазах рухнуло под землю. Так тараканы спасли мне жизнь. А могли бы спасти Советский Союз, если бы не майор Ершов. К чему мой наглядный пример? Мы не забыли, которые вавиле и которые сейчас живут, процветают, бдительность — наш бронепоезд на запасном пути.

Реплики:

— Я у товарища Самойленко денег на мелкокалиберные винтовки просил, он ответил: «Весь мир за разоружение, а ты мою мебельную фабрику вооружать собираешься?» И денег не дал!

— А мясокомбинат? Им культпоход на патристическую пьесу, а директор Гуткин: «Зачем моим рабочим ваша патристическая пьеса, они и так каждый день по колено в крови ходят, в театр идти не надо, они и так до предела обозленные!» Вот вам еще один щедринский обыватель!

Вечер. Проходная. С завода уходит смена. Хомутов и Касьянов ждут появления Крохина. Касьянов пытается увести Хомутова.

— В глаза хочу ему посмотреть. Имею право? — упрямится Хомутов.

Поток людей, обтекают их, редет, редет...

Площадь перед проходной пуста.

Крохин не появился.

Памятник Ленину. Садятся к подножью, передохнуть.

Хомутов:

— Знаешь, чего мне этот Крохин в кабинете сказал? «Два ученика — школу для них держать? Пять старух — кино им казать?..» — дорассказать не успевает.

Подходит милиционер. Делает под козырек. Сообщает: сидеть здесь нельзя, запрещается. Ребята встают. Прежде чем уйти, Хомутов оглядывается на могучую каменную фигуру вождя, словно надеется на его справедливость и защиту.

У края площади подростки-акселераты ногами с велосипедов гоняют по асфальту жестяную миску.

Хомутов:

— Я ему: «А Советская власть у нас есть?» А он мне: «Советская власть? Есть. Подо мной. Этажом ниже. Там ищи Советскую власть».

Миска падает в ноги Хомутову. Он поддает ее сапогом. Миска взлетает в воздух, падает, дребезжа и громыхая, катится далеко по асфальту.

Деревня.

Брошенная деревушка Амба. Заколоченные избы. Гнилые заборы. Сорванные со столбов провода. Безлюдье. Жуть. Запустенье.

— Деревня «Амба», а по-русски — «п...ц!» — говорит Ожига. — Бери и тащи в Заборье.

— А Брусенков?

— Не пугает.

Изображая «контрас», Ожига бросается ничком в лопухи, палит из ружья по окнам.

Орет:

— Ананга! Вперед! Но пасаран, бля! Родина или смерти! Ура! — Изображает смертельное ранение, вопит: — О! Я смертельно ранен врагами! Медсестру! Доктора! Доктора медицинских наук! Я бредю! Я умираю! — Изображает умирающего. — Остановитесь, не надо уже доктора, не надо медицинских наук, поздно, прощай, Люсьена, все кончено, я умер, похороните меня на площади с симфоническим оркестром...

— Кончай, — говорит Хомутов. — А то тебя тут закопают. Делом займись!

— Уже!

Ожига выскакивает с охалкой пустых винных бутылок, которые насобирал в лопухах.

Касьянов, Хомутов, Ожига и Шурка Юкин осматривают брошенные усадьбы.

Остановливаются перед одним из домов. В окне, на подоконнике, за стеклом клубок синей шерсти. Рядом — кукла. Стоит. В белом платьице. Глядит невинными голубыми глазами.

— А ночью одна, с крысами, — вдруг говорит Шурка.

Ожига поднимает ружье. Целится в куклу. Хомутов бьет по стволу. Выстрел — мимо. Хомутов бросается на Ожигу, сбивает с ног. Хватает за грудки, тащит к кукле.

— Стреляй еще! Стреляй! Убей ее, чтоб не жила!

Ожигу отнимают. Но Хомутов не может успокоиться, уходит от ребят в дальний конец села.

Касьянов осматривает дом с куклой. Внутри грубо порушено. Сорваны полы, обои, электропроводка, выдраны косяки дверей. Дом под одной связью с хлебом, двором, сеновалом. Но тяжело, жутко находиться в этом нежилом, мертвом месте.

«Ехала деревня мимо мужика!» Сцепкой из гусеничных тракторов тащили на волокушках сразу три избы. Шурка бегал по крышам. Одна изба дымилась трубой. Печь топил Ожига, сидящий у окна. Готовил к сдаче «пушнину»: сдирал с бутылок этикетки, петлей вытаскивал утопленные внутрь пробки.

Трактора вели Касьянов и Хомутов с Акимом.

На полпути к Заборью «караван» перехватывает председатель Брусенков. Его «газик», перекрывший дорогу тракторам, виден изда-лека.

— Приехали! — говорит Аким.

— Брусенков?

— Ну! Вон стоит, нас дожидает. Избы-то «левые», с другого района. Сейчас начнет лаяться: ворованное тащите!

Но Брусенков поступает иначе. Выходит навстречу поезду. Каблуком продирает поперек дороги черту. Садится в машину. Уезжает.

— Чего он?

— Увидим.

Подъехав, останавливаются. Собираются перед поставленной чертой: Аким, Хомутов, Касьянов, Ожиг, Шурка.

— Шаг вправо, шаг влево считается побег, стреляю без предупреждения, — говорит Ожиг.

— Граница колхоза?

— Ну! Перетащи за нее хоть один гвоздь...

Хомутов быстро затирает черту.

— Нету е! Стер! Нету!

— Прокурор-то остался, — говорит Аким и глушит дизели. — Выпрягайся, приехали!

Красная площадь. Длющийся проход кремлевских курсантов. Касьянов держит шаг и четкий, рубленый взмах руки в белой перчатке. В толпе наблюдающих смену караула — иностранцы. Юная немочка, озоруя, наводит карманное зеркальце. Острый солнечный блик бьет Касьянова по зрачку, мешает идти. Иностранке делают замечание. Смутившись, она убирает зеркальце в карман...

Утро. Дом бабушки Кати.

Хомутов, одетый, сидит рядом со своей кроватью. Она аккуратно заправлена. Касьянов окликает Хомутова. Раз. Другой. Хомутов не реагирует. Пол у его ног усыпан сгоревшими спичками.

— Хомут! Может, ко мне уедем? — предлагает Касьянов.

— Ехай, — говорит Хомутов.

Рыли траншеей под фундамент дома. Рядом ломали школу. Подначивали:

— Эй, пара гнедых, запряженных зарею!

Приползал на заднице, обшитой линолеумом, Гуня.

— Дяй!.. дяй!.. дяй!..

Давали молоток, гнутый гвоздь. Сидел, пускал слюни, старательно колотил молотком по гвоздю, прямил.

Приходил дед Лукьянов. Садился, строгал

ножиком щепку, молчал, изредка рассказывал про бывалошную жизнь:

— Мой батяня по селам ходил, пимы катал, этим семью кормил, а домой возвращался, первым делом на колени посреди избы вставал и пол целовал, потом уже с нами здоровался...

— Наших дедов барин на собак выменял. Пять душ за одну суку, видно, шибко породистой была, а нас с тех пор «ягутами» зовут, Адамычев фамилия того барина была, и хутор поперва Адамычи звался, это уж после Заборье стало, бор дремучий был, потом вырубил, конешно, а название так и осталось: Заборье...

— Нет, в колхоз поперва никто не хотел писаться. Земля тощая, не кормит, отходом жили. Мужики так агитатору и сказали: «Не желаем в кучу сбиваться, одной ложкой хлебать!» Тогда Ванька Плясунков, активист был, выскакивает и кричит: «Мужики! Колхоз — это счастливая, радостная жизнь! Колхоз — это когда не надо работать! Откроем пивную, вино будем пить, а машина за нас пахать-сеять!» Ну, тут все и записались. Поверили, дураки!..

Углубились на полметра. И показалась вода.

— Вода!

Это была катастрофа.

— Грунтовая вода!

Хомутов отшвырнул лопату. Касьянов продолжал рыть. Хомутов пробовал выбрать воду ведром. Вода не кончалась, прибывала с каждой лопатой выброшенного грунта.

— Все! — сказал Хомутов и, отшвырнув ведро, пошел прочь от котлована.

Ужинали. Вдруг Хомутов положил ложку.

— Выйдем...

Сам дал Касьянову замок с ключом.

— Чего ты?

— Чувствую, приступ будет. Закроешь меня в сарайчике. И уйдешь. Не открывай, пока не пройдет.

Надел на голову ушанку. Завязал тесемки. Вошел в сарайчик, закрыл за собой дверь. Касьянов навесил замок. Повернул ключ.

— Уходи, — сказал Хомутов из-за двери.

— Ушел!

Но Касьянов не уходит, остается.

— Уйди!!! — кричит Хомутов.

Касьянов отходит. Возвращается. Затаивается под дверью. Сперва в сарае тихо. Как-то вздохи, стоны, затем негромкий вой. И сразу рев, удары в дверь нечеловеческой силы: головой, кулаками, плечом, ногами, всем телом. Трещал запор. Гнулись доски. Замок грозил вылететь вместе с пробоем.

Касьянов держал дверь тяжестью всего тела. Кто-то вцепился в него сзади с криком:

— Выпусти! Выпусти его!..

Это была бабушка Катя.

Касьянов отталкивал ее плечом. Она кидалась на него снова и снова. Билась в стенку сарая, навстречу ужасающему, нечеловеческому реву.

Но кончилось и это...

Касьянов открыл сарай. Вошел. Хомутов лежал на полу. Бабку Катю Касьянов нашел в доме, сказал:

— Воды дайте, побился сильно...

До полудня работал без Хомутова, один. Ведром вычерпывал из траншеи воду. Лил дождь. Хлестал струями по спине и плечам. Касьянов не сдавался. Черпал жидкую глину. Выплескивал наверх. Она тут же плыла обратно. Казалось, этому не будет конца.

Спина дымилась паром.

В школе по партам тоже скакали веселые дождевые фонтанчики: сегодня там не работали...

Деревня Амба. Именно здесь Касьянов отыскивает Хомутова. Тот стоит перед домом с куклой. Кукла и — Хомутов. Неотрывно глядят друг на друга. Касьянов молча встал за спиной. Хомутов, не оглядываясь:

— Ночью она тут одна, с крысами.

Оборачивается, вдруг говорит Касьянову:

— Уходи!

— Хомут...

— Уходи!!!

— Уйдем вместе. Уйдем отсюда...

— Уходи!!!

Толкает Касьянова в грудь.

— Оставь меня! Совсем уходи!

Касьянов покидает Заборье. Темнеет. Но уже ничто не может заставить Касьянова даже заночевать.

Стучит в окно Ани.

За темным стеклом проходит тень.

— Аня!

Дверь дома открывается. На крыльце Люсьена, босая, кутающаяся в платок.

— Володя, она у подруги. В поселке. Что-то случилось?

— Я уезжаю.

— Зайди.

Собирает раскиданные по стульям предметы женского туалета. Уносит за ширму. Возвращается переодетая.

— Садись.

Убирает со стола краски, кисти, листы начатых и брошенных акварелей, молоко, надкусанный огурец. Стелет свежую скатерть. Приносит коньяк, тарелку ягод, рюмки.

— Кури.

— Спасибо, не курю.

— А мне нравится, когда в доме курят. Своего мужчины нет, приходится чужих просить. Хочешь меда?

— Нет. Надо идти.

— Налей. Я хочу выпить, — говорит Люсьена.

Гладит ладонь на руку Касьянова. Гладит его пальцы. Нагнувшись, касается их губами. Взглянув на него, вдруг звонко хохочет.

— У тебя такой перепуганный вид. Я очень страшная, да? Или тебя пугает возвращение Ани? Налей же, выпьем «на посошок».

Включает негромкую музыку. Набрасывает на лампу платок. Просит:

— Потанцуй со мной.

В танце почти не движется. Говорит:

— Ани не будет. Аня останется ночевать там.

Медленно, одну за одной, расстегивает пуговицы кителя. Лицо прислоняется к его груди.

— Боже, что творит твое сердце!

И гасит лампу.

Курила в постели. Смотрела, как он одевается и уходит. Попросила:

— Поцелуй меня.

Он сел. Отчужденный, с фуражкой в руках, как на вокзале.

— Я пошутила, иди.

С крыльца увидел: за калиткой стоит и глядит на него Аня. Черные провалы глаз на белом лице призрака.

— Не подходи ко мне, — предупреждает она.

И в то же мгновение исчезает.

Он гонится за ней. Теряет. Возвращается. Зовет в ночи.

— Аня-а-а!..

Останавливается у начатой и брошенной стройки дома.

Траншея под фундамент полна воды. В ней тускло светится ночной фонарь.

Поселок «Агропром».

— Володя приехал!

Налетает орава детей: Танюшка, Сережа, Олег, Мишка, Римма, Светланка, Настасья, Алешка, Людмила, Пашка, Бориска — сестренки и братишки Касьянова, их у него одиннадцать. Роняют Касьянова наземь. Поднимают. Отряхивают. Ведут к подъезду своей пятиэтажки.

— Володя приехал!

Пятиэтажка выстроена по-городскому, но

отделана неряшливо. На площадках у дверей квартир ряды резиновых сапог, галош. Село есть село, грязи хватает, тащить ее в современные, с паркетом, квартиры не хотят.

Дома отец и шестнадцатилетний Севка. Режутся «на носы» в карты. Отец в проигравших. Севка бьет по его носу картами. Оба считают.

— Семь, восемь, девять...

С появлением Касьянова счет не бросают.

— Одиннадцать, двенадцать... Хочешь ударить пару раз? — предлагает Севка брату. Касьянов отказывается. — Четырнадцать, пятнадцать...

— Ты, гаденыш, ребром не бей! — сердится отец. — Ребром лупишь!

— Где ребром, где?! Проигрался — не держайся, а то ребром врежу! — кричит Севка.

Из ванной вдруг с гогомом, хлопаньем крыльев вырываются гуси. Дети ловят, загоняют птиц обратно. Крики, топот, смех, пух и перья по квартире.

— Гуси-то в ванной зачем? — спрашивает Касьянов.

— А куда их теперь? — отвечает отец. — В поселке городского типа живем. Тут погребов и сараек нету, картошку в ваннных приходится держать.

Щупает припухший нос. Сдает карты.

— Отыграться хочу. Вовка, садись, вдвоем интереснее.

Касьянов отказывается. Отец неумолим.

— Тебе родитель приказывает. Значит, садись!

— Мать где? — спрашивает Касьянов.

— На комплексе. Дойка у ей. Эй, кишкалда, живо за матерью, скажете, Вовка на побывку приехал!

Дети с криком бросаются в дверь.

Вспомнив, что еще не здоровался с сыном, отец сует Касьянову руку.

— Здоров! — берет карты. — Козыри трефы? Поехали! — смачно бьет об стол картой.

В соседней комнате плач грудного ребенка. Для Касьянова это очередной сюрприз. Спрашивает:

— Это кто?

— А! Люська... — отмахивается отец. — То есть, Нинка! Запутался уж, кто тут кто. Еще девку без тебя родили, а скоро опять с приплодом будем...

Ребенок заходится плачем. Отец, не бросая игры, приказывает:

— Севка, сунь ей соску! Римка-то где? Сказал, следи за дитём, нет, сломя башку на улицу умчалась. Да куда ж ты по крестям-то бубями мостишь, куда?!

Проигравшего Касьянова отец бьет картами по носу. Севка помогает считать:

— Двадцать два, двадцать три...

Прибегает мать.

— Сынок! Володенька! Приехал!

Отец не подпускает, свирепо осаживает ее.

— Не подступай, осади, мать, а то под руку, я горячий, за себя не ручаюсь! — продолжает бить сына по носу картами, приговаривая: — Не садись с отцом играть! не садись! наука тебе, Вовка! в азартные игры не садись! Двадцать восемь, двадцать девять, тридцать!

Бросает карты.

— Тридцать один ударил! Тридцать один! — кричит отец.

— Читать научись!

— Сам научись!

Мать плачет. Обнимает Володю. Целует в припухший нос. Обрушивается на обидчиков:

— Изверги! Страхолюды! Брысь отсюдава с вашими картами! — Сбрасывает карты на пол, дает подзатыльник Севке. — Оболтус, шпана! Других дел нету?

— Выходной сегодня!

— Я те дам выходной, я дам!

Из ванной опять вылетают гуси. Их ловят. Крик, гогот, пух, хлопанье крыльев. Отец прибегает из кухни с топором.

— Руби их на холодец, к фенькиной матери!

Топор и гуся у него отнимают.

Маленький, щуплый, усохший по причине того, что всего себя перевел в детей и потомство, отец кричит, хорохорится. Но настоящая хозяйка в доме — мать. Могучая, рослая, сильная, она втрое крупнее отца, и Касьянов замечает: снова беременна, ждет ребенка, по счету четырнадцатого.

— Я, ма, только на три дня, — говорит Касьянов.

— Володя, сынок, да как же так? На так мало тебя отпустили? Ведь только домой зашел!

— Так получилось, ма. Опаздывать тоже нельзя, не имею права.

— Я и покормить тебя ничем не успею!

— Успеем, — говорит отец. — Сейчас сам в магазин побегу. Танька. Светка, Настаська, чего стоите? Вовка же наш приехал, встретить надо! Мать, деньги давай, в магазин побегу!

Начинаются общие хлопоты.

Мать успевает все: дает плачущей малышке грудь, отправляет отца в магазин, дает наказы и поручения детям:

— Бориска и Сева с отцом в магазин, возьмете муки, маргарину три пачки, сметаны банку большую, яйца там смотрите, если есть, то десятка четыре. Отец, пинжак новый надень, люди сейчас придут! шляпу надень!..

— Ага! Клоун, туши свет, на манеже цирка!

— Света, Олежек, Сережа, картошку чистить, ведро! Танюша, к тете Фене беги, скажи, Володя приехал, посуда нужна, вилки, тарел-

ки, рюмочки, какие попроще, пусть сама идет, помох, скажи, надо...

— Денег-то мало дала,— говорит отец.— Дай еще сколь, куда я с имя?

— Хватит. Деньгами магазин не накормишь,— отвечает мать.

Выпроваживает всех по делам. Показывает Касьянову новую, недавно полученную квартиру.

— С месяц сюда переехали. Я тебе писала, не получал? значит, почта. Две секции трехкомнатных через стенку, а мы дверь пробили, шесть комнат стало, две кухни, две ванны, два туалета, удобно, хватает. Хорошо дали, не обидели, чего говорить, сильно государство нам помогает, и школа помогает, и совхоз, и собес. Деньгами дают, бельем постельным, обувью, продуктами, все нам, все ребятишкам в первую очередь. Большое внимание уделяют, и поселковые со всех сторон все нам тащат, полно ведь у всех всего стало, девать этих шмоток и одёжи некуда, а выбрасывать жалко, вот и несут, возьмите только, пожалуйста!

Касьянов слушает рассеянно, думает о своем, но мать не замечает.

Один за другим собираются гости: соседи, родственники, односельчане, знакомые.

— Возмужал...

Женщины, всплакнув, сморкаются в платочки.

— Защитничек ты наш, солдатик...

Приходят ребята из гаража и мастерских, бывшие одноклассники: Фетис, Коля Кардан, Ахат, Юра Прияткин, Леня. Запросто. Приходит Угрим Львович, бывший учитель, ныне пенсионер-активист совхозного музея военной и трудовой славы. Приходят односельчане тетя Феня, Маня Балканская, Плаксина Клава, ее племянница Венерка с подругой, старуха Баранова, доярки с комплекса, работающие с матерью, кум Абашкин, старик Евтихов, Ия Русских, Дуся Перебаскина. Возвращается из магазина отец с дружкой Сеней Журавиным, по-уличному Свищ, притаскивают тяжеленные сумки с фруктовой водой и вином.

— На улицу ступайте дымить!

Женщины выгоняют курящих мужчин на лестничную площадку. Раздвигают столы. Ставят тарелки с хлебом и закуской, рюмки, питье.

И вот стол готов. Все садятся.

Угрим Львович встает сказать тост. Откашливается, поправляет очки, галстук.

— Дорогой Володя! Сегодня, сейчас, ты приехал домой, пусть ненадолго, пусть только на побывку, суть не в этом. Ты — солдат, ты — дорогой гость. Но этот первый тост я хочу предложить не за тебя, вернее, за тебя тоже. Мы, конечно, гордимся тобой. Счастье,

огромное доверие и честь стоять и охранять там, пусть символически, самое главное и дорогое, что у нас есть...

— Короче!

— Короче, выпьем, товарищи, эту первую нашу рюмку за мир. Да, за мир! Потому что будет мир — будет все, будут дети, счастье, цветы. За мир! Против атомной войны!

— Ой, да кто атомной войны боится! Зайди в магазин. Ничего не купить. Все в драку, с руками рвут. Кто боится войны, тот разве покупает?

— Ладно, не выступай!

— Давайте!

— За мир!

— Да, за мир!

— За тебя, Вовка, тоже!

— За нас, за всех!

Через полчаса стол обжит и гудит голосами. Говорят все со всеми и обо всем.

Клава Плаксина — Касьянову:

— В одну эти пятиэтажку весь наш Мокрушенский сельсовет влез, с ручками-ножками: Синцы, Белый Лог, Пронята, Фофановка, в каждый подъезд по деревне.

— В кучу гребут, как тараканов.

— И хорошо. Теплей будет.

— А по мне, разогнать всех надо.

— Зачем?

— Чтоб в кассу не толпились.

Венерка вскакивает. Включает телевизор. Передают Зыкину и события в Ливане.

— Выключи!

— Ой, мне так этих ливанцев жалко!

Громкость убирают. Разговоры текут дальше.

— Раньше в своем-то дому крутишься цельный день, как втулка. Поросянок, корова, куры эти, овечки — да будь ты проклят! шагу от них не отойдешь. А теперь оттрубил восемь, и сам себе хозяин.

— Теперь утром встанешь, по дому-то делать нечего. Вода тут, газ тут, печь топить не надо, ни грязи тебе, ни копоти, кастрюльки-то малированные чистенькие стоят, от радости прям смеются!

— Хрен с ней, с кастрюлькой,— говорит Абашкин.— Смеется, а надо бы плакать. Раньше в своей деревне я кто был? Народ! А тут, в поселке, кем стал? Населением. Разница? Еще какая!

У ребят из гаража свои интересы и разговоры.

— Ты представитель ремонтного предприятия, так? Я механизатор широкого профиля, так? Я делаю хлеб. А что делаешь ты? Вставляешь в мои колеса палку?

— Обижает!

— Я? Ты за ремонт дизеля сумму содрал, а дизель не заводится!

— И ты не заводись!
— Да я месяц под тем дизелем валяюсь, заново ремонтирую! Стрелять надо!
— Стреляй! Вот моя обнаженная грудь!
— Выйдем?
— Пжалыста!
— Я вам сейчас обоих выйду,— обещает спорщикам здоровяк Гоша.

Касьянов в разговорах не участвует. Праздник, затеянный для него, катится сам собою, и Касьянов забыт. Мать в хлопотах. Отец, выпив, толкует Сене Журавину о том, что всего себя, без остатка, отдал интересам страны и государства:

— Живу, как в песне: «Забота наша простая, забота наша такая, была бы страна родная, и нету других забот!»

Тетя Феня, сидящая возле Касьянова, наклоняется ближе, просит:

— Володя, я об чем хотела просить, ты там у Кремля на виду стоишь, начальство большое видишь, скажи им, мол, пусть тете Фене пенсии сколь-нито добавят, пятьдесят два рубля получаю, а Зоя Строгачева семьдесят пять, а ведь мы вместе работали, как же так? мне обидно, скажи им, пусть мне рублочки хоть пять-десять накинут...

Ее негромко укоряют:

— Тетя Феня, что ты к парню с глупостями? Он солдат, не райсобес, пенсии не назначает. Чего тебе мало? чего нету? Кушать есть, обута-одета, телевизор имеешь, платок пуховый справила, чего еще, плохо разве живешь?

— Ой, правда, все есть,— соглашается тетя Феня.— Не проси ничего, Володя, наоборот, скажи, все, мол, у тети Фени есть, всем довольна, дай бог, спасибо. Только б войны не было! Как, Володя, считаешь, будет она, не будет?

— Стараемся, чтоб не было.

— Пуще там старайся, а я тебе носки свяжу.

Маленький братишка забирается на колени Касьянова, спрашивает на ухо:

— А бывают сапоги больше человека?

Ответить Касьянов не успевает.

Слышен звук горна, бой барабана. Дверь распаивается. В квартиру вступает отряд пионеров под знаменем. Белые рубашки, пилотки, красные галстуки. Впереди вожатая, сорокалетняя Алевтина, в круглых очках, в пионерском галстуке и в кудряшках. Отряд марширует. Выстраивается у стены. Вперед выступает звонкоголосый запевала:

— Наш дорогой Володя! Мы знаем, какой

важный и ответственный пост вы охраняете. Мы гордимся вами и пришли сказать, что...

Девочка:

На пилотке светится
Красная звезда
Родина Советская
Армией горда!

Мальчик:

На планете сейчас неспокойно,
Но мы верим в цветенье весны,
Не нужны нам «звездные войны»,
Пусть нам снятся звездные сны!

Аплодисменты.

Женщины слушают пионеров со слезами в глазах от умиления. Угрим Львович стоит. Абашкин под шумок сливает себе из рюмок. Старик Евтихов — с пионерским салютом. Его дергают, чтоб сел, не салютовал, Евтихов отбивается, стоит с суровым торжественным лицом.

Живет наш народ без войны сорок лет,
В грядущее смотрит уверенно
Растит нас Отчизна для мирных побед
Под знаменем партии Ленина!

Из ванной опять вырываются гуси. Гости и пионеры бросаются ловить. Шум, крики, пух, хлопанье крыльев.

Отец выскакивает из кухни с топором.

— Нарву шерсти!

Топор отнимают. Гусей заталкивают в ванную, дверь припирают. Пионеры продолжают декламацию.

Вместе с Ленинским комсомолом
Пионеры страны отдают
Съезду партии двадцать седьмому
Салют! Салют! Салют!

Аплодисменты.

Детей одаривают кусками пирога, сладями. Они строем покидают квартиру. Во главе трубящая в горн марширующая Алевтина.

Застолье продолжается.

— Тост! Позвольте тост! — кричит Угрим Львович.

— Сымаю головку блока и что? Поршня не запрессованы, пешком, вместе с гильзами, в цилиндрах ходят, а одного поршня вообще нет, пропили или поставить забыли! Девчонки протестуют:

— Хватит! Праздник или чего? Музыку давайте!

— Вон Зыкина по телеку поет, я ее уважаю, подпевайте, Зыкиной подпевайте!

— Тост! Позвольте поднять тост!

Жена — Абашкину:

- Ты не подымай, хватит.

— Сказали, подымать.

— Людям сказали, не тебе.

— Абашкин уже нелюдь, не человек?

Во у нас как! К корове у ей отношения больше...

— От ей польза, она молоко дает!

Касьянов спешит по поселку к автобусной остановке.

Рейсовый автобус уже пришел. Пассажиры, все местные, идут с покупками, сделанными в райцентре.

Толстая баба тащит батоны колбасы и вязку бобин туалетной бумаги. На шее — гирлянда бубликов. При бабе пьяный мужичок в резиновых сапогах. Из кармана болоньевой куртки торчит парниковый огурец — приобрел в райцентре.

Собирайте копейки да гроши
И купляйте бутылку вина!
Бутылка вина,
Не болит голова,
А болит у того,
Кто не пьет ничего!

— Ой, старая хряпка, не выступай, не выступай, тебе говорят! — стыдит его баба.

Касьянов садится в автобус. Он пуст. Обратных пассажиров в райцентр нет. Шофер закрывает двери. Автобус трогается. Мотоциклисты-подростки, в цветных куртках и шлемах, дожидавшиеся этого момента, поднимают машины на дыбы. С ревом, в грохоте и дыме, устремляются вдогонку. Обогнав автобус, разворачиваются. Бросаются навстречу, под колеса автобуса. В последний миг отворачивают. Раз. Еще раз. Еще...

Водитель автобуса кажет им монтировку. Мотоциклы отстают. Поворачивают назад...

Деревня.

Заборье. Вечерние сумерки.

Окна Люсьены заколочены, во дворе, на веревке, забытое, неснятое белье: Люсьена и Аня уехали.

Дом Хомутова освещен. Но Касьянов ощущает какой-то необъяснимый страх: останавливается, глядит на дом и его окна, делает над собой усилие и заходит.

— Баба Катя!

Ответы нет.

— Хомутов!

Ответы нет.

Касьянов заглядывает в комнаты: пусто. Отбрасывает занавеску в кухне. Перед ним сидит нечто, с головой укрытое простыней. Мгновение Касьянов медлит. Срывает простыню. Перед ним — Хомутов. Нет, он не мертв. Но назвать живым это лицо и глаза тоже нельзя. Касьянов осторожно опускает край простыни.

Ночь. Касьянов сидит на пустыре против

сломанной школы. Электролампочка столба освещает Касьянова и траншею под фундамент начато и брошенного строительства дома. Она по-прежнему полна воды.

Выстрелы заставляют его поднять голову. Это Ожига. Идет пьяный вдоль улицы. Из ружья расстреливает на столбах горящие электролампочки. Они взрываются и гаснут, одна за одной.

Касьянов выходит навстречу. Ожига останавливается. Стоят друг против друга.

— Подвинься, курсант! Дай проехать...

— Нет, — отвечает Касьянов.

Ожига сопит, дышит перегаром.

— Ладно, стой тут. Сейчас я тебя бить буду.

Отходит к забору. Не торопясь справляет малую нужду. Возвращается. Протягивает руку:

— Здорово!

И в следующий миг слепящий удар в лицо.

Драка. Свирепая, долгая и отвратительная, как все драки. Верх остается за Ожигой. Идет дальше. Под лай собак достреливает на столбах оставшиеся лампочки. Касьянов сплевывает кровь. Поднимается...

Дом Хомутова. Кладовка заперта на замок. Касьянов плечом высаживает доски двери. Где-то здесь с Хомутовым оставили запас электролампочек. Ищет. Сбрасывает на пол хлам, каким всегда забиты чуланы и кладовки: тряпье, старая обувь, железки, стеклянные банки, пучки сушеных трав, бутылки, школьные учебники и тетрадки, рисунки и пыльные игрушки — это из детства Хомутова. Вот и коробка с лампочками.

Касьянов оглядывается. Сзади тихо стоит баба Катя.

— В банке прячусь, здесь боюсь ночевать, — говорит она.

К утру на уличных столбах Заборья вновь вспыхивает свет.

Появляется Ожига. Касьянов опять выходит навстречу.

— Решил закрыть собственной грудью все амбразуры? — спрашивает Ожига.

— Стой тут, — говорит Касьянов. — Сейчас я тебя бить буду.

Отходит в сторону. Справляет малую нужду. Возвращается. Встает против Ожиги.

— Штаны-то застегни, — говорит вдруг Ожига и, удаляясь, небрежно бросает через плечо: — Привет!..

Москва. Красная площадь. Ночь. Смена кремлевского караула. Эхо шагов над брусчаткой. Штыки карабинов. Камера отбрасывает караул обратно, назад, к воротам Спасской башни. Раз. Еще раз. Еще... Кажется, они никогда не дойдут. Но кур-

санты и разводящий снова и снова начинают от той же невидимой черты на брусчатке...

«Здесь будет стоять дом».

Кол и фанерку с этой надписью Касьянов вколачивает на пустыре у залитой водой траншеи; его размеренные удары чутко отдаются в предрассветной тишине и, кажется, впечатываются в мерную поступь кремлевских курсантов...

Ценности, которые через минуту заступит охранять Касьянов у Поста № 1.

Поселок «Агропром». На животноводческом комплексе — дойка. Матери помогают Сережа, Татьяна и Римма со Светланкой.

Деревня Заборье. Кладбище. Крашенный обелиск со звездочкой и фотографией Хомотова.

Металлургический комбинат, грохот прокатных станов, рев пламени в печных заслонках и огненно-черные фигуры горновых, ангелов ада. И неожиданно красочная картинка: Дед-Мороз, Снегурочка, «снежинки» в балетных пачках (в руках каждой пара черных валенок) — идут в цех поздравить бригаду прокатчиков. На дворе июнь. А бригада работает уже план декабря: и вот каждому шуточный подарок от «снежинок» — пара валенок.

Поле. Подростки на мотоциклах, в шлемах и с пастушьими кнутами, пасут коров.

Средь зеленеющих овсов дымит трубой печь: как одинокий белый корабль, затерянный средь моря, — все, что осталось от сселенной когда-то деревни; пацаны пекут в ней теперь картошку.

Город. Километровая, в три ряда, темная очередь: в винный магазин. Стоят с канистрами, сумками, рюкзаками, у многих книжки — самая читающая страна в мире. Рядом, как в блокаду, горят костры: стоят часами, где-то надо погреться.

Спасая от бескормицы, на бойню гонят через весь город скот. Погонщики на маленьких, лохматых лошадях, в овчинных тулупах, как во времена Чингиз-хана. Стадо идет мимо винной очереди, мимо костров и зеркальных витрин магазинов. Впереди лимужин ГАИ с «блескунком» и рупором: ведет стадо через магистраль.

Откос реки. Березняк. В нем мелькает светлое платье Ани. Касьянов гонится за ней и теряет. Эхо разносит над рекой крик:

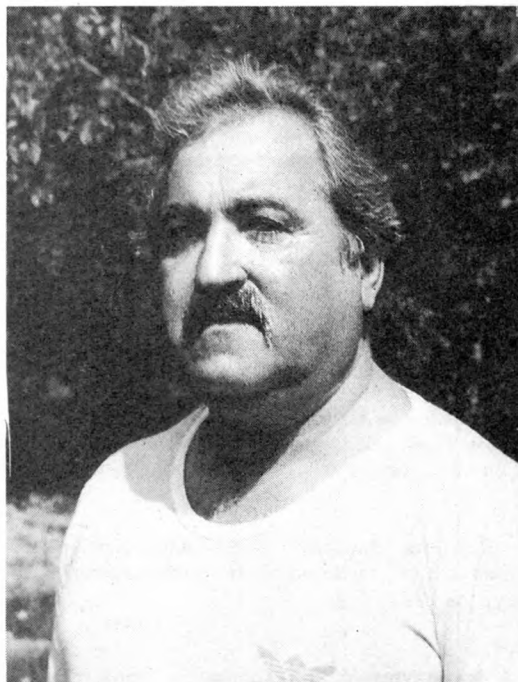
— Нет!.. нет!.. нет!..

— Да!.. да!.. да!..

Караулы уступают место друг другу. Бьют куранты. Касьянов встает к дверям Мавзолея. Смена караула у Поста № 1 свершилась.

1985 г.





**Николай
АФАНАСЬЕВ**

**Генрих
САПГИР**

ИЩУЩИМ ПУТЬ

Перед вами два сценария для мультипликации.

Реализовать их, вероятнее всего, невозможно — по причине дороговизны оживления, — но кое-что увидеть, понять, почувствовать вы почти можете сейчас, читая тексты и всматриваясь в ряд гравюр голландского художника Мориса Корнелиса Эшера.

Возникновение этой публикации своеобразно.

Вот последовательность: Алишер Навои пишет поэму (давно, более пятисот лет назад), опирающуюся на слой философско-суфийской традиции, театровед Николай Афанасьев в наши дни ощущает соответствие художественного мира голландца Эшера этому духовному материалу и соединяет их, поэт и драматург Генрих Сапгир — с посвящением «Н. Афанасьеву, который увидел это» — пишет парный сценарий, дар признания художника художнику, как было заведено и во времена Навои, и, наконец, член редколлегии нашего журнала Аркадий Лок-

тев догадывается, что объединенная публикация этих четырех ингредиентов будет еще одним творческим актом, еще одним звеном, продлевающим цепочку, начало которой где-то, а конец — нигде.

Что же выявилось в соединении поэмы восточного поэта, сценариев двух евразийцев и графики чистого европейца? Почему они все здесь — в «одном гнезде»?

Эшер выражал невыразимое. Это не игра слов, а прямая характеристика найденного им способа визуальных постановок. На его гравюрах мы видим то, чего быть не может, однако оно есть.

В опытах мысли и духа имеются тому соответствия. Яков Бёме писал: «Ангелы и диаволы находятся неподалеку друг от друга; однако же Ангел, будучи посреди Ада, находится в Раю и не видит Ада; также и диавол, будучи посреди Рая, находится в Аду и не видит Рая».

И не эта ли оппозиция сейчас как никогда мерцает перед нашими скрещивающимися на ней взглядами?

Великий Навои в своей поэме «Язык птиц» — первоисточнике предлагаемых сценариев — тоже «выговаривает невыразимое». Во всяком случае, говорит о нем. Основопологающее созерцание и единство микрокосма и макрокосма; всегдашняя причастность и всегдашняя невозможность — таковы очертания полета его поэмы, истории о птицах, рванувшихся всей стаей искать истину.

Чему может научить искусство? Только осознанию соответствий миров, судеб и душ.

Существенно, что меня не затруднило бы — как один из результатов погружения в предложенный материал — написать, к примеру, такую цепочку: великий Навои, великий Афанасьев, великий Эшер, великий Сапгир.

Но и такую: Навои, Афанасьев, Эшер, Сапгир...

Эти подходы равны или равно бессмысленны. Суть глубже. Четыре путника — каждый в своем движении — говорят нам о невыразимом.

Между «говорить о» и «быть в» лежит дистанция, длина которой индивидуальна для каждого. Это его путь.

Как ни странно, может быть, прозвучит нижеследующее, но я предложил бы вам прочесть основной сценарий (Н. Афанасьева) различными четырьмя способами. Т. е. отнестись к этому как к собственному внутреннему движению, к работе.

Первый раз: прочесть лишь стихи.

Затем второй: прочесть весь сценарий — и стихи, и предлагаемый пластический ряд, посматривая заодно на гравюры.

Затем: не читая сценарий, последовательно «пройти» по гравюрам Эшера.

И затем: прочесть так, как свободно прочитывается, как двинется само сознание.

Уверен, вы узнаете о себе неожиданные вещи.

В. Голованов

Н. Афанасьев

СИМУРГ-I



Монолог мудреца

1.
«Расскажи о Симурге», — я слышу от вас,
Мне ж и в тысячу лет не закончить
рассказ!*

Удалясь от суетного мира, средневековый мудрец-отшельник ведет беседу с невидимыми собеседниками — может быть, с нами — будущими потомками, а может быть, с птицами, которые окружают его хижину в бамбуковой роще.

2.
В одиночестве, острым пером приготвясь,
Стал писать я вот эту чудесную повесть.

Он берет лист бумаги и перо.

3.
Как-то птицы лесов и садов собрались,
Из пустынь и с морей и прудов собрались,

Отшельник выходит из своей хижины.
К ней со всех сторон слетаются птицы.

4.
Чтоб, играя, на разные петь голоса,

* Перевод Серг. Иванова.

Порезвиться на воле и взмыть в небеса.

Птицы рассаживаются вокруг мудреца.

5.
Но порядка и чина не ведали птицы,
Как рассесться им чинно — не ведали птицы.

Все прибывшие новые птицы сгоняют с
насиженных мест предшествующих.



6.
Это все — от того, что у птиц всех пород
Песнь различна и общий напев не ведет.

Анархия среди птиц достигает предела:
большие превращаются в малых, малые —
в больших, черные — в белых, белые — в
черных, а любое перо из оперения каждой
птицы — это уже новая птица.

7.
И когда до предела взыграли там страсти,
Порешили: нет проку без шаха и власти.

Но, если окинуть единым взором все это
скопище пернатых, то можно разглядеть в
нем одну колоссальную птицу.

8.
Птичье пенье исполнилось скорби и страха,—
Все отчаялись выбрать достойного шаха.

Как стеклянная, «птица птиц» разбивается
на тысячи частей; птицы разлетаются в раз-
ные стороны.

9.
Был Удод удостоен премудрости светом
И увенчан венцом, как корона одетым.

Птичья стая вновь собирается вокруг от-
шельника. Мудрец представляет собравшим-

ся Удода.

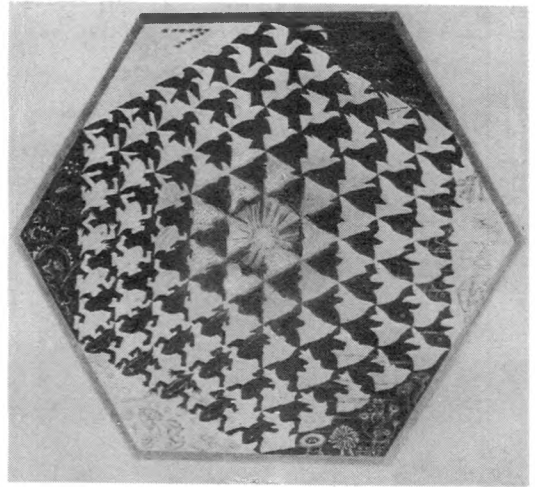
10.
«К-эй, невежды,— сказал он,— безумное
стадо!
Ваше сердце суетам невежества радо.

11.
Шах ведь есть, но не мог его разум ничей
Описать даже сотнею тысяч речей.

Отшельник хочет начертать сокровенный
образ Симурга. На листе бумаги он рисует
тушью чье-то изображение, но...

12.
Пестр он перьями — тысяча пестрых
пушинок,
В каждом перышке — тысяча тысяч
ворсинок.

...это — не реальное перо, а...



13.
Рассказать о нем не было воли судеб:
Кто перо повидал, тот в мгновение слеп.

...магический шестиугольник — тайный
знак Симурга, вспыхивающий ослепительным
светом.

14.
Он пером созиданья начало начал
Сотворению мира чертеж начертал.

Из центра Симургова символа, вписанного
в треугольник и окруженного бесформенным
маревом, в трех направлениях «разлетаются»
три птичьи стаи. Одна из них состоит из
водоплавающих птиц, немедленно бросаю-
щихся в воду, другая — из птиц, «разучив-
шихся» летать и передвигающихся только
по суше, третья — из всех остальных.
Вместе три птичьи стаи олицетворяют три
главных первоэлемента этого мира — воду,

землю и воздух. На границах стаи сливаются друг с другом через серии метаморфоз.

15.

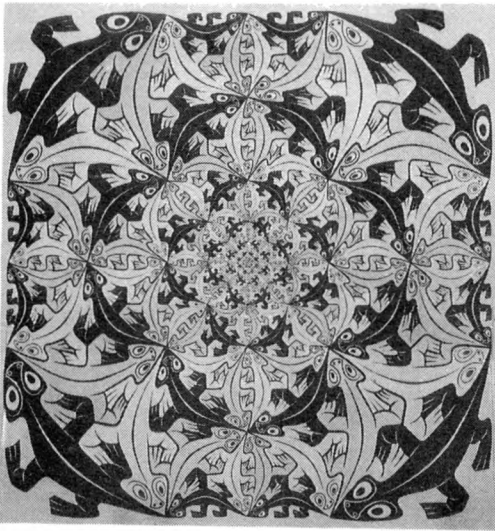
Цветом ночи и дня небосвод он украсил,
Светом солнца и звезд даль высот он украсил.

Из центра неба, который в одно и то же время является и солнцем и луною, разлетаются во всех направлениях, переплетаясь и подчеркивая друг друга, белые и черные птицы контуры со сквозящими через них дневными и ночными небесами.

16.

Он властитель пернатых всего мироздания,
Все он знает про вас — вашу жизнь и деянья.

В пространстве разворачивается серый свиток, на котором постепенно возникают черные и белые треугольники, в свою очередь трансформирующиеся в черных и белых птиц. Обретая третье измерение, они отрываются от края свитка и улетают прочь.



17.

А Симург — его имя, известное всюду,—
Не земле и под ширью небесною,— всюду!»

Сидящие на окраинах мирового пространства и оттеняющие друг друга большие черные и белые птицы становятся все меньше по мере приближения к его центру, который оказывается недостижимым в этом бесконечном уменьшении. Такая картина мира напоминает вид сверху на бездонный колодец.

Отшельник склоняется над колодцем. Его взгляд как бы летит вниз. Но вот мысленный взор отшельника обращается на уже пройденный путь, и выясняется, что позади теперь тоже бесконечная шахта.

18.

«Эй, вожак наш,— промолвили птицы
Удоду,—
Не пристало без шаха жить птичьему
роду.

Мудрец-отшельник отрывает свой зачарованный взор от колодца, над которым он склонился. Его вновь окружают птицы.

19.

Мы на поиски шаха пуститься готовы,
Со слезами восторга все птицы готовы.

Свет, извергаемый печатью Симурга, летит во все концы мира, и в погоню за ним устремляются птицы, превращаясь во все уменьшающиеся точки у пределов мирового пространства.

20.

Иль достигнуть Симурга обители сможем,
Или души и жизни за это положим!»

Ударившись о внешние пределы мира, волна света и птиц возвращается назад — к его середине.

21.

И, годами не зная покоя, летели,
И не мнилось бежать им от гибельной цели.

22.

Словно молния, скор был теперь их полет:
Запад скроется — тут же восток
промелькнет.

Поток летящих по небу белых птиц вдруг превращается в вихрь, зацикленный в форму опрокинутой набок восьмерки. На одном из ее концов белые птицы при повороте оборачиваются черными, а на другом — черные снова становятся белыми. В центре вихря потоки белых и черных птиц пересекаются в шахматном порядке, дополняя друг друга.

23.

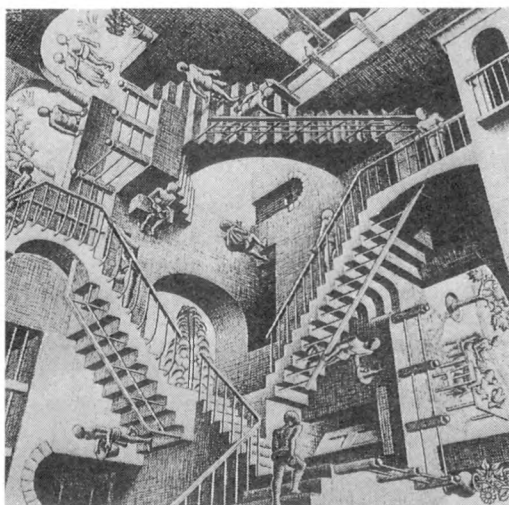
Ночь и день там едины; их видишь воочью,
А не знаешь различий меж светом и ночью.

С двух сторон неба летят навстречу друг другу две стаи птиц — черных и белых. На одном конце неба полностью властвует ночь, и черные птицы сливаются в кромешную тьму, на противоположном — день, а в середине авангарды птичьих стай столкнулись и перемешались, образуя постепенность переходов между днем и ночью.

24.

Здесь иные из птиц смерть в дороге
познали,
А другим суждено было сгинуть в печали.

В полете поток птиц пересекает невидимую грань, и вот уже птицы превращаются в едва различимые серые ромбы на бумажном свитке, который свертывает отшельник.



25.

И от скорби нашли отрешенье иные,
И в смятенье пустились в полет остальные.

Птицы в ужасе мечутся по заколдованному замку, где отвесные стены для одних оказываются пологими для других. Они исчезают, появляются и вновь пропадают уже навеки в невидимых лабиринтах пустого пространства.

Уцелевшие птицы разлетаются в разных направлениях.

26.

Наконец, изнемогая в немощи стая,
Претерпев все мученья, от язв изнывая,

27.

Долетела до цели, но птиц было мало,
И тела им и души огнем опаляло.

Птицы прилетают в страну зеркал, где перед зеркалом, в зеркале и за зеркалом происходит одно и то же. Черно-белые квадраты поля трансформируются в птиц, чьи плоские изображения, отразившись в зеркале, получают третье измерение и выходят из зеркальной поверхности в реальный мир.

28.

Только тридцать там сжали усталые крылья,
В их телах жизни нет и следа от бессилья.

29.

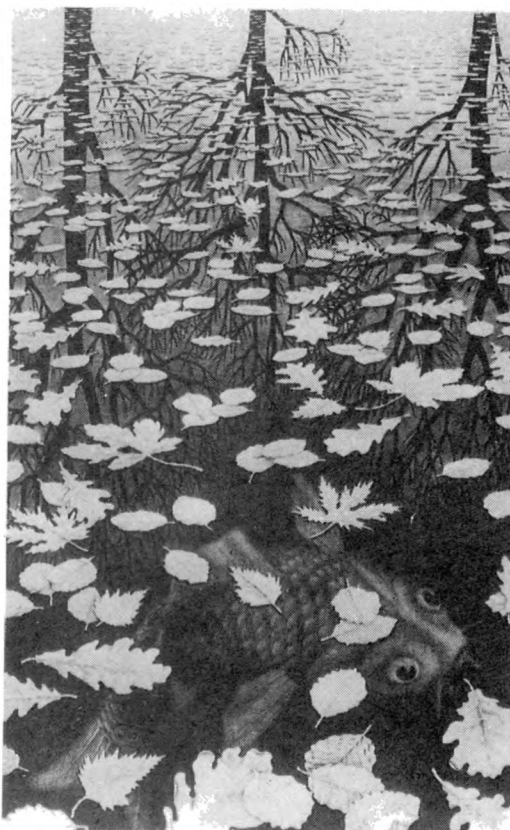
Вдруг завеса расторглась, и славы глашатай
Возблистал среди них птицей счастья
крылатой.

На какое-то мгновение вспыхивает знак Симвурга.

30.

И открылась их взорам вся суть постиженья —
Им явилось в зеркале воды отраженье.

На возвышающейся перед круглым бассейном стене нарисованы летящие в противоположных направлениях и переплетающиеся в полете стаи черных и белых птиц, которые, похоже, так и не замечают друг друга. В какой-то момент они отделяются от стены и, обойдя вокруг бассейна, наконец сталкиваются носом к носу.



31.

И узрели себя — нет пред взором иного!
О Симвурге, это слово — чудесное слово!

Птицы рассаживаются у воды, повторяя конфигурацию символа Симвурга. Небесная твердь сочится звездами. Как капли, они размеренно падают в центр бассейна, и звездные брызги вспыхивают на оперении птиц. На воде, в глади которой отражаются звездное небо и достигшие конца своего путешествия тридцать птиц, бегут круги,

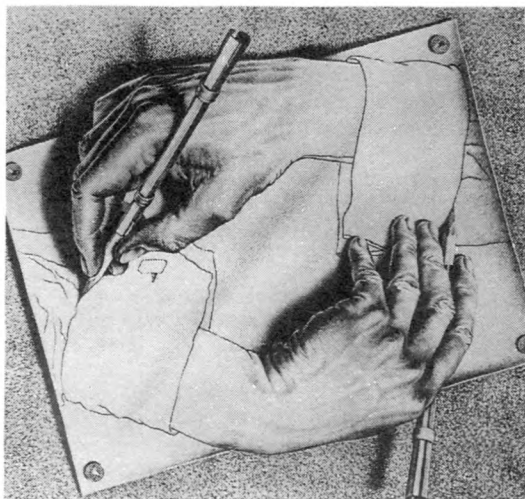
Голос Симурга
(в вышине)

42.

Если ты это все до предела поймешь,
Если тайну вот этого дела поймешь,

Птицы подлетают к удивительной беседке. Ее передние и задние колонны переплелись таким образом, что — одни и те же — они снизу находятся в первом ряду, а сверху стоят уже на втором плане. Около беседки сидит, размышляя над невозможной в действительности геометрической фигурой — кубом, чьи стороны одновременно являются внутренними и внешними, передними и задними, — человек в средневековых одеждах; может быть, тот самый мудрец-отшельник, к кому обращается в этот момент Симург.

Позднее выясняется, что изображенный фантастический бельведер — всего лишь сюжет живописного полотна, которое разглядывает посетитель картинной галереи. И он оказывается все тем же мудрецом-отшельником. Вслед за ним мы переводим взгляд с колонны на колонну и неожиданно обнаруживаем, что дальше архитектура беседки перерастает в окружающие картинную галерею здания, и если бы посетитель музея был способен до конца увидеть все происходящее на разросшемся пространстве картины, то в конце концов он заметил бы на ней самого себя! И только что отдыхавшие на крыше беседки птицы уже опускаются перед картинной галереей, где за стеклом виден пейзаж с беседкой. Центр, из которого разворачивается этот странный мир, — знак Симурга.



43.

Что ты сам есть предел всех желаемых
сутей, —
Вне тебя нет иных созидаемых сутей.

Две абсолютно одинаковые руки, изображенные в той симметрии, в какой «отражаются» фигуры на игральных картах, постепенно вырастают из листа бумаги, получая трехмерное бытие, и рисуют друг друга.

44.

Объяснение сути — вся сущность твоя,
Ты — отгадка загадок и мук бытия!

45.

Ну а эта вот стая, к Симургу стремясь,
На пути постижения в муках влеклась

Тридцать птиц смотрятся в чудесный бассейн. Их отражение, исчезая в черной, «космической» глубине воды, превращается в созвездие, которое есть не что иное, как сияющий знак Симурга.

46.

И себя самое в завершение познала,
И в исканьях своих единенье познала.

47.

Тридцать птиц на Симурга стремились
взглянуть
И в себе увидали симургову суть!

48.

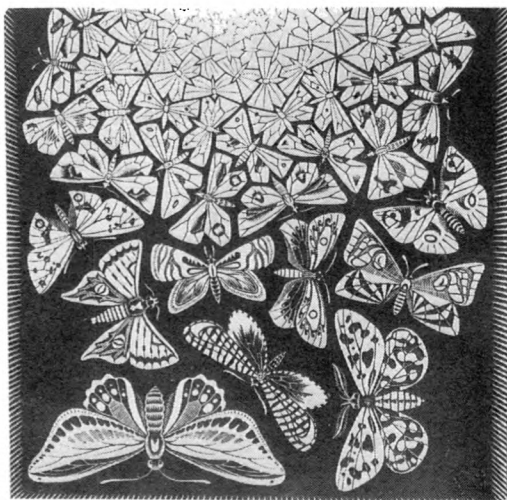
И в тебе эта суть пребывает в основе,
А придет ее время — и цель наготове.

Кажется, что созвездие Симурга нарисовано на картине, но вот отшельник берет ее в руки, и выясняется, что это — только пустая рамка, ограничивавшая кусок звездного неба.

49.

Кто проникся до сущности истиной тою,
Речь его навсегда сражена немотою.

Мудрец отказывается от своего замысла изобразить сокровенный образ Симурга.



Размышления отшельника

50.

А к судьбе мотыльков как присмотришься
глазом,
Сердцу два откровенья внушаются разом.

Свет созвездия Симурга превращается в
пламя светильника, вокруг которого вьются
мотыльки.

51.

Суть вещей человек узнает, лишь когда
Его пепел — и тот пропадет без следа.

52.

Не спалишься — не будет и суть твоя явна,
А сгоришь — не узнаешь о том и по давню.

Отшельник уносит светильник в хижину,
склонившись над ним и прикрыв его пламя
рукой. Мерцающий ореол контражуром
высвечивает его голову. И нет ничего комич-
ного в том, что сопровождающие мудреца
птицы распушили на головах хохолки из
перьев, на свой лад подражая учителю.

1980 г.



СИМУРГ-II

Н. Афанасьеву, который увидел это.

1.

Перо качается павлинье, хвостовое, ужасное, как небо грозное. Вот смотрит неким оком треугольным и вспыхивает светом колокольным.

От суетного мира удалясь (и каждый волосок его — цветок), святой Франциск, почти непостижим, беседует с каким-то попугаем.

Святой прекрасно ладит с этим грифом — в тени скалы почти иероглифом.

И филин, крючконос и кареглаз, взглянул, моргнул и начал свой рассказ.

2.

В начале развернулся серый свиток и стал доской из черных, белых плиток.

Живут многоугольники, ломаясь, хвостатыми хребтами поднимаясь, (костей и мышц я слышу скрип и скрежет), толкаются и друг на друга лезут, их чешуя топорщится, как перья... Теперь я слышу, крылья хлопают... Терпенье...

И вот взлетают, потянули клином — туда, к гиперболическим долинам...

С запада черная стая летит, вырастая. Ей навстречу устремляется белая стая.

Высоко над землей с резким криком, стирая границы между злом и добром, вы встречаетесь, птицы.

При свете солнца и луны голубки и вороны разлетаются в разные стороны. И день и ночь сквозь птичьи контуры видны.

Их увидит слепой и не узрит их зоркий. Над домами, над нами завиваются серой восьмеркой.

И каждый белый, вихрем увлеченный, смотрите, он выныривает черный. А черная при новом вираже выпархивает белая уже.

Так мир увидел Эшер в Нидерландах. Сухощавый, большеносый, с детства в гландах, узнал со всех сторон одновременно.

Карандашами на листе бумаги, иглой на меди он наметил оный, увиденный недобрым птичьим глазом. И все на свете он увидел разом.

Так мир построил Эшер. А прежде — Алишер.

3.

Все тридцать кур сидят, как в пышных

фижмах дуры, разглядывают Эшера гравюры.

И вдруг узрели: с одного рисунка зеленоватый светит знак Симурга. Восьмиугольный странный знак. И мир в нем зашифрован так: намеки, признаки, спирали... Нет, вам признаться мы должны, что ничего мы не узнали.

— Что есть Симург? — спросила птица Рух.

И все вокруг зашевелились птицы. И начало им чудиться и сниться, что есть Симург...

4.

Над пустошами, нищенски простертыми в неведомое, бледными офортами, смарагд Симурга излучает зеленый свет во все пределы, коих нет.

Сочлененья, сочтанья, назовем их организмы, гонятся с восторгом птицы за лучами... Размывает их вдали...

И — из немислимых пределов их гонит встрепанных и белых — назад приносит корабли.

Воронка, от которой все светло, затягивает их в свое жерло...

Космос — темная вода...

Мир под крылом расходится кругами...

Что ни капля, то звезда...

5.

На взмах крыла — вселенная пустая! Из мрака белый купол вырастает.

Слетаются к беседке этой птицы, чтоб в завитки, в лепнину превратиться. И бельведера белые колонны одновременно прямы и наклонны. И — это чувство, ничего нет хуже, чем быть внутри строения и снаружи. И если даже ты построил сам нелепицу, что лжет твоим глазам. Вблизи и в то же время вдалеке. Ты — муха и сидишь на потолке.

И все это — большое полотно чудовищной картинной галереи, которая так велика — скорее все это — город, и не мудрено, что удаляться — значит возвратиться в беседку, где на кровле наши птицы.

6.

Как рыцари доспехами блистая и перьями всех радуг и надежд, «Симург! Симург!» — кричала птичья стая. И была в барабаны всех небес.

Не тридцать птиц, а тридцать мурз носатых в тюрбанах и халатах полосатых, покачивая

важно хохолками, ведут неспешный птичий разговор.

По всей вселенной паруса носило. Но что все это: Жизнь и Свет и Сила? Что есть Симург? — не знает пестрый хор.

О пышном оперенье их расскажем, здесь каждое перо глядит пейзажем. Так! Сложено из тысячи ворсинок, зеленых, черных, серебристых, синих. Так! Всякая ворсинка — это мир, закрученный и в облаках летящий, где опахала — розовые чаши и бродит свой какой-нибудь Сапгир...

И о глазах блестящих — мысли кроткой — глазах лиловых с белою обводкой, глазах, где отразилось всё и вся...

И о носах — дель арте — пародийных. Играя роли башен орудийных, они сидят, тюрбанами трясся...

Так среди звезд, склоняясь над кальяном, они плывут, подернуты туманом. И поражает грусть и бледность лиц.

— Вы, птицы с комедийными носами, узнайте же! Симург — вы сами. «Си — мург» и означает «тридцать птиц».

Сказала взводу это птица Рух. Была чадрой покрыта птица Рух. Горбатая — одна из тех старух...

Вдруг встала остролица, тонкорука. Вся выпрямилась, птица — не старуха.

И горб ее раскрылся, будто веер, в лучах зари широко розовея. (Казалось, серая ворона, но развернулись все знамена...)

Виденье бирюзовых куполов в рассветном небе Самарканда. Дышать отраднo и не надо слов.

7.

Вам, перьями украшенным телегам, да! первыми плясать перед ковчегом.

Соборы встали, храмы, минареты, все радужными перьями одеты.

Из тридцати мирьядов сфер дрожащих возникая, все проникая, музыка такая — живому смерть! — и чудо духам высшим. (И благо нам, что мы ее не слышим.)

«Тридцать витязей прекрасных все из вод выходят ясных».

Тридцать всадников гарцуют. Выставляя руки-ноги, весь президиум танцует танец всех идеологий.

Тридцать кинозвезд роскошных ниагарским водопадом к нам идут, виляя задом.

Тридцать герцогов и пэров — и султаны их из перьев.

Тридцать наступает панков — мускулистых тридцать танков.

Тридцать девушек из пластика — сексуальная гимнастика.

И танцуют тридцать пьяниц дрожжевой и винный танец.

Всем букетом в тридцать лилий пляшут тридцать баскервилей.

Пляшет русское радушие — пух из тридцати подушек!

Тридцать воплей: не надейся!

Тридцать маленьких индейцев.

Тридцать перьев сунул в волосы, на лице — круги и полосы.

Заворочались ракеты, им на месте не сидится, тоже перьями покрыты — и взмывают тоже тридцать.

Тридцать ангелов пернатых, как увидел их Иаков.

Тридцать звуков.

Тридцать знаков.

Тридцать, вы не уходите! Тридцать, нас не покидайте — и все тридцать мук нам дайте — всеми тридцатью лучами быть пронзенным, как мечами!

Этот танец — катастрофа, повторится он для нас тридцать раз по тридцать раз, тридцать раз по тридцать раз в тридцати мирах...

И этот Свет, пронзенный высшим Светом, и есть Симург, что чудится поэтам.

И это Все, которое становится Самим Собою, тем самым есть Симург.

И это Я, которое по сути Все и Ничто, тем самым есть Симург.

8.

Так правая рука рисует левую. А левая рука рисует правую.

Из мрака вылетают птицы белые — и купол оплетает звезды травами.

Из белизны выпархивают черные — и купол населяет травы звездами.

И в радости готовые отчаяться, они встречаются — в воде качаются, и птиц и звезд живые отражения — бегут кругами — вечное кружение...

9.

Под звездами, под солнцем, под оливами, (страшилищами окруженный, дивами), святой Франциск — седой затылок венчиком — беседует с каким-то бойким птенчиком.

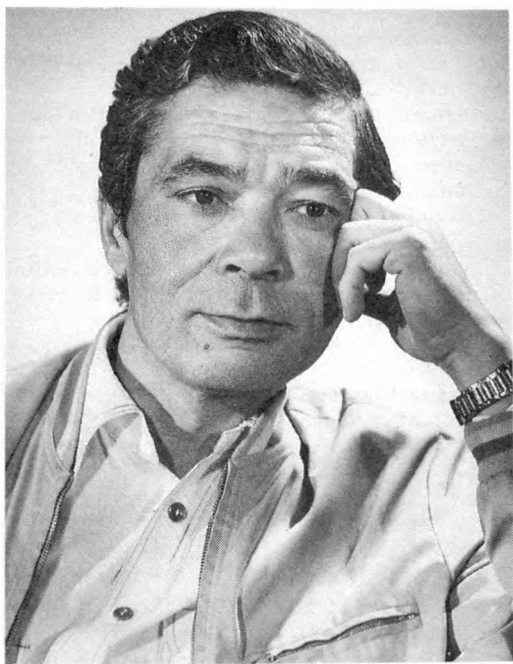
Вот — на ладони встрепанное, жалкое чего-то требует, сварливо каркая.

И снова, улыбаясь, узнает себя в творенье Вечный Небосвод.

1986 г.



Сценарий документального фильма



**Файзулла
ХОДЖАЕВ**

СМЕХ ПОД СОЛНЦЕМ

Рассказывают также, что один простак шел, держа в руке узду своего осла, которого он вел за собою.

Так начинается первая книга «Повести о Ходже Насреддине» Леонида Соловьева. Подобным образом и я, автор, начну наш фильм: раздобуду где-нибудь (возьму напрокат) породистого, белого, как хлопок, осла и, держа в руке уздечку, войду с ним в кадр. Или въеду верхом, покачиваясь в седле, с навьюченными сумками-хурджи-нами.

Вероятно, вызову улыбку одних зрителей, недоумение — других. Могу услышать: «Старый осел молодого везет!» И столь же дружеский, в духе времени, совет обойтись безо всяких там ослов, даже породистых. Совет кинематографического начальства, у которого, как я убедился за годы работы в кино, при виде ослов на экране почему-то появлялось на лице уксусное выражение...

Постараюсь отстоять моего длинноухого партнера по съемкам. Не только потому, что он, говоря словами Соловьева, «самый умный, самый благородный, самый драгоценный в мире ишак, равных которому еще не было и не будет».

Я, обращаясь к зрителям, скажу такие примерно слова:

— Полагаю, вы отулыбались, отудивлялись, увидев автора фильма не в привычной «солидной» автомашине, а в компании с этим «добрым и умным существом». Дело в том, что мой новый товарищ поможет понять, о чем наш фильм. О том,

что рассказ пойдет о художественном образе Ходжи Насреддина и его создателе, русском советском писателе Леониде Васильевиче Соловьеве. Писателе, не читанном нынешней молодежью, почти забытом поколением моих лет. Незаслуженно забытом писателе с мировым именем, ибо Насреддин Соловьева приравнивается голландцами к образу Тиля Уленшпигеля, испанцами — Дон Кихота, французами — Фигаро, чехами — бравого солдата Швейка...

Ходжа Насреддин нам улыбается. С фото-снимка-кинокадра художественного фильма «Насреддин в Бухаре». Исполнитель роли Насреддина актер Л. Свердлин — «с черной бородкой на меднозагорелом лице и лукавыми искрами в ясных глазах».

Снимок держу я, показываю и говорю: — Мудрец и весельчак Ходжа-афанди представим без него (*кивок на осла*), верного спутника в бесчисленных странствиях. И он неотделим от своего хозяина, помогая ему улизнуть от врагов, обрести друзей, превозмочь невзгоды странствий... Ездил на ослах и писатель Соловьев, изъездил всю Среднюю Азию и исходил ее, будучи газетным корреспондентом...

Леонид Васильевич Соловьев смотрит на нас со снимка с приветливой улыбкой на немолодом лице. Распахнутый ворот рубашки, кошка на руках...

Голос Автора:

— Говорю о нем и показываю не без опасения. Он ведь не узбек, Леонид Васильевич, а у нас сейчас с этим более чем странные вещи творятся. С узбеками,

неэстонцами, немолдаванами, словом, некоренным населением республик. Надеюсь, догадываетесь, о чем я, и согласитесь, что это не только неумно — относиться к людям, исходя из национального признака, выясняя расовую чистоту. Это опасный социальный симптом, свидетельство нравственного одичания, когда со дна души поднимается все самое темное, злое, злобное. Стоило мне недавно сказать об этом вслух, печатно, как такой вот «подарок» я получил, вынул из своего почтового ящика...

Рекламный лист погребального кооператива «Ритуал» в Ташкенте. Крупно, зазывно набранный текст, просьба ни о чем не беспокоиться, ибо «Ритуал» «возьмет на себя доставку гроба на дом, одевание и обмывание покойника, бальзамирование и косметику, предоставление венков из живых цветов, оркестра, фотографирование обряда захоронения...»

Американский «форд» красуется на листе. Тот, что доставит покойного и его близких на кладбище...

Разглядывая его, Автор усмехается:

— Трогательную заботу проявили обо мне поборники расовой чистоты, и я заколебался, думая: а надо ли их осуждать? Не знаю, что теперь и сказать... (*Глядя на осла.*) Интересно, что думает о них он, чем мог бы ответить моим землякам?

Осел поводит ушами.

Автор:

— Я понял, спасибо, дружище. (*Зрителям.*) Он вспомнил узбекскую пословицу: «Если бросать палкой в каждую встреченную на пути собаку, никогда не дойти до цели». Что ж, отправимся в путь и мы. В историю жизни Леонида Соловьева...

Боков осла Автор касается стремянами. В глубину кадра удаляются они, а оттуда приближается название фильма:

СМЕХ ПОД СОЛНЦЕМ

Тоскливое завывание ветра. Кинохроника 1920-х годов: голод в Поволжье.

...Опухшие лица крестьян. Плетущиеся по пыльным проселкам обозы из брошенных деревень. Один тянет ветхий верблюд, в другой запряжена вконец отошавшая, с торчащими костями кляча... Под палящим солнцем, по занесенным черной пылью лоскутам полей бредет обезумевшая женщина. Немытые, обросшие, со вздутыми животами дети собирают редкие колоски, суют в пересохшие рты, жуют... Окружают валяющийся в поле труп лошади... Горящими глазами смотрят на миски с какой-то бурдой — бесплатные обеды, которыми кормят голодающих на улицах Самары...

Голос Автора:

— «В тысяча девятьсот двадцать первом году на наших полях выросло только одно

растение — голод». Так писали в коллективном письме в Москву поволжские крестьяне. Семья Соловьевых не была крестьянской, жила в Бугуруслане, отец и мать трудились на ниве просвещения, учителями. Но и они ощутили дыхание надвигающейся беды. Еще в 1920-м...

Старинная фотография Василия Андреевича и Анны Алексеевны Соловьевых. Молодых, после венчания в церкви...

Сменяя их, появляется фото Соловьевых-детей: сестер Зины, Кати и самого маленького, Лени.

— Ему здесь пять лет, снимались в одиннадцатом году, в двадцатом было не до съемок. И ему запомнилось, помнилось всю жизнь, как за одно лето двадцатого голодная смерть выжрала почти всех соседских мальчиков и девочек, выкашивала взрослых, друзей отца и матери. В страхе за жизни своих детей списался Василий Андреевич с Управлением Среднеазиатской железной дороги, получил назначение в узбекский город Коканд заведующим железнодорожной школой...

Кинохроника: поезд с беженцами Поволжья трогается со станции Самара, держит путь в Туркестан. Снятые из окна вагона, проплывают обезлюдевшие деревни: замершие крылья ветряной мельницы, избы без крыш — солома съедена хозяевами, крест-накрест заколоченные окна, двери...

Словно бы прощаясь с родными местами, под нарастающий перестук вагонных колес глядят с фотоснимков отец и мать Соловьевы, Зина, Катя, Леня...

И сразу, встык, цветные кинокадры, снятые осенью 1989-го.

...Берегом Большого Ферганского канала едет на осла Автор.

Мелькает в позолоченной листве белоствольных тополей по обе стороны канала, за склоненными над коричневой водой ивами-талом, попадает в прорветы между зарослями прибрежного кустарника, и глазу открываются подступающие к каналу хлопковые поля... Свистят стрижи в бездонном синем небе, плывет певучее воркованье невидимой горлинки...

Покрывая их, бойко цокают копыта осла по обочине асфальтовой дороги. Из их ритмичного стука рождается мелодия веселой песенки из художественного фильма «Нарседдин в Бухаре»...

Автор:

— В душевном волнении въезжаю я в некогда благословенную Ферганскую долину. Летом восемьдесят девятого здесь пылали пожары, громили дома турок-месхетинцев, оборвались жизни многих, и память об этом окрасит в красный, трагический цвет все, о чем бы я ни говорил, что ни показывал... Как же быть, рассказать о том,

что увидела, почувствовала семья Соловьевых, переехав из голодающего Половья в хлебный город Коканд?

Окраина нынешнего Коканда. Большой воскресный базар. Полгода минуло после кровавых летних событий, и ничто не напоминает о них потому, что снизились наконец республиканские и областные власти до забот жителей долины, позволили им без оглядки на указы сверху трудиться на своей земле, заняться унаследованным от дедов ремеслом. И отозвалось это всем тем, что можно увидеть на кокандском базаре.

Не берусь описать своими словами, призываю на помощь Леонида Соловьева, страницы романа «Возмутитель спокойствия»:

«...На площадь бесконечными потоками прибывали новые сотни людей, раскладывали товары и присоединяли свои голоса к общему реву. Гончары выбивали палочками звонкую дробь на своих горшках и хватали прохожих за полы халатов, уговаривая послушать и, пленившись чистотой звона, купить; в чеканном ряду нестерпимо для глаз сияла медь, воздух стонал от говора маленьких молоточков, которыми мастера выбивали узоры на подносах и кувшинах, расхваливая громкими голосами свое искусство... Булькали огромные котлы, накрытые деревянными пляшущими кругами, сытный пар сгущался под потолком, где с гудением вились рои бесчисленных мух. В сизом чаду яростно шипело, брызгалось масло, светились стенки накалиженных жаровен, и жир, капая с вертелов на угли, горел синим душным огнем. Здесь готовили плов, жарили шашлык, варили требуху, пекли пирожки, начиненные луком, перцем, мясом с курдючным салом, которое, растопившись в печи, проступало насквозь через тесто и кипело мелкими пузырьками...»

Не могу продолжать: у самого взграл аппетит, захотелось, по примеру Ходжи Насреддина, «съесть без передышки три миски лапши, три миски плова и еще напоследок два десятка пирожков».

Пусть такой же аппетит появится у оператора нашего фильма и звукорежиссера, и они, подобно Соловьеву, с раблезианской мощью снимут горы винограда, инжира, персиков, дынь, арбузов со сверкающими на тугих боках капельками утреннего солнца.

Плоские плетеные корзины, на которых возвышаются лепешки большие, малые, выпеченные в тандырах, жареные, слоеные...

Наполненный мычаньем, бляньем, ржаньем двор, куда вывели на продажу коров, баранов, лошадей...

Пробившись сквозь людское море, втекающее в базарные ворота, продолжим знакомство с новым местом жительства Соловьевых, попадем в центр города.

Подивимся дворцу Худояр-хана, высоченным, подпирающим небо глинобитным стенам, нанесенным на них орнаментам из голубой плитки и узорчатой арабской вязи, строчкам стихов-рубай...

Приникнем к таинству рождения красоты, орнаментов и узоров, присмотримся, как бесформенные глыбы распиленного ствола дерева превращаются под властными и нежными руками мастеров в изящные резные столики во дворе мастерской знаменитого резчика по дереву Кадырджана Хайдарова, где ныне, после его смерти, трудятся внук Хасанджан и его помощники...

Сосредоточенную тишину сменят музыка, песня. Кокандский фольклорный ансамбль, выступающий на застеленной коврами площадке между зданиями музыкально-драматического театра и музея имени Хамзы. На фоне подсвеченных цветными фонарями смуглых улыбчивых лиц, женских фигур в ханатских платьях и мужчин в тубетейках, расположившихся на площадке кругом...

Внимательно, как бы впитывая впечатления, на них смотрит со старой фотографии Леонид Соловьев. Ему — около двадцати. На него наезжает кинокамера, а голос Автора произносит:

— Он был благодарен своей второй родине, давшей ему хлеб и кров, но не чувствовал себя залетным гостем, заезжим туристом...

Серия черно-белых снимков 20-х годов: лохмотья пожилого узбека, продавца медных кувшинов, привязанных у него за спиной.

Кокандская крестьянка, склонившаяся над хлопковой грядкой с пригоршней семян на ладонях. Черны от солнца, припушены пылью иссушенное лицо, руки-плети.

Узбекский мальчонка примостился на закорках старого деда, который тускло, без надежды на лучшее, смотрит в пространство.

Никакой надежды на рано постаревшем лице узбечки-ковровщицы, притулившейся в тесной каморке у станка.

Отчаявшись, лицом вниз, распластался на голой земле обессиленный работой батрак у горки нечищенного хлопка...

— Это снял другой приезжий кокандец, Макс Пенсон, занесенный сюда нуждой из белорусского местечка Велиж. Они с Соловьевым вряд ли были знакомы, но то, что снимал городской фотограф, мог видеть и Леня, столь же любознательный, общительный, дотошный...

Снимок Пенсона сдвигается вправо, слева на экране встает фото Соловьева.



Писатель Леонид Васильевич Соловьев

— Родившись в Ливане, где служили в молодости родители, с малолетства впитал он интерес к Востоку. Здесь, в Коканде, после уроков в школе, день-деньской проводит в старой части города, где обитал трудовой люд. Бывает в его новой, европейской части, где селились купцы, промышленники и где вечерами, забавляя их, играл здешний струнный оркестр «неаполитанской музыки»... Повсюду заводил Леня узбекских, киргизских, таджикских друзей, постигал их языки. И открылся ему еще один Коканд. Тот, в котором революция делала первые шаги...

Под сладкие звуки мелодии «Вернись в Сорренто», исполняемой на мандолинах, проходит новая серия снятых Пенсоном снимков.

...Испуганно закрывая лицо полой брошенной на голову жакета, пробирается между заборами-дувалами узбечка. Вышла на улицу из ичкари, женской половины своего дома, в школу торопится, ликбез, а за это наказывают.

Другая узбечка, молоденькая ученица ликбеза, с перерезанным горлом.

Ее убийца восточной наружности в дорогом халате. С насмешливым видом сидит возле стерегущих его двух милиционероузбеков в полувоенных шлемах.

Свирепый взгляд устремил на них мужчина, держащий в руке пиалу с чаем.

Но не остановить тяги женщин и девушек к свету, знаниям. В черных сетках чачва-

нов, пряча лица, идут в ликбез две женщины.

В чачванах сидят за партой. Лишь пальцы видны, сжимающие перья.

Всем смертям назло, бесстрашно откинув чачван, смотрит молодая красавица-узбечка...

— В шестнадцать лет, подделав метрику, прибавив себе годы, записался Соловьев в Красную Армию, защищал первых ласточек свободы, права дехкан. Писал статьи в «Туркестанскую правду», бичевал социальные язвы подобно своему земляку-кокандцу, первому узбекскому драматургу и режиссеру Хамзе Хаким-заде...

Фото Хамзы в брошенном на плечи халате.

— Литературная Мекка республики, Коканд дал миру когорту поэтов и прозаиков. Писателем решил стать и Леня Соловьев. Так увлекся своей мечтой, что, запустив занятия в механическом техникуме, остался на второй год и предстал пред грозные очи отца, директора школы...

Глядят со снимков Василий Андреевич Соловьев, мать Анна Алексеевна, сестры Екагерина и Зинаида. Будто на семейном совете обсуждают «непутевого» сына и брата, и сурово, голосом рассерженного Василия Андреевича, звучит закадровый текст:

— У немцев есть хороший обычай: когда парень достигает твоего возраста и в голове у него возникают разные фантазии, отец отправляет его на год из дому на все четыре стороны. Чтобы парень этот познал жизнь и попробовал сам себя прокормить...

Крупным планом — фото Леонида: упрямо сжатые губы, решительный взгляд... Оно удаляется, уходит в затемнение...

Так Соловьев «ушел в люди». Жил некоторое время в таджикском городе Канибадаме, познакомился там с Камилем Ярматовым, будущим кинорежиссером, а тогда начальником районной милиции, грозой окрестных басмачей. С его помощью стал заведовать клубом. Был бухгалтером галантерейной лавки, рисовал вывески для чайхан. Учил школьников русскому языку и литературе. Служил наблюдателем (была такая должность) на метеостанции в кишлаке Махол-Тау, при впадении Сыр-Дарьи в Кайраккумское водохранилище.

Нэп на дворе, середина 20-х годов, и выстаивал Леня в очередях безработных у бирж труда, и очень радовался хоть какой-нибудь работенке вроде заготовки дров или рытья ямы под туалет...

Как показать все это, дать представление, что пережил молодой Соловьев, испытывая себя на прочность, на верность будущей профессии писателя?

Даже в зрелые годы, в зените писательской славы, рожденной «Возмутителем спокойствия», его не снимали в кино, и нет в Центральном Госархиве кинофото документов ни одного киносюжета о Соловьеве. И сам он, по скромности, не лез в объективы фоторепортеров — лишь любительские снимки хранятся в фондах Центрального архива литературы и искусства в Москве, Литературного музея в Ленинграде, Краеведческого музея Коканда.

Прибегнем же к услугам моего осла, покажем, как Автор подъезжает на нем на нынешнюю «биржу труда» на кокандском базаре, завязывает знакомство с пестрой чередой лиц, юных, средних лет, разноплеменной, разноязыкой, одинаково жаждущей найти «хозяина», который щедро платит за труд...

Простимся с ослом на окраине города, у полуразрушенной крепостной стены. Проследуем берегом Сыр-Дарьи на метеостанцию Махол-Тау.

Снимем Канибадам, утонувший среди садов и виноградников, пасущиеся на склонах гор овечьи отары.

Попадем к подножью минарета Калян в Бухаре и описанному в «Возмутителе спокойствия» Яли-хаузу...

Сопроводит эти кадры текст Л. Соловьева из «Книги юности», прочитанный Автором:

— «Я нисколько не жалею, что моя юность протекала трудно и порой в полуголоде: гонимый необходимостью изыскивать средства к существованию, я побывал во многих местах, встречал много людей, набирался жизненного опыта, закалялся против всяческих невзгод и таким образом избежал постыдных лет великовозрастного балбесничества...»

Сказав это, Автор добавит:

— Понимаю, какой бурный протест мысли нашего героя могут вызвать у той части современной молодежи, которая воспринимает слово «труд» как грязное ругательство, сиденье на родительской шее — как норму жизни, зачисление в институт не мыслит без протекций, взяток... Тем дороже мне Соловьев, всего добывавшийся своим горбом. С мозолями на руках вернувшийся из скитаний домой, с уважением встреченный отцом, обласканный матерью. Недолго отдохнувший, взваливший ношу разъездного корреспондента газеты «Правда Востока» по Средней Азии, будучи им десять лет...

Кинохроника начала 30-х годов. Москва. Площадь Свердлова, Большой театр и театр Малый. Перезвон трамваев, запрудившие площадь пешеходы, конные повозки...

Двухэтажные автобусы на улице Горького,

такие непривычные, как в Лондоне, — и привычные для нас очереди у магазинов...

Переполненная людьми площадь Белорусского вокзала. Москва встречает А. М. Горького.

Вагон с открытым окном. В нем — Алексей Максимович. Машет рукой, улыбается в густые усы.

Замирает изображение, и Горький — на фотоснимке. В вагонном окне, с поднятой рукой.

Л. Соловьев смотрит на него с фотоснимка. Стоит в группе сокурсников, студентов сценарно-литературного факультета ВГИКа (был принят весной 30-го, закончил в июле 32-го)...

Голос Автора:

— Не думал, не гадал Леонид, что время спустя Алексей Максимович позовет его на беседу в числе других молодых писателей...

Серия снимков Горького: за письменным столом, внимательно смотрит, подперев щеку рукой. О чем-то горячо говорит...

— «Автор умеет глубоко проникать в быт и психологию тех людей, которых «государственный гений Романовых» вычеркивал из жизни... умеет встать рядом с узбеком и киргизом, как равный с равным...»

Недоверчивой улыбкой отвечает Соловьев со снимка. Рядом с другом и сокурсником, поэтом Александром Коваленковым.

— Он не верил своим ушам, тому, что сборник его рассказов «Кочевье», повесть «Поход победителя» очень пришлись Горькому по душе...

Горький с блокнотом в руке, в плетёном кресле. Стоит у дверной притолоки кабинета. В черном плаще и шляпе, во дворе дачи в Горках, провожающий Соловьева...

— Нетрудно представить, с каким вниманием слушал Леонид его доклад на Первом съезде советских писателей, где Горький сказал: «Повторяю: начало искусства слова — в фольклоре, учитесь на нем, обрабатывайте его. Фольклор — основа социального оптимизма...»

Призыв мастера был услышан многими молодыми. Услышали в Узбекистане Хамид Алимджан, Гафур Гулям, Айбек... Увидим их на фотоснимках, сведенных в единый кадр.

Увидим фото Соловьева за работой, потирающего лоб. Скажем, что, живя в Узбекистане, горячо интересовался он восточным фольклором, собирал, записывал легенды, сказки, анекдоты, переводил с узбекского и сочинял сам. По Фергане скучал, поселившись в Москве, и отлились его чувства в слова, к которым стоит прислушаться нашему оператору, чтобы воплотить их на экране:

«Есть на земле Фергана, навек покинутая нами и навек незабвенная,— голубой сон души; это ее память, ее след оттиснулись на сердце — ее раскаленное солнце, ее города с многшумными пестроцветными базарами, ее селения, утонувшие в зеленых садах, ее горы с вознесенными за облака снеговыми вершинами и мутноледяными потоками, ее поля, озера и пески, хрустальные рассветы и багрово-красные, во всю небесную ширь, закаты над горами, ее осиянные ночи, задымленные чайханы, ее дороги, каждая из которых казалась когда-то дорогой в страну чудес...»

Томящая душу ностальгическая узбекская мелодия зазвучит с экрана, и после долгой паузы вновь заговорит Автор:

— Мысль Горького о фольклоре не давала Соловьеву покоя. «Стучал движок его сердца», бежала по жилам «горячая кровь воображения», вызывая в душе образы незабвенной Ферганы...

Медленно, боясь нарушить уединение, наезжает на Соловьева кинокамера. За кадром остается рука его, потирающая лоб. Видны глаза.

Столь же медленно справа от снимка Соловьева, над головой, возникает снимок старика-узбека. Это мастер резьбы по дереву с добрым, интеллигентным лицом и лукавым взглядом поверх сидящих на носу очков.

Смеясь во весь рот, показывая редкие зубы, предстает на снимке слева старик-аскиябоз, остролов.

С улыбкой смотрит юная узбечка со множеством черных косичек, рассыпавшихся по спине. Она справа в кадре, внизу. А слева и тоже внизу — мальчонка с пушистой хлопковой корбочкой за ухом.

Распрямив плечи, подбоченившись, глядят три дюжих джигита, три богатыря.

Им улыбается пастух, едущий на осле с дутаром в руках, ударяющий пальцем по струнам.

Одна фотография за другой теснятся вокруг Соловьева, образуют круг, и в такт этому неспешному движению, негромко, задумчиво звучат читаемые Автором воспоминания Соловьева:

— «Я долго носил в себе смутное, неясное томление; кидался в разные стороны, но темы найти не мог... Наконец тема нашлась. Я читал однажды сборники анекдотов о Ходже Насреддине. Какая широта открылась передо мной! Все, что я помнил о Средней Азии, все, что любил в ней,— все легко вливалось в мою тему: и быт, и фольклор, и природа... Воспоминания о веселом и благородном народе, с которым я за десять лет породнился...»

Выступают на площади в Коканде узбекские канатоходцы.

По туго натянутому канату, над морем

голов зрителей идут ловкие и смелые люди с шестью в руках. Мускулистый парень в мягких ичигах, девочка в шальварах.

Запрокинув голову, глядит на них унчи, скоморох и балагур. По-своему, с юмором оценивает искусство канатоходцев, заговаривает о жизни, высмеивает недостатки.

Раскатами смеха отзывается публика, направляет его, вступает в словесное состязание...

Голос Автора:

— Об унчи, бродячем артисте, Соловьев напечатал один из своих первых очерков «Смех под солнцем». К нему, унчи, мысленно возвращается теперь, обнаруживает сходство с Ходжей Насреддином. В том, что оба смело судят о жизни, клеймят зло, славят добро... Образ унчи наводит Соловьева на мысль о романе, посвященном Насреддину... На чем же его выстроить, из чего вылепить сюжет?

Пятничная молитва в кокандской мечети Джами. Голос муэдзина, усиленный динамиком. Потоки мужчин разного возраста, вливающиеся во двор мечети, тщательно подметенный, политый, благоухающий цветниками... Склоненные спины, головы в чалмах, тубетейках. Тишина, нарушаемая восклицанием «Аллаху акбар!» («Велик Аллах!»)...

— Не раз в истории Насреддина пытались изобразить то благостным святошей, то «мелким человеком, заботящимся больше всего о собственном благополучии». Стремилась выхолостить его непримиримость к сильному мира сего, «превратить национального героя в простого мошенника и жалкого шута». Соловьев решил с этим поспорить, с теми прочитанными и услышанными анекдотами, что выставляли героя неким безобидным старцем или мелкотравчатым авантюристом. «Я задумал полемическую книгу, стремился сделать ее полемической с первых же строк. Я сделал Ходжу Насреддина молодым, мой роман начинается фразой: «35-й год своей жизни Ходжа Насреддин встретил в пути...»

Он появляется перед нами в эпизоде фильма «Насреддин в Бухаре».

Стоя в чайхане, где расположился простой люд, Насреддин обращается с просьбой, призывая помочь бедному горшечнику Ниязу и его красавице-дочке Гульджан выплатить их долг, посрамить ростовщика Джафара, сладострастного паука, тянущего девушку в свои сети...

Авторы:

— Как и многие зрители, я в который раз с наслаждением смотрю фильм и не могу разгадать тайну его власти над нами. Попробую еще раз, попробуем вместе!

По экрану звукомонтажного стола бегут кинокадры, продолжение эпизода.

...Бубен-дойру берет Насреддин и, отбивая звонкую дробь, перекидывая инструмент из правой руки в левую, поднимая над головой, перемежает игру своими репликами. И, подражая восточным танцовщицам, играя бровями, поводя головой, озорничая, пританцовывает...

Отовсюду спешат к нему люди, отдают не деньги — где их взять беднякам? — вещи свои несут. Кто что может: тюбетейку, поношенный халат, поясной платок...

Поглядывая на светящийся экран монтажного стола, Автор размышляет:

— Насреддина играет выдающийся советский актер Лев Наумович Свердлин, «наш» человек, из Ташкента. На самом деле наш: вырос в Ташкенте, закончил школу, бывал на базарах, в чайханах, мечетях, доподлинно знал быт, обычаи узбеков, понимал язык, усвоил пластику. Ставил фильм Яков Александрович Протазанов, классик советского кино, это его сто четвертая по счету картина. Добрым словом можно помянуть оператора Даниила Демущкого, художника Варшаму Еремяна и, конечно, соавтора Соловьева, киносценариста Виктора Витковича. И заслуга их не только в профессиональном мастерстве, которое помогло воплотить в образе Насреддина лучшие черты народа. Они сумели выразить суть слов восточного поэта Саади: «Чтобы увидеть красоту Лейли, надо посмотреть на нее глазами Меджнуна»... Все это так, но как же все-таки смогли они, узбеки, воплотить характер истинно национальный? Да, им помогал второй режиссер фильма Наби Ганиев, позднее самостоятельно снявший картину «Похождения Насреддина». Но почему его образ родился первоначально под пером русского писателя? Отчего, появившись в сороковом году, роман «Возмутитель спокойствия» живет по сию пору, как и созданный по нему фильм?.. Послушаем, что скажет писатель Евгений Соломонович Калмановский, отдавший творчеству Соловьева годы жизни...

Синхрон Е. С. Калмановского:

— Знаете, чем дорог мне Леонид Васильевич? Он поразительно современен. Приведу одну лишь мысль, высказанную им в «Повести о Насреддине»: «Свобода от голода и страха — вот что нужно человеку, чтобы извергнуть из своей крови низменную рабью каплю». Как это необходимо нашему современнику!.. Главная книга Соловьева «Насреддин» жива и, наверное, будет жить еще очень долго. Не только потому, что это складно рассказанная история. Это книга, стоящая на исключительно широких и мудрых основаниях, что особенно ценно сегодня, когда мы порой теряем ощущение основы жизни, пу-

таемся, сбиваемся, кидаемся то в одну, то в другую сторону. А Ходжа Насреддин — герой истинно народный, народный интеллигент, смелый, благородный, деятельный. Это такое редкое сочетание в чисто человеческом плане и такая подкупающая своей чистотой деятельность, что можно только позавидовать!

И снова Ходжа Насреддин — в финальном эпизоде фильма «Похождения Насреддина». Прошарается с жителями горного кишлака, спасенными им от злого хозяина Агабека...

Насреддин на фотографиях. В дороге, на осле и возле бухарского Ляби-хауза, среди бедняков и в дворцовых покоях... В кадр-коллаже сходятся они, выражая разные грани души героя.

Голос Автора:

— Нет, не назовешь его создателя Соловьева чисто русским писателем. Он явил собой качественно новый тип писателя-интернационалиста. Умом и сердцем, жизнью своей приник к узбекской земле. Живописал душу народа, а не национальный «сарфан». Преломил восточный фольклор через европейское романное мышление, соединил Восток и Запад. Помнил, что главными достоинствами русской литературы были совестливость, высокий болевой порог, любовь к «униженным и оскорбленным». С помощью русского языка выразил замысел в форме, доступной любому народу: на тридцать три языка мира перевели «Повесть о Насреддине»!

Фотопортрет Соловьева начала 40-х годов, предвоенный.

Автор ставит его на звукомонтажный стол, закрывает им потухший экран:

— Совсем бесполезными кажутся мне наши раздумья в наши перестроечные времена. Нередко думается, что уходит у многих почва из-под ног, не на что и не на кого опереться, оглянуться. Потому что, по убеждению многих пишущих и читающих, нет в нашем прошлом ничего, кроме сталинщины, все и вся заслуживает осуждения, разоблачения... Именно поэтому дорог мне Соловьев. Тем, что оставался Человеком в нечеловеческих условиях сталинщины!

Оглушительный взрыв снаряда, столб воды взлетает в небо... Второй, третий взрывы...

У орудия сгрудились немецкие артиллеристы, стреляют по советскому торпедному катеру. Поймали его в прицел, и обломки катера разлетелись в стороны...

Из амбразур дотов немцы поливают свинцом наших моряков и пехоту, штурмующих Сапун-гору под Севастополем.

Бои в самом городе. Не осталось ни метра необстрелянной земли, руины повсюду, тела павших защитников, трупы гитлеровских захватчиков. Но не смолкают стрельба, взрывы.

В атаку поднимаются матросы в изодранных тельняшках, перепоасанные пулеметными лентами...

— Соловьев ушел на войну добровольцем. Попал в Севастополь. Направили в газету «Красный флот». В разгромленную типографию на улице Нахимова приносил корреспонденции с переднего края. Награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями «За отвагу», «За оборону Севастополя»... Неведомо как и когда написал в годы войны роман «Иван Никулин — русский матрос», киносценарий «Я — черноморец»...

И опять крошечный ад, оглушающая и ослепляющая мешанина из трассирующих пуль, объятых пламенем танков, уткнувшихся стволами в землю орудий...

— Что же повело его сюда? Почему отказался от «брони», которую давали деятелям литературы и искусства? Не уехал в глубокий тыл, Ташкент, куда эвакуировали работников центральных студий и где они воевали с врагом силой своего искусства?

Сюжеты киножурнала «Орденосный Узбекистан» 1941—42 годов.

В тесном, заставленном коробками с пленкой помещении Ташкентской киностудии — режиссеры Сергей Герасимов и Михаил Калатозов. Монтируют фильм о блокаде Ленинграда.

На улице Руставели, тоже в Ташкенте, снимается художественная картина «Два бойца». На крышу многоэтажного дома карабкается артист Борис Андреев с автоматом за спиной. Следом, по пожарной лестнице — Марк Бернес... Тушат упавшую на крышу «зажигалку».

Готовясь к съемке в фильме «Его зовут Сухэ-Батор», посвященном национальному герою Монголии, гримируется у зеркала Лев Свердлин...

— Нашлась бы здесь работа и сценаристу Леониду Соловьеву. Ему, москвичу, не раз предлагали это и слышали в ответ популярные тогда иронические стишата:

Я надел военный пояс,
Приготовил документ.
Мчи меня, братишка-поезд,
Прямо в пекло, на Ташкент...

— Чего же он иронизировал, рвался туда, где и убить могли? Почему лишь на неделю приехал из Севастополя в Ташкент, где снимали «Насредина в Бухаре»?.. Он не оставил записей, и я ищу ответы в судьбе и личности его товарища, сценариста Эргаша Хамраева...

Снимок улыбчивого, щеголеватого, в галстук и тюрбетейке Э. Хамраева. Фотографировался в Ленинграде, будучи слушателем Высших кинокурсов.

— Мы росли с ним в одном квартале, одной махалле Ташкента — только он был намного старше меня, тридцать два испол-

нилось в канун войны...

Фото Хамраева в роли героя художественного фильма «Джигит»...

— Был он первый узбекский кинодраматург и киноактер, получил высшее специальное образование, два диплома и мог бы, оставаясь в Ташкенте, писать о войне и сниматься. Не участвовать в ней непосредственно...

Боевой киносборник «Узбекский киноконцерт», снятый по сценарию Хамраева: обняв за плечи старушку-мать и молоденькую сестру, идет герой (он сам, Хамраев-актер) с узелком в руке. В военкомат направляется по колхозному поселку.

Его увидели односельчане. Оставив кетмени, поспешили к нему с хлопковых грядок...

— Это кадры его последнего в жизни фильма. На фронт стремится герой. Того же добивался Хамраев. Ушел двадцать шестого июля сорок первого года, закончив съемки. Был убежден, что если воспевает война, то и он, автор и артист, должен встать в строй с оружием в руках. Свято, как и Соловьев, верил в неразделимость слова и дела...

Стук метронома. Слышен на фоне снимка Хамраева и его жены, украинки Анастасии Тарасич. Камера медленно укрупняет их...

— В ночь перед отъездом он оставил жене записку. «Призыв далекого-близкого фронта разбудил меня. Я тихо поцеловал спящих детей и укрыл тебя одеялом... Сегодня я уеду от вас. Тоска берет! Но вдумываюсь потом, на чем сейчас стоит мир, и стыдно мне, и совестно будет, если останусь дома...»

Зазвенели струны гитары, и мужской голос запел «Большую апрельскую балладу» Михаила Анчарова. Песню поколения Хамраевых, Соловьевых...

Мы цвели на растоптанных площадях.
Пили ржавую воду из кранов.
Что имели — дарили, себя не щадя.
Мы не поздно пришли и не рано...

Кинохроника: фонтан земли, перемешанной со снегом, вздымает взрыв снаряда... Разлетается в щепки изба на деревенской улице... Факелами пылают сараи, колодец-журавль... Беззвучно, немо идет война — звучит лишь песня:

Дожидались рассвета у милых дверей.
Лепили богов из гипса.
Мы саперы столетья. Слышишь
взрыв на заре?
Это кто-то из наших ошибся...

...Из полевого госпиталя в деревне выбегают раненые красноармейцы... Ковыляют с винтовками, валяются в снег, отстреливаются от немцев...

Мы ломали бетон и кричали стихи,
И скрывали боль от ушибов.

Мы прощали со стоном чужие грехи,
А себе не прощали ошибок...

По стертой с лица земли деревеньке громахает немецкая бронированная армада. Все дальше, к Москве...

Нас ласкала в пути ледяная земля.
Но мы, забывая про годы,
Проползали на брехе по минным полям,
Для весны прорубая проходы...

Смолкла песня, затихла гитара.
Со снимка смотрит Э. Хамраев.
На него с другого снимка уставился гитлеровец с ухмылкой на небритом лице. Автомат на груди, прилипшая к губе сигарета... Автоматная очередь.

Хамраев погружается во тьму.
Еще автоматная очередь. На снимке — пожилой отец Хамраева, жена Анастасия и сидящий на коленях деда старший сынишка, трехлетний Али. Слово бы и по ним стреляет гитлеровец...
— Эргаш Хамраев, командир разведроты, «пал смертью храбрых». Девятого февраля сорок второго в боях под Вязьмой, на Смоленщине...

Фронтвая, поблекшая фотокарточка Соловьева.

Голос Автора:
— Он уцелел в сражающемся Севастополе... Опаленный войной, прямодушный, оставался таким и после Победы. Не скрывал того, что думает о жизни и вожде, «отце народов». Сказал как-то в писательском клубе, в сорок шестом: «Сталин ни с кем не станет делиться славой великого полководца и победителя в Отечественной войне, а потому постарается отодвинуть в тень маршалов Жукова и Рокоссовского...» Этого оказалось достаточно, чтобы на него «настучали», арестовали. Обвинили «в антисоветской агитации среди своего окружения и высказываниях террористического характера...»

Смотрит Соловьев с послевоенного снимка. Крупным планом берет его кинокамера.

— Напрасно было что-либо отрицать, доказывать. Отлаженная, кровью смазанная молотилка сталинских репрессий бросила его в камеру предварительного заключения. Десять месяцев длилось следствие. «Десять месяцев не шутка. У меня появилось только одно желание: поскорее вырваться из следственной тюрьмы. Все равно куда, хотя бы в лагерь. Я стал подписывать протоколы ночных допросов, подписал полное признание вины, получил десять лет и был отправлен в лагерь». Особорезимный, под кодовым названием «Дубравлагерь» на станции Потьма Мордовской АССР...

Сидя у синхронной камеры, Автор читает

вслух воспоминания Соловьева:

— «Самым страшным в лагере было отсутствие всяких желаний, кроме как избежать хотя бы на день работы и получить лишнюю тарелку баланды... Спасаясь от опустошения, я начал работу над второй частью «Повести о Насредине», романом «Очарованный принц»...» Диву давались мама, Анна Алексеевна, сестры Зинаида и Екатерина, когда узнали об этом...

Семейная фотокарточка Соловьевых. Камера наезжает на лицо постаревшей, поседевшей матери...

Соловьев как бы отвечает им со своей карточки.

— «Дорогу осилит идущий... Сколько людей умерли преждевременно, и только потому, что недостаточно сильно хотели жить...»

Камера отъезжает, и в кадр попадает его жена М. М. Кудымовская, сидящая с Соловьевым рядом. (Снимались в 50-е годы, после освобождения Соловьева, на даче в Репино.) Закадровый женский голос:

— Он писал в свободное после работы время. Для того чтобы была возможность писать, просил себе ночную работу. Работал ночным сторожем в сушилке при заготовке дров, работал ночным банщиком... Не хватало бумаги, тетрадей, получаемых в посылках, писал на всевозможных обрывках... Самое ужасное заключалось в том, что оперуполномоченные то и дело отбирали у него рукопись и запрещали писать. После жалоб в прокуратуру рукопись на некоторое время возвращалась к нему, а затем опять отбиралась. Он очень боялся, что она, в конце концов, потеряется, и потому сразу писал копию...

Молитвенно, как реликвию, Автор показывает, подносит к объективу камеры большую, похожую на конторскую книгу-тетрадь. Открывает заглавную страницу со словами «Очарованный принц»... Показывает последнюю страницу: крупно снят е — подпись Соловьева, 1954 год, Дубравлагерь МВД СССР...

— Вот она, его рукопись. Та, что позволила Леониду Васильевичу уберечься от духовной деградации, переносить издевательства, побои лагерных вертухаев-охранников...

В сторону рукописи с улыбкой смотрит Соловьев с первого на воле снимка. До неузнаваемости худ, острижен под нулевку, в казенной лагерной рубашке...

— С рукописью в деревянном чемоданчике, перевязанном веревкой, вышел на свободу. Отпустили по амнистии, указу, принятому после смерти Сталина. Позволили жить в любом городе Союза, кроме Москвы. Решил поселиться в Ленинграде, где жили мать, сестра и где судьба, словно в награду за муки, подарила знакомство с Марией Марковной Кудымовской, школьной учительницей,

не побоявшейся стать женой бывшего зека...

Улыбаясь, она положила ему на плечо руку. Смущенный Соловьев на том же снимке опустил глаза. Слышна музыка, вальс...

В ритме вальса погожим осенним днем на борту катера мчим мы с кинокамерой по зеленой волне Невы и каналам Ленинграда.

Дворцовая набережная... Здание Академии наук... Петропавловская крепость... Набережная адмирала Макарова, Пушкинский Дом... Фонтанка, Аничков мост, Клодтовы кони...

Катер замедляет ход, объектив выделяет среди построек ничем не примечательное, современное здание. Четко читаются буквы на крыше над фасадом — Лениздат.

Будто с бьющимся сердцем, вздрагивая, приближаются к нему катер и камера. Как Соловьев в 54-м, который шел сюда, сильно волнуясь, собираясь передать рукопись «Очарованного принца»...

— Это оказалось труднее, чем ему представлялось. Осужденный по статье пятьдесят восьмой, «политический», он был всего лишь амнистирован, но не реабилитирован. Это случится в пятьдесят восьмой, когда за отсутствием состава преступления дело закроют, а его самого восстановят в Союзе писателей. Пока же его не покидает сознание своей опальности. Совсем не беспричинное: год прошел после смерти Сталина, жив во многих душах страх. «Враги народа» мнятся повсюду, и в шестьдесят третьем состоится в Ленинграде позорное судилище над безвинным молодым поэтом Иосифом Бродским, будущим Нобелевским лауреатом, и сошлют его в «специально отведенные места» на пять лет!

Задний ход дает катер. От Лениздата «пятится» камера. Здание удаляется. Волна ударяет в борт катера, капельки воды стекают по стеклу каюты...

— Он так и не решился переступить порог издательства, прошел мимо... Запил горькую... Какое же великое спасибо тем, кто не оставил его одного!

Синхрон И. Н. Тарсановой, редактора «Ленфильма»:

— Простите за прозу, но прежде чем хлопотать об издании «Очарованного принца», Соловьева следовало во что-то одеть, о штанах позаботиться. Этим мы и занялись — писатель Саянов, филолог Паллей. Помогали самому заработать на жизнь, заключить с ним и студией договор написание сценария, экранизацию «Шинели» Гоголя... Боялась ли я с Соловьевым общаться? Я свое отбоялась. Не считайте за доблесть, но я еще в школе, в девятом классе, была влюблена в сына Каменева, «врага народа», не отрекалась от него после его ареста. Читайте «Дом на набереж-

ной» Трифонова, там все сказано об атмосфере тех лет. Один неверный шаг — и ты губишь человека. Стоит не протянуть опальному человеку руки, и ты роняешь себя не только в его глазах, но и в собственных. Как же было не помочь Леониду Васильевичу, талантливому писателю, порядочному человеку? Да он, как Сервантес, давно заслуживает памятник за своего Насреддина!

Вспоминает М. А. Дудин, поэт, Герой Социалистического Труда:

— Вот «Повесть о Насреддине», оба романа, изданные в Ленинграде в пятьдесят шестом. Посмотрите, что Соловьев написал, даря её мне...

· Михаил Александрович протягивает толстенный том. Камера задерживается на словах: «Крестному отцу этой книги Михаилу Дудину»...

— А какой я ему отец? Он намного старше меня, а мне уже семьдесят два. Я понимаю, это написано метафорически, хотя мы на самом деле помогли издать, но не одному Соловьеву помогли. Сереже Орлову помогли, поэту. Помните «Его зарыли в шар земной...»? Он принес рукопись этих и других стихов в сапоге. Она бензином пропахла, он был танкистом, здорово обгорел в бою. Он фронтовик, и я тоже. Мы долго жили после войны фронтовой дружбой, заповедью: «Умри за товарища, и останешься жив!». Так и с Соловьевым было, бывшим фронтовиком, черноморцем. Сегодня он мне дорог и тем, что духовно сближал своим «Насреддином» Среднюю Азию и Россию. Очень, очень важно сегодня — наводить мосты между народами, искать наше родство, а не различия! В этом наше спасение от кровопролитий, происходящих там и сям...

Внимательно слушает Автор, и, едва заканчивается синхрон, вступает закадровый авторский голос:

— Благодарный ленинградцам за помощь и память о Соловьеве, я поймал себя на одной непрошенной мысли: а помнит ли о нем еще кто-нибудь? О нем и его романах, фильмах? Ну хоть кто-нибудь из обыкновенных читателей, зрителей, для которых он главным образом и творил. Кому мы адресуем наш фильм, не заскучают ли на нем?.. Я думал об этом и еду туда, где он покоится после смерти в шестьдесят втором...

Едем Невским проспектом... Снимаем молодые лица на площади у Казанского собора: длинноволосых парней, расхристанных девушек. Бренчат на гитарах, поют, танцуют возле положенной в центре фуражки... Прохожие бросают туда монеты...

Бесстрастно смотрит Автор, сидящий в автомашине возле шофера...

Едем дальше, минуем арку Красненского кладбища...

Снимаем ряды могил, железные и чугунные изгороди, надгробья, кресты под березами...

Смотритель кладбища, отвечая Автору, поводит рукой...

— Я спросил его, Владимира Николаевича, где могила Соловьева. Он сказал, что не знает, не может знать. Тридцать семь гектаров занимает его «хозяйство», поди упомни, где кто захоронен...

Автор показывает смотрителю фотопортрет Соловьева последнего года жизни, в очках, и некролог о нем в «Ленинградской правде» от 10 апреля 1962 года.

— Он писатель знаменитый, — сказал я, — не каждый день у вас писателей хоронят! «В жизни мы все генералы, а в земле — рядовые», — ответил смотритель. — Живые пахнут по-разному, мертвые одинаково...»

Нечасто услышишь такое, встретишь такого шекспировского могильщика. Выражая явный интерес Автора, камера укрупняет смотрителя.

Ему лет тридцать. В черном служебном халате. Подтянут, деловит.

С любопытством прислушиваются к нам могильщики-землекопы, покурывающие на скамейке...

— Владимир Николаевич, однако, вскоре подобрел, дозвонился в городской архив, навел справки. И пошли мы искать Соловьева, могилу номер восемнадцать...

На дорожки делится кладбище, у каждой свое название. Мы обходим дорожку Невскую. Двигаясь рядом, камера оглядывает «чужие» могилы, не Соловьева...

— Слова Владимира Николаевича засели у меня в голове. Неужто и Соловьев «рядовой», безмянный?! Стал рядовым в литературе после смерти, и лишь его друзьям-писателям интересны его произведения? И никому нет дела до его жизни, лишений, побед?.. Как же надо жить, работать, чтобы остаться в памяти людской?!

У чьей-то ограды встает Владимир Николаевич, подзывает Автора...

— Говорит, что читал «Возмутителя спокойствия». Нравится, говорит, с юмором. Прочтет «Очарованного принца»... Я поверил ему. Я-то ведь смалодушничал, собирался уйти, отчаявшись найти могилу Соловьева, а Владимир Николаевич всё искал. Три часа потратил и нашел!

Плита черного мрамора среди надгробий Нарвской дорожки.

Стершиеся от времени, некогда золотые буквы и цифры:

Писатель Леонид Соловьев
1906—1962

Опавшая, налипшая на них осенняя листва, первый снежок.

Владимир Николаевич убирает их веником, стирает с надписи снег...

Уходит, оставив Автора с могилой наедине. Свой черный берет кладет Автор в карман кожаной куртки, надевает ферганскую тубетку.

Высыпает возле плиты землю из пакета...

— Это земля из Коканда, где прошла его юность. Узбекская земля. О ней, её будущем, думалось мне... За холодной зимой, как водится, наступает весна, лето. Но принесут ли они тепло, душевное тепло, переполнявшее сердца Леонида Соловьева и бессмертного Ходжи Насреддина?..

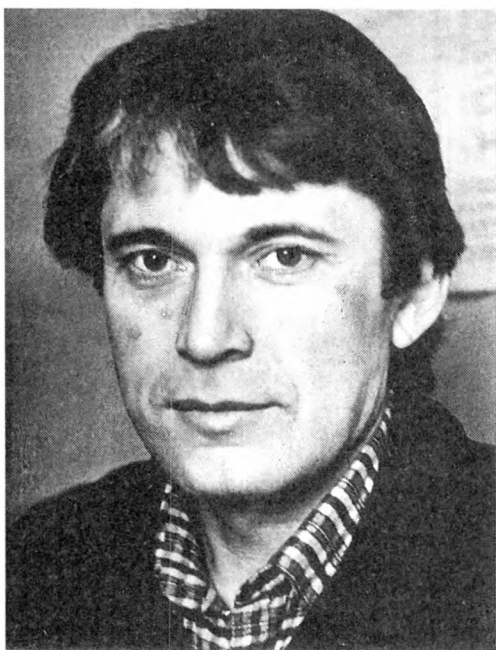
Во весь экран встают фотографии Л. В. Соловьева и Л. Н. Свердлина в роли Насреддина. Всем своим видом излучают добро...

У могилы замер Автор, и узбекская жизнь припоминается ему. Молодая красавица-мама, качающая люльку, в которой сладко спит смуглолицый малыш...

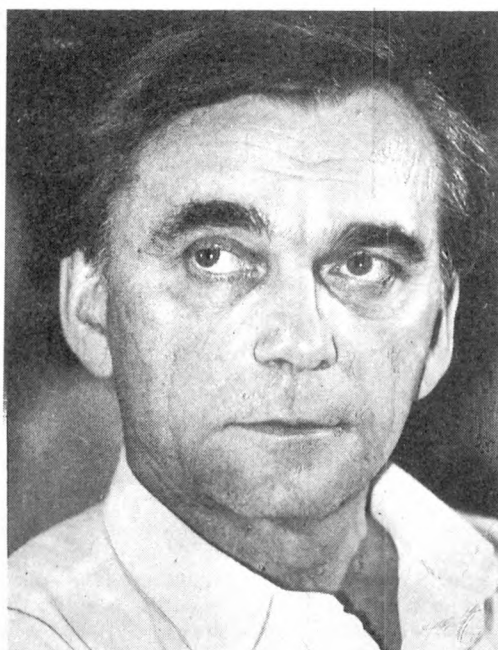
Голос Автора:

— О том болела моя душа, какими станут наши дети, когда вырастут, станут джигитами. Как будут относиться к тем, кто рядом и вдали, своим и чужим по крови? Поймут ли, что самое достойное для человека занятие, самый главный, завещанный предками закон — закон деятельного добра?

1989 г.



**Герман
КЛИМОВ**



**Элем
КЛИМОВ**

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

От авторов

Предлагая вниманию читателя эту киноповесть, нам хотелось бы предупредить знакомство с ней несколькими пояснительными словами.

В поисках сюжета для будущего фильма мы «забрели» в век восемнадцатый. Нас привлекло время царствования Екатерины II — время яркого расцвета российского абсолютизма, время невероятных социальных контрастов, громких побед, внезапных вознесений и падений, время, богатое удивительными людьми и событиями неповторимыми. Нас интересовал острый, парадоксальный сюжет, способный совместить в себе и смысл, и зрелище, картины времени небывалого, и драматическую судьбу героя, проходящего путь преобразования от растительного существования до нравственного самостоянья.

Решающую помощь в этих поисках оказал нам обаятельный рассказ С. Наровчатова «Абсолют». Он дал нам «зацепку». Мы сочли возможным воспользоваться, с благодарностью к автору, некоторыми сюжетами посылами рассказа для того, чтобы пустить в долгое и сложное плаванье нашего героя. Автор рассказа, и мы вслед за ним, отталкивается от воспоминаний французского посла при Екатерининском дворе графа де Сегюра, а именно от той их части, где Сегюр описывает фантазмагорический казус, происшедший с немецким банкиром и купцом в Санкт-Петербурге. Случай этот привлек в начале прошлого века и внимание Александра Дюма, когда он работал над созданием «русского» романа «Учитель фехтования», и в слегка переработанном виде вошел в этот роман.

История литературы знает немало примеров обработки разными авторами одних и тех же так называемых «кочующих» сюжетов, будь

то легенда о Фаусте, история Жанны д'Арк или принца Гамлета. Но это — великие сюжеты. Мы же воспользовались анекдотом, хотя бывает, что анекдот, казус, а то и афоризм говорят о времени и его людях много ярче и доходчивее, чем многотомные исторические исследования.

Итак, «Преображение» — это анекдот, переросший в фантастическую одиссею ничтожного обывателя, который волею судеб и желанием авторов должен стать Человеком. Такой мы видели свою цель, все остальное определялось нашими жанровыми пристрастиями. Помимо нашего вымышленного героя в повести действуют и конкретные герои отечественной истории. Нами произведены некоторые умышленные сдвиги во времени и обстоятельствах, в которых они являются и действуют, однако что касается сути их образов — здесь мы старались соблюсти возможную достоверность, стремились не отступать и от духа времени.

Часть I

Тени, тени повсюду, ночь петербургская темная, зыбкая, и эти тени, пугающе бесшумные, зима, закаменело, спит поди все, а этим-то чего надо? Страшные тени, военные, но не измайловцы, нет, не преобразенцы, на прусский манер будто... Боже, не Петр ли? Да нет, тот в могиле давно, третий Петр, идиот, свят, свят, свят, майн гот. Что же тихие такие, чего таятся?.. Копыта лошадиные обмотаны, морды обвязаны, мундирчики куцые... Они! Вот уже Зимнего громада, окна черные — спят, спят, каналы... или перерезаны... Куда, куда? Может, мимо... нет — слились с дворцом тени, растворились в нем, исчезли... Карета... профиль в окошке: вздернутый нос, урод единокровный, ненавидящий за отца придушенного, вот оно! Не дождался, не дотерпел. Вот они, игрушки в солдатике... Пронеси, господи!.. Здесь уже, где-то рядом, хоть бы крикнул кто... Гриша, Алексей, где вы теперь, орлы отлетавшие?.. Тихо... нет — шаги... много шагов... Все ближе... Двери!.. И аз воздам... Удавка!..

Екатерина Алексеевна открыла глаза. Тихо... Да, тихо... ну, конечно, тихо. Примстилось... Морок ночной... Тишина и слабый северный свет скзвозь шторы... И едва различимая фигура за ширмой в дальнем углу спальни.

Он шевельнул своими противоестественно огромными ушами, услышал, как облегченно выдохнула самодержица свой сон, и понял, что сегодняшняя работа его окончена. Но чу! — уши его вновь встрепнулись, отточенный как бритва слух преодолел, пронзил долгую пустоту дворцового безмолвия и обнаружил в каком-то отдаленном его приделе шорох невесть откуда взявшейся там мыши — вот и причина предутреннего кошмара, вот она! Фигура эта беззвучно встала и, скользнув тенью, исчезла.

Великая дама проснулась в 6 часов утра. Как всегда. Неизменно.

Привела в движение свое полноватое, но

легкое не по годам тело, бесшумно, лунатически точно исполняя заведенный ритуал. Огонек за огоньком затеплились свечи, выведя на свет спальню с ее хозяйкой, красно зашевелился, затрепетал камин, оживленный державною рукой. На подставочке у окна обнаружилось серебряное корытце с плавающими в нем кусочками льда. Натирание щек, шеи и лба. Вытирание. Одевание. И все сама, жалея самые сладкие сны слуг своих и приближенных, простоволосая и ясная во взоре — как само утро.

В белом градетуровом капоте и белом же флеровом чепце проследовала она по анфиладам Зимнего, и двери сами, не смея замедлить порфироносный шаг, открывали ей все новые пространства. Просыпались, возвещая свой утренний привет идущей, все новые и новые сонмы дворцовых птиц.

Кабинет. Вторая от двери паркетинаполовица. Прикосновение ноги. И тотчас в сумеречной полутьме комнаты с легким деревянным поскрипом почтительно и радушно приподнялся из-за своего выгнутого столика Вольтер. С пером в руке. Поклон еле заметный. Четвертая от двери половица... Вольтер, еще раз скрипнув, вернулся к своим трудам.

Столик императрицы, выгнутый же, располагался в отдалении вольтеровского, почти напротив. На столике ароматно дымилась чашечка кофе, горели две свечи. Все было готово к началу занятий. Императрица села. И тотчас со стола, с золотой табакерки строго глянул на нее Великий Петр. Екатерина взора не отвела. Напротив, продлила, как могла, сокровенное мгновение.

Великий преобразователь и достойная восприемница теперь уже гигантской империи. Немой совет, предтеча вдохновенья.

Императрица надела очки и взяла перо. Одним движением сего воздушного предмета могла она решить чью-то судьбу, двинуть армии, облагодетельствовать народы... Все

могла, но в эти заветные часы, вдали от глаз и суеты дневной, привыкла она потворствовать отечественным музам, ласкательнее прочих — Мельпомене.

Перо стыло в воздухе, все ярче разгорались окна — свет возвращался на землю, неся с собой новый день, день боренья и труда, день новой славы...

Но вот из вышних далей вдохновенья, в кои унесен был взор императрицы, стали доноситься, а потом и въявь прилетели музыка, поющие голоса... «Торжествуйте, Словенски народы, к нам грядут золотые годы...»

Хор смолк.

«К нам идут золотые годы...» — робко пропел отдельный голос.

Взгляд Екатерины затуманился на миг, но тотчас прояснился.

«У нас идут золотые годы!..» — восторженно пропел голос.

Вспыхнула праздничным светом сцена императорского театра, исторглись на небывалую высоту голоса выступивших на самый ее край лучших итальянских певцов, загремел, согласно и бурно трепеща золотым шитьем, хор! Шквал рукоплесканий прокатился по театру! Ряды взметнулись и отворотившись от сцены, явили автору свое восхищение...

Вспыхнув, виденье погасло, но шум и хлопанье не прекратились — то слетались со всего города к окнам императрицы голуби, ежеутренне приветствовавшие ее.

Свет, наполнивший уже кабинет, теперь явственно выявил и Вольтера, неотлучно занятого своей думой: острое лицо, легкая, в меру саркастическая улыбка, искусно вырезанная из дерева.

Екатерина улыбнулась ему в ответ.

«Мон шер ами!..» — начертало ее перо.

Часы ударили девять раз.

Императрица, точкой обозначив предел эпистоле, сняла очки и воззрилась на обер-полицеймейстера Санкт-Петербурга бригадира Глазова, с необходимым подобанием изготовленного уже к своему ежеутреннему донесению о благосостоянии столицы и прочих происшествиях.

Почувствовав, что взгляд государыни задержался на нем, обер-полицеймейстер отвесил ей глубокий поклон, на который последовало взаимное наклонение головы.

— Господу угодно было, — начал глубоким басом докладчик, — чтобы столь запоздалое, но как бы вдруг учинившееся умягчение природы, в рассуждении постепенного преобразования зимнего периода времени в весеннее, не произошло вчерта сколь-нибудь разительных происшествий, коими я мог бы встревожить ваше императорское величество.

Повсюду царит неколебимый порядок как в пешем, так и в конном движении. Масленица неделя заканчивается самым благополучным образом, несмотря на губительную склонность подлого сословия ко всяческому буйству и озорничеству. Бесомненную границу сему положит Великий пост, коий усмиряющим действием своим...

Говоря сие, Глазов вдруг усомнился, слушает ли его государыня и, более того, видит ли. Взор ее, прямо на него наставленный, прозвал, казалось, насквозь и имел свой пункт где-то вдали за его спиной. Посему обер-полицеймейстер решил покончить с риторикой и резко скакнуть вперед.

— По вашему высочайшему повелению мною произведено расследование того приключения, которое случилось с двадцатипятирублевыми ассигнациями, переделанными в семидесятипятирублевые. Вору сысканы и признались — ими оказались братья Шапкины, один из коих ездил за границу и привез оттуда штемпеля и литеры для делания фальшивых денег.

Глазов сделал паузу, ожидая указания по сему делу. Но Екатерина Великая продолжала смотреть сквозь бригадира. Пауза затянулась, и Глазова прошиб пот.

— Нынче ночью, — мужественно продолжал обер-полицеймейстер, — в порту схвачена шлюпка с контрабандным товаром, которая до того имела тайное сношение с торговым фрегатом «Виктория». Товар конфискован, приказчик купца Глюка Норберт Мюллер, коий принял шлюпку на берегу, отпущен, ибо вместе с контрабандным своим Глюком является вольного города Гамбурга гражданином.

Сие известие произвело столько же действия, что и прежние.

— На Васильевском острове сгорело три мещанских дома, — заторопился севшим голосом обер-полицеймейстер, — от облития серной кислотой, произведенного по причине ревности полной генеральшей Катериной Григорьевной Племянниковой; скончался лекарь Сысой Воропанов; изволила доложить о прибытии своем в Санкт-Петербург знаменитая портретистка французского подданства Виже Лебрен, намеренная колено-преклоненной молить ваше величество о написании высочайшего портрета; голландский механик Реймон показывает курьезные самодействующие машины, а также птицу страуса, которая больше всех птиц на свете, коия к тому же ест сталь, железо, разного рода деньги, горящие уголья...

На чем обер-полицеймейстер и запнулся, ибо понял вдруг, что наконец увиден, причем увиден нехорошо, с каким-то безгильвым даже негодованием. Молчание с каждой минутой становилось невыносимее, но, с другой

стороны, и сказать было нечего, ибо слова все до единого улетучились из головы бригадира, а вместо них явилось вдруг какое-то непрстойное и хриплое мычание. В довершение ко всем бедам подлая и совершенно неуместная улыбка пробралась на лицо охранителя порядка, безобразно растягивая его все шире и шире. Последним усилием воли он все же поборол ее и закаменел.

Легкая тень удивления пробежала по лицу государыни... Еще несколько мгновений продлилась эта пытка, затем легким поднятием руки со стола обер-полицеймейстер получил свободу.

Деревянно повернувшись, он сделал несколько шагов негнушимися ногами.

— Да... А из Глюка набить чучело, — тихо сказал державный голос за его спиной.

Эти негромкие, но внятные слова произвели на бедного обер-полицеймейстера действие более страшное, нежели удар грома: он застыл на ходу и плечи его безвольно поникли, будто враз из мощного тела бригадира был выпущен весь воздух. Он медленно повернулся и — о господи! — понял, въявь увидел, что его, Глазова, в этом помещении как бы уже и нет: императрица, вновь в очках и с увеличительным стеклом, просматривала какие-то несомненно государственной важности бумаги.

Как в прорубь на зимней Неве, шагнул Глазов вперед и, содрогнувшись от собственной смелости, молвил глухо:

— Смилуйтесь, ваше величество. Недостойно чести дворянской и, противно дарованному званию чучела мне набивать.

И тотчас понял, что пропал: левая бровь государыни медленно поползла вверх — верный признак надвигающейся грозы, — а по обширному и величественному челу побежали облака. Изумление ее было так велико, будто она узрела вдруг, что совсем иной человек оказался невесте каким образом в обер-полицеймейстерском мундире и проник в ее кабинет. Она даже сняла очки и привстала. Изумление явственно перерождалось в гнев: с лица ее исчезли следы утренней гармонии, оно потяжелело и потемнело.

Глазов едва дышал.

— Из Глюка... — сдерживая себя, повторила Екатерина, — набить чучело... — грусть промелькнула на ее лице, — и представить мне через три дня, господин Глазов... — и добавила самое страшное, как бы просительным даже тоном: — Нижайше прошу, ваше высоко... превосходительство.

Страшнее минуты обер-полицеймейстер в своей жизни не переживал. Неверными движениями слепца, коими руководили остатки помутненного сознания, он нашел дверь и оказался в зеркальной зале, что служила приемной императрицы.

Смутно увидел он собравшихся здесь для поочередного доклада статс-секретарей, губернатора Петербурга, синодского обер-прокурора, вице-канцлера и еще каких-то персон, которых не было уже сил узнать, ибо едва дошел до сердцевины комнаты, в коей точке все вышеозначенные господа вдруг удесятерились посредством зеркал, бригадир Глазов окончательно потерял ориентировку в пространстве и, помедлив малость, без памяти рухнул на пол.

Гулкий звук, произведенный столь могучим телом, отозвался нежным перезвоном хрустальных подвесок многих дворцовых люстр. Часы проббили четверть.

Разные чувства промелькнули на лицах присутствовавших при этом странном недоразумении, но они были стремительны и мимолетны, будто тени.

Вскоре прежнее достоинство и подобающая случаю сосредоточенность воцарились на челах государственных мужей. Только несколько брошенных украдкой взглядов в сторону распростертого тела да реплика губернатора на ухо дежурному статс-секретарю:

— Ты, голубчик, доложи государыне, что сегодня не буду: селезенка, знаешь ли, разгулялась, жизни не дает... — И крепко прижав руку к селезенке, он спешно ретировался.

Протянулось еще несколько томительных мгновений, прежде чем обер-полицеймейстер подал наконец признаки жизни, потом, постепенно приходя в кондицию, завозился, шумно вздохнул и, продемонстрировав несколько стадий, перевел себя из положения горизонтального в вертикальное. Сии маневры произошли под пение государыненого колокольчика, приглашавшего следующего докладчика. Никто, однако, не торопился: была мгновенная переглядка, затем явились выражения задумчивости или отсутствия на лицах.

А бригадир Глазов двигался уже к выходу. Смятение, смятение и еще раз смятение — вот что было на его лице.

Дверь распахнулась перед ним, и во мгле ее проема совсем рядом вдруг оказалась иная комната, имевшая свое нахождение к тому же совсем в ином доме...

...Облитая утренним светом и улыбками непреклонно радушных немцев, из коих одним был купец и банкир Глюк, а тремя другими существа дамского пола — две дочери и жена; сияющая белоснежной скатертью стола и мейсенским фарфором, отнюдь не порожним, — вот какой предстала эта комната смятенному взору обер-полицеймейстера Глазова.

Добрые шутки и сердечный смех, сугубая серьезность на время благодарственной молитвы — как все это знакомо было бригадиру. Равно и эти радостно раскинутые руки хозяина:

— Ба! Да никак сам Иван Фадеич пожаловал к нам в гости! Милости прошу к нашему шалашу!— Глюк зазвенел в колокольчик. — Слуги, еще прибор!..

Гостеприимно защелкала и дамская половина стола.

Обер-полицеймейстер остался недвижимо высидеть за порогом столовой.

Тогда, не уняв своего радушия и не меняя положения рук, хозяин направился к нему...

Не в нарочитом еще сорокапятилетнем возрасте имел Теодор Себастьян Глюк все или почти все, о чем мечтал: богатое дело, почет, дружбу высокопоставленных вельмож, связанных по рукам и ногам его кредитами, прекрасный дом, здоровье, добродетельную жену, дочь-невесту и дочь-шалунью семи лет.

Он тотчас вспомнил свой ночной грешок и прямо связал его с ранним визитом сановного гостя, что удвоило при более близком приветствовании и без того явные признаки дружелюбия и благорасположенности.

Тут же припрыгала и шалунья, чтобы подергать за шагу давшего приятеля дома, в связи с чем бригадир вынужден был приласкать ее, довольно, впрочем, механически. Устыдившись, однако, неподобающего в новых обстоятельствах жеста, он сей же момент круто развернулся и, не снимая шинели, отправился в Глюков кабинет.

— Мы сейчас, сейчас...— успокоил семью хозяин и, полетев уже вслед за гостем, узрел вдруг парочку сержантов в своей прихожей, что было очень и очень несопутственно прежним визитам бригадира.

Сей сюрприз слегка взнервировал гражданина вольного города Гамбурга, следствием чего явились некоторая растерянность и замешательство в жестах. Полетели хлопки в ладоши, и пока обер-полицеймейстер опускался в подставленные кресла, на столике перед ним явился великолепный фрюшток.

Иван Фадеевич глянул на шнапс и закуску и как бы даже отпрянул от них, чего с ним никогда, судя по всему, не было, да и быть не могло.

Это само по себе поразительное происшествие вкупе с другими несообразностями крайне встревожили немца. Дело нужно было кончать как можно скорее и ко всеобщему удовольствию.

— Знаю, знаю свою вину, любезный Иван Фадеич, и отрекаться не смею,— начал Глюк голосом, полным глубокого раскаяния. — Пошел на сие преступление единственно от обилия отцовского чувства к моей обожаемой Амальхен! Свадьба-то не ждет, не ждет, Иван Фадеич! Послезавтра свадьба!.. Неужели, думаю, не по силам мне украсить праздничный стол бургундским вином, фромаж камамбер и гамбургскими колбасами? И вот — пал, винюся и готов понести наказание.

Расхаживая по уютному своему кабинету, украшенному большим довольно портретом императрицы и неизбежным для любого приличного дома бюстом мыслителя Вольтера, Глюк на несколько секунд задержался у бюро с тем, чтобы, закончив свое путешествие в непосредственной близости от обер-полицеймейстера, незатейливо воздвигнуть рядом с фрюштком достаточно высокую горку из ассигнаций.

Горка сия не произвела обычного своего действия, более того, была вдруг твердо отодвинута в сторону...

Немец не поверил сначала собственным глазам, но что случилось, то случилось. Не теряя присутствия духа, он совершил новое путешествие — и горка возросла.

Иван Фадеевич угрюмо смотрел в сторону. В окне, как всегда, маячил за рекой шпиль Петропавловской крепости.

Купец растерялся окончательно: привычный ритуал привычного эффекта не принес, а это значило, что наказание будет иное.

— Уж не арест ли мне грозит за такую безделицу?— чуть свысока, но все же дрогнувшим голосом произнес Глюк.

Мрачная ухмылка обер-полицеймейстера, полученная в ответ, ужаснула его.

— Сибирь?! — выдохнул Глюк.

Ответ был тот же.

Тогда и Глюк глянул в сторону Петропавловки, ужаснулся таковому предположению, сглотнул... Глазов перехватил его взгляд, предположение ужасное угадал и в ответ на вопрошающий взор немца лишь скорбно вздохнул. Вздох этот означал лишь одно: «Ах, если бы...»

— Найн!— возопил несчастный Глюк, а затем повторил то же слово, но совсем тихо, не рассчитывая уже на публичный эффект.

Все мыслимые и немыслимые слова были произнесены, а ухмылка обер-полицеймейстера все длилась и длилась. И чем протяженнее она делалась во времени, тем бледнее становился Глюк. Страшный смысл визита Глазова дошел до него окончательно. И он обрел наконец речь.

— Осмелюсь доложить, господин обер-полицеймейстер города Санкт-Петербурга,— начал он новым для себя голосом,— что я являюсь...— сознание лихорадило, взор мутнел,— ...гражданином вольного города Гамбурга! Я иностранец, ферштеен зи?! Их бин айн ауслендер, вашу мать! А не какой-нибудь...— он гневно помахал рукой, образовав тем небольшую паузу.— Я обличен... торговый договор!.. Граф Строганов мой друг сердешный!..— он подчеркнул в последнем слове букву «ш», что, очевидно, добавляло ему нужный нюанс.— ...Их бин... их вар...— начал было он опять сбиваться на немецкий.— Я был лично представлен...— он сделал намекающий жест в сторону портрета.—

Мой жених — князь Растебаев! — рванул он в другую сторону. — ...Со мной такая шутка не надо!.. Шайзел!.. — мимоходом оскорбил он Глазова. Но Глазов, слава богу, по-немецки не понимал, как, впрочем, и по-французски. — ...Это не Иохан Грозный, это Катарина!.. — возвышая голос, Глюк стал портить русский. — Я есть человек, а не холопл!.. — воспаленный взгляд его упал на Вольтера. — Свобода и справедливость!.. Где закон?! Суд где?!.. За что? Страна варваров!.. Когда надежды всех народов!.. — первые признаки пены появились на его губах. — Это вы свой человек пытай-казни, а я не позволю, не позволю! Я... Я — Европа, а не ваш рабство! Форт! Вег!.. — он никак не мог подобрать, вспомнить нужного русского слова, но наконец вспомнил на свою беду. — Долой!!!

Гневно глянув на Глазова, он вдруг уразумел, что тот рассматривает его пристально и холодно. И этот холод полицейского взгляда тотчас проник ему куда-то меж лопаток. Он понял, что заехал не туда, и враз сник. Он повел по сторонам потерянным взглядом, пытаясь хоть в чем-то найти себе поддержку.

— Ди гроссе унд гутхерциге, — забормотал он что-то по-своему, приближаясь на вyalых ногах к поргрету Екатерины, — ду бист айне дойче, айне эхте дойче, ду бист майн шутц...

— От нее-то я к тебе и приехал, — оборвал его ход обер-полицеймейстер.

Глюк замер на полуслове, окончательно обмяк — смысл слов дошел до его сознания — и медленно повернулся в сторону Глазова. Теперь это был другой человек: постаревший и осунувшийся. Прошел, шаркая ногами, и мешком опустился напротив Глазова в кресло.

— Не теряй времени, мин херц, — щегольнув петровским обращением, попытался вернуть его к действительности бригадир.

Слабая тень полувопроса мелькнула в глазах Глюка.

— Пиши завещание, — разъяснил Глазов. Пустой, обессиленный взгляд банкира уже не сопротивлялся.

— За что? — слабо выговорил он.

— Я твоих дел не знаю, Федор Севастьяныч, и знать не хочу. Тут, видать, высшая политика, в коей ты замешан, а мне влезать в твою подноготную резону нет.

— Да нет же ничего! — возопил несчастный с крайним движением души.

— На нет, слышь, и суда, говорят, нет. А раз приказ есть, то и дело есть, — уверил его Глазов. — Не теряй времени попусту.

— Когда? — едва выдохнул банкир.

— Два дня, я полагаю... — задумался Глазов. — Нет, не успеем, день у тебя есть.

Немец остолбенел, и в этом остолбенении до того стал похож на будущее свое чучело,

что даже выдавший виды обер-полицеймейстер содрогнулся. Наступил самый тяжкий момент, когда он должен был объявить причину столь небывалой поспешности. Должен был, но... не смог.

— С конфискацией? — пролепетал вдруг банкир.

— Не знаю, — с облегчением сказал Глазов, — об этом ни слова не было. Можешь тратить. Но из дома ни шагу. — И с этими словами обер-полицеймейстер встал.

— О, майн гот! — Глюк схватился за голову.

Иван Фадеевич глянул на него с состраданием.

— Ты это... я там должен тебе двадцать две тысячи... но сейчас, право...

— О, если бы была надежда! — взмолился Глюк. — Кляйне хоффнунг! Кляйнсте! Я бы ничего... Я бы всё... — Немец вскочил и страстным взором приник к Глазову, прося у того, самым нижайшим образом прося эту надежду. — Я бы в завещании своем вас, дражайший Иван Фадеевич...

Доброе сердце бригадира дрогнуло.

— Чем могу, конечно... Караула снять не могу. Но на гонцов твоих и посетителей посмотрю сквозь пальцы. Хлопчи, авось и выйдет что...

Банкир метнулся к бюро и стал что-то лихорадочно писать. Обернулся, сообщил по-деловому:

— Сто тысяч.

— В завещании не надо, — задумчиво сказал Глазов. — Пиши вексель и ставь прошлым месяцем.

— Прошлым?.. Ах да, прошлым... — вновь впал в меланхолию Глюк. Взор его подернулся пеленой...

Нежный, серебристый голосок колокольчика донесся вдруг до его слуха — он, казалось, проник к нему из других, заэфирных далей, ласкал и манил... Глюк тупо смотрел в стену, а звук неземной был все ближе и ближе... И вдруг загадочный и темный коридор возник, из дальней перспективы коего белоснежный, с воздушными крылами, легко, стрёмглав, с тайной прелестью во взоре... Ах, ближе, ближе... Кто ты, кто?.. Своею белизной затмил и...

И впрямь из этой белизны выказалось ангельское, воистину ангельское, с небспорочным, правда, взглядом, личико сестры милосердия, бережно несущей серебряную рюмочку на призывный звон.

Вот она уже впорхнула в огромный светлый кабинет, хозяин коего, президент Медицинской коллегии Александр Андреевич Ржевский, покоился в кресле с высокой спинкой в позе болезненной. Левая рука его держалась за сердце, правая звонила в колокольчик, а тело, криво изогнутое, изобличало слабость.

Выпив поднесенное лекарство и вернув рюмочку, президент изнеможенно закрыл глаза. Ангельское создание нежно заглянуло ему в лицо и, попорхав воздушным платочком по челу, собрало с него капельки пота. Чудо как хороша была она в своем стерильно белом одеянии меж всех этих скелетов, чертежей тела человеческого, бронзовых Ньютонов, Архимедов, Сократов и Гиппократов. Была, увы, недолго и так же легко исчезла.

— Не надо, Александр Андреич, будя ваньку-то валять, — услышался грубый голос бригадира Глазова. — Мы же не на феатре. Да и времени ноль.

Взгляд Ржевского на некоторое время повлажнел, потом перенесся на своего собеседника, что и подействовало отрезвляюще.

— Не знаю, что и сказать, Иван Фадеич, — молвил он, оживая. — Но не могло ли так приключиться, что вы несколько прямо поняли государыню? Может быть, она прибегла к иносказанию, уподобив купца чучелу, и набить означенное чучело сиречь подвергнуть его телесному наказанию?

— Охочи же вы словесами играть да крутить, Александр Андреич! Давайте лучше думать, как доводить немца до указанной кондиции. Вам как президенту Медицинской коллегии и карты в руки.

— Мерси, — наклонил голову Ржевский, — весьма польщен особым вашим ко мне благорасположением, — он выскочил из кресла, как из пращи, будто и не было вовсе сердечного припадка. — Сия операция премного доставит мне славы, особливо ныне, во дни наук и любомудрия, когда разум только лишь отряс несродные ему пути мракобесия, когда истина, зрим повсеместно, блистает паче и паче столичным блеском, когда учения источник проникает до отраслей дальнейших государства, когда старания правительства — туда идем, надеюсь! — стремятся на истребления заблуждений и на отверствие беспреткновенных путей рассудку, мудрости, закону, когда...

— Когда-нибудь, — осек его Глазов, — а нынче же это дело и надо решить. Снаряжайте, времени не теряя, лучших препаратов, кои особо привержены сему искусству...

— Сему искусству? — поразился Ржевский. — Вы, Иван Фадеич, вижу, плохо представляете себе наши занятия. Прошу...

Анатомическая зала, куда они попали, была так густо напитана парами формалина или еще какой-то гадости, что обер-полицеймейстер едва не задохнулся. Пары эти образовали даже некое подобие зыбкой пелены, висящей в воздухе, — глаза щипало, подступала дурнота. Повсюду кипела оживленная работа над бренными останками:

мелькала инструментов сталь, что-то разрезалось, что-то зашивалось, лица тут и там в белых намордниках, смех, латынь, молоко и колбасы, с вызывающим цинизмом поглощаемые здесь же очерстевшим студенчеством, — все это произвело на бригадира впечатление довольно гнусное, в чем и не преминул удостовериться Ржевский, нехорошо, без любви на него глянувший.

— Жаль, жаль, Михайла Васильевич Ломоносов, фундатор наш и гений, не дожид до сего дня, — сокрушался президент. — Вот муж, что благостное небес сочетал в себе единое пристрастие к наукам и изящному. Сей предмет бы его весьма позабавил...

Глазова мутило, а попытка все тянулась и тянулась: Ржевский самым неспешным образом вел его от одной группы препаратов к другой.

— Воистину неистребимо милосердие государынино, — продолжал с неподдельной серьезностью юродствовать глава адского учреждения. — Пожертвовать одним преступником, дабы уберечь сонмы возможных его подражателей, кои при едином взгляде не злодейский облик отвратятся навеки от пагубных поползновений. Виват, спасительница наша!

Глазов глянул на него тупо.

— Но в каком виде представить объемное изображение злоумышленника, дабы достигнуть необходимого эффекта? Вот что решить вам предстоит, — вконец озадачил он обер-полицеймейстера. — Одно дело, ежели государыня захочет взять его к себе, во дворец. А ежели нет? Куда его? Предположим тогда, что у входа на кладбище: виноватая улыбка, приглашающий жест рукой. Особливо хорош будет на Пасху, при стечении народа...

— Вполне... — кивнул Глазов.

— А может, в виде садовой скульптуры, — предположил президент, — прикрыв, конечно, соответствующее место листком? Мол, хотел разбогатеть несправедно — и вот вам нат: гол как сокол.

Воображение обер-полицеймейстера, судя по всему, справилось и с этим заданием, но оно показалось менее интересным, что и уловил Ржевский по лицу бригадира. Уловил он также и то, что собеседник его от густоты непривычного запаха и лицемерия кощунственных операций пребывает уже в предельно туманном состоянии.

— Но лучше всего, я думаю, поместить это объемное изображение в порту, — продолжал сохранять он серьезный тон. — Поелику преступник нарушил торговый закон, то долг его исправить сию оплошность в назидание другим. Едва касаясь ногой постаменты, с оливковой ветвью в поднятой руке... нет, факел дружбы будет здесь сподобнее — находясь в вознесенном виде над прибывающими кораблями, он явит собой бога

торговли Меркурия, чем и будет способствовать беспорочному процветанию дружеских связей многих государств...

Картина эта, обретшая было четкость в воображении бригадира, вдруг начала расплываться и покрываться густым туманом... Туман, порт, проклятый президент — он где-то рядом, голос его слышно, эх, только б не упасть — ведь вскроют, гады, препарируют немедленно...

Глазов бы и упал, но из тумана проявилось милое личико нового ангела, столь же белоснежного, как и прежний, только не с рюмочкой, а с ваткою в руке...

Дернув головой — ватка была пропитана нашатырем, — Глазов вдруг обнаружил себя в кунсткамере среди множества банок с заспиртованными уродами, сиамскими близнецами и прочими мерзкими раритетами.

— Ну как? — поинтересовался Ржевский.

— Да вроде лучше, — плох еще был Глазов.

— Что делать будем?

— Как что? Набивать.

— А как? В каком варианте?

— А я откуда знаю.

— А ты пойди спроси.

— Сам спроси! — заорал вдруг обер-полицеймейстер, потратив на этот крик остаток сил... Уроды, органы-печенки-селезенки, близнецы — все снова поплыло...

— А может, в банку его, заспиртуем? — Ржевский сделал последнюю жалкую попытку выбраться из сего мерзкого дела.

— Сказала: чучело.

Ржевский приобнял Глазова за плечи, отвел в темный угол помещения. Но и здесь огляделся для верности.

— Ты видел ее нынче... Неужели она не понимает, к чему это повести может?... — горячо зашептал он. — А может, понимает?... Так что, опять причина, ожесточенье, пагуба? Куда идем, куда?..

Бедняга обер-полицеймейстер теперь был слабый собеседник. Он лишь тупо глядел красными глазами через плечо Ржевского... Банки, банки... В одной из них, униженно уменьшенный до нескольких вершков, в полном парадном облачении, с орденами и медалями, плавал в спирту сам он, Глазов...

— Боже мой, боже мой!.. — лицо у старичка перекопилось, парик съехал на сторону, губы задрожали. — Боже мой!..

Михаил Михайлович Бельский, престарелый президент Академии художеств, едва поспевал за обер-полицеймейстером. Путь их пролегал через галерею Академии, увешанную по стенам прекрасными полотнами от лучших мастеров. Здесь можно было лицезреть и объемные скульптуры, копии и подлинники.

Глазов и лицезрел на ходу, то и дело поднося к носу ватку.

— Боже мой, а жена, супруга у его есть? — вопрошал добрейший старик и, получив ответный кивок, увлажнялся слезами. — Какое страшное несчастье!.. Да как же так?..

...Один из подвигов Геракла... Сюжет хорош, но Глюк — Геракл?..

— Не годится, — вздохнул Глазов.

— За что такая кара? Что же надо совершить?..

— Лучше не гадать. Преступник жуткий...

...Европы похищенье... Тащат бабу...

Тут Глазов задержался.

— Вполне пикантно, но не то.

— А родители его живы? Нет? Ну слава богу! Нет, они б не пережили, нет, нет, — Михаил Михайлович вконец расквасился.

...Ага, Лаокоон, вот это вариант...

— Да, но кто тогда змея?

...Юдифь с подносом, на подносе — голова...

— Не то.

...Святой Себастьян, к столбу привязан, стрелами утыкан...

— Мученик, — соображал вслух бригадир. — Но мученик кого?..

...Мазаччо, итальянцы, сплошные итальянцы...

— А где же немцы?

— А как он сам?

— Здоров.

— А похороны когда? О, боже мой, какие похороны, что я говорю...

...Рубенс, Рубенс, Рубенс...

— Любил толстух.

...Христос, Голгофа...

— Господи прости! — перекрестился Глазов.

...Юргенс: рыбы, мясо; овощи...

— Так и не позавтракал сегодня... намазывали уйму — выбрать нечего...

— Что вы?

...Так, теперь Рембрандт...

— О!

...Мужчина на коленях, молит о прощеньи...

— ...«блудного сына»... — прочел и присматрелся. — Гениально!

— Да... Рембрандт.

— А кто старик?

— Отец.

— Жаль... Если б мать...

— Это притча.

— Жаль, жаль...

...Картины ада. Босх. Черти, грешники, костры...

— Размножить бы, повесить в каждом кабаке — меньше б пили...

Перед огромной классной дверью, в темном коридоре Михаил Михайлович попытался унять слезы, вытер их платком, высмор-

кался. И взялся уже за ручку двери, как вспомнил вдруг:

— А дети, дети-то у него есть? Есть?!.. — и новые ручки побежали по его задрожавшим щекам.

Потом задрожали и плечи, и руки, и, дабы унять эту лихорадку, он прижался к Глазову, уткнувшись лицом в шинель, так что и Иван Фадеевич принужден был теперь дрожать.

Через силу хранимая выдержка изменила наконец ему, лицо обмякло, подобия всхлипов зародились в могучей груди — сердце-то вот оно, куда его денешь...

Картина странная для проходящих: сам Бельский, сам президент, в объятиях у обер-полицеймейстера Санкт-Петербурга, и оба плачут.

...Сандро Ботичелли. «Рождение Венеры». Картина-аллегория и установлена на большом мольберте в светлом классе.

Неподалеку, в огромной раковине морской, на специальном возвышении обнаженная модель — в той же позе, что и Венера на картине.

...Студенты, обернувшись от своих мольбертов на звук открывшейся двери, узрели своего президента с красным заплаканным лицом, да еще в сопровождении официального чина и, очевидно, очень важного.

Вставание, приветственный поклон, жест, разрешающий садиться. Два педагога-итальянца с южным, наглым взглядом и смуглой кожей приветственно склонились.

Глазов, впервые, видно, попавший в такое заведение, устремился мужественным взором мимо затылков учеников, мимо их мольбертов, мимо педагогов прямо к российской Афродите.

Румяное крестьянское лицо, волосы распущены, сложеньем хороша — она, в свою очередь, тоже принадлежала к разряду новичков в подобном ремесле: пунцово зардевшись от ярого взгляда генерала, она поспешно перекинула свой взор на президента, который безуспешно продолжал бороться с одолевшими его чувствами. Заразительное действие стариковских слез вкупе с обострившимся смущением и произвели неожиданный пассаж, а именно: пролитие слез неподвижной моделью.

Это, в иную уже очередь, так поразило будущих ботичелли, что они один за другим принялись оборачиваться в поисках причины сего казуса.

Весь огонь молодых взоров нацелился на высокопоставленного жандарма. Занятиям грозил провал.

Тут уже оба гостя принуждены были брать себя в руки: президент продолжил усиленно сморкаться, а обер-полицеймейстер, что-то пошептав ему на ухо, за чем последовал утвердительный кивок, поочередным маном

вением пальца призвал к себе обоих итальянцев, что те с присущей им легкостью мгновенно и совершили. Затем бросил прощальный взгляд в сторону плачущей Венеры, поноухал ватку и сказал:

— Аддѐ.

В прихожей дома Глюка запорошенные снегом художники подзадержались, дабы раздеться, бригадир же, не снимая шинели, прошествовал мимо вытянувшихся в струнку сержантов в дом, который жил теперь новой жизнью.

Через открытую дверь столовой заметил он женскую прислугу в строгом черном одеянии. Разом поджав губы и метнув на него недобрые взгляды, они с удвоенной энергией принялись протирать столовое серебро, раскладывать его по рангам, среди геометрически четко выстроенного на столе фарфора, что-то подсчитывать, что-то записывать.

Вылетевший из спальни лекарь с тазом открыл ему картину спасения бедной супруги бедного немца, распластанной на постели. Компрессы и примочки, хлопотливые доктора — все это лишь мелькнуло, так как в следующий миг на него кто-то кинулся из тьмы коридора и, повиснув на шее, стал тянуть вниз. Легко подхватив шалунью и подкинув ее вверх, он бережно опустил радостно завизжавшего ребенка на пол и, распахнув дверь, шагнул в кабинет.

Задернутые шторы, свечи, колеблемые резкими движениями и стремительной немецкой речью, — вот первое впечатление. Приглядевшись, бригадир нашел обстановку, царившую в кабинете, близкою к военной: полдюжины бубнивших меж собой приказчиков столпились возле своего командира, который стремительно летал пером по бумаге, успевая при этом отдавать какие-то приказания, что-то объясняя на плане Петербурга, занимавшем полстола.

Кинув механический, мало чего видящий взгляд на вошедшего, он продолжил было свои занятия, потом глянул снова и узнал. Бригадир вынул из кармана золотые часы и постучал по ним ногтем.

Глюк кивнул и заторопился пуще прежнего. Закончив послание, быстро помахал им в воздухе, мгновенно сложил, сунул в конверт, схватил из горы ассигнаций толстую пачку и отправил ее в тот же конверт. Очередной скороход его, получив вместе с конвертом нешуточные подорожные, стремглав ринулся на выход. Едва он исчез, как в кабинет скользнули итальянцы. Пошептавшись о чем-то с Глазовым, они впились взглядами в немца, строчившего очередную депешу. Затем, разложив этюдники, принялись разогре-

вать свое вдохновение, быстрыми набросками осваивая модель.

Вскоре новый скороход полетел на задание.

Поворот головы... нос... ухо... бровь... — Глюк обрисовывался со всех сторон.

Потом комната незаметно заполнилась еще каким-то народом, пошли всхлипы и сморкания, кто-то обнял банкира, громче зазвучали приказы, залетали пакчи денег, зазвенели золотые... И вдруг все замерло. Глюк окаменел с приоткрытым ртом, унесшись, видать, мыслию очень далеко. И все молчали, ждали возвращения...

...Ллечи... шея... кисть руки...

Затем все вновь пришло в движение.

Конверты, деньги, перья... Обыкнув, итальянцы осматривали жертву со всех сторон и, не смущаясь более, громко спорили на своем языке, отчаянно жестикулируя.

Для завершения абракадабры английское и шведское наречия заявили о себе на самых высоких тонах — то несколько господ означенных наций, потрясая бумагами, требовали срочной выдачи нужных им товаров.

Опять все замерло во главе с хозяином дома. Лишь итальянцы продолжали спорить, азартно обсуждая детали будущего проекта. Глазов стоял у них за спиной, бдительно следя за рождением замысла. Несчастного немца ничего уже, казалось, не могло ни удивить, ни поразить — даже этих невесть откуда взявшихся художников воспринял он как должное.

И вновь — движение, крики, суета.

Любопытная шалунья, найдя, что в кабинете происходит самое интересное, не преминула принять участие в сей забавной игре и, отобрав у одного из виртуозов грифель, довольно ловко врисовала в сомкнутую руку фатера ромашку.

Глазов, уединившись в дальнем кресле, проглядывал готовые эскизы. Все позы классической скульптуры были пущены в ход. Глюк представлял то скорбным, то задумчивым, то героическим... Оставалось лишь выбирать...

Воображение бригадира сделало резкий скачок на три дня вперед — туда, к торжественному шествию по дворцовой галерее. Во главе процессии — Екатерина, он, Глазов, рядом, далее весь двор. Парад полнейший: ордена, ленты, пудра париков.. По обеим сторонам галереи, в просветах меж мраморных бюстов, тянувшихся вдале чередой, медленно проплывают заснеженные пруд и парк... Звук множества шагов, шорох платьев... И вот, вот он — миг, вот он — Глюк — как живой... в самом конце галереи, как бы вознесшись над царскосельскими пейзажами — в римской тоге, с приятною улыбкою на устах, с натуральным почти взглядом, с шагом, готовым навстречу, с парусным корабликом в одной руке и с мешочком

денег в другой... Смятенное молчание, порожденное эффектом, вздохи восхищения, повлажневшие глаза, ЕЕ улыбка, орден... да, лучше б Первозванного Андрея, снятый самодельно ЕЮ с ЕЕ груди...

...Новый шум и крики в кабинете прервали приятное сновиденье. Глазов встрепенулся и, вспомнив о прочих неотложных нуждах по сему делу, решительным шагом вышел прочь.

В прихожей он чуть не столкнулся с молодым человеком великолепной наружности, одетым крайне модно, даже щегольски, но с чувством меры.

Князь Растебаев — циник, умница, шарман, поклонник Казановы и Лайолы одновременно — составлен был изо всех достоинств, возможных и невозможных. Князь был пылок, тороват и слегка татароват. Князь и был жених.

— Ну как он? — спросил Растебаев, оправляясь перед зеркалом.

— Считай — готов, — махнул рукой бригадир.

— Как? Уже?! — и князь метнулся в кабинет.

Глюка он застал в новой прострации, замершим в каком-то несвершившемся движении. Стоявшие вокруг с печалью глядели на него. И князь вгляделся повнимательней:

— Отличная работа!

Глюк, узрев перед собой будущего своего зятя, жалобно улыбнулся и молитвенно сложил на груди руки.

— Василий... — жалобно вымолвил он.

— Фу, как ты меня напугал! — натурально отпрянул князь.

— Амальхен... — простонал немец имя дочери.

Растебаев замахал было руками, но поздно: словно вызванный на сеансе дух, в комнату влетела черной птицей невеста и неотрывным образом прилипла к жениху. Она рыдала.

— Свадьба! Фатер! Свадьба! О, майн гот!.. — вот те слова, что горестно рвались сквозь горькие рыдания.

— Какая свадьба! — в сердцах воскликнул князь, быстрым, цепким взглядом пробегая комнату.

Горы денег, разбросанные векселя, итальянцы, скороходы — все это было мгновенно учтено и оценено. Он даже чуть скосил голову, заинтересовавшись одним из эскизов.

— Фатер! Фатер! — не умолкала дочь.

— Приданое! — прижал Глюк к груди. — Все отдам!..

— Приданое... — усмехнулся Растебаев, вновь — в который раз — прикинув в голове богатство будущего тестя, что сделало его усмешку горькой.

— Фатер! Фатти!..

— Какое приданое... Чтобы все потом: «Ах, это тот, тот самый князь Растебаев, который женился на дочке чучела?» Уволь...

— Какое чучело? Что? Почему я чучело? — обиделся Глюк...

— «Какое, как, что, почему»... — удивился князь. — Ты что, не знаешь?.. Ах, мошенник! — глянул от в сторону ушедшего бригадира. — А сказал: «Готово»... погоди! — Ему наконец удалось вырваться из объятий своей невесты.

Он зашагал по комнате. Остановился у окна. Приотдернул шторы. Затем заговорил негромко:

— Приданое... Конечно, некоторые обстоятельства могут тут вселять некую надежду, если бы уверенность, что произнесенное обещание, с понятной для бедной жертвы горячностью, не будет потом...

— Все, все отдам! Клянусь... — вновь возопил банкир.

— «Все, все»... Что значит «все»? — не отворачиваясь Растебаев от окна.

— Все! Весь мой капитал... Драй миллионен, — для убедительности он показал три пальца.

— Не в деньгах счастье...

— Я знаю, знаю... Мюллер! Норберт!

Объявился Мюллер. Глюк суетливо достал из бюро какие-то бумаги.

— Свадебный контракт... роспись приданого... переделай срочно... не все... то место, где сумма... — Глюк шепнул ему что-то на уху.

— Драй?! Теодор! — изумился Мюллер.

— Шнель, шнель, битте!

Мюллер вышел. Глюк подвел Амальхен к князю, как бы вновь их соединяя.

— Дети мои...

Но Растебаев не возжелал участвовать в благостных семейных композициях и нервно заходил по комнате.

— Злодеи, каннибалы... Из живого человека... — все не договаривал он главного, — ...но есть, есть тень надежды... сейчас соображу... как лучше подступиться-то?.. Чтоб не испортить, а помочь... Ты понял, про кого я?.. — наемкнул он Глюку, пальцем сделав свой нос курносым, а глаза чуть выкатив.

Глюк ахнул радостно, засуетился, крикнул:

— Норберт! Шнель...

— Да... сейчас поеду... — все не уезжал Растебаев, — ...кто как не он... конечно... но какое варварство...

Вернулся Мюллер. Глюк суетливо просмотрел документ, поставил подпись. Но князь не уезжал. Он все ходил по комнате, как бы ничего и не замечив.

— ...Какое злодеяние... из живого человека, из иностранца сделать чучело и представить... Как ты пережил?

Глюк тихими шагами заворуженно шел ему навстречу.

— Что, ты не знаешь?! Амальхен, объясни отцу.

Прелестная Амальхен со стеклянным взором воззрилась на него, потом на фатера...

Тогда Растебаев повторил новость по-немецки. Последнюю фразу дважды подчеркнул: «Нах драй таген, нах драй таген...»

И показал Глюку три пальца в растопырку. Амальхен, зажав ладошкой крик, бросилась вон.

По глазам Глюка было видно: сознание его остановилось, разум отлетел, он уже не видел и не слышал. Он рухнул на колени и оказался в предельно натуральной позе кающегося грешника.

— Беллissimo! — закричали художники, схватив карандаши.

Зашумели немцы, кинувшись было поднимать хозяина.

— Но, но, момент! — не подпускали их итальянцы.

Растебаев окинул взглядом немцев, итальянцев, разбросанные на столе стопки денег, бланки, свадебный контракт. Затем убрал в бюро деньги и бумаги и замкнул его на ключик. Поиграв ключиком, рассеянно опустил его в карман.

— Ну за дело! — решительно возгласил он и захлопал в ладоши: — Эй, кто там! Фриц, Франц, нет, лучше Мюллер!

В комнату влетела растрепанной фурией супруга Глюка и страшным взглядом устремилась к поверженному мужу.

— Я попытаюсь, фрау Глюк! — заверил ее Растебаев. — Я сделаю все возможное. А ты за мной! — бросил он Мюллеру уже на ходу.

Едва Растебаев со своим спутником оказались на улице, как взорам их предстала картина куда как отменная: все окрест было заперто экипажами, а добрая сотня пеших зевак алчно шмыгала глазами по окнам Глюкова дома. Гул стоял, как в красный день на ярмарке. Люди из ведомства Глазова тщетно пытались навести порядок. Вновь прибывающие живо вонзались в гущу слухов: — Да, уж известно: корону украл, камешки выковырял... в дом заманивал... и битте-дритте... целые корабли с порохом — и под церкви... а вино все отравленное... распоясалась немчура... да турок, турок он переодетый, лазутчик... — И — эх! — понеслись извозчики по столице. — Уж на что Иван Васильевич жив был умом, а Катерина Алексеевна переплюнула!.. Что рот разинул, немецкое чучело? Говорят тебе, сахару головку давай да сыру... — Верю, — глядя в лорнетку, — ибо абсурдно... — Это знак, знак нашему бра-

ту, купцу.— А чем набьют? — играя в покер.— Как чем? Золотом, он же банкир.— Ха-ха-ха, остроумно и вовсе не обидно.— Я вам запрещаю, сударь, распространять столь мерзкие слухи о государыне!..— Чучело? Се дю моветон, не верю...— Не верите, потому как ново, а все новое...— Ваше сиятельство! Я вынужден уведомить Берлин. Сей акт враждебности и открытого вызова может означать лишь разрыв меж нашими державами. Все это чревато военными последствиями, а также нарушением коалиций и равновесия в Европе. Я давно уже замечаю, что козни австрийского, а вкупе с ним и английского дворов начинают приносить свои ядовитые плоды...— Ну что ж, что немец, он же человек, как же можно...— А нельзя ли вернее узнать? — за обеденным столом.— Плиний хотел осмотреть дымящееся жерло Везувия, но любопытство стоило ему жизни...— Очнитесь, вольности сыны! — вскочив на стол в трактире.— Сметем ханжу и людоедку! Айда громить немецкий магазин!..— Ну что ж, все мы смертны и принуждены гнить в земле, но лишь избранным выпадает доля донести свой натуральный облик до далеких потомков. Пример тому — египетские мумии...— О, майн гот! Нужно торопиться! В этой чудовищной стране нам всем...— Давно было примечено и сказано, что люди настоящим недовольны, почему? Потому что воображение превзойдет всегда существование. Понятие о совершенстве и сравнение сего понятия с действительным состоянием, каково бы оно выгодно ни было, оставит всегда свет в недовольстве и роптании, но к заключению сему не пристанут люди, сравнение вещей делающие на обе стороны и с тем, что они могли быть, и с тем, что они суть и были...— Но что за причина такой дикости? — поразился великий князь Павел Петрович, наследник престола.

Растебаев сокрушенно вздохнул и отвел глаза.

Цесаревич настороженно вскинул брови.

Растебаев быстро, испуганно вдруг глянул на него и тотчас спрятал взгляд.

— Ну! — вскрикнул великий князь, гневаясь уже.

Растебаев помедлил немного, затем решился и смело воззрился на цесаревича.

— Устрашение, ваше императорское высочество.

— Чье устрашение? — грозно спросил Павел.

— Вас, ваше императорское высочество.

Цесаревич побледнел, оцепенело глядя на князя.

— Заем,— осторожно напомнил тот.— От Глюка.

Павел порывисто вскочил с кресла.

— Ну и что — заем?

— Государыня подозрительна, она недаром держит ваше высочество в черном теле. А тут сразу полмиллиона не от нее и даже мимо нее.

— Откуда узнала?

Растебаев тонко усмехнулся и пожал плечами.

Цесаревич заметался по комнате.

— Это не все. Я жених дочери Глюка и приближен к вашему высочеству. Следственно, в дальнейшем — тесная связь с крупным капиталом, как мы и думали.

Великий князь рванулся к окну, но в стремительном сем полете был так же стремительно вдруг оборван.

— И это не все,— значительно сказал Растебаев и в следующее мгновение увидел прямо перед собой лицо Павла.— Глюк — масон.

— Как?!

— Был посвящен одновременно с вашим высочеством в ложе «Гранд Ориент».

— Да?..— Павел как бы приятно удивился, но тотчас ужас черной тучей затмил его лицо. Дико и невидяще глянув сквозь князя, он вдруг исчез. Взгляд Растебаева обнаружил его уже у дальнего окна. Мельком глянув в окно, Павел увидел мирно марширующих гатчинцев — свой единственный, игрушечный и потому дозволенный полк, одетый на прусский манер. Но вихрь, бешеный вихрь, налетев, тотчас смел его, раскидав замертво по парку. Потрясенный взор цесаревича вернулся в комнату, но не было, не было ее уже, а был каземат, палачи, несчастный Алексей под пыткой и великий прадед, бесстрастно ждущий признания непокорного сына. Павел, дико вскрикнув, оказался уже у двери.

Растебаев острым и цепким взглядом мелькнул следом. Он сидел — он знал, что кончится это нескорю, но был настороже.

Цесаревич захрипел, посинев лицом... о, эти ненавистные рожи душевателей его отца! Перевернутый обеденный стол, мгновенная борьба, Орлов Алексей, убийца, чугунными коленями давит на тщедушную грудь Петра Третьего, князь Барятинский тянется с салфеткой, юный Потемкин, кто еще... Теплов...

— Попляшете уж! — захлебнулся криком Павел Петрович, трясаясь от страха.

Лицо Растебаева заострилось и напряглось — в помине не было уже великосветского оболтуса, а был игрок отчаянный и мудрый.

Павел же исчез. Где он?.. Ага — чуть скрипнула чуть приотворенная дверь, и в этой щели глаз горящий, жадно впившийся в... мумии подобного не человека уже — тень человека: лицо, как маска — ни кровинки, ни выраженья, не голос — мычанье. Блеклый

анемон, взращенный двадцатью годами тайной шлиссельбургской неволи. Но и там он мешал, забытый император, свергнутый в младенчестве, и там засверкали шпаги, и ужаскинул сумасшедшего Иоанна Антоновича к сырому камню стены... Спиной к стене прилипнув, мыча нечленораздельно, Павел тиглился вжаться, исцезнуть в ней, но стена не пускала внутрь... Одно оставалось: руками, ногами, спиной — вверх по стене... выше и выше...

Растебаев пружинисто вскочил, бросился к Павлу... Но тот уже был в углу комнаты, с тихой благостью молился в этот угол, в монашеском одеянье... Черт, морока! — в каком монашеском — в мундире своем обычном... полуборотился в безобразно курносый свой профиль и закаменел, как на медали...

Растебаев взял его за руку, Павел вскрикнул, закрыл глаза и неуверенным шагом слепца пошел, ведомый своим поводырем... Тьма... Скрип двери, гром запоров и за ними — тишина... Павел, одетый в черное, скинул с глаз повязку и увидел себя среди черных стен мрачной пещеры. При слабом свете лампы глаза его встретили мертвую голову и близ нее развернутую Библию на бархатной подушке... Явился человек с обнаженным мечом, на шее голубая лента с золотым треугольником. «Какое намерение ваше, вступая в собратство вольных каменщиков?» — важно спросил он по-французски.

Павел раскрыл было рот и вдруг увидел прямо и строго смотрящую на него Великую свою мать!.. Он заметался, но тщетно — она была везде! С портретов... из мрамора... из бронзы... — отовсюду холодно и мрачно следила она за ним. Павел возник у зеркала, но и в нем вместо самого себя ее увидел.

— Ненавижу! — захрипел он и яростным ударом расколол отображенье. Растебаев, вовлеченный в эту круговерт, вместе с цесаревичем совершал уже сии невероятные перемещения в пространстве, возникая то в одних покоях, то в других... Заглядывая в обезумевшее лицо патрона, он шептал, быстро и жарко, — шепот этот, не исчезнув еще в одном пункте комнаты, продолжался уже в другом, множась и пьяня... — Пусть, пусть, пусть чучело... слух кометкою... все вздыбится, потрясение в умах... тиран, упырь и кровопийца... пусть, ей же хуже... гвардия, я позабочусь... есть люди верные... Вольтер плюет в конвент и посылает... Дидро проклянет... Фридрих, война... все взоры к нам, к вам... переворот...

...Страшно закричал зарезанный слухач с огромными ушами... с жутким, перевернутым от ужаса лицом с подушек поднималась Екатерина...

Наваждение разом кончилось, и потрясенный Павел рухнул в кресло. Взгляд его

застыл. Князь Растебаев достал платок и вытер свое красное, мокрое от пота лицо. Чуть помедлив, сказал:

— Ваше императорское высочество, пришла пора решений...

Павел молчал — он возвращался к яви.

— Вот этот ключик три миллиона стоит. Или я женюсь, и тогда мы получаем деньги и спасаем немца, иначе как я их получу, или...

Цесаревич сомнамбулически протянул руку и взял ключик. Взор его был ясен и холоден. Помедлив мгновение у порога исторического решения, он ключик проглотил. Растебаев налил вина и протянул ему бокал. Павел сделал два глотка и молвил:

— Вот мой ответ.

— Я понял: значит, чучело и...?

— И!

— Благослови нас всех, Господи!

Пока Растебаев шел по длинным переходам Гатчинского дворца, шаг его твердел все более, лицо приобретало новые черты — то шел, быть может, новый властелин империи, если и не коронованный... а впрочем... Романовы, Романовы... А почему не Рас... Ну там посмотрим — ждать недолго.

Но к человеку Глюка, что ждал его в полутьме передней, он вернулся в обычном своем облике: чуть бонвиван, чуть светский денди, но деловой, сердечный...

— Вот что, Мюллер... — Растебаев огляделся, — можно надеяться на поддержку, — тихо и таинственно проговорил он, — ближайšie же дни... Но это тайна, ясно? Пока пусть готовится...

Немец впал в недоумение. Он собрался было что-то прояснить в сем малопонятном и противоречивом известии, но князь остановил его отпускающим движением руки.

— Иди, иди, милочка. И будь нем как рыба.

В полутемной, затененной шторами спальне Глюка трепетали, вяясь благоуханными дымками, свечи. Трепетали они от движения воздуха, производимого небольшим скорбным хором мальчиков, койи, спрятанный в темный угол спальни, наполнял последнюю торжественной, распевной латынью: шел обряд последнего соборования.

Родные, близкие, друзья обреченного траурными рядами окаймляли ложе, на котором со сложенными на груди руками покоился хозяин дома с отстраненным, может быть, даже с унесенным уже в иные миры взглядом.

Католический священник с тихой молитвой на устах совершал послеисповедальное помазание: клал крест на глаза Глюка,

уши, нос, рот и далее — на руки и ноги... Возле ложа на белой скатерти стола стояли сосуд со святой водой и меж двух свечей — распятие.

— Благодаря этому святому помазанию, — говорил священник, смазывая елеем лицо и тело Глюка, — и благодаря милосердному состраданию Господа нашего всеблагого, да простятся тебе все грехи, вольные и невольные. Амен...

Окаменелые до сего момента жена и старшая дочь несчастного, а за ними и все прочие вдруг повернули разом головы в сторону двери, где стоял только что прибывший из Гатчины Мюллер. Глаза его были полны слез, и он поторопился опустить их долу. Последняя надежда угасла в женских взорах, и они поникли окончательно.

— Господь не велит нам терять надежду, — вернулся с тяжким вздохом к своему делу священник. — Так будем уповать на милость его беспредельную...

— ...Светлейший и единственный, кто великостью своей и размахом соразмерен с пространством империи, присоединитель Крыма и Кубани, основатель и соорудитель победоносных флотов, победитель сил турецких на суше и на море, прославивший оружие российское в Европе и Азии, основатель и устроитель многих градов и деревень, покровитель наук, художеств и торговли, муж, украшенный всеми добродетелями общественными и благочестием личным... — вкрадчиво и медоточиво тек мужской голос.

Белое полное лицо, растрепанные волосы над выпуклым лбом, чуть вниз, с каким-то застывшим вниманием смотрящие глаза. Светлейший князь Потемкин собственной персоной, Григорий Александрович.

— Иди к мужу пока, — тихо сказал он.

С его колена, отставленного в сторону, воздушно поднялась первая красавица столицы княгиня Долгорукая. Светлейший сидел в просторном бухарском халате, босые ноги его привычно покоились в шлепанцах. Перед ним находился мраморный столик с золотыми и серебряными шахматными фигурками, а также индус в чалме по иную сторону стола. Индус играл серебром.

— Анютку оставь, — сказал светлейший вдогонку княгине.

Та вернула ему большую куклу с детским лицом и завораживающей улыбкой, которую он тотчас усадил на освободившееся колено.

— ...Святая римская церковь, — ни на миг не прекращался голос, — с восхищением следит за вашими деяниями, покоренная тем, как вы, премудрый поводырь мудрой самодержицы, неустанно спешест-

вуете процветанию державы вашей, твердой рукой ведя ее из славного прошлого в великое будущее...

Князь сделал ход золотым конем и встал во весь свой голиафский рост.

...Перед ним была преобширная его гостиная, наполненная множеством людей: вельможи, генералы, купцы, англичане, французы, шведы, датчане, персы, грузины, калмыки и татары — кого здесь только не было. Обеденные столы, украшенные всевозможными композициями из цветов, походили на огромные клумбы, где наряду с изысканными творениями кулинарного искусства пребывали во множестве и вина самых отменных достоинств. Меж обеденными располагались и карточные столы, где процветали азартные игры.

Индус, мгновенно оценив положение на шахматном поле, повалил своего короля, показав тем самым, что сопротивляться более не намерен.

С куклой в опущенной руке двинулся Потемкин меж столов. И тотчас оживленнее зазвенело столовое серебро, замелькали руки с картами, встрепенулись пудренные парики, ярче засияли звезды орденов.

— И стáтью и духом своим равняюсь Великому Преобразователю российскому, — тенью поплыл за ним человек в черной сутане — профессор Священного Ордена иезуитов, — кой первым обратил свой взор на Запад, ведая, что только силой, культурой и умом Европы можно пустить в плавань сей грандиозный корабль. Европы, от себя добавлю, вскормленной святой латинской церковью...

Князь лишь на мигновение призадержался у столов, время от времени любопытствуя ходом игр и аппетитом гостей. В эти мгновения в поле его зрения являлись фокусники и иллюзионисты, ненавязчивым образом демонстрируя свои невероятные штуки.

— ...Мудрые кормчие нынешней России да не преминут воспринять с благодарностью сей завет Преобразователя...

На миллиарде рьяно заработали высканые и тщательнейшим образом натасканные мастера: кии и шары при скорострельных их ударах таяли, казалось, в воздухе.

— ...Благо первый шаг сделан уже был. По прибытии своем сюда Екатерина, справедливо именуемая ныне Великою, столь же решительно, сколь и прозорливо отронила от себя предательское лютеранство и смело перешла в православный собор, кой есть единоутробный брат собора римского. Воистину мудрость направляет ее стопы!.. Теперь, дав католичеству права гражданства в новоприобретенных западных краях импе-

рии вашей, она делает следующий шаг в сторону великой цели...

Едва князь, достав свободной рукой из кармана халата и нюхнув табак, отвернулся, как из сонма гостей вынырнули певцы и плясуны-искусники — солдаты, наряженные в мужиков и баб и заголосили-завертели что-то простонародное. Присутствующие иноземцы дружно захопали в такт и запритопывали.

— ...Мир страдает от разделенности веры, — приблизилась вплотную сутана, — и объединение христиан — вот высочайшая миссия первосвященника римского, доверенная ему Вседержителем...

Потемкин сунул куклу иезуиту, обнял бабусолдата — ублажил, стервец! — и смачно поцеловал его. Затем, сделав несколько шагов, он оказался у шатра из золотистого шелка, куда и изволил исчезнуть. И тотчас нежный голос скрипки слился с серебристым женским смехом. Професс вознамерился было следом, но выросший перед ним человек вонзился в него особым пронизывающим взглядом, затем сделал рукой плавное, уверенное движение около его головы, чем и превратил католика в некое подобие шагающей скульптуры с куклой в руке.

— ...Могущество святого престола, — механически продолжал иезуит, — обнимает обе Индии, Африку и Азию, половиною... этой... Америки... — заспотыкался, скисая, увещеватель, — ...теперь оно достигнет до Камчатки... — лицо магнетизера оказалось совсем рядом, — ...и Российской Америки... — на чем католик и замолк.

Очнулся он в другом месте потемкинского дома. Плыли волшебные звуки флейты... Светлейший, стоя со скрещенными на груди руками, глядел на индийского заклинателя, сидевшего на ковре, на его кобру, потом перевел взгляд на столы, окаймлявшие ковер, на разложенные на них во множестве стальные изделия тульских оружейников. Заинтересовался. Купцы, стоявшие чуть поодаль, подвинулись ближе. Указывая перстом, князь принялся отбирать понравившиеся ему вещицы.

— Госпожа Камера, родом из Мальты, — шепнули ему на ухо.

На мгновение оторвав взгляд свой от стали, он узрел в дверях женщину невиданных размеров с двумя детьми.

— Будет показывать превосходную силу свою следующим образом: становятся на тело ее столько человек, сколько поместиться могут, кладут наковальню ей на грудь и куют, во время чего она берет рюмку с вином и пьет за здоровье всей компании. Мальчик осьми лет будет корпусом своим такие движения делать, которые здесь еще никогда дотоле не виданы. Девочка шести лет...

— Давай, — кивнул князь и, взявшись за торчащий изо рта подвернувшегося артиста эфес шпаги, выгнул ее целиком.

— Опять из моей коллекции? — нахмурился он. — Своих мало?

Когда светлейший был уже в дверях, голос иезуита возобновился вновь.

— ...Царь всех царей — папа римский с большою смотрит на детей своих в Польше, все беды которых происходят от слабости польского престола...

Дверь открылась в светелку, полную девицами, кои блистали как красотою, так и разнообразными цветовыми оттенками кожи, вплоть до самого шоколадного. Каждая из них, будучи привержена особой своей нации, занималась свойственным данной нации рукоделием. Одни прями на прялке, другие расшивали рушники, третьи сотворяли ковры бухарские... Играли также на арфе, плели из соломы и многое чего еще делали... При виде князя все зашебетали радостно и, отсочив от своих занятий, бросились к нему.

— Король польский Станислав-Август излишне чувствителен и подвержен всевозможным внушениям... — у иезуита, попавшего вместе с князем в прелестный плен, голова несколько закружилась от обилия впечатлений. Когда же плен окончился и щebetуньи вернулись к своим занятиям, он обнаружил вдруг, что светлейшего нет в светелке. Он кинулся следом и, отворив очередную дверь, оказался в партере домашнего театра.

На сцене была представлена живая картина самых свежих времен, а именно один из фрагментов победоносной турецкой кампании. В самой гуще яростного боя высился верхом на белом коне сам светлейший в фельдмаршальском мундире с грозно простертым высь мечом... Но вот меч сверкнул, опустился, и все турки попадали замертво.

В тот же миг грянула роговая музыка, спрятанная по всему театру, и тучи, грозно клубившиеся во время схватки, сначала просветлели, а затем и растаяли от нестерпимо жарких лучей. Над сценой, все выше и выше в небо, поплыл солнечно сияющий лик Екатерины... Таким же невидимым и таким же громоподобным образом вступил хор:

Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый Росс!
Звучной славой украшайся:
Магомета ты потрес.
Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам мать!..

Професс Священного Ордена, бывший единственным зрителем сего зрелища, захлопал в ладоши.

— Ну будя,— сказал Потемкин, и музыка с пением прекратилась.— Перекусите пока до вечера.

Все балконы тотчас заполнились певцами и музыкантами с духовыми рогами разного калибра.

Сцена же, когда на нее глянул католик, была пуста...

Вышедши в накинутаой поверх халата исполинской дохе на двор, Григорий Александрович прищурился от яркого по-весеннему солнца.

Кибитки, живописным хороводом выстроенные на снегу, вдруг ожили, и целый табор молдавских цыган отчаянно ринулся в песню и пляс.

— Сегодня не согдится,— молвил князь.

Цыгане, потеряв голос, но от куража еще чуть посучив ногами, исчезли.

— ...Король Станислав-Август излишне чувствителен и подвержен всевозможным внушениям,— напомнил тему вновь явившийся за спиной Потемкина иезуит с куклой в руке.— Только человек, подобный вашему сиятельству, а проще говоря, вы и при нашей поддержке, в коей нет смысла сомневаться, могли бы поставить эту страну на твердые ноги, возглавить ее, а вместе с ней и новую, единую и великую Европу!..

Все обширное пространство двора помимо цыганских кибиток было заставлено всевозможными возами, подводами, санями, с которых шла непрерывная разгрузка бочек, ящиков, мешков и которые все прибывали и прибывали... Вот зеленая гора арбузов, вот желтая — дынь...

Светлейший поднял взор свой чуть выше, и по мановению взора его со снежных катальных гор веселой чередой покатались сани с празднично разряженными молодайками и молодцами, зазвенели удалые песни. Путь их сверху вниз напоминал аллею, уставленную по бокам античного толка скульптурами изо льда. Многие герои и атлеты от яркого солнца начали уже плавиться, с могучих дланей открылась капель.

Григорий Александрович озаботился.

Тотчас к нему подвели под руки полуслеплого старца.

Означенный старец, подошед, внимательнейшим образом обнюхал воздух со всех сторон света, задумался.

Князь пытливо ждал.

— К вечеру приморозит,— молвил наконец старец.

— Точно? — прищурился князь.

— Чую.

— Ну гляди...

И светлейший пошел меж возов.

— ...Перст Господень указывает нам на земной Олимп, глас Господень предсказует судьбу невиданную.— Иезуит, в противность

античным атлетам, все более ощущал свежесть, нежели тепло петербургской весны.— Лишенный влияния прежнего, недобровольно в тень отошедший, не посетуйте на свое положение нынешнее. Не знаящий падения, не насладится взлетом...

Возле одних саней князь приостановился.

— С Урала, батюшка,— открыли в санях бочку, полную до краев красной икрой.

— Астраханские прибыли? — спросил князь.

Тотчас возле него взметнулась указующая рука в сторону мужиков с осетрами на плечах, по три плеча на рыбину.

— ...Незримо следящие за каждым движением вашим, низко склоняем головы перед достоинством, проявляемым во дни холодности к вам затянувшейся. Мы ждали дня, и он настал...

У других саней Потемкин запустил руку в бочку и захрустел огурчиком, до коих был великий сластец.

— ...День этот впишется в судьбы земных народов,— продолжал чуть посиневший уже от холода католик.— Сегодня утром владетельница престола российского, обмороченная нехристями, безбожниками и вольнодумцами французскими, приняла роковое для судьбы своей решение...

— А вустрицы где? — вдруг грозно спросил Григорий Александрович.

Но по двору летел уже взмыленный конь...

Возле светлейшего, дико всхрапнув, встал он на дыбы, и всадник, не менее взмыленный, сверзился на снег.

— На подъезде... В двадцати верстах,— доложил он, едва дыша.

— ...Пожалею ее и помолимся... Господь щедр, но и человек ответствен... — не умолкал иезуит.

Князь, будучи уже в конце двора, лишь мельком глянул на проплывшие мимо ноги африканского слона и шагнул в черноту распахнувшейся пред ним двери.

Впрочем, чернота в сем просторном помещении оказалась не повсеместной: тут и там платки и факела выхватили на свет среди летающих по воздуху перьев множество подвешенных на крюках освежеванных туш, меж которых всю кипела предкухонная работа. Быстро мелькала сталь, и всевозможные шкуры и рога опали на пол, в считанные мгновения теряли под ловкими руками свое оперение глухари, рябчики, фазаны, гуси и прочие, кто его имел. В просторной сети билась туча голубей, а в огромных кадушках кишели, ожидая своей участи, раки и лягушки.

— Наши? — заинтересовался князь насчет лягушек.

— Марсель! — уважительно молвил кто-то.

Светлейший шел неспешным шагом, зорко поглядывая — не упущено ли чего — по сторонам.

— ...Святая инквизиция шла на жертвы во имя и во утверждение веры,— и здесь не сникала сутана,— но и в те горькой памяти времена не рождались столь изощренные формы. Тогда очищали огнем, теперь набирают опилками. Прежние ваятели знали камень, дерево и металл, теперь дошла пора и до кожи. О, времена...

Следующая дверь открылась в преисподнюю: сколь хватало глаз, все здесь горело, дымилось и парилось. Печи, вертела с целыми тушами, гигантские котлы — все это булькало, трещало, плевалось огнем; сотни поваров и поварят, словно сотни переодетых в белое чертей, самым деятельным образом сновали повсюду, что-то сыпали, пробовали, украшали зеленью, воздвигали торты в виде замков, подавали команды на всевозможных языках. В ароматном чаду плыли уже на вытянутых руках огромные блюда с готовыми кабанами, лосями, белугами. Эти древнерусские лакомства соседствовали с изощреннейшими изобретениями лучших кулинеров Европы и Азии. И везде светлейшему докладывали по-французски названия блюд, весьма порой заковыристые. Но если князь в халате своем не чувствовал здесь никакого стеснения своему здоровью, то иезуит, будучи в шерстяном наряде, скоро начал раскаляться в сем пекле.

— ...Страдалец-немец, из коего живого сегодня утром высочайше приказано набить чучело, по канонам христианства становится мучеником, а по статье тридцать восьмой конституции Священного Ордена иезуитов, замечу а пропо, приобщается к лику святых. Соответственно мучитель, не хочу вслух называть имени его, рядом с Тамерланом, Калигулой и Нероном, приторачивается к позорному столбу истории и лишается любых надежд на бессмертие духовное...

Католик, обликом своим напоминающий уже зрелый помидор в утренней росе, узрел наконец предел сей бани, а вместе с ним и конец своим мучениям.

— ...Однако дело еще не сделано, а время есть. Глава Ватикана, представить коего берусь в сей роковой момент, вручает в руки ваши судьбу истории. Решайте: погубить несчастного или спасти, а вместе с ним и ту, которая стоит сейчас на краю пропасти. Решайте... Остаться в отчуждении или восстановить свое влияние, вернуться к власти и в ней упорчиться... Пробил час! Я вам принес все козырные карты. Ваш ход. Игра невиданна!.. Соединим же наши силы и заложим первый камень в основание вселенского собора объединенных Римом христиан. Крест и воля! И вместе будем пра-

вить миром. Для этого все средства хороши!

Завершив этой тирадой свою речь, иезуит нырнул вослед Потемкину вон из кухни и оказался в небольшой и прохладной, в голландском кафеле и венецианских зеркалах умывальне.

Сбросив халат и склонившись над медным тазом, князь кивнул на медный же кувшин, полный воды.

Католик косо глянул в зеркало и увидел себя, апостола Ордена Игнатия Лайолы, красного и мокрого от пота, с проклятой куклой в одной руке и с кувшином в другой, увидел себя покорным прислужником у русского паши. Он горько усмехнулся, поливая умывающемуся князю. Но это полбеда, другая же, главная, состояла в том, что он действовал чересчур рискованно, влезая в чужие и очень странные дела, и, начав с одного, зацепил и другое, вопреки всякой стратегии, выложив все разом и выдав себя с головой, со всеми своими амбициями... Но упустить момент тоже было нельзя...

Продолжая поливать склонившемуся князю, он вдруг увидел в руке того глаз, обычный человеческий глаз голубого цвета, смотрящий на него черным зрачком своим и видящий, казалось, насквозь. Светлейший тщательно промыл его и вернул на место. Только тут вспомнил иезуит, что Потемкин крив.

— Так как, говоришь, зовут сего немца? — спросил князь, утираясь полотенцем.

— Глюк, ваше сиятельство.

Шагом твердым и стремительным, не допускающим никакого прекословия, шел генерал-фельдмаршал российских войск светлейший князь Потемкин-Таврический по Зимнему, и двери распахивались перед ним... Тем же не ведающим сомнения маршем миновал князь зеркальную и, не обернув гордо вскинутой головы в сторону растерянных сановников и секретарей, распахнул дверь в кабинет.

Государыня, работавшая за своим столом в очках и с пером в руке, вздрогнула и глянула изумленно и довольно холодно.

— Я не понимаю, князь... — жестко начала она.

— И я не понимаю, матушка! — перешел в атаку светлейший. — Вы, верно, решили отлучить меня от дел, что ж, ваше право. Но в сем деле я молчать не буду!

— Что за тон, князь! — вспыхнула императрица. — Какое такое дело?

— Как — какое?! — вскричал Потемкин. — Да то самое, о чем весь Петербург трубит! И о коем я узнаю последним!..

— Что за чушь вы городите, милостивый государь! — начала гневаться монархиня. — Уж трезвы ли вы?

— Как? — дрогнул все же князь и проклял в душе своей лживого иезуита. — Разве не вы велели нынче утром Глазову чучело набить из Глюка?

— Ну велела, так что?

— Как — что?!

— И сия безделица суть причина вашей выходки? — императрица хлопнула в ладоши два раза.

Явился камердинер.

— Где Федор Севастьяныч, где Глюк? — строго спросила самодержица.

— Прошу, — скользнул тот в сторону боковой двери.

Разгневанная императрица и озадаченный Потемкин последовали за ним.

На зеленой лужайке зимнего сада стоял окруженный живыми цветами небольшой гробик, обитый розовым шелком. В гробике лежал белый пудель. Рядом где-то приглушенно выли дворцовые звери, на ветвях деревьев ахали попугаи.

— Я же приказала чучело! — растерянно сказала Екатерина Алексеевна, пораженная таким скандальным неповиновением. Камердинер стал блее мела.

— Какое горе! — сказал попугай.

Потемкин вдруг громоподобно рассмеялся.

Императрица глянула на него гневно, до глубины души уязвленная таким кощунством — смеяться над гробом ее любимца. Потом взгляделась в Потемкина внимательнее. Светлейший был умен, он знал свои границы, выйти за которые никогда не пошел бы. Так в чем же дело?

Князь же начинал уже рвякать, заходясь в хохоте.

И тут ее осенило. Она тоже рассмеялась. Смех ее по мере того, как она проникала в комичность ситуации, вспоминая все, что сообщил Потемкин, делался все безудержнее.

В кабинете уже, кончив смеяться, Екатерина утерла наконец слезы.

— Что, правда переполох в столице?

— Ого!

— Так почему эти олухи молчали?

— Боятся.

— Ну что же, князь, благодарю за смелость. Твоя прямота в сем деле — лучшее доказательство честности и преданности... в которых я и не сомневалась.

Потемкин усмехнулся — он сыграл-таки свою игру.

Покончив с объяснениями, императрица громко спросила:

— Где этот дурак обер-полицеймейстер?

В дверях кабинета возник Глазов.

— Докладывай! — приказала государыня.

— Все необходимые приготовления произведены, ваше величество! — отпартовал

бригадир. — Осталось лишь утвердить проект, составленный наилучшими мастерами изящных искусств, который, по высочайшему утверждению, и будет незамедлительно пущен в ход.

Глазов развернул проект, рисованный и, правда, весьма искусно. На нем был изображен грот, завешанный падающими водяными струями, за которыми угадывалась фигура коленопреклоненного Глюка.

— Объемное изображение или лучше, как ваше величество изволили сказать, чучело преступника будет помещено в сем гроте в позе кающегося грешника. Си струи воды суть слезы, коими не выплакать его страшное преступление. Место гроту будет назначено по соизволению вашего величества.

— Ну как? — обернулась Екатерина к Потемкину.

— Изрядно, — согласился князь.

— Вот результат твоей шутки, Лев Александрович, — строго сказала монархиня.

— Мои шутки порой бывают жутки, — хохотнул Лев Александрович Нарышкин, обер-штальмейстер и давний приятель государыни, невесть откуда здесь взявшийся.

— Вам шутки, а мне расхлебывай, — горько сказал Никита Иванович Панин, канцлер, возникший таким же манером. — Послы как взбесились — требуют ответа: верно ли война с Пруссией?

— Ну ты, братец, му... чудак! — удивился Нарышкин Глазову. — Что это ты о государыне, доброй матери нашей, помыслил? Ну подарил немец кобелька, ну назвали его именем сего немца, ну пошутили славно, а ты...

Все вдруг понявший Иван Фадеевич Глазов со стоном грохнулся на колени, чем живо напомнил всем свой собственный проект.

— Поднимите его, — сказала государыня.

Затем протянула в сторону руку свою, в которую тотчас был вложен орден. Подойдя к бригадиру, она прикрепила сей орден на обер-полицеймейстерскую грудь.

— За безупречную службу, — серьезно глянув в лицо Глазову, молвила она.

— Теперь беги, — сказал Потемкин Глазову, — проси прощения у немца.

Глазов устремился было к двери, да вдруг и притормозил: спасительное, выработанное годами чутье заставило его оглянуться на государыню.

Тяжелая усмешка каменила ее лицо.

— Беги, беги, — язвительно хохотнул Нарышкин. — И передай: мол, ее величество мечтает на колени пасть перед его ничтожеством — авось да простит.

Обер-полицеймейстера кинуло в жар при мысли, что он вот так запросто и сдуру

едва не лишился новоприобретенного ордена.

Нарышкин оборотился к вмиг помрачевшему Потемкину и расплылся в самой добродушной улыбке.

— Помилования пусть молит, помилования, Григорий Александрович, любой не без греха небось, а? Ну а уж мы так и быть и снизойдем.

— А дабы искоренить вредные слухи, — молвила самодержица, — велю представить мне немца нынче же у тебя на балу. Придется ехать, — сказала она, едва улыбаясь и смотря прямо в глаза светлейшему, — а то ведь не хотела... А бал в чью честь?

— Так, безделица, именины,

— Чьи?

— Племянницы.

— Которой?

— Вареньки.

— А, помню, весьма мила...

Потом, не глядя уже ни на кого, государыня выпрямилась и обратилась сквозь стены кабинета, сквозь стены Зимнего ко всей своей обширнейшей империи:

— А дабы подобного впредь не происходило, повелеваю издать указ...

Тотчас объявился скорописец.

— ...На всем пространстве Российской империи отныне и навеки запрещается давать собакам, кошкам и прочей живности человеческие имена!

Это была точка в сем деле, после которой все исчезли.

Один Потемкин с неподдельным восхищением смотрел на императрицу.

Еще более распрямившись, она подошла к окну. Когда она обернулась от него, князь въявь увидел сияющий нимб вокруг ее чела.

— Да, велика! — восторженно выдохнул он.

Траур, глубокий траур царил в доме Глюка, когда в него ворвался крайне возбужденный обер-полицеймейстер со своей свитой. Траурны были лица прислуги, траурен полумрак гостиной с занавешенными черным зеркалами, траурно перекусывали препараты возле разложенной на столе страшной своей стали. Даже один из белых ангелов Ржевского был теперь в черном, ласково тем не менее поводя ваткой под носом откинутого в кресле президента.

Сердце бригадира при виде сего беспросветного мрака екнуло, он с ужасом глянул на Ржевского, подозревая катастрофу свершившуюся, и, еще уторопя свой шаг, оказался у двери спальни...

Свечи у бездыханно распростертого тела, две обессиленные, коленопреклоненные фигуры — жена и дочь; вместо шалуньи — ис-

пуганная девочка, также вся в черном; скрытый полутьмой дальнего угла спальни ни на минуту не умолкающий хор, исторгающий рвущие душу звуки, — вот та жуткая картина, что ожидала здесь Глазова, уверенного еще минуту назад, что все самое ужасное позади.

Узрев явившийся рок в страшном с сего дня образе бригадира, женщины в прощальном порыве и с последними слезами приникли к обожаемому телу.

И Глазов жадным ухом приник к груди купца.

— Слава тебе, Господи! — с самым искренним чувством воскликнул он. Затем встряхнул беспамятного немца и куклой усадил его на постели. Женщины зарыдали.

— Слава тебе, Господи! — не уставал повторять Глазов на бегу своим в гардеробную и там, в гардеробной, одну за другой выбрасывая на пол одежды купца, и потом, на обратном бегу с парадным нарядом немца.

Одевали Глюка в шесть рук: две генеральские и четыре сержантские. Тот был покорен и абсолютно равнодушен отныне, что бы с ним ни делали.

— Теодор!.. Фатер!.. Фатер!.. — кричали женщины, не понимая, что происходит, но и не сомневаясь, что мужа и отца отнимают у них навсегда.

— Свечку! Свечку мне ставьте! — трубно возглашал меж делом Глазов.

Пригож и наряден стал Глюк в белоснежном парике с напудренными буклями, в красном камзоле, вышитом золотом и усыпанном драгоценностями, в зеленых бархатных штанах, в шелковых чулках и в башмаках с пряжками и красными каблучками. Всем хорош, только вот лицо, лицо какое-то бессмысленное и отрешенное. Пошлепав его по щекам — увы, Глюк был невменяем, — Глазов чуть раздвинул пальцами его щеки, посадив таким образом на физиономию немца приятную улыбочку. Затем, не мешкая более, вместе с сержантами повлек его на выход.

Женский крик превратился в визг.

Обер-полицеймейстер, будучи уже в восторженном состоянии, обернулся:

— Гут, гут! Все гут!

Но они были уже полубезумны.

Глазов махнул рукой и двинулся дальше. В гостиной его нагнала яростным зверьком и вцепилась зубами в руку бригадира бывшая шалунья. Бригадир возопил, отряхнул с руки ребенка и узрел перед собой президента Медицинской коллегии с лицом, растерзанным сомнениями, недоумениями и вопросами.

— Ну ты... чудак, братец! — удивился ему Глазов, посясывая укушенный палец. — Шутки не понимаешь.

Разряженного, приятно улыбающегося Глюка доставили в прихожую и, накинув на него шубу, распахнули дверь заточения в новую жизнь...

Новая жизнь эта на поверку оказалась раем.

Черный поначалу, как черен был зимний вечер в распахнутой двери, парадиз сей зажегся сразу в нескольких местах огоньками, которые размножились тотчас и разбежались, как разбегаются от ладони растопыренные пальцы, выше и выше... вспыхнули россыпью звезд... и озарили все вокруг тысячесвечьем великолепных люстр, сказочно переливающихся одна в другой колико возможные оттенки колико возможных цветов...

О, бедный Глюк! Мир, превратившийся в странный и бессвязный сон, явился ему вдруг в таком волшебном облике, коего быть на земле, конечно, не могло... Громадная толпа, вынырнувшая из мрака, всколебалась и, восторженно загудев, предстала пред ослепленные очи самой полной выставкой национальных одежд, присущих не только российским, но и всем другим народам, посеянным по бескрайней империи... Изнеможенные чувства немца то пробуждались к жизни, то отрекались от нее, следствием чего явилась некоторая прерывистость сего сказочного сна... Вот одна стена рая всколыхнулась вдруг и опала, шелково прошелестев, и гурьба архангелов, повиснушая на фоне небесно-голубом, затрубила разом в сверкающие свои трубы... тысячеликая толпа отпрянула — ее будто отдуло по сторонам, — и по освободившейся середине рая, по блистающему его паркету выступила в торжественной кадрили процессия иных народов. Посольский сей, причудливый нарядами и спящий драгоценными камнями кортеж возглавил сам светлейший, одетый римским воином, об руку с племянницей своей, являвшей Нефертити. Кадриль все ближе, ближе... Еще мгновение — и сметет... Бесчужденно и страшно сверкнул алмазный глаз римского легионера... Глюк обнаружил вдруг себя в большом кругу гостей среди смеха и аплодисментов — это он вручал именнице Нефертити подарок: известную уже куклу, но в уборе из бриллиантов, диадемы и колье. Прелестная Варенька, бросив быстрый и благодарный взгляд на дядю, защebetала что-то по-французски и поцеловала немца в щеку. Вновь аплодисменты... — Ну, Федор, ты орел! — восхитился князь и приобнял Глюка. — Рекомендую: мой стародавний друг... — Остаток фразы потонул в музыке и громе: это прошествовал рядом слон в золотой попоне,

тащивший за собой гигантский барабан на колесах. На слоне восседал автомат-персиянин и бил в бубен, на барабане же показывали завораживающие восточные танцы... Глюк был уже возле голубого фонтана. Князь, не отнимая руки с его плеча, продолжал свои рекомендации: — ...Страшный дуэлянт... опасный сердцем и остроумец, берегитесь... — Зашептались задуле гости, кто-то привстал на цыпочки, кто-то приподнял лорнетку. Таинственная полуулыбка, взгляд Глюка, устремленный в бесконечность, производили впечатление... Потом ударили литавры, грохнули пушки, и под сводами рая загремело: «Коль твоими чудесами...» Зазвенели люстры черного хрусталя над огромными белого мрамора вазами... Теперь они поднимались по широченной лестнице: викинги, монголы, россияне — здесь смешалось все и вся. Светлейший, именница и Глюк, приветствуемые народами, шли по живому проходу. Впереди нес факел грек молодой в короткой тунике и в сандалиях. «Осторожнее, ступеньки...» — едва заметно шевелил губами князь, уже понявший всю меру отрешенности бедняги... Розы, трели соловья, цветущие жасмины и померанцы, кусты сирени и водопады, бьющие из каменных стен, далекий рокот волн морских, каким-то чудом светит солнце... Все прогуливаются оживленно по траве... «Чуть поклонись налево... теперь не надо... молодец... — вел князь по саду Глюка. — Выше голову... подходим...» Посреди сада храм, в нем императрица в царской мантии и с рогом изобилия, из которого щедро сыпятся орденские кресты и деньги. У Глюка подкосились ноги... «Погоди... это мрамор... левее, прямо...» А вот и она, живая, настоящая, в строгом парадном платье, с ясным взором, мирно беседующая с кем-то из гостей... «Государыня, позвольте вам представить моего друга...» И вмиг неумолчный, прибойный гул праздничного оживления сменился полным штилем. Лишь соловьи и иные птахи продолжали быть слышны... «Да я ведь с ним знакома, — милостиво улыбнулась императрица и протянула руку. — Тогда мы были, правда, помоложе, помоложе». «Бери... склонись... — чуть слышно чрево вещал светлейший. — Целуй... отпусти... отпусти руку...» Все сии операции закончились довольно благополучно, и Глюк со странною своей улыбкой, которая могла теперь сойти и за оторопело восторженную, был увлекаем уже прочь от царицы, дабы быть выпущенным на волю, когда все вновь услышали тихий голос самодержицы. «Хоть и немец, а очень мил, очень, — сказала она, обращаясь как бы к своей лишь свите. — Прямо хоть сейчас в кавалергарды...» Немногие эти слова, прошелестев по саду, превратились вдруг

волны возбужденного ропота, кои, вздыбившись, тотчас разбежались по дворцу... Народы взволновались и, прихлынув отовсюду, вперили взоры в нового счастливица.

Потемкин, оглянувшись, вмиг узрел некоторое замешательство в свите, заметил втершееся в нее горящее азартом лицо Растебаева, другие озадаченные физиономии... Стремительно оттрактовав событие, великий царедворец новым уже взглядом глянул на Глюка и крепко обнял его...

Далее был туман, а точнее, волглый жар, напитанный запахом эвкалипта, ветвями которого обильно была устлана вся баня. Счастливица натирала пихтовым маслом, умащивали, ласкали. С ним шутили... Он томно прел на верхнем полке. Затем явились веники и смех — веселая работа, мученье сладкое! Глюк изнемогал, стонал и охал... Мучительницы были ах как хороши: все плавноплечи, полногруды, в глазах все беды ада...

— Что говорит нам голос природы? Чтобы мы были счастливы,— сказал уверенный и внятный женский голос.— Нужно ли и можно ли ему сопротивляться? Нет. Наиболее добродетельный и наиболее испорченный человек одинаково подчиняются ему...

...Потом Глюка топтали. Он лежал на жестком топчане, а по спине его ходили чьи-то ноги.

— ...Правильно, что природа говорит с нами на разных языках, но пусть все люди сделаются просвещенными, и она заговорит со всеми на языке добродетели.

— Но сказано же в Писании: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий»,— возразил собеседница мягкий и внятный баритон.

— Да — любовь превыше всего,— согласилась та.

...Ноги принадлежали хрупкой китайке, которая не просто ходила по Глюку, а как бы втаптывала его в топчан, вминала туда его рыхловатое тело.

Китайский сей сон подкреплялся китайским же убранством комнаты, драконами на светящихся вазах, дымками нездешних благовоний...

Обладательница голоса, равно как и ее собеседник, сидели тут же на диванчике, чуть поодаль друг от друга. Сидячие их позы были исполнены изящества.

— Мысль называется обычно глубокой,— несколько поменял тему баритон,— когда за высказанным она раскрывает много невысказанного и сразу позволяет понять вещи, для усвоения коих потребовалось бы прочесть много книг.

— Вы противник чтения?

— Помилуйте — я запойный...

— Вот как?

— ...читатель.

— Ха-ха-ха!

Тут китайка, обнаружив сноровку и недюжинную силу, схватила руку счастливица и стала ее выворачивать из сустава... Глюк завопил... и вынырнул на поверхность уже в ином, белоснежном помещении. Он сидел в шелковом халате с вытянутыми по сторонам руками, над которыми чародействовали два воздушных создания в воздушных же кисейных одеяниях. Двое других занимались его ногами...

— Хотя человек решительно всегда поступает необходимым образом, но его поступки справедливы, хороши и похвальны во всех тех случаях, когда они направлены к реальной пользе его ближних и общества, в котором он живет,— знакомая пара с неподражаемой грацией расхаживала в поле зрения Глюка.

— Самое изысканное наслаждение,— вкрадчиво подхватил кавалер,— состоит в том, чтобы доставлять наслаждение другим...

Глянув на одну из своих рук, Глюк вдруг обнаружил, что приставленная к ней очаровательница усердно перепиливает ему палец... впрочем, нет, не палец, конечно, а обручальное кольцо...

— Бывают характеры в высшей степени своеобразные, нелюдимые, убедившие целиком в себя. Если говорить обо мне, то мое истинное призвание — общаться с людьми и созидать. Я вся обращена к внешнему миру, вся на виду и рождена для общества и для дружбы...

— Вы не договариваете.

— Ах, как вы поспешны...

...В зеркале напротив был он, Глюк, в шерстяном трико и такой же рубаше, мокрый от пота, усердно совершавший упражнения, столь же атлетически по форме, сколь двусмысленные по содержанию...

— ...В одном письме к Вольтеру я отвечала так: «О званиях же, кои вы желаете, чтобы я приняла, на сие отвечаю. Первое. Великая: о моих делах оставяю времени и потомкам беспристрастно судить. Второе. Премудрая: никак себя назвать не могу, ибо один Бог премудр. Третье. Матери Отечества: любить Богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю, и быть любимой от них есть все мое желание.

— Истинное достоинство подобно реке,— тихо, с оттенком потрясения сказал мужской голос,— чем она глубже, тем меньше издает шума.

— Ты уж не забудь потом старика Григория Александровича, счастличик,— в зер-

кале рядом с Глюком объявился светлейший.

Затем он критическим взором окинул залу, наполненную зеркалами и атлетическими снарядами, прелестниц, затянутых в трико, которые пред ним почтительно склонились, даму в кресле и галантно изогнутого над нею кавалера.

— Французы кой-кому поднадоели,— сказал он тем, последним.— Побольше цитеронов и платонов. И греческих орехов с медом. Сим победиши! — закончил он старинным оборотом.

...С прямым станом и гордо посаженной головой принимал Глюк всевозможные изящные позы. В нем читалась уже и светская непринужденность и, более того, проглядывало сознание собственной значительности. Во взгляде не было недавней пустоты...

— Греческая архитектура,— утверждал женский голос,— состоящая из немногих, но крупных элементов, подражает великим творениям природы, вот почему мы ощущаем известное величие, которое господствует здесь во всем.

— Скульптура,— подхватывает мужской,— этот холодный вид искусства, может выразить страсть лишь посредством контрастов и поз. Одна нога, поставленная так же, как и другая, одна часть тела, расположенная одинаково с другой, невыносимы.

...Глюк пружинисто прыгал с дамой по танцевальной зале, с игривой веселостью репетируя гавот.

— Полегче, силь ву пле, воздушнее,— напутствовал француз-учитель.— Во взоре должно быть утро...

— Тогда он был, я помню, помоложе, помоложе...— задумчиво молвил Потемкин, облокотясь о косяк двери.

...Совсем близко увидел лежащий Глюк две пары холодных, изучающих глаз, какие-то стальные инструменты... Он был привязан и недвижим. Резкий запах эфира ударил в нос, и тотчас лицо его накрыли мокрой тряпкой...

— Я прочла от доски все сочинения Тацита. Эта книга не для развлекательного чтения, а для того, чтобы изучать жизнь и черпать полезные уроки...— уплывал в туман знакомый женский голос.

...Глюк, наряженный уланом, помолодевший, похорошевший, с усовершенствованными профилем и фасом, лихо, раз за разом, вскакивал на коня. Глаза его посверкивали. В них ощущались и азарт и воля...

Здесь же, в манеже, неподалеку от него изящно гарцевали два гвардейца: кавалер и дама.

— ...В ней столько изречений,— продолжала дама о Таците,— что их находишь всюду, куда ни кинешь взор: это какой-то

питомник рассуждений по вопросам этики и политики на потребу и в поученье тем, кто держит в руках своих судьбы мира.

— Манера Тацита,— задумчиво отвечал кавалер,— в немалой степени напоминает манеру Сенеки, только у него преобладает насыщенность, а у Сенеки — острота. Но воззрения его — здоровые, и в римских делах он на стороне блага.

— Вы умны.

— В общении с женщиной, тем более такой, мужчина самого тонкого ума становится умнее.

...В полутьме спальни огонек свечи выхватывал лишь две фигуры: женщины, сидящей на краю постели, и Глюка — у ее ног, задумчиво прильнувшего затылком к нежным коленям. Женские руки ласково перебирали его волосы. Лицо у Глюка было томным, пелена сладостной неги туманила его взор...

— Я никоим образом не одобряю совета Платона,— говорила дама,— предписывающего нам обращаться к слугам неизменно повелительным тоном, не разрешая себе ни шутки, ни непринужденности в обращении как с мужчинами, так и с женщинами.

— Мягкость управления,— ласково отвечал за Глюка кавалер из другого, темного угла спальни,— удивительно способствует размножению человеческого рода.

...Легкими и красивыми шагами мерил спальню Глюк с дамой на руках.

— Я люблю общество людей,— не умолкала она,— у которых отношения основаны на чувствах сильных и мужественных, я ценю дружбу, не боящуюся резких и решительных слов, так же как любовь, которая может кусаться и царапаться до крови. Ей не хватает пыла и великодушия, если она так благовоспитана и изыскана, что боится резких толчков и все время старается сдерживаться.

— Промедление,— волновался мужской голос,— столь полезное в спокойное время, может оказаться губительным в час испытаний.

...Глюк крепко обнял партнершу и, прерывисто дыша, довольно проворно расстегивал и расшнуровывал ее платье...

— Больше дрожания в перстах,— подсказывал Потемкин из темноты.— И поглубже, с сего момента можно поглубже...

— Когда я убеждаюсь,— задыхалась дама,— что Цезарь и Александр в самом разгаре своей великой деятельности не ограничивали себя в наслаждениях естественных и тем самым нужных и необходимых, я не считаю, что они себя баловали.

— Любовь подобна эпидемической болезни: чем больше мы ее боимся, тем беззащитней мы пред ней,— бесстрастным голосом отозвался из угла партнер.

...Глюк с дамой лежали уже под одеялом.

— Я от чистого сердца и с благодарностью, — замирающим голосом молвила она, — принимаю то, что сделала для меня природа, радуюсь ее дарам и славлю их. Всеблагое все сделал благим.

— У меня из головы не вышибить мысль, — новым своим, взволнованным голосом сказал Глюк, — что весьма подходящим делом является брак между наслаждением и необходимостью, с помощью коего, как говорит один писатель древности, боги все доводят до вожделенного конца. — И мощно дунув на свечу, он погрузил спальню во мрак.

— Все, все! — всполошился Потемкин и захолопал в ладоши. — Ну что ж, — сказал он удовлетворенно, — считай почти готов! Ты уж не забудь старика Григория Александровича, счастливицки!..

...Стой в купели, Глюк четко произнес символ веры и, приняв помазание от священника, обрел православное вероисповедание.

— Отныне, сын мой, ты Глюковский, Федор Глюковский, — возгласил батюшка, — аминь...

Новообретший истинную веру перекрестился, по привычке, католическим крестом. Его поправили, и он перекрестился вновь, кладя трехперстную щепоть с правого плеча на левое...

Так стараниями судьбы и волею земных богов творился под столичным небом новый человек.

Корабль под прусским флагом был уже готов к отплытию, о чем свидетельствовала последняя суматоха на причале.

Вся картина сия уместилась в раме окна довольно непрезентабельной таможенной конторы. В комнате находились: светлейший в скромном темном одеянии рядом со статным, молодежавым кавалергардом; растерянная, испуганная супруга бывшего Глюка напротив них; чуть поодаль — Растебаев об руку с Амальхен, а также несколько господ в черном, одни перекрывая дверь, а другие с бдительными взорами — за спинами Потемкина и его спутника.

— Ну вот он, жив-здоров, чего и вам желает, — сказал князь немке. — Прощайтесь.

Та с недоумением глянула на смутно знакомое лицо с великолепной кожей, римским носом и пшеничными усами.

— Прощайте, ваше превосходительство, — дрожащим голосом пролепетала она. — Уж вы не забудьте нас своею милостью...

Кавалергард неотрывно смотрел на нее и сквозь нее, мучительно пытаясь что-то вспомнить.

— Не забудет, не забудет, — успокоил князь бедную женщину и, подойдя к ней, сказал негромко и доверительно: — Миссия его чрезвычайна и важна... но не вечна, поверьте опыту. Как только освободится, так и придет. — Затем Потемкин подал легкий знак — один из черных бережно подхватил немку под руку и повлек ее на выход.

Князь же оборотился к Растебаеву, к плечу которого нежно прижималась вполне счастливая Амальхен.

— А ты, голубчик, поезжай в Пекин... с супругой. Будешь при посольстве.

— Вашего сиятельства покорнейший слуга! — подобострастно склонился Растебаев и вслед за тем поднял на светлейшего непоборимо наглый взгляд.

— И не балуй!.. — нахмурился Потемкин. — Нужен будешь — позову.

Кавалергард застывшим, долгим взглядом смотрел в окно...

Там по опустевшему причалу шли к трапу корабля фрау Глюк с младшей дочкой, Мюллер и другие приклички с саквояжами в руках. Моросил дождь.

Что-то дрогнуло в лице кавалергарда, и он поспешно опустил глаза...

— Сядь... встань... пройдишь... вынь шпагу наполовину... убери... обопрись о дерево... та-ак...

Глюковский исправно выполнял все указания князя. Но как-то механически. Он стоял, прислонившись к дереву, чуть отставленная нога придавала позе особое изящество.

Светлейший, погрузясь в раздумье, расхаживал неподалеку.

— Чего-то, братец, в тебе не хватает... — соображал Потемкин. — Но чего?

Кавалергард был недвижим.

— Уверенности! — понял наконец князь. — Да, пожалуй... Скоро, Бог даст, ты будешь одной из самых важных персон в империи, самой, быть может, важной... после меня. Надобно держать себя сопутственно. — И он хлопнул в ладоши.

В сей же миг с крыльца загородного дома князя сбежал ливрейный слуга — дюжий молодец с круглой рожой и бесстрашными глазами.

Князь подошел к нему и без лишних разговоров треснул кулаком по скуле.

Молодец, едва качнувшись, радостно осклабился.

— Ну, Федюша, — пригласил Глюковский князь, — давай.

Тот подошел к слуге, но бить не стал.

— Ну!.. — нахмурился светлейший.

Ливрейный выгнул шею и, повернув скулу, подставился удобнее.

— Ну!

Глюковский ударил, но слабо.

— Экая ты, голубь, вафля! — расстроился Потемкин.

Долгим уже взглядом смотрел кавалергард в ослабленную рожу холая, вдруг сам ослабился, задергалась щека... Он размахнулся и ударил страшно.

Лакей качнулся, но устоял и, поморгав опухшим глазом, ослабился еще сильнее. Судорога передернула лицо кавалергарда, и он с новой силой обрушил свой кулак.

— Ну будя! — решил князь.

Но Глюковский не слышал уже: захрипел, он вдруг тигром набросился на стоявшее перед ним живое чучело раба и, свалив его на землю, стал жестоко избивать ногами. Вскрики, всхлипы, стоны, слезы бурной лавиной рвались из кавалергарда.

— Ну ты, мон шер, и зверь!.. — поразился светлейший.

...Царскосельский парк давно очищен был от снега, все волновалось в нем, готовилось к теплу. Множество садовников стригли, чистили, ровняли, рыхлили, сеяли, трамбовали и подновляли.

— Завтра в сей же час, час, напоминаю, решительный, богиня наша будет здесь, одна, — внушал Глюковскому Потемкин. Они гуляли по аллее парка.

— Она точна, а потому нам надлежит минута в минуту проследовать сим маршрутом. Здесь, в этом точно месте, мы заворачиваем направо и видим вдруг ее саму, навстречу нам идущую... Она печальна. Останавливается вон у той могилы. Мы тоже останавливаемся...

Федор Глюковский опустил глаза и увидел мраморную плиту, равно как и надпись, высеченную на ней: «Здесь покоится Глюк Федор Севастьянович, любимец государыни». Чуть выше — собачий профиль.

— ...Ты делаешь поклон, — продолжал

напутствовать Потемкин, — и тихо, слышишь, тихо говоришь: «Сердце наполняется теплом, когда видишь, как привязчива и нежна душа ваша. Вдали же от вас сердце sie стынет и грозит обратиться в могилу, буде хоть малая толика того участия, кое вы испытываете к сему драгоценному созданию, не выпадет тому, кто имел счастье носить сродственное имя...»

Глюковский не мог оторвать взгляда от завораживающей надписи. Память ошупью пробиравась к смутному прошлому. Глаза его налились темнотой...

— Ну а далее... — князь плавно повел рукой, — ты знаешь. Уж не забудь тогда старика Григория Александровича.

С избранником судьбы происходило что-то жуткое: горло распирало, мозг гудел и наполнялся душным отвращением...

— А? Не забудешь?

— Найи!!! — иступленно, на весь мир закричал кавалергард, и с этим криком выдохнул, казалось, остаток своей души.

Воздух захлебнулся от единого, тысячекрылого взмаха ввысь, в небо, куда, встретив облаком, уносилась все далее птичья стая и таяла бесследно в голубом воздушном океане...

В НОЧЬ ТОГО ЖЕ ДНЯ КАВАЛЕРГАРД ФЕДОР ГЛЮКОВСКИЙ ИСЧЕЗ ИЗ СТОЛИЦЫ. САМЫЕ ТЩАТЕЛЬНЫЕ ЕГО ПОИСКИ НЕ ДАЛИ НИ ПРЯМОГО РЕЗУЛЬТАТА, НИ КАКОГО-ЛИБО СЛЕДА. ГАРДЕРОБ КАВАЛЕРГАРДА ОКАЗАЛСЯ В ЦЕЛОСТИ: МУНДИРЫ, МУНДИРЫ, МУНДИРЫ — ВСЕ ДО ЕДИНОГО. ЗАПОДОЗРЕННЫЙ В УБИЙСТВЕ КАВАЛЕРГАРДА ЛАКЕЙ ПАРАМОШКИН СОСЛАН В КАТОРГУ НАВЕЧНО.

(Продолжение следует.)



**Александр
ЧЕЧУЛИН**

ЗАПИСКИ КОНФОРМИСТА, НЕ ДОЖИВШЕГО ДО ПЕНСИИ

*«О, Мудрец, если тот или этот дурак
Называет рассветом полуночный мрак,
Притворись дураком и не спорь с
дураками.
Каждый, кто не дурак,— вольнодумец
и враг».*

Омар Хайям

«Я ненавижу убеждения, лишаящие человечество малейших его привилегий. Если то или иное верование непременно требует отказа от чего-то человеческого, я ненавижу его, поэтому я против любой формы фанатизма, ненавижу всех, кто стремится лишить человеческую гамму хотя бы одной ноты».

Орсон Уэллс

*«И нас хотя расстрелы не косили,
Но жили мы, поднять не смея глаз.
Мы тоже дети страшных лет России.
Безвременье вливало водку в нас».*

Владимир Высоцкий

Я проснулся от удушья. Запах керосина, солярки и сгоревшего напалма неистребимо засел в моей носоглотке и легких.

Я включил свет — на часах было четыре часа ночи, час самоубийц.

Пузыри на моей левой руке, обмазанной облепихой, напоминали оранжевые скафандры спасателей.

В ванной из зеркала на меня смотрел человек с опухшей физиономией, с узкими

бойницами глаз, с мелкими оранжевыми пузырьками на носу, с обгоревшей бородой и слегка оплавленным левым ухом. Глядя на себя, я подумал о Шульге, и мне стало страшно. В последний раз я видел его сидящим в санитарном автомобиле с напуганными сестрами «скорой помощи», которые пытались что-то сделать с его лицом и руками. Лицо было зеленовато-черным, и на этом фоне глаза казались красными.

— У вас ерунда,— сказал врач, осматривая мои повреждения,— через месяц зажи-

Печатается в сокращении.

вет. А вот с ним посерьезней. Третья степень Б.— Что такое третья степень Б, я не знал.

Два года назад подо мной подломилась ступенька древней сауны на Зеленых озерах. Я с двухметровой высоты повалился на раскаленные докрасна камни. Даже сейчас созерцание моего обожженного плеча не доставляет эстетического наслаждения.

«Бедный Шульга,— подумал я.— Сможет ли это перенести его жена?»

Там, в вагончике, после команды «Начали!» пиротехники выплеснули еще пару бутылок бензина на обмазанную напалмом стенку и подожгли каскадера, лежавшего на полу. Все шло хорошо. Каскадер извивался естественно, естественно загорелась дорожка, ведущая к бочке солярки. И когда я, глядя в камеру, крикнул: «Взрыв!», все было замечательно: и взрыв, и вспыхнувшая стена, и неприятно шархнувшийся второй каскадер, на котором загорелся ватник. Я даже завыл от восторга и крикнул остальным камерам: «Снимать! Снимать до конца!»

Но меня уже никто не слушал. Все бросились в узкую дверь вагончика, потому что медленно и неумолимо на нас навигался огненно-черный смерч, сжирающий кислород и стремящийся найти новую пищу.

Я чувствовал нестерпимый жар, но не мог оторваться от камеры, пока объектив не закрыла черная пелена. Тогда я, задыхаясь и давись кашлем, чувствуя себя преступником потому, что оставил камеру, бросился к двери. Но я знал, что мы сняли прекрасный план. Даже у этих высокооплачиваемых сволочных американцев я такого не видел.

Я упал с двухметровой высоты в сверкающий белый снег, скинул горящую шапку и заорал пожарникам:

— Туши!

Рядом на снегу лежали растерянные осветители, ассистенты, пиротехники. И стоял бледный, в обгоревшей дубленке и дымящейся норковой шапке Вахтанг.

— Как? — спросил он.

Я показал ему большой палец.

«Когда я вижу горящего человека, я сначала снимаю, а затем уже тушу его» — этот девиз операторов американской хроники я запомнил со ВГИКа. Нам говорили, что это цинизм. Но глядя на операторов, снимавших тайфуны, кораблекрушения, пожары, авиакатастрофы, я испытывал гордость за свою профессию, а люди, которые говорили, что это цинизм, казались мне ханжами. Впрочем, они и были ханжами. Шульга никогда бы не простил мне, если бы я бросился тушить его.

Я еще немного постоял у зеркала, глядя на свою опухшую морду, и подумал: «Если так пойдет и дальше, пожалуй, до пенсии

не доживешь...»

На кухне я достал из холодильника бутылку дешевого кубинского рома нашего разлива. Пиротехники говорили, что от него уши потеют. Я хлебнул — рот отдавал керосином.

«Может быть, его действительно в танкерах возят? — подумал я.— Туда танкер с нефтью — обратно с ромом. Мыть танки обязательно: ведь мы за охрану окружающей среды».

Я выжал в стакан лимон и бросил несколько кубиков льда. Теперь напиток стал вполне сносным. Башку мою словно окутали ватой. По телу разливалось успокоительное тепло, и ожоги перестали зудеть.

«А еще говорят, что алкоголь — зло,— подумал я, вспоминая телевизионные передачи о вреде алкоголя.— Вот только почему-то перестали говорить, что это зло социальное».

Я вспомнил километровую очередь за водкой в Нижневартовске и полукилометровую — лезших без очереди. Стоял пятидесятиградусный мороз. Над толпой поднимались столбы пара. Люди вылетали из горловины магазина со штабелями водки в руках, бутылки падали и разбивались, и снег напоминал весеннюю кашу вперемешку с битым стеклом. Рядом стояли беспрерывно работающие «татры», «кразы» и «магирусы». Погрузив в них свои штабеля и лихо развернувшись, люди разъезжались по своим участкам, гидронамывам, автобазам.

Апокалипсические картины пьянства, виденные мной на Руси, все же не смогли заглушить мысль о том, что я становлюсь алкоголиком. Я слишком много думаю о выпивке. Я не могу спать спокойно, если в доме нет спиртного. Сколько дач и машин я пропил за свою жизнь? Сколько дубленок, костюмов, кожаных пиджаков и т. д. и т. п. я бы мог иметь, если бы не пил? Какие замечательные украшения я мог бы дарить женщинам, которых любил? Все это я бессмысленно извел на жидкость, разрушающую здоровье, психику, подрывающую моральные и нравственные устои. Жалею ли я об этом?

«Нет, не жалею».

Я налил полный стакан рома и попытался выдавить последние капли из выжатого лимона.

«Нет, не жалею».

Потому что, если бы я не пил, я не узнал бы многих замечательных людей, составляющих некое тайное братство, нечто вроде масонской ложи. Кого там только нет: и летчики-испытатели, и командиры подводных лодок, и шпионы международного класса, и замечательные шлюхи, и художники-анималисты, и джазовые музыканты, и знаменитые полярники и геологи, и физики-теоретики. Иногда в этот круг попадают и

партийные функционеры. Они стараются стать «своими», но кишка тонка, переставшись, они становятся портвейнщиками, а порой и вовсе вылетают со своих постов, занимая положенное им место в среде алкашей.

К алкашам я испытываю презрение, потому что они рабы. Они не смогли подружиться с выпивкой, а стали ее рабами. Нет для меня гаже зрелища, чем молодые люди с мутными глазами, с жалким набором матерных слов, с отсутствием всяких желаний, кроме желания выпить.

Я отхлебнул еще и подумал: «Что-то очень мудрые мысли тебя одолевают, не пора ли их записать?»

Я не стал записывать тогда. Но через две недели, вернувшись со съемки и стащив с себя джинсы и свитер, провонявшие соляжкой, вспомнив каскадеров, прыгавших с балкона на балкон горевшего восьмизэтажного дома, звон вылетающих от жара стекол, трехлетнюю плачущую девчущку на балконе пятого этажа (я бы убил ее мать, которая стояла внизу и наблюдала, как ее ребенка «снимают в кино»). Вспомнив все это, я налил в стакан рому и взял карандаш.

Сегодня, слава Богу, никто не обгорел. Сегодня я впервые подумал о Цене. О Цене человеческой жизни и о том, стоит ли моя работа этой цены.

Сегодня в первый раз, повиснув на тридцатиметровой стреле пожарного крана рядом с пылающими окнами пятого этажа, задыхаясь от дыма и копотги, я почувствовал раздражение. Раздражал меня Вахтанг, который внизу с жадностью игрока придумывал все новые трюки. Не потому, что они были необходимы, а так — в запас. И сегодня впервые я почувствовал нежелание снимать.

«Значит, ты постарел, старик, — сказал я себе и хлебнул рому. — Значит, тебе действительно пора писать мемуары».

Рассказывают, что Сальвадор Дали утверждал, что он помнил себя еще в утробе матери. Мне тоже кажется, что я некоторое время моего существования находился в темноте и уюте. Пожалуй, так уютно мне не было никогда в жизни.

Зато потом довольно часто было неуютно. Мне было неуютно в детских садиках и санаториях, где я жилася ночами под тонкими одеялами. Мне было неуютно в холодных нетопленных классах во время войны и в послевоенные годы. Мне было неуютно в студенческие годы, когда я скитался по углам в морозной и неуютной Москве, и поэтому

воспоминания о доме у меня особенно уютные.

Мать — всегда ласковая, красивая, я прижимался к ней и старался как можно больше ее целовать. Мне казалось, что тогда она дольше проживет, что мои поцелуи продлят ее жизнь.

Отец — высокий и могучий — как перышко подбрасывал меня и усаживал на высокий платяной шкаф, а на первомайских демонстрациях я сидел у него на плечах, обозревая сверху бело-красные колонны людей, залитые солнцем. И воздух был необыкновенно прозрачный и чистый.

Вообще все краски моего детства отличались чистотой и прозрачностью. Рожь была золотая и необыкновенной высоты. Небо голубое и чистое, такого же цвета, как и васильки во ржи. Вода в озерах тоже была небесно-голубой и чистой, и ее чистоту не могли испортить даже головастики, кишевшие на мелководье. Лес был таинственным и суровым, с залитыми солнцем полянами и тенистыми оврагами. А люди — очень высокими и добрыми.

Я вспомнил своих двоюродных братьев, приезжавших к нам на дачу. Это были веселые и красивые ребята в белых рубашках «апах». Ко мне они относились мужественно-снисходительно, еще бы — они были старшеклассниками, а я дошколенком. Я смотрел, как они ныряют ласточкой с десятиметровой вышки, испытывая острое чувство зависти.

Через три года старший, Вова, окончив первый курс Артиллерийской академии имени Дзержинского, пропадет без вести в гигантской волне отступления сорок первого года. А еще через год младший, Пепя, ушедший с выпускного школьного бала добровольцем и закончивший ускоренные курсы командиров батарей сорокапятимиллиметровых противотанковых пушек, с оторванной рукой и перебитыми ногами будет стрелять по немецким танкам. Стрелять до последнего патрона среди трупов своих подчиненных, многие из которых были вдвое старше него. А потом гусеницы танка, на который уже не хватило патронов, сомнут как игрушку его сорокапятку и пройдут по его израненному уставшему телу, вмывая его в русскую землю так, чтоб и хоронить не надо было.

Через пять лет расскажет об этом однорукый солдат из его батареи, видевший это и оставшийся живым. Он поднимет левой рукой стакан водки и скажет:

— Мария Николаевна, хорошего парня вы вырастили, дай Бог вам здоровья!

И Мария Николаевна, моя тетка, краси-

вая, смешливая женщина, потерявшая мужа и двух сыновей, скажет:

— А зачем мне это здоровье? — И будет иступленно ждать, что, может быть, жив Вова и попал в плен, может быть, он где-нибудь там, в Америке или Канаде. Будет ждать, зная, что такого быть не может, потому что Чечулины всегда возвращаются на свою землю, даже если ждут их на этой земле позор, мучения и неблагодарность.

Много лет после войны Мария Николаевна не будет разговаривать с братом своего мужа, моим дядькой Петром Петровичем Чечулиным. И только за несколько дней до его болезни и смерти на скамейку в садике к ней подсядет седой генерал-полковник в отставке, одетый в штатское, и скажет:

— Здравствуй, Мария!

И она ответит:

— Здравствуй, Петр! — простит его в душе и уйдет, не сказав больше ни слова.

Простит его, отказавшего ей тогда, в сорок втором, после того как пропал Вова и уже не было дяди Гриши. Тогда она пришла к нему ночью в его генеральскую квартиру на улице Горького, и ей открыл дверь сорока-трехлетний генерал-полковник, сделавший стремительную карьеру в сорок первом году.

— Проходи, Мария, — сказал дядька. — Будем чай пить.

У него были и чай, и сахар, и хлеб, и консервы. Они сидели за столом в кухне и смотрели друг на друга.

— Петр, — сказала тетка, — спаси Пепу, возьми его к себе!

Он долго мешал серебряной ложкой сахар в стакане, а потом посмотрел на нее. За окном ухали зенитки.

— Нет, — сказал он, — прости, Мария, не могу. Как я чужих сыновей на смерть посылать буду, когда за моей спиной племянник отсиживается! Да он и сам не станет, ведь он — Чечулин.

Они допили чай.

— Мне пора, — сказала тетка.

— Переночуй, утром уйдешь.

— Нет, — сказала она. — Спасибо за чай.

— Прости, Мария.

— Прощай, Петр.

Больше они не виделись до того случая на скамейке — спустя двадцать девять лет.

В тысяча девятьсот пятьдесят девятом году генерал-полковник ракетных войск Чечулин П. П. пришел к своему непосредственному начальнику маршалу ракетных войск Неделину и сказал ему, что бессмысленно строить огромные континентальные ракеты «земля — земля», потому что с развитием современной техники через пять-семь лет

они станут бесполезными, их уничтожат еще на старте. Он считал, что нужно создавать мобильные ракеты на самолетах, подводных лодках, поездах. Только они могут служить надежным щитом стране.

— Я ничего не могу изменить, — сказал Неделин. — Такова политика партии и правительства.

— Я не согласен с такой политикой, — сказал дядька. — Я подаю в отставку.

Насколько я знаю, он был единственный советский генерал, ушедший в отставку из-за несогласия с политикой партии и правительства.

Через неделю после отставки дядьки маршал Неделин наблюдал за пуском межконтинентальной ракеты из бункера. Ракета не взлетела.

— Пойдем посмотрим, — сказал Неделин.

— Туда нельзя, — сказали ученые. — Она может взорваться.

— Ерунда! — сказал Неделин и отважно шагнул из бункера, за ним менее отважно шагнули сорок генералов.

В некрологе было написано, что они погибли в авиационной катастрофе.

Спустя одиннадцать лет я стоял в крематории и слушал речь Главного ракетного специалиста. Он говорил, что наша страна слишком богата, потому что она может позволить себе роскошь не пользоваться десять лет опытом такого специалиста, как Петр Петрович Чечулин, и выкидывать миллиарды (он так и сказал — «миллиарды») на ветер. Дядька лежал в гробу в штатском. Он не хотел, чтобы его хоронили в форме, хотя всю свою жизнь он посвятил армии. И мне пришлось заплатить в морге госпиталя пятьдесят рублей, чтобы его одели в костюм. Санитары отказывались, говорили, что генералов не положено хоронить в штатском.

После Гимна Советского Союза и салюта автоматчиков Главный ракетный специалист подошел к машине, где сидела моя тетка, жена Петра Петровича. Она сидела прямая как натянутая струна, с сухими глазами и застывшим белым лицом. Не выходя из машины, тетка протянула ему руку. За ним стояли несколько генералов.

— Петр Петрович любил вас, — сказала тетка, — и очень жалел, что не может вам дать квартиру. Помните, тогда партийная и профсоюзная организации были против?

— Помню, — сказал Главный специалист и поцеловал ей руку. — Я тоже любил его, хотя должен вам сказать — характер у него был... — Главный специалист улыбнулся.

— Ничего не поделаешь, — сказала тетка. — Он был Чечулин.

— Папа,— сказал я,— ты поднимайся наверх, а я схожу в магазин.

— Зачем? — спросил отец.

— Куплю что-нибудь выпить. Ведь тебе теперь долго будет нельзя.

— Не надо,— сказал отец,— идем, у меня все есть.

Час тому назад я беседовал с врачом на Березовой аллее, в онкологическом отделении. Отец стоял в другой стороне холла и надевал пальто.

— Операция необходима,— сказал врач,— если ее не сделать в течение недели, может возникнуть непроходимость кишечника.

— Это рак? — спросил я.

— Да,— сказал доктор.

— Надежда есть?

Доктор пожал плечами.

— Ведь ему семьдесят девять лет.

— Не может быть,— сказал доктор.— У него организм шестидесятилетнего.

— Наверное, это оттого, что у него были длительные периоды воздержания,— сказал я.

— Не понимаю,— сказал доктор.

— Война, плен, почти все европейские тюрьмы, а потом лагеря.

— Вот как,— сказал доктор,— никогда бы не подумал.

Сейчас, глядя на отца, достававшего из буфета коньяк и сухое вино, я тоже не мог представить, как он такое перенес.

— Зови женщин,— сказал отец.— На всякий случай надо попрощаться.

Потом мы сидели за столом — моя бывшая жена и жена моего двоюродного брата с материнской стороны — и пили. И отец смеялся и шутил, но временами становился задумчивым и печальным, как будто прислушивался к чему-то.

— Ты последний Чечулин,— сказал он, когда моя бывшая жена вышла из комнаты.— Надо бы тебе сына, а то пропадет фамилия.

— Поздновато, отец,— сказал я,— мне скоро полтинник.

Отец молча выпил рюмку коньяку.

И вдруг я вспомнил, как до войны, трехлетним мальчишкой, я заглянул в комнату, в которой отец выпивал с соседями по квартире. Они пили серьезно и истово. Не было песен и пьяных речей, и, когда я заглянул в бывшую гостиную нашей старой петербургской квартиры, кто-то уже спал, уронив голову на стол. Первым заснул Серж — муж моей тетки Мани, сестры отца. Потом — сосед по фамилии Филин, сын которого родился со мной в одной больнице на соседней койке, но на два часа позже и которого я по этой причине называл потом сосунком, хотя он был выше меня на голову. Наконец за столом остались двое: отец и сосед по фамилии Константинов, тоже почти двухмет-

ровый гигант.

Было уже поздно, и мать увела меня спать. Когда она надевала на меня пижаму, вошел отец. Он был очень пьян, но на лице была улыбка, полная любви.

— Оля,— сказал он и протянул матери руки.— Оля,— повторил он и сделал шаг вперед.

Но в этот момент глаза его закрылись, раздался чудовищный храп, и он рухнул на спину. Все попытки матери поднять его были бесполезны. Остальные мужчины нашей коммунальной квартиры спали за столом в бывшей гостиной, а отец весил сто двадцать килограммов. Храпел он чудовищно, и мать не спала всю ночь, подкладывая ему подушки под голову и стараясь хотя бы повернуть его на бок. На лице отца по-прежнему сияла улыбка, полная любви и нежности, и, как ни странно, богатырский храп создал у меня ощущение покоя, и я заснул.

Рано утром отец проснулся, сел на полу, виновато почесал затылок и на цыпочках, чтобы не разбудить мать, ушел на работу без завтрака. Это был единственный случай до войны, когда я видел его пьяным, хотя ему ничего не стоило выпить полтора литра водки — в этом я убедился уже после войны.

За год до нашего визита на Березовую аллею отец бросил пить, в этом было что-то неестественное. И вот сейчас он, как в добрые старые времена, сидел за столом с рюмкой в руке, и я вдруг понял, что вижу его таким в последний раз.

Потом отец лег в больницу, а я поехал в Таллинн по мокрой, раскисшей весенней дороге. Мы ехали на день рождения мужа сестры подруги моей подруги. Компания веселилась в ожидании предстоящей сауны, и я старался не испортить им веселья, но все время думал об отце.

Я вспомнил, как единственный раз увидел своего отца плачущим. Меня привезли от профессора Корнева, знаменитого специалиста по костному туберкулезу. Я болел скарлатиной и лежал в больнице имени Раухфуса. Со мной в палате было еще пять мальчиков, таких же как я — пятилетних. По утрам нас будили, зажигая тусклую лампочку под высокими сводами потолка, и ставили холодные градусники. Нам очень не хотелось просыпаться, потому что ночью, когда дежурная сестра засыпала, мы вылезали из своих кроваток и играли на холодном линолеуме пола в свои детские игры. Мы бегали бесшумно и говорили и кричали шепотом. Во время одной из таких игр я ударился коленом. И теперь оно у меня распухло, мне больно было ходить.

Меня возили по разным врачам, все щупали колено, важно показывали головами и говорили примерно одно:

— Осложнение после скарлатины — пройдёт.

Но нога не проходила. И вот теперь отец сидел рядом со мной на кровати и по его застывшему лицу текли слезы. Наверное, профессор Корнев сказал ему, что я останусь хромым на всю жизнь. Впрочем, так оно и произошло: профессор Корнев был хороший специалист.

Машина неслась по залитой дороге, как торпедный катер. Сзади весело щебетали женщины. А я думал, как отец, никогда не болевший, ходит по больнице в застиранном, с короткими, до локтей, рукавами халате, лежит, протянув ноги сквозь спинку короткой для него кровати, и смотрит в больничный потолок с потеками.

Все свое детство я проболел, кроме первых трех счастливых лет. Я болел коклюшем, рожей, свинкой, скарлатиной, фолликулярной ангиной, корью, бесконечным количеством воспалений легких, всеми сортами гриппа. Будучи взрослым, я ломал руки и ноги. Я горел на съемках и в бане. Я падал с вышек и однажды чудом не упал с вертолета. Несколько раз я тонул. Я лежал в детских больницах и санаториях, в карантине для холерных больных. Мне восемь раз оперировали палец, которым я выбил зуб однокласснику.

Я-то привык к больницам. Больницы, можно сказать, для меня дом родной. Здесь я встретил кучу интересных людей, крутил романы с сестрами и врачами, занимался блудом и запрещенным пьянством.

Я-то привык, но он-то как там? Впрочем, ему не привыкать. Я привык к больницам, он — к тюрьмам. Это, пожалуй, закалка постложней.

До сих пор я не могу понять, почему моего отца посадили в тюрьму так поздно. Почему не в двадцать девятом году, когда он вышел из партии, в которую вступил четырнадцатилетним мальчишкой. Тогда началась коллективизация. Почему его не посадили в то время, когда шли процессы над маршалами и он возмущался расстрелами Тухачевского и Егорова, с которыми воевал в гражданскую? Почему его не посадили, когда посадили дядю Гришу, который был военпредом на Ижевском заводе и забраковал партию пушек, сделанных стахановским методом? Дядю Гришу должны были расстрелять как вредителя, но в это время пушки, которые он забраковал, разорвались на полигоне во время учебных стрельб. И говорят, сам Сталин вызвал к себе на доклад следователей и после двухчасового чтения обвинительных материалов, доказывающих, что мой дядька — шпион, вредитель и т. д. и т. п., сказал:

— Для меня совершенно ясно одно: эти люди невиновны, и их следует немедленно освободить.

Я помню, как все в нашей семье с минуты на минуту ждали сообщения о приведении приговора в исполнение, а получили телеграмму о том, что дядю Гришу переводят в Москву, в Академию имени Дзержинского и дают квартиру в Большом Новинском переулке, в доме, против которого построили здание СЭВ. Я помню растерянную тетку Марию Николаевну и моих братьев Вову и Пепу, которые жили у нас после ареста дяди Гриши и, как выяснилось, ждали ареста отца, который в это время стучался во все двери на Лубянке.

До сих пор для меня остается загадкой, почему его не арестовали тогда. Когда спустя много лет я спрашивал его об этом, он виновато улыбался и пожимал плечами.

Машина въехала в Таллинн, серый и сумрачный, с грязными пятнами снега на газонах. Посреди площади, как огромный гнилой зуб, торчала гостиница «Олимпия». Администраторша с брезгливой вежливостью выдала нам карточки. И меня и мою подругу поселили в разных номерах, так как в моем паспорте не было штампа, удостоверяющего законность нашей любви. Всякого рода штампы вызывали у меня чувство физического отвращения, и мы, по взаимному согласию, штампов не ставили, хотя и жили в любви несколько лет. Мне казалось, что как только любовь проштампуют, тут она и кончится.

Номер был большой, похожий на корабельную каюту. Строили и обставляли гостиницу финны, и поэтому все соответствовало европейским, а не российским стандартам. В ванной была установлена панель управления душем. Чтобы пользоваться ею, нужно было по крайней мере окончить технологическое отделение Массачусетского университета.

Я принял душ, налил полстакана и взял томик Конечного.

Двадцать лет тому назад, когда мы были молоды, я сидел напротив Витьки Конечного за столиком пиццундской шашлычной. Ночной бриз раскачивал верхушки кипарисов, пахло эвкалиптом и шашлыками, рядом мирно посапывал, аккуратно уложив голову в тарелку, наш друг кинорежиссер. Под столом поэзиякивали бесчисленные пустые бутылки из-под «Изабеллы». Облачко насекомых обреченно билось о голую лампочку, свисавшую над нашим столом. В резком свете лампы лицо Витьки напоминало череп мертвеца с провалившимися глазницами и резко очерченными скулами, по которым перекатывались желваки. Мне казалось, что вот-вот из его рта брызнут раскрытые зубы.

— Когда ты, пацан,— говорил Витька,—

лазил девочкам под юбки, я уже учился в школе юнг в Кронштадте. Ты знаешь, что такое морские десантники?

— Знаю,— сказал я.

— Ни черта ты не знаешь! Морские десантники — это замечательные ребята. Но это смертники. Выжить у них — десять шансов из ста.

Знаешь, что такое высаживаться в штормовую ночь на чужой берег и идти, не зная, где враг, но зная, что отступать некуда и никто тебе не поможет? У тебя есть только один способ выжить — это убить первым. А потом ночь озаряется вспышками автоматных выстрелов, огнем прожекторов, и первая пуля попадает в рацию.

К чему я тебе это рассказываю? А вот к чему. Когда кончилась война, мне было четырнадцать лет и больше всего я жалел, что не успел на эту войну. Я прошел блокаду и видал штабеля трупов в подвалах — у меня были свои счета к немцам. Я жалел, что война кончилась, не дождавшись меня. А они, я имею в виду тех десантников, которые остались в живых, они остались живы потому, что умеют нажимать курок на полсекунды раньше. Потому, что могут метнуть нож и попасть человеку в горло, потому, что это же горло могут перебить ребром ладони. Представляешь, как они обрадовались, что остались живы, хотя ни свою, ни чужую жизнь они ни в копейку не ставили. И поэтому, когда они узнали, что им предстоит еще одна война — война с Японией,— некоторые побежали. Вернуться из жизни снова в смерть не так-то просто. Началось массовое дезертирство из десантных частей.

И вот однажды на плацу, в Кронштадте, выстроили морские экипажи. Из школы юнг выбрали десять человек и выдали нам ППШ с полными дисками патронов. Потом перед нами вывели троих. Руки у них были связаны, а на головы накинута шинель...— Витька закрыл глаза, пальцы его вцепились в стол, и теперь я отчетливо услышал зубовой скрежет.— Можешь представить,— сказал он,— как мы, старательные пацаны, их порезали. Ведь мы расстреливали дезертиров с той войны, на которую сами не успели. Потом мы же тащили трупы на шинелях...

Зачем же они это сделали с нами? Когда-нибудь я напишу о каждом из десяти, кто стрелял в то августовское утро тысяча девятьсот сорок пятого года. Я напишу о каждом, о том, как это отразилось на его судьбе, кем он стал и о чем думает, просыпаясь ночью.

Облачко насекомых обреченно билось о лампочку, наш друг аккуратно перевернул голову в тарелке, пахло эвкалиптом и шашлыками.

«Твое здоровье, Витя!— мысленно произнес я и поднял стакан в номере гостиницы

«Олимпия».— Семь футов тебе под килем! И дай Бог написать тебе эту книгу, даже если ее и не напечатают. Сейчас не напечатают».

«Зачем они это с нами сделали?»

Да, действительно, зачем? Революция, в которой участвовали все мои родственники, жившие вполне прилично в отдельных квартирах, имеющие возможность получить образование за границей и безбедно существовать, работая инженерами, лесопромышленниками, адвокатами, зачем они полезли в это кровавое пекло? Вели полуголодное существование, ютились в бывших собственных квартирах по восемь человек в одной комнате и были полны энтузиазма. Их сажали в тюрьмы, родителей, безобидных стариков, высылали к черту на кулички, потому что убили Кирова. А они верили в Революцию и Вождю. Они шли добровольцами на фронт и обливали презрением попавших в плен. «Зачем они это с нами сделали?»

Книжным героем детей считался Павел Морозов. Он донес на своего отца и был возведен в ранг святых.

Нет, Витя, мало написать о десяти юнгах, которые стреляли с детской старательностью в тех, кто мог быть их отцом или старшим братом.

Я не стрелял из автомата, но я такой же, может быть, даже хуже.

Я помню Парад Победы в Москве. Мой дядька, генерал-полковник, вызвал нас из Ухты, где мы жили в эвакуации, в Москву. Ехали в столицу в мягком вагоне. Там не пахло воблой, пассажиры были одеты во френчи, и вид у них был величественно-снисходительный. Как ни странно, они были все похожи. Потом я понял, на кого. Они были похожи на начальников. Прошло много лет, но я могу распознать начальников, хотя мода на френчи прошла, прошла она и на габардиновые плащи и велюровые шляпы. Иной начальник на досуге и в джинсы залезет. А все равно выражение лица у него специфическое. Как ни странно, ни Ленин, ни Свердлов, ни Фрунзе на начальников похожи не были. Значит, они чисто случайно устроили эту заваруху, чтобы потом вместо губернатора с начальницей рожей воцарился секретарь обкома с точно таким же выражением лица.

Мой дядя тоже был похож на начальника, видимо, эти данные у него были запрограммированы с детства. Только выражение лица у него было не снисходительным, а скорее печальным, как у человека, который занимается нелюбимым делом, но знает, что, брось он это дело, другие будут делать его еще хуже. Позднее он признался мне, что мечтал стать историком, а получилось так, что отве-

ли его, четырнадцатилетнего мальчика, на автомобиле «бенц» в Константиновское артиллерийское училище. И он стал кадровым артиллеристом на всю жизнь, как и его старший брат Григорий, который к этому времени дослужился до штабс-капитана и щеголял в английском френче с новеньким солдатским Георгием.

У меня есть в альбоме фотография, где снята вся семья.

Дед — грузный, лысый, с лицом гуляки. Через два года он умрет от белой горячки, и на его могилу в Невской Лавре положат венки из сирени, вывезенной во время войны на пароходе из Нишцы. На венке будет короткая надпись: «От собутыльников». Отпевать его будет пьяный митрополит Варнава, спихнувший попа с амвона. Этого митрополита дед за человека не считал и однажды даже сильно за что-то избил.

Рядом с дедом сидит моя бабка Вера с лицом Вассы Железновой, промучившаяся с ним всю жизнь, разыскивая его по кабакам и всяким злачным заведениям.

Рядом сидит прапорщик Финляндского полка, ушедший добровольцем из университета, двухметровый гигант, мой второй по старшинству дядя — Ваня. Мне не удалось его увидеть, так как через два месяца после фотографирования, со стеклом и папиросой в зубах, он повел в атаку своих солдат. Шрапнелью ему оторвало обе ноги, и он скончался в полевом госпитале. Дед привез его в свинцовом гробу стандартных размеров. Это был единственный случай, когда дядя Ваня уложился в стандарт. Все остальное ему делали на заказ, даже шашку — такой он был огромный. После него остались полевые погоны цвета хаки с вензелями 1-го Финляндского полка и записная книжка, пробитая шрапнелью, в которой я прочитал представления к наградам на солдат и несколько рассказов. Из дяди Вани вышел бы неплохой литератор, он остро видел ситуацию и обладал, несмотря на двадцать один год, чувством мрачного юмора.

Один из рассказов повествовал о том, как троих калек-офицеров — слепого, безрукого и офицера без рук и без ног — пригласили на благотворительный концерт в Мариинский театр. За ними императрица прислала автомобиль. По дороге обрубок упал с сиденья, а остальные офицеры, чертыхаясь и матерясь, не могли поднять его с пола. Поливая императрицу и всю ее семью, они велели шоферу везти их обратно в госпиталь. Это показалось мне странным, так как дядя Ваня был единственным убежденным монархистом в нашей семье.

За дядей Ваней на фотографии стоял гимназист, который, как оказалось, уже в то время тайно вступил в партию большевиков. Это был мой отец.

Рядом с ним стояла угловатая девочка в белом кружевном платье — моя тетка Маня. Она ничем не прославилась, но всегда была очень добра ко мне и, продавая свои небольшие драгоценности, покупала мне в «Торгсине» американские и английские игрушки. Умерла она в Новосибирске, вероятно от голода, во время войны. После войны, приехав в Академгородок по приглашению киноклуба с одной из своих картин, я пытался найти ее могилу, но мне сообщили, что кладбище находилось в черте города, и так как снести его было неудобно, на его территории устроили толкучку. Новосибирцы вытоптали его за год. Таким образом щекотливый вопрос был решен без особых материальных затрат.

Рядом с тетей Маней стоял щеголеватый красавец штабс-капитан в туго обтянутом френче с Георгием, в рейтузах, в лихо замятой фуражке — мой самый любимый старший дядя Гриша. Он был второй большевик в нашей семье. Вернее, первый, потому что он вступил в партию будучи студентом, когда проходил практику в качестве помощника паровозного машиниста.

Рядом с ним в мешковатой юнкерской форме стоял будущий генерал-полковник дядя Пепя. Он всю свою жизнь принципиально ненавидел политику и говорил, что нужно заниматься делом. После Октябрьской революции он вернулся с фронта в Петроград. Он честно отсидел в окопах на передовой, дослужился, как и дядя Гриша, до штабс-капитана. Только вместо солдатского Георгия получил офицерский Владимир. На перроне к нему подошли увитые пулеметными лентами матросы и потребовали, чтобы он снял погоны.

— Я такого указания от своего начальства не получал, — сказал дядя Пепя.

Не снял он их и тогда, когда в живот ему сунули ствол маузера. За него заступились солдаты, которые воевали с ним, а то бы дядя Пепя со своей принципиальностью не дождался победы революции и не стал бы генерал-полковником. Он вообще любил проявлять принципиальность, которую многие считают упрямством. Например, на каком-то важном совещании он позволил себе не согласиться с мнением товарища Сталина. После этого в деле его появилась надпись: «Не согласен с мнением товарища Сталина», а руки дяди Пепы покрыла экзема, которая так и не оставила его до смерти.

Потом, как многие считали, по глупости, он отказался подписать доклад на уже арестованного своего начальника маршала Яковлева и конструктора пушек Грабина. И в присутствии Берии, который кричал ему: «Дурак, да я же тебя в Сибири, в артиллерийских погребах сгною!», упрямо повторял: «Они честные люди и хорошие специалисты. Я это

го не подпишу». Говорят, Сталин сказал Берии:

— Не трогайте Чечулина. Он хороший специалист, а политикой он не занимается.

После этого дядю Пепу назначили директором сразу двух научно-исследовательских институтов. Сталин сказал это потому, что дядя Пепи сидел за его спиной в качестве военного консультанта во время первого приезда в Москву Гарримана и Бивербрука. Тогда начались переговоры о поставках по ленд-лизу, а в небе Москвы зенитки стреляли по системе дяди Пепы. Из сотен немецких самолетов сквозь зенитный огонь прорывались единицы. Пожалуй, Москва была городом, наименее пострадавшим от авиационных налетов. Сталин знал об этом и не дал Берии сгноить дядю Пепу в «артиллерийских погребках».

Зато он взял реванш на моем отце. Это была утонченная месть, месть и шантаж. Один брат предатель, а другой — генерал. Ну да об этом потом.

Итак, мы с мамой прибыли в столицу. На перроне нас ждали адъютант дяди Пепы — полковник и шофер — старший лейтенант. Они подхватили наши плохонькие чемоданы и под удивленными взглядами попутчиков во френчах повели к огромному — мышиного цвета, с черными крыльями, с огромными фарами — автомобилю марки «майбах». Я таких не видел никогда. Потом я выяснил, что эти машины делались на заказ для самых что ни на есть богатых людей и всяких фашистских бонз. В частности, дядя Пепин «майбах» принадлежал Гудериану. По иронии судьбы, через десять лет я стал его владельцем. Снисходительно-удивленное выражение лиц у людей во френчах вдруг стало меняться. Они стали протягивать мне руки для прощального пожатия, хотя в вагоне смотрели поверх меня, а один, самый важный, даже поцеловал маме ручку.

Потом мы мчались по пыльной, жаркой, светливой Москве. В тот приезд она не произвела на меня впечатления, хотя потом, в студенческие годы, я ее полюбил. Автомобиль ехал необыкновенно мягко, бесшумно, и чувствовалось, что у него огромный запас мощности, потому что когда зажегся зеленый свет и шофер нажал на акселератор, меня аж вжало в спинку сиденья.

Потом мы въехали под арку дома на улице Горького, напротив Центрального телеграфа, и я впервые увидел действующий лифт. В нашем ленинградском доме тоже был лифт, но он действовал только до революции. Потом парадную лестницу, где находился лифт, забили, все ходило с черного хода во дворе, и только иногда нас выпускали поиграть

на пыльную парадную лестницу с красивыми витражами в свинцовых переплетах. Лестница казалась нам какой-то странной, вроде бы из чужой жизни. На стенах еще не было похабных надписей, штукатурка не облупилась, и даже пыль, лежавшая толстым слоем на ступенях и перилах, была чистой.

Почему пролетариат первые двадцать лет после революции отказывался пользоваться парадными лестницами, остается для меня загадкой. Зато новое поколение быстро сравняло парадные лестницы с черными. Витражи, которые уцелели во время войны, постепенно выламывались и остались в первоизданном виде только там, куда не смогла дотянуться рука Человека, то есть на высоте трех метров. Перила были изрезаны ножами. А на стенах появились надписи, свидетельствующие о том, что народное образование сильно продвинулось вперед. Одна надпись была даже по-английски: «Fak mi».

Итак, мы поднялись на лифте на девятый этаж и позвонили в квартиру. В дверь был вделан глазок. Это тоже было для меня новостью. Дверь открылась, на пороге стояла моя тетка, жена дяди Пепы, и моя сестра. Я не видел их лет семь, но хорошо помнил и сразу узнал. Тетка ничуть не изменилась. Правда, она не менялась потом лет тридцать, а затем, после смерти дяди Пепы, сразу стала старушкой. Почему-то женщины в чечулинской семье ее не любили. Наверное, потому, что она была из обедневших дворян, выходцев из шотландской семьи четырехсотлетней давности. Несмотря на бедность, гордости ей было не занимать. Наверное, это и раздражало всех наших родственников: Кипрушкиных, Корнышевых, Мелеховых, Фершуковых — лесопромышленников, купцов первой гильдии, пьяниц, гуляк, но деловых, размазистых людей. У них-то жены ходили по струнке, и Ирина Вячеславовна раздражала их своей независимостью и особенно тем, что при ней дядя Пепи не позволял себе напиваться в их компании. Впрочем, надо сказать, она относилась к ним тоже без особой симпатии, и мы виделись редко.

Говорили, что она сделала ему карьеру, и опять же по-русски жалели его. Я не думаю, что она сделала ему карьеру, потому что писать в анкетах того времени, что твоя жена столбовая дворянка, было равносильно тому, как сообщить в отдел кадров, что ты наполювину враг народа. Карьеру сделал он сам, своим трудолюбием, способностью принимать решения и нести за них ответственность, а также своей принципиальностью, которая раздражала начальство, но шла на пользу дела.

Один раз он, правда, киксанул и мучился от этого до самой смерти. В сорок седьмом году пришел к нему в кабинет и сказал,

что на таком посту нельзя держать беспартийного специалиста.

— Во время войны я занимал посты не ниже,— сказал дядька.

— Так то было во время войны,— сказали ему.— Теперь обстановка изменилась.

— Вам не кажется, что проходить кандидатский стаж в пятьдесят лет несколько странно?

— А зачем вам проходить?— сказали они.— Вот распишитесь, пожалуйста,— и положили перед ним партийный билет, полностью заполненный, с наклеенной фотографией.

Так генерал-полковник Чечулин Петр Петрович, участник двух мировых войн, служивший в Русской и Советской Армии (так было написано в некрологе), стал членом ВКП(б).

До революции в столовой нашей петербургской квартиры за завтраком собирались представители разных партий, каждый читал свою партийную газету, и не раз вспыхивали споры о будущем России, о том, как вывести ее на дорогу светлую, ясную. Идей у моего отца и дяди Гриши хватало, они были большевиками и спорили с дядей Ваней-монархистом. Дед, завзятый либерал, пытался их примирить и призывал уважать мнение друг друга. Дядя Пепа презрительно молчал, вероятно, у него была своя теория служения России, но он ее не высказывал. Один только раз он сказал в ответ на возвышенные речи:

— Служить надо тому, кто больше платит,— и, сложив салфетку, встал из-за стола.

Но служить он пошел почему-то в Красную Армию, хотя там платили совсем негусто. И служил он на совесть. Из всех наград он больше ценил медаль «20 лет РККА».

Нас раздели, умыли и повели кормить на кухню. Должен сказать, что отдельную квартиру я за свои тринадцать лет видел тоже в первый раз. Все наши знакомые, да и мы, жили в коммуналках и ели обычно в комнатах, а не на кухне. В комнатах сохранились следы былой роскоши в виде буфетов и сервантов с зеркалами и разными колонками из красного и черного дерева. Посуда была производства Кузнецова и Гарднера. А моя бабка Вера использовала английские керамические тарелки для того, чтобы ставить на них бидоны с керосином для примуса. Когда началась война, она пожертвовала в фонд обороны два огромных серебряных самовара и все серебряные подсвечники, которые с трудом влезли в огромный мешок. Не знаю, можно ли было в то время на них построить танк, но то, что сейчас на эти деньги можно приобрести пару «Жигулей»,— это уж точно.

Кухонька, в которой нас кормили, была маленькой и узкой, с мусоропроводом и газовой

плитой. И вообще квартира была небольшая, по нашим понятиям. Дядька получил ее до войны, приехал из Германии, где он был военпредом на заводах Круппа. Тогда он был полковником. Менять ее на большую он отказался, из-за чего прослыл снобом и задавакой. Он считал, что трех комнат на троих вполне достаточно, особенно в то время, когда люди ютились в подвалах.

В квартире было тесно от множества книг. И я сразу начал разглядывать корешки. Здесь была вся классика, огромное количество книг по искусству и истории, а также целый шкаф любимой мною детективной и приключенческой литературы.

Сестра спала на военной раскладушке-сороконожке в узкой комнатке, заставленной книжными шкафами. Комната Ирины Вячеславовны имела балкон с видом на Центральный телеграф и была обставлена александровским ампиром, который не очень-то подходил к габаритам квартиры. Но в то время современная мебель была представлена только древтрестом довоенного производства, и ей как столбовой дворянке и воспитаннице Смольного института благородных девиц ампир подходил больше. Третья комната тоже была обставлена александровским ампиром из карельской березы, и всунуть туда раскладушки не представлялось возможным. Поэтому и я, и мать пребывали в некотором недоумении, где же мы будем ночевать. Как выяснилось, ночевать мы будем у Марии Николаевны, в Большом Новинском переулке. Там жила и моя бабушка Вера.

А пока мы сидели за столом. поедая американскую колбасу с американскими пиккулями, маслинами, американским белым, вощеной бумаге, безвкусным, но мягким хлебом. Это все входило в генеральский паек, часть которого дядька отсылал нам в эвакуацию.

И что бы ни произошло в наших отношениях с американцами, я никогда не забуду мартовский день сорок третьего года, когда я, посмотрев в кино «Новые похождения бравого солдата Швейка», пришел домой и увидел золотистые банки американской тушенки, которые вынимала моя мать из посылки. Там были еще яичный порошок, маленькие банки с колбасой, которые открывались ключиком, и пористый шоколад.

Впервые за всю войну я наелся досыта.

...В дверь позвонили, тетка пошла открывать. Я выглянул за ней. В переднюю вошел дядька, и сразу стало тесно: ростом он был меньше дяди Вани, но сто девяносто сантиметров в нем было. Он стоял слегка погрузневший с нашего последнего свидания, но в плечах был шире, чем в животе. На нем был китель с генеральскими погонами, бриджи с красными лампасами. Когда он снял фуражку, я увидел, что он совершенно седой,

волосы были подстрижены под ежик. Голубые глаза смотрели холодно и устало. На нем не было ни орденов, ни колодок, но, как ни странно, сразу чувствовалось, что он генерал и большой начальник, хотя снисходительности в нем не было ни грамма, да и важности тоже. Он поцеловал Ирину Вячеславовну и протянул мне руку. Это было рукопожатие равных, но моя рука утонула в его ладони.

— Вот ты какой, — сказал он. — Похож на отца.

Дело в том, что мой отец и дядя Гриша были броневики, а дядя Ваня и дядя Пепа — русые. В то время я не мог заподозрить свою бабушку в адольтере, да и сейчас у меня нет уверенности на этот счет. Но факт остается фактом — братья были похожи парами, а пары не были похожи совсем. Да и характеры у них были разные: отец и дядя Гриша куда более эмоциональны и куда менее основательны, чем дядя Пепа. Эту основательность — внутреннюю — я уловил потом, а сейчас я смотрел на него снизу вверх. Моя голова находилась чуть выше его пояса, и я испытывал необыкновенное чувство надежности, которого не испытывал всю войну.

Не испытывал после того, как отец приехал за мной в санаторий «Курорт», где я находился уже год с гипсом на ноге, где вначале чувствовал себя беззащитным после дома, бабушкиной и маминой опеки, где попал в компанию, ну, мягко говоря, непростых ребят, где усвоил правила общежития среди мужчин: солидарность перед начальством — в данном случае перед докторами, круговая порука, личное мужество в защите собственных интересов. Ябеды презирались пуще всего, доносы и наушничество наказывались жестоко. И должен признаться: до сих пор я живу по этим законам, и это был самый первый ценный урок в моей жизни. Позже я убедился, что жалобы и докладные пишут люди, которые не хотят работать. Это форма существования бездельников. Мне куда симпатичнее тот итальянец, которого принесли в полицейский участок, зверски исколотого ножами, и который на вопрос прокурора «Кто это сделал?» ответил:

— Если умру — прощаю. Жив буду — отомщу!

Примерно по этому принципу строилась вся моя детская жизнь — в пионерских лагерях, школах, больницах, интернатах.

Но тем не менее мне всегда хотелось, чтобы за моей спиной стоял человек, на которого можно положиться, — мой отец. И когда после кратких посещений санатория они с матерью уезжали, я победоносно оглядывал своих друзей-недругов по палате и

видел в их глазах зависть, потому что ни у одного из них не было таких красивых и здоровых родителей, а у некоторых их не было вообще.

Так вот, отец приехал забирать меня из санатория.

Вторую неделю шла война, вторую неделю мы, загипсованные волчата, лежали на веранде и слушали глухое уханье, доносившееся из Кронштадта. На восьмой или девятый день к нам пришла перепуганная старшая медсестра и стала что-то бормотать о наших победах в Польше, о танковых сражениях, о том, что немцы бомбят Севастополь, Киев и Ленинград.

Погода была прекрасная, вокруг веранды стояли золотистые сосны, сияло голубое небо, но ощущение тревоги висело над нами. Оно еще более усилилось после сообщения старшей сестры.

По ночам мы смотрели в белесое небо, по которому блуждали слабые лучи прожекторов, и слушали далекое уханье.

И вдруг приехал отец. Сестры хлопотали вокруг него как наседки. Меня одели в мой гражданский, тесный после больницы пижамы костюмчик и потащили на носилках к выходу. Я не помню, что случилось, — то ли не было машины, то ли еще что, но отец взял меня на руки и, бережно прижимая к себе, понес на руках. Он нес меня до пригородного поезда. А потом мы ехали в такси, и я видел веселый, солнечный Ленинград, очень праздничный благодаря заклеенным бумажными полосками окнам. Очень праздничный благодаря висевшим в небе аэростатам воздушного заграждения.

Вообще война казалась очень праздничной и необычной, какой-то веселой игрой. Выла сирена, и мои родственники тащили меня с пятого этажа вниз, в бомбоубежище. Небо было неизменно голубым, сирена выла, как во время учебных тревог, когда все вдруг натягивают противогазы и становятся похожими друг на друга, как роботы (тогда я еще не знал этого слова). Потом мы сидели в бомбоубежище и слушали глухие толчки и уханье зениток. Потом объявляли отбой воздушной тревоги, и мы вылезали из темного прохладного подвала в жаркий июльский день с безмятежными аэростатами в голубом небе. Родственники втаскивали меня на пятый этаж по черной лестнице. Теперь я понимаю, что это было не так-то просто таскать меня (иногда до восьми-девяти раз) вниз-вверх двум-трем женщинам, потому что мужчины были на работе.

Но тогда я ловил полный кайф от перемены ощущений и обстановки. После санатория с его железным распорядком война казалась мне чем-то вроде прекрасного путешествия. Аэростаты воздушного заграждения были вежами на этом пути.

В один прекрасный день отец пришел домой в военной форме. Форма сидела на нем плохо, совсем не так, как на дяде Грише и дяде Пепе. И чин у него был совсем не такой, он был всего-навсего лейтенант. Поблескивая стеклами очков в тонкой железной оправе, он сообщил матери и всем родственникам, что ушел с завода, где у него была бронь, добровольцем в народное ополчение. Я помню энтузиазм родственников и свой собственный. По радио в это время сообщали, что мы оставили Витебск.

С тех пор этот город является для меня точкой отсчета войны, ее начала и ее конца. И когда много месяцев спустя я услышал, что наши войска освободили Витебск, понял, что мы победили, хотя до Победы было еще далеко.

Почему-то плакала одна моя мама. Мне было трудно понять причину ее слез.

Несколько дней спустя отец нес меня на плечах по перрону Московского вокзала. Суетилась толпа. Люди лезли в вагоны с узлами и чемоданами. Я не мог понять этой суеты и покорно следовал потоку, выставив вперед загипсованную ногу. Наконец отец водрузил меня на полку вагона, пахнувшего воблой, и, оцарапав на прощанье щетиной, обнял мать. Они стояли среди обтекавшего их потока людей, и тогда я впервые увидел то, что много лет спустя служит мне уроком и не позволяет с пренебрежением относиться к слабому полу. Короче, было что-то величественное и нежное в том, как стояли мои родители, обнявшись среди людей, стремящихся занять последние клочки жизненного пространства вагона.

Потом мы медленно ехали и подолгу стояли, пропуская военные эшелоны с платформами, на которых стояли танки и зачехленные зенитки. Солдаты на платформах беззаботно плясали «цыганочку», не придавая значения тому, что они едут на свидание с вечностью. Утром следующего дня мы проезжали Волховстрой. Лежа на второй полке вагона, я глядел на безмятежное голубое небо, на плотину Волховстроя, неторопливо процеживающую скудные пенные ручейки воды.

В небе появились самолеты. Они вдруг стали странно переворачиваться через крыло и падать вниз. Вой сирен приятно разрушил тягучее пространство времени. «Штукасы» летели, перевернувшись вверх колесами, и тут же столбы белой воды вставали между плотиной Волховстроя и железнодорожным мостом, по которому шел наш поезд. Вагон наполнился битым стеклом и потоками воды, вызывающими восторг ребятишек. Несколько часов спустя мы увидели эшелон, в который они попали. Он лежал на обочине, и вокруг него на летней траве лежали трупы в нарядных маркизетовых и сатиновых платьях,

трупы женщин и детей.

Вот тогда впервые слово «фашизм» стало для меня осязаемым понятием. Спустя много лет я понял, что это слово обозначает для меня все отвратительное в жизни, против чего я обязан бороться, если хочу хоть немного уважать себя.

Мы приехали в Вологду, где должны были пересесть на пароход, который отвезет нас к дяде Шуре, брату матери, живущему в поселке под названием Усть-Вымь. Парохода не было. Пока я сидел на белой скамейке, выставив загипсованную ногу, причал наполнился носилками с ранеными. Они лежали, свежезабинтованные, являя собой еще один аспект этой праздничной войны. Постепенно носилки заполнили весь причал.

Я помню мальчика, обварившегося кипятком, и раненых, которые могли ходить. Они окружили его в своих застиранных халатах с загипсованными руками и забинтованными головами. Они окружили его плотным кольцом и мочились на него. После того как мальчика увели, на выбеленных досках причала остался темно-серый мокрый круг.

Потом мы плыли по Вычегде на колесном пароходе. Пароход шел среди обрывистых песчаных берегов, покрытых соснами, и такие же сосны плыли нам навстречу, попадая под лопасти колес парохода и тем самым вызывая бесчисленные остановки для починок. Во время остановок ходячие раненые купались, задрав свои загипсованные руки, а на пароходе ловили рыбу и подавали изумительную уху из стерляди, вкуснее которой я не ел больше никогда, даже в самых лучших ресторанах Европы и Советского Союза.

Единственное неудобство от войны заключалось в том, что окна нашей каюты на ночь закрывали деревянными щитами. Это называлось светомаскировкой, и дышать в каюте, нагретой июльским солнцем, было нечем.

Мы прибыли в поселок Усть-Вымь, где нас встречал старший брат матери дядя Шура — высокий, седой, жилистый мужчина с улыбающимся лицом Спенсера Треси. Тогда я еще не знал Спенсера Треси и фильмы с его участием увидел много лет спустя. Но дядя Шура напоминал мне всю жизнь американца, наверное, потому, что в нем были сосредоточены лучшие качества русского человека: неторопливость и быстрота в работе, полное отсутствие похвальбы, доброта и терпимость, постоянное присутствие чувства юмора, особенно по отношению к себе. Я никогда не слышал, чтобы дядя Шура кричал или даже голос повышал, никогда не видел его суетящимся и создающим

видимости работы. Но в нем было то чувство собственного достоинства, достоинство профессионала, знающего себе цену, которое постепенно исчезло у русских людей и, как ни странно, стало привилегией американцев.

Казалось бы, революция сделала всех равными, но она дала преимущества так называемому «пролетариату». И вот вся пена, именно пролетарская пена, выплыла наверх и стала начальством над настоящими тружениками. Она забыла свое пролетарское происхождение, помнила только одно: если хочешь выжить — выполняй то, что тебе приказывают сверху, а на нижних наплевать — дави их, суди за пятиминутное опоздание, сажай в концлагерь за украденную пачку «Беломора» или просто так. Потому что ты делаешь историю и строишь светлое будущее для грядущих поколений.

Достоинство постепенно исчезло с человеческих лиц. Ведь строили будущее не для себя. Личность не представляет никакой ценности для общества — ведь нет незаменимых людей, есть должности, и выражение лица должно соответствовать должности. Чем выше должность, тем более озабоченным и важным должно быть выражение лица для нижестоящих, и наоборот, по отношению к вышестоящим оно должно выражать радостную готовность немедленно и без рассуждений выполнить любое задание.

Наверное, потому, что выражение лица у дяди Шуры постоянно сохраняло ироничное выражение для всех, он пользовался большой любовью рабочих и его недолюбливало высокое начальство. Но в тех местах, куда мы приехали, дядя Шура был большим начальником. Он был начальником единственного предприятия в поселке — сплавконторы.

Никакими привилегиями своего положения дядя Шура не пользовался. Мы, то есть все его сестры, их дети и его дети, съехавшиеся в Усть-Вьмы, жили впроголодь, получая хлеб и продукты строго по карточкам, в общий рацион входил и литерный паек дяди Шуры. Жили мы в большом деревянном доме на сваях. На второй этаж вела наружная деревянная лестница, украшенная затейливой резьбой. Нижний этаж предназначался для скота, но скота уже давно не было, и нижний этаж превратился в отхожее место, как и в остальных домах Усть-Вьмы. Летом оттуда несло привычное зловоние, а зимой все замерзло, но зловоние сохранялось, так как за лето оно успевало пропитать весь дом.

На верхнем этаже было три комнаты. В двух поменьше жили хозяйки — две сестры в возрасте 20—30 лет, служившие в сплавконторе и, как я сейчас понимаю, постоянно сексуально озабоченные. Мужчин в поселке почти не было, а те, которые остались для

нужд сплавконторы, были настолько измучены работой, что им было не до любви.

В третьей, комнате метров тридцати, поселили нас: меня, мою маму, тетю Веру с дочками Леночкой и Ирочкой. Тетя Лиза и дядя Шура с семьей жили в соседнем доме. Комната была довольно уютная, в ней было шесть окон, выходявших по два на каждую сторону, а посредине, занимая примерно треть комнаты, располагалась большая печь. К этой печи мы прижимались спинами зимой, потому что тепла не хватало — лежанка и топка находились на половине хозяев.

Однажды днем я лежал, накрывшись всеми одеялами, на кровати и читал книжку под названием «Макар-следопыт» (по иронии судьбы, через сорок лет мне пришлось снимать ее в кино). Мама и тетка были на работе, сестра в школе, а я не ходил в школу из-за гипса и учился первые два класса дома. И вот тогда к нам в комнату заглянула старшая хозяйка, ее звали Зиной. Она была в длинной белой рубашке и накинута на плечи полушубке. Не знаю, почему она была не на работе.

— Что же ты лежишь тут один в холоде? — сказала она и покраснела.

— Да мне не холодно, — сказал я, не желая расставаться с приключениями Макара-следопыта.

— Пойдем ко мне, я тебя чаем напою...

С наступлением морозов я испытывал постоянное чувство голода. Ели мы картофельную шелуху и «загусту» — коричневую кашу из неизвестной муки, в которую наливалось прогорклое горчичное масло, и мы, соскребая с краев тарелки кашу, обмакивали ложку с кашей в масло и медленно-медленно пережевывали ее. Вместо чая мы пили отвар шиповника.

Так как еды не предвиделось до вечера, я расстался с Макаром-следопытом и, взяв стоящие рядом самодельные костыли, зашкондыбал на хозяйскую половину. Там было тепло и уютно. Стены нашей комнаты были оклеены номерами газеты «Ворлыдысь» (с коми — «лесоруб»), видимо, ее оклеили перед войной, но обоями не успели. Здесь комната была оклеена обоями с крупными розами. На окнах были занавески, везде лежали вышитые салфеточки, на диване — подушечки, на тумбочке стоял новенький патефон. А на столе — о чудо! — дымился пузатый самовар с фарфоровым чайником, варенье из морошки и мелко наколотый сахар на блюдечке.

— Пей, — сказала хозяйка и уселась напротив меня, подперев голову руками. Казалось, голова находится в высокой вазе для фруктов.

Она смотрела на меня как-то странно, и вдруг я почувствовал, что меня затрясло.

Сначала застучали зубы, потом забренчала ложка в чашке, и, когда я ставил чашку на стол, она несколько раз звякнула о блюдечко.

— Что же ты не пьешь? — спросила женщина.

— Не хочу, — сказал я и, пытаюсь оправдать свою дрожь, добавил: — Мне холодно...

— Бедный, — сказала она, — пойдем на лежанку, согреемся.

Она помогла мне вскарабкаться на лежанку, придерживая гипс, и затем быстро влезла сама. Там было тепло, пахло овчиной и чем-то еще — я пока не знал этого запаха.

— Ложись, миленький, — сказала она, подоткнула мне подушку, накрыла большим сторожевым тулупом и погладила меня по щекам горячей потной ладонью.

Я не переставал дрожать. Она посидела еще немного, как бы обдумывая что-то. А потом вдруг стянула через голову рубашку, и я впервые увидел голую женщину. Она забралась ко мне под тулуп и прижала мою голову к своей груди. Грудь была большая, горячая и пахла, я теперь знаю этот запах, они пахли желанием.

— Ах ты мужчинка, — сказала она вдруг с удивлением и еще крепче прижала меня к себе. Потом она, укладывая меня на себя, шептала: — Не спеши, не торопись. Вот так, вот так...

...Когда я очнулся, лицо мое было мокрым. Она всхлипывала, и целовала меня, и, извиваясь, терлась о тулуп, задевая ногами за мой гипс. Мне было необыкновенно легко, и я ощущал какую-то отрешенность, дрожь прекратилась, и запахи, которые так возбуждали меня, вдруг стали мне неприятны.

— Ты только мамке не говори, — шептала она. — Не скажешь ведь, не скажешь?

— Не скажу, — шептал я, — не скажу. — И опять меня начало трясти.

Потом мы пили чай из блюдечек, и я стыдился на нее смотреть.

— Мужчинка, — сказала она. — Подрастешь — баб любить будешь.

Зима сорок первого была на редкость суровой. За окнами свистела пурга, и мы теперь жалели, что окон так много. Завешивать их было нечем, так как все тряпье мы натягивали на себя. Постепенно мы все заболели корью, и в нашей комнате образовался лазарет. Все это время я не видел Зину, но в горячечном бреде передо мной возникали, почему-то по отдельности, части ее тела: груди, бедра, живот, и я часто просыпался мокрым, испытывая чувство облегчения и стыда.

В это время мать перестала получать письма от отца. Когда приходила почта, тетки получали целый ворох писем, иногда

по десятку. А моя мать — ни одного. Она садилась в темный угол и тихонько плакала, чтобы не испортить радости тете Вере и тете Лизе, которые читали письма около керосиновой лампы, тускло освещающей стол и отодвигавшей все вокруг во мрак, отчего комната казалась огромной. Черная тарелка репродуктора сообщала голосом Левитана о вновь оставленных городах и о подбитых и уничтоженных танках и самолетах противника.

К весне умерла Ирочка. Утром, когда все проснулись, она была уже холодная. Веселая девочка, она всегда улыбалась, и только в бреду лицо ее становилось красным и напряженным, а открытый рот судорожно ловил воздух.

Дядя Шура принес маленький гроб. Помоему, он его выстругал ночью сам. Со сплавконторы он выделил лошадь и инвалида кучера. Сам он поехать не мог — выходов не было, он уходил на работу в шесть утра, а возвращался в двенадцать ночи. За все время нашей жизни в Усть-Выми я видел его считанные разы.

Мы ехали по раскисшей дороге на кладбище. Теток он отпустил с работы. Я и двоюродная сестра Леночка были еще очень слабы после болезни и, сидя на розвальнях, смотрели, как тетки долбят промерзшую землю. Могилу выкопали неглубокую. И в последний раз открыли крышку гроба. Ирочка лежала удивительно тихая и прозрачная, лицо было спокойным и повзрослевшим. Над ней было синее мартовское небо, а вокруг искрился снег.

Весной мне сняли гипс с ноги. За это время я подрос, и он стал мне тесен. Мать размачивала его соленой водой и вспарывала бинты кухонным ножом. Нога была белая, покрытая гусиной кожей и вдвое тоньше здоровой. Вначале колено не сгибалось совсем, но постепенно я, скрипя зубами, разработал его и даже через две недели смог ходить по дому без костылей, испытывая при каждом шаге тупую боль, к которой я постепенно привык и старался не обращать на нее внимания. Эту боль я испытывал ежедневно на протяжении долгих лет, пока в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году мне не сделали операцию.

Все это время я старался ни в чем не отставать от своих сверстников. Я катался на лыжах, играл в казаки-разбойники, участвовал в многочисленных драках, играл в футбол, занимался фехтованием. Вот только стометровки я бегал плохо, а когда по беговой дорожке стадиона бежали на длинные дистанции, ко второму кругу я оказывался

первым и нередко срывал иронические аплодисменты зрителей.

От отца по-прежнему не было никаких известий, и мать тихонько плакала, когда тетки читали письма своих мужей. Не было писем от дяди Сережи и дяди Леши — маминых братьев, воевавших на фронте. Не было известий от дяди Пепы. Мы получили письмо от бабушки, которая жила с Марией Николаевной в Ташкенте. Она писала, что погиб Пепя и пропал без вести Вова.

Несмотря на все эти печальные известия, я не мог поверить, что мой отец мертв. Такой он был большой, сильный, так он весело смеялся; нет, мертвым я его представить себе не мог. Мать плакала. Я целовал ее частыми поцелуями (чтобы она дольше прожила) и шептал ей:

— Он жив, он жив! Вот увидишь, он жив!

Ближе к лету пришло письмо от дяди Леши. Письмо шло почти три месяца. Дядя Леша лаконично сообщал в нем, что он жив, здоров и прекрасно себя чувствует, что его даже наградили медалью «За отвагу» в августе сорок первого года, а сейчас он получил орден Отечественной войны. Сообщение о награждении медалью «За отвагу» вызвало недоумение у дяди Шуры. Что же такое мог совершить его флегматичный, второй по старшинству, брат?

А произошло следующее (об этом мы узнали уже после войны). Батарея сорокапяти-миллиметровых пушек, которой командовал дядя Леша, после месячного изурительного отступления остановилась где-то на Украине и получила приказ стоять насмерть. Бойцы открыли окопы среди нескошенного пшеничного поля. Немцы вроде бы отстали, и можно было передохнуть. Но не тут-то было... Скоро они увидели сквозь золотую пшеницу черные цепи эсэсовцев, шедших в психическую атаку. Обнаглевшие, с красными пьяными мордами, в мундирах с закатанными рукавами, они, не скрываясь и не стреляя, шли на наши позиции, уверенные, что «эти русские скоты» побегут от одного их вида. Впереди шел офицер со стеклом в руках.

В наших окопах воцарилась мертвая тишина, все замерло, вцепившись в винтовки. И тогда дядя Леша неторопливо подошел к пушке и, отстранив наводчика, прильнул к панораме. Я представляю, как неторопливо и сноровисто работали его руки, крутящие штурвал наводки. Все братья Ярагины были большими специалистами в своем деле и никогда не довольствовались средними результатами.

А немцы все шли молча и неумолимо, и перед ними легко и беззаботно вышагивал офицер, стеклом задавая темп движению. В тот момент, когда офицер готовился под-

нять стек и крикнуть: «Огоны!», у него вдруг отлетела голова. Это выстрелил прямой наводкой дядя Леша. Сначала все увидели, как отскочила голова, а тело сделало еще несколько шагов по инерции и рухнуло, а потом услышали гром орудейного выстрела.

В следующую секунду эсэсовцы легли, а наши солдаты бросились в штыковую атаку, выкладывая всю ярость за унижительное отступление. Почти батальон эсэсовцев был уничтожен в штыковом бою.

За это дядя Леша получила свою первую солдатскую награду — медаль «За отвагу». Потом он много еще получил орденов и медалей, но только спустя двадцать пять лет после окончания войны он рассказал мне о награде, которую не получил, да и не хотел получать.

Мы сидели в нашей столовой, еще был жив отец, и дядя Леша пришел к нам в гости. Он только что вернулся из-под Харькова, где собирались его однополчане по случаю двадцатипятилетия Победы.

В том же августе сорок первого года под ударами немцев их полк, отступая, бросил обоз, а в обозе, в одной из телег, лежало знамя полка. По суровым военным законам, в случае потери знамени полк должен быть расформирован, и память о нем предана презрению.

И тогда офицеры полка собрались и решили, что делать.

— Я пойду и принесу знамя, — сказал дядя Леша. Как всегда, он был краток.

И он пошел. Обоз был в трех километрах за линией фронта, в тылу у немцев. И когда дядя Леша вышел к нему и нашел наконец знамя, появились немцы, которые тоже осматривали повозки, заодно приканчивая раненых ездовых. К этому времени дядя Леша успел оторвать знамя от древка и, засунув его под себя, притворился убитым. Немцы осветили его фонариком и прошли мимо. Обмотавшись знаменем, он пришел в расположение полка и молчал. Молчал до сих пор. Молчали и те офицеры, которые знали об этом.

Полк стал гвардейским, дошел до Берлина, а потом до Праги. Знамя, которое вынес дядя Леша, украсили многие боевые награды. И потому вспоминают этот полк не с презрением, а с благодарностью.

Дядя Леша молчал бы и сейчас, если бы на встрече ветеранов командир полка не выпил бы по этому поводу и не выразил бы сожаление, что не может представить дядю Лешу к Герою, потому что Героя дают за спасение Знамени. Но тут уж нужно выбирать: то ли дядя Леша героически спас знамя, то ли полк негероически оставил его в обозе при отступлении.

Наверное, в этот день отец окончательно простил дядю Лешу. Они выпили, обнялись и

поцеловались. И я вдруг почувствовал облегчение, как будто исчезло некоторое силовое поле, присутствовавшее между ними. Ну да об этом после.

Летом я научился курить. Мне как раз исполнилось десять лет, и я впервые вступил в контакты с местными ребятами.

Вначале мы курили махорку. Потом махорка кончилась, и мы стали курить мох, которым конопятили щели между бревнами в усть-выноски избах. Но мох был очень едкий, и мы подолгу надсадно кашляли. И тогда я вспомнил, что у мамы в маленьком фибровом балетном чемоданчике — предшественнике наших «дипломатов» — хранятся пачки легкого табака, которые мать держала на крайний случай. Так я совершил свое первое воровство. Постепенно я вытаскивал из пачек щепотки длиноволокнистого золотистого табака, и пачки становились все тоньше и тоньше. А мой авторитет поднимался в глазах моих вновь приобретенных друзей все выше. Никогда в жизни я не ловил такого кайфа от курения, как в то лето 1942 года, когда мы сидели в развалинах старинной церкви на горе и смотрели на необозримые дали, в которые утекала Вычегда.

В круг наших интересов, кроме курения и мата, входило еще изготовление поджигал — самодельных пистолетов, изготовлявшихся из медной, расклепанной на одном конце трубки, с помощью медной же проволоки укрепленной на деревянном ложе. В трубку набивался порох, засаживались пыжи и пуля из обрезков свинца, гвоздей или дроби. Потом против маленькой дырочки в конце трубки устанавливалась спичка, по ней чиркали коробком, и из поджигалы вместе со столбом огня вылетала дробь. Иногда трубка срабатывала как ракета или просто разрывалась. Последствия этого можно было прочитать на лицах моих друзей. У одного из них, его звали Ким, в оттопыренном ухе зияла дыра. Сквозь это ухо, чудом не задев черепа, пролетела почти полуметровая медная трубка, предмет зависти всей нашей компании. Ким соорудил из нее маузер и не пожалел пороха, кроме того, он засунул в ствол две малокалиберные пули. После взрыва мы заметили воткнувшуюся позади него в стенку сарая трубку, потом расщепленную рукоять «маузера» в его вытянутой руке, а уже потом — дырку в его ухе. Дырка была величиной с двухкопеечную монету. С тех пор он стал для нас героем, правда, он утверждал, что не почувствовал боли.

Скоро я достиг определенного уровня в изготовлении поджигал. Я вырезал из досок наганы, браунинги, маузеры и старинные пиратские пистолеты. Кроме того, я научился

попадать в цель на расстоянии пяти — семи метров, и все мои шапки напоминали дурышлаг.

Осенью я пошел в школу — сразу в третий класс. Учился плохо. Правда, иногда у меня вспыхивал интерес к отдельным предметам, но это объяснялось главным образом личностью Учителя. Первым был Вадим Петрович Спиридонов — учитель географии в Ухтинской средней школе. Старик в черном сюртуке, обсыпанным перхотью, с длинными седыми волосами, он так увлеченно излагал свой предмет, что у меня вспыхнула непреодолимая страсть к географии, и она не утихла, пока Вадим Петрович не умер, вероятно от недоедания, в своей холостяцкой комнатке, в которой не было ничего, кроме огромного количества книг и керосинки. Он умер на матрасе, который лежал на полу, одетый в свой неизменный и, как выяснилось, единственный сюртук. В доме не было ни крошки еды. Рядом с матрасом стояла дочиста выскребленная кастрюля, и определить, что в ней варилось, было невозможно. Не было и черного демисезонного пальто, и белого шарфа, в которых он приходил в сорокаградусный мороз на уроки. Это было последнее, что он мог обменять на еду. Книги, видимо, никого не интересовали, да и слишком он ими дорожил.

После его смерти я долго не встречал ни одного учителя, способного так внушать ученикам любовь к своему предмету. Вторым учителем был преподаватель математики Павел Ильич Левин. Его я встретил уже в старших классах в Ленинграде. Всю жизнь я считал математику скучнейшим предметом, пока у нас в классе не появился маленький лысый человек, похожий на Эрика Штрогейма. И оказалось, что математика — самый что ни на есть увлекательный предмет.

Я учился в четырех школах. Две из них я ненавидел, а две любил. Моя любовь и ненависть определялись коллективом, в который я попадал. Коллектив Усть-Вымской средней школы не запомнился мне ни учителями, ни учениками. Кроме компании оналистов, там все было достаточно серо и тускло.

Я много болел и болел с удовольствием. Мать приносила мне из библиотеки сплавконторы толстые подшивки «Интернациональной литературы», и я запоем читал про чужую жизнь. В десять лет я прочел Стейнбека — «Гроздь гнева» и Хемингуэя — «Иметь и не иметь» и полюбил их на всю жизнь. Мое довоенное чтение ограничивалось домашними «детскими» книгами, а именно: Луи Буссенаром, Жюль Верном, Густавом Эмаром, Дюма, Майн Ридом и Эдгаром По. «Грабители морей» и «Тучи-душители» были

моими любимыми книгами. В последующих за Усть-Вымью пионерлагерях я их рассказывал по памяти, чем завоевал авторитет. На эти рассказы собирались ребята из других палат, и дежурные по лагерю удивлялись тишине и покою, царившим в палатах. Но это будет потом.

А в Усть-Выми интересы моих соклассников ограничивались подсматриванием в дырки дощатых женских туалетов, и, приходя после очередной болезни в класс, я не испытывал никакой радости.

После нового, тысяча девятьсот сорок третьего года приехали тетя Катя и тетя Таня. Больше года они провели в блокадном Ленинграде. Тетки мне показались очень толстыми. Но из-под платков и шарфов выглядывали неожиданно сухие и маленькие лица. Они все время плакали и почти не могли говорить. Тете Кате было тридцать пять лет, а тете Тане — двадцать, но выглядели они старухами. Ночью я проснулся от плача. Плакали мама и тетя Вера. Они плакали, глядя на раздетых ленинградских своих сестер, которые обмывались теплой водой из тазика. Не дай бог мне еще увидеть такое!

Я помнил, как они приезжали к нам на дачу. Мы шли на пляж, и тетки со смехом бежали к реке, поднимая тучи брызг. Из воды они выходили в мокрых купальниках, обтягивающих их стройные бедра и высокие груди, освещенные радостным, ярким солнцем, непобедимо молодые и прекрасные.

Теперь в тусклом свете керосиновой лампы над тазиком, стоящим на табурете, склонились две чудовищные фигуры. Словно в замедленной съемке они обмывали пустые обвисшие груди, кожаные мешки вместо бедер, свисающую с тонких костей кожу рук. «Капричос» Гойи и в подметки не годится этой картине. Еще бы! Гойе, наверное, никогда не приходилось видеть такое. Хотя этой серией он одним из первых предсказал появление фашизма.

Я в ужасе натянул на себя одеяло. Но обвисшая кожа теток долго стояла у меня перед глазами и много лет спустя иногда снилась мне в кошмарах.

По-прежнему не было писем от отца и дяди Сережи, получили письмо от бабушки. Она писала, что в Новосибирске умерла тетя Маня.

По вечерам я и сестры вычесывали на газету вшей. Вшей было великое множество, хотя нас и мыли регулярно дома, в тазах. В баню ходить было опасно, там вшей тоже было хоть отбавляй.

— Уж лучше свои, — говорила мать.

Зима сорок второго — сорок третьего была самой тяжелой. С едой становилось

все хуже. То, что можно было обменять на еду, было обменено. Местные жители, вначале приветливо относившиеся к эвакуированным, теперь косились на нас. Дратся с мальчишками в школе становилось все трудней. Зачастую мы с товарищем, встав спина к спине, отбивались от своих озверевших одноклассников, и я вспоминал стихи Джека Лондона «Там спина к спине у грота отбивали мы врага». Наши старшие защитники постепенно бросали школу, шли валить лес в лесопункты. Было трудно ходить по обледеневшим улицам в дырявых ботинках. Я все время падал, подвертывая большую ногу. За нами ходили стаи голодных одичавших собак, злобно ощеривавшихся, когда, отгоняя, в них бросали куски льда. Им тоже нечего было есть, и на помойках с каждым днем они находили все меньше съестного.

В довершение дядю Шуру перевели в Ухту. Предстоял переезд, а ехать было не на чем. Пароходы не ходили, а до ближайшей железнодорожной станции было километров двести. Вечером дядя Шура пришел прощаться с нами, вместе с ним уезжал его литературный паек.

— Я все разведую, — сказал он, — и вытащу вас отсюда. Потерпите месяц.

Он стал совсем седой и как бы высох, но по-прежнему улыбался своей американской улыбкой Спенсера Треси. Ему выдали пистолет, потому что он ехал туда, где на лесоповале у него будут работать одни заключенные. Но дядя Шура никогда не носил пистолет, чем вызывал у меня удивление. Я не расставался бы с пистолетом даже ночью!

— Если меня захотят убить, — говорил он теткам, — то убьют, даже если я буду ходить с пулеметом.

Вообще я заметил, что все мои дядья, в отличие от меня, испытывали непреодолимое отвращение к оружию. Когда после войны я пытался выяснить, сколько немцев кто из них убил, они, как правило, говорили, что они артиллеристы и никого лично не убивали. И дядя Леша, рассказавший про психическую атаку и офицера, которому он снес голову из сорокапятки, извиняюще пояснил мне:

— Понимаешь, я почувствовал, что наши сейчас побегут. Другого выхода у меня не было.

— Ну а потом, во время атаки, ты убил еще кого-нибудь? Сколько? — с жадностью спрашивал я.

— Не знаю, — сказал дядя Леша, — я не подсчитывал, — и прекратил со мной разговор на эту тему.

Тетки плакали, провожая дядю Шуру: уезжал последний защитник.

— Я пришло к вам кого-нибудь.

(Продолжение следует).

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ромил Соболев
Евгений Соболев

ЗУБР БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ

Эрмлер очень хотел сделать этот фильм. Может быть, предчувствовал, что он будет последней его большой работой в кино. В художественный совет «Ленфильма» он писал: «Я считал бы свой жизненный путь, тяжелый путь в искусстве завершенным, если бы мне удалось осуществить эту постановку».

В этом письме необычная интонация — усталой просьбы. Многие в замысле Эрмлера вызывало сомнения не только у руководства кино, но и у некоторых его коллег: и непривычная форма — документально-художественное произведение, и его главный герой — В. Шульгин, ярый в прошлом враг Советской власти, и нарочитая бесфабульность — намеренное и открытое желание авторов сделать сюжетом движение мысли, все действие заключить в слово, в диалог. Наконец, те, кто хотя бы немного знали В. Шульгина, сомневались в том, что он вообще подходит для фильма-диспута историко-революционного жанра, поскольку этот зубр белого движения совсем не тот человек, которого можно заставить что-то делать и говорить против его желания.

Это понимал Эрмлер. Защищая сценарий на художественном совете студии, он говорил: «Шульгин не выйдет и не скажет: "Я виноват перед Советской Властью"». Нет, он и не думает так говорить. Наша сверхзадача — сделать фильм, который покажет, что Шульгин осужден самой историей и что он это сегодня понимает, только не хочет с этим мириться и согласиться». И тут же привел пример весьма характерного для Шульгина отношения к Советской власти. Прочитав в сценарии, что он пробыл в лагере примерно треть срока, так как был помилован, Шульгин потребовал убрать слово «помилован». Помиловать, мол, можно того, кто об этом просит, — он же ни о чем власть не просил... Позже Эрмлер запишет: «...И сегодня мы с Шульгиным находимся по разные стороны баррикад. Я — член Коммунистической партии с 1919 года, Шульгин,

по-моему, и сегодня верен «белой идее». И все же мы работали вместе — враги в политике и в наилучших отношениях после работы».

Заводилой фильма «Перед судом истории» был В. Вайншток. Он, кажется, первым из советских журналистов «открыл» Шульгина, когда тот после лагеря тихо и скромно жил во Владимире. Не только познакомился — стал без преувеличения другом этого сложного человека, советчиком в его литературных делах, а в чем-то и опекуном (сказалось умение Владимира Петровича располагать к себе людей).

Вайншток познакомил Эрмлера с Шульгиным, когда тот лежал в одной из московских клиник. Вайншток и предложил идею картины, в которой главным действующим лицом стал бы Шульгин.

Кем же он был — Василий Витальевич Шульгин? Это о нем писал В. И. Ленин в июне 1917 года: «Штаб контрреволюции находится в стенах совещания IV Государственной Думы, где верховодят Милоуков, Родзянко, Шульгин, Гучков, А. Шингарев, Мануилов и К^о...»¹ А упоминаемый в этом ряду Павел Николаевич Милоуков, вождь кадетской партии, считал именно Шульгина «первым» вдохновителем вооруженной контрреволюции и виновником разгрома армий Деникина и Врангеля, разъяривших белым террором русский народ.

Собственно говоря, лучше всех рассказал о себе сам Шульгин в двух книгах 20-х годов — «Дни» и «1920 год», и в двух, написанных во Владимире, — «Письма к русским эмигрантам» и «Годы». Все они были изданы, а ныне и переизданы московскими издательствами.

Шульгин был не только одним из организаторов и идеологов белого движения, он был человеком сильной воли и крутого характера, развитого интеллекта, широких взглядов. Признавая прогресс и развитие большевистской России, он оставался до конца жизни верен «белой идее», потому что отнюдь не считал социалистический путь развития единственно возможным для России.

Шульгин родился и получил воспитание в богатой дворянской семье. Его отец и отчим были профессорами Киевского университета. Там же учился и Василий, получив профессию юриста. Но делом его стала политика. Еще студентом он

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 32, с. 348.

сотрудничал в газете «Киевлянин», основанной его отцом в 1864 году и руководимой после смерти отца отцом — Д. Пихно. По окончании университета Шульгин стал земским гласным, потом мировым судьей, а затем членом II, III и IV Государственной Думы от Волынской губернии. В Думе он видный и энергичный деятель фракции правых, ярко выступающий в защиту самодержавия.

Февральскую революцию встречал сорокалетний, сильный, умный, пользующийся всероссийской известностью политик крайне реакционного толка. Естественно, что Шульгин вошел в состав Временного комитета Государственной Думы, первого правительства, подхватившего власть у рухнувшего самодержавия. С этого времени на многие годы вперед — до 1937 года, по мнению самого Шульгина, — он становится одним из самых деятельных и настойчивых, непримиримых и последовательных врагов Советской власти.

Вайнштоку особенно не пришлось уговаривать Эрмлера — тот, познакомившись с Шульгиным, сразу зажегся идеей сделать фильм. Сначала Вайншток и Эрмлер не собирались ограничиться рассказом одного Шульгина, думали привлечь показания и ряда других эмигрантов, вернувшихся на родину.

Сохранились первые варианты сценария, в частности, тот, который Вайншток назвал «Дни» и представил на обсуждение художественного совета «Ленфильма» в конце мая 1963 года. В нем помимо Шульгина выступают с рассказами еще шесть человек с необычными судьбами. Это А. В. Говоров, генерал-лейтенант, начальник штаба Донского казачьего корпуса Добровольческой армии, друг Деникина, глава «Союза первопроходников». Это А. Л. Казем-Бек, денкинский офицер, создатель и глава белоэмигрантской фашистской партии «младороссов». Это Д. В. Брунст, сподвижник генерала Власова, член исполкома Национального Трудового Союза (НТС), один из организаторов в годы второй мировой войны «Русской освободительной армии» (РОА). Это Н. Н. Роллер, по малолетству в Гражданской войне не участвовавший, но в Испании сражавшийся в рядах республиканцев и затем участвовавший в движении Сопротивления во Франции. Это также журналист Л. Д. Любимов и П. А. Оболенский, князь, последний потомок Рюриковичей, музыковед.

Сценарий обсуждался заинтересованно и доброжелательно. Общее мнение точно сформулировал В. Конецкий: перед нами «новый жанр, который нам бесконечно дорог и важен. Эрмлер идет первым по этой тропинке. Каждый метр этой пленки

будет потом представлять большую ценность».

Общие сомнения, однако, вызвала фигура Историка. Д. Гранин предупредил, что сделать придуманного Историка выразителем правильных взглядов — «опасная вещь». Он начнет излагать что-то вроде «Краткого курса истории ВКП(б)». В. Конецкий добавил: «Что бы Историк не говорил, рядом с Шульгиным он будет пустое место». Редактор Х. Элкен высказал мысль, что «спор был бы хорош, если бы сам Эрмлер спорил с ним...»

В общем сценарий был одобрен. Казалось бы, можно начинать съемки, учитывая замечания в ходе работы. Но — редкий случай в кино! — авторы заколебались, они острее, чем писатели и опытные кинематографисты, входившие в художественный совет, почувствовали, что пока у них получилось что-то «не то». И всему виной был — Шульгин. Сидя во Владимире, он внимательно следил за всем, что делалось на студии. Вайншток часто наезжал к нему, рассказывал обо всем, но Шульгин требовал, чтобы ему присылали сценарные варианты и стенограммы обсуждений, потому что он не всегда в живой речи улавливает суть исправлений, замечаний, возражений и т. д. Все присылаемое читал и на все реагировал письмами, которые мало-помалу разрушали весь первоначальный замысел авторов.

Прежде всего Шульгин отверг финал, показывавший его как гостя XXII съезда КПСС в Кремлевском дворце. Там он кается, обещает бороться за мир и произносит панегирик в честь Н. Хрущева. Все вроде бы верно — Шульгин многое пересмотрел, изменил свои взгляды и борьбу за мир считал бесспорной заслугой коммунистов, и личность Н. Хрущева производила на него сильное впечатление, но то, как это было подано, вызвало у него протест. «Концовка — безвкусная, компрометирующая начало»¹, — сообщил он авторам. Они начали искать. И нашли — встречу Шульгина с Ф. Н. Петровым, членом партии с 1896 года, участником революций 1905 и 1917 годов...

Письма дают возможность видеть ход работы над сценарием и заодно понять крутой характер Шульгина. Он ничего не отвергал, не обосновал свою позицию. Он исписывал пачки бумаги, чтобы объяснить Вайнштоку и Эрмлеру: «...Некоторые мои воспоминания и сопоставления

¹ Из письма В. Шульгина. Его письма и записки, цитируемые здесь, хранятся в архиве В. Вайнштока, любезно предоставленном авторам его сыном, О. В. Вайнштоком, а также в архиве «Ленфильма» и ЦГАЛИ.

убийственны для современной власти... Но главное — я ее поддерживаю...» И далее: «...Поймите, я слышком много ненавидел, я устал ненавидеть. Я не верю в конструктивность ненависти... Эх, забраться бы на Ивана Великого и ударить в набат: "Опомнитесь, люди! Подумайте, сколько бы вы совершили, если бы ненависть и война не препятствовали бы вашему творчеству!"»

Он просил Вайнштока и Эрмлера не «упрощать» его путь на Родину. Ссылается при этом на свои книги, просит вдумать в обстоятельства. В частности, повторяет то, что писал в «Письмах к русским эмигрантам»: после амнистии «за неимением родных в Советском Союзе, которые могли бы нас с женой взять на иждивение (она приехала ко мне из Венгрии), мы были направлены в инвалидный дом. Более трех лет почти всеми забытый, проживая в Гороховецком, а затем во Владимирском доме инвалидов, я внимательно присматривался к событиям и людям». Только после этого счел себя вправе обратиться с призывом к эмигрантам: «То, что делают коммунисты в настоящее время, то есть во второй половине XX века, не только полезно, но и совершенно необходимо для 220-миллионного народа, который они за собой ведут. Мало того, оно спасительно для всего человечества, они отстаивают мир во всем мире». И рассказывает о том, чего никто не знал, — об отвергнутой им возможности после лагеря уехать на Запад. Он сидел вместе с немцем, весьма богатым человеком, который предлагал ему после освобождения уехать в ФРГ, где Шульгин с супругой смогли бы безбедно жить у него на правах родственников.

Из этого, однако, не следует, что Шульгин сам стал коммунистом, в чем его обвинили непримиримые эмигранты и что проскальзывало в сценарии. Этот момент он постоянно акцентирует в своих письмах.

Но главное, чего он требует, это — правды! В августе 1963 года, прочитав один из вариантов сценария, он пишет авторам: «...Я пришел к выводу, что мы совершенно расходимся в том, что такое правда о некоторых событиях. Уважая вашу правду, я все же не могу принести в жертву мою собственную. Мы не можем понять друг друга...» Шульгин вскоре сообщает, что «полагает невозможным» сниматься в данном фильме, договор со студией расторгает, а полученный аванс возвращает.

Пришлось Вайнштоку, бросив все дела, мчаться во Владимир и налаживать отношения со взбудоражившимся стариком.

Вообще, надо подчеркнуть, этот фильм удалось завершить только благодаря великим дипломатическим качествам Владимира Петровича. Эрмлер и Шульгин были антиподами — по судьбе, мировоззрению. Можно представить, что испытывал Эрмлер, читая, например, рассуждения Шульгина о Ленинграде: «Двести лет звучало название "Санкт-Петербург", неразделимое со славой России. И вот в один прекрасный день "Санкт-Петербург" сбросили со счетов, то есть имя Петра Великого стерли со страниц истории. Это было сделано тогда, когда Петербург перекрестили в Ленинград. Быть может, это нравится старому члену партии, не знаю, как к этому деянию относится историк, но некий Шульгин... просто имени "Ленинград" не приемлет». Вслед за этим он пишет, вспоминая посещение Ленинграда поздней осенью 1925 года. «...И вот я... приехав из Киева, вышел на площадь в Ленинграде, которая раньше называлась Николаевская, теперь, кажется, Октябрьская. Со смешанным чувством я увидел, что памятник императору Александру III по-прежнему стоит на этой площади. На нем раньше была надпись: "Строителю великого Сибирского пути". Теперь же я прочитал издевательскую надпись Демьяна Бедного:

Мой сын и мой отец народом
казнены,
А я пожал удел посмертного
бесславья.
Торчу здесь пугалом чугунным
для страны,
Навеки сбросившей ярмо
самодержавья.

Как старому члену партии, вам эта надпись, может быть, нравится, не знаю, что думает о ней историк. Но скажу вам по-правде, я испытал припадок ярости, которые мне изредка свойственны...» (Шульгин еще не знал, что этот памятник работы талантливого Паоло Трубецкого позже был демонтирован.)

Бросается в глаза недоверие Шульгина к однозначным, прямолинейным толкованиям событий прошлого, что в равной мере было свойственно и Эрмлеру и Вайнштоку, людям, сформированным определенной средой и временем. Он не оспаривает их резко негативную оценку Николая II, но объясняет: «Николай II, этот несчастный государь, был рожден на ступенях престола, но не для престола. Он сам это хорошо знал. В одном из покоев дворца в Ливадии в Крыму скончался Александр III, новый царь. Николай II, сдерживая рыдания, вышел в

соседнюю комнату, где вместе с другими членами императорской фамилии был великий князь Александр Михайлович. Жена́тый на сестре Николая II Ксении Александровне, Александр Михайлович был самым близким человеком молодого царя, его другом. Естественно, что первые слова только что ставшего царем Николая II были обращены к нему, то есть Александру Михайловичу. Что же сказал новый правитель России? Это были слова отчаяния: "Сандро (так называли Александра Михайловича в царской семье), я не могу править Россией". Это были пророческие слова.

Шульгин часто повторяется, растолковывая, что в момент крушения самодержавия он боролся совсем не за то, чтобы Николай II остался на престоле, но за идею монархии — конституционной, современной, действующей в рамках закона, ибо, по его мнению, для России это единственно возможный государственный строй — исторически сложившийся, нравственно оправданный, психологически органичный.

Этот момент воспоминаний Шульгина составляет одну из ключевых сцен фильма «Перед судом истории». Бродя с Историком из зала в зал, из комнаты в комнату Таврического дворца, где заседала Государственная Дума и где был центр Февральской революции, Шульгин рассказывал:

— То, чего мы так боялись, уже стало свершившимся фактом. И мы все это видели и не могли остановить. Да и кто мог остановить?! Сплошная беспорядочная толпа: серо-рыжая солдатня и черноватая рабочеподобная масса залила весь двор Таврического дворца. Эту толпу прорезали оцетинившиеся штыками, оглушительно рычащие грузовики, подобные неким чудовищам. Огромные флаги вились над ними. Бесперывно подходили воинские части под звуки «Марсельезы». И там, в зале уже не существующего российского парламента, шел непрерывный митинг...

Под утро второго марта, оттесненные на какие-то задворки, в двух маленьких комнатухах, совершенно выбившиеся из сил, мы все-таки продолжали заседать. Комитет Государственной Думы в это время был в неполном составе: Милюков, Родзянко, я — остальных не помню. В это-то время пришел Гучков. Снова встал вопрос: что делать?.. Что делать? Гучков сказал: «Надо действовать тайно и быстро, надо поставить Россию перед свершившимся фактом, надо дать ей нового государя».

«Я предлагаю, — продолжал Гучков, — поехать в Псков, в ставку. Но я хотел бы,

чтобы еще кто-нибудь поехал со мной». Мы переглянулись. В душе каждого из нас вопрос об отречении был уже решен, и я сказал: «Александр Иванович, я поеду с вами». Я хотел, чтобы акт отречения был вручен монархистом. В десять часов вечера мы приехали...

Историк: Так выглядел императорский салон-вагон.

Шульгин: Да... все, как было.

Царский салон-вагон хранился как историческая реликвия на запасном пути в Петергофе. Но в войну он сгорел под бомбежкой. Сохранились, однако, из убранства икона, календарь, блокнот и один стул, самое же главное — кусок ткани, которой были обиты стены вагона. Ну и, конечно, фотографии. Этого было достаточно, чтобы художник А. Блэк воссоздал салон-вагон. Настолько точно воссоздал, что Шульгин, войдя, с болью прошептал: «Боже мой... Вещи сохранились, а людей нет... Остался я один...»

Шульгин: Роковое второе марта (берет в руки царский календарь, открытый на этой дате). На этом месте, где вы сейчас, стоял высокий старик. Это был министр двора граф Фредерикс... Он сказал: «Государь император сейчас выйдет». И я подумал: значит, это все-таки будет. Судьбы отратить нельзя... Государь вышел отсюда (указывает на дверь). Он был в серой черкеске. Мы поклонились. Он подошел к нам, подал руку... Затем жестом пригласил нас сесть. Сам он занял место... вот тут. Гучков против него, вот там. Я — рядом с Гучковым, а граф Фредерикс — вот тут. Стал говорить Гучков. Он волновался. Он очень волновался... И не мудро. Он говорил о том, что происходит в Петрограде. Он говорил о взбунтовавшихся полках, он говорил о казаках, отказавшихся стрелять. Он говорил о манифестациях рабочих, о баррикадах на Невском. Наконец, он говорил о правительстве, которого не было. Я прибавил: «Петербург — это сумасшедший дом». Государь слушал нас, опершись головой о шелковую стену. На его лице можно было прочесть разве то, что эта длинная речь — лишняя. Гучков перешел к тому, что при создавшихся обстоятельствах единственным выходом из положения может быть отречение от престола...

Вот в эту минуту вошел генерал Рузский. Он занял место между графом Фредериксом и мною. Наклонившись ко мне, он прошептал мне на ухо: «Это дело решенное. Вчера был трудный день... буря была».

(«Вчера», то есть первого марта по старому стилю, Николай II обратился по телеграфу к командующим фронтами с вопросом об отречении, надеясь, видимо, полу-

чить от них поддержку. Командующие, в том числе и великий князь Николай Николаевич, отказали ему, так сказать, в доверии.)

— Голос царя,— продолжает Шульгин,— звучал просто и точно. Выдавал его волнение разве акцент, немножко чужой — гвардейский... «Я принял решение отречься от престола... До трех часов дня я думал отречься в пользу сына Алексея... С этого времени переменял решение в пользу брата Михаила. Надеюсь, вы поймете чувства отца». Я понял государя. Как вы знаете, наследник болел болезнью неизлечимой и царствовать не мог... Государь встал, все поднялись. Гучков передал ему набросок отречения, он взял его и вышел... Через некоторое время государь вошел и сказал: «Вот текст». Этот текст был напечатан на пишущей машинке.

Историк: (подавая Шульгину лист бумаги старинного вида). Этот?

Шульгин: Да. Это подлинный текст отречения. Подписано — Николай... контрастировано, то есть заверено,— граф Фредерикс, министр двора.

Историк выясняет, почему на отречении стоят не ночные часы, как было на самом деле, а пятнадцать часов дня. «Это было сделано по моей просьбе,— объясняет Шульгин.— Я не хотел, чтобы кто-нибудь мог утверждать, что акт отречения «вырван» у царя. Государь согласился и написал: “2 марта, 15 часов”». Потом, рассказав о возвращении в Петроград, Шульгин говорит: «История русской монархии трагична, она полна цареубийств». Об этом он размышлял и писал в книге «Три столицы» еще в 20-х годах: «Не помню, в какой книжке, на каком языке, я прочитал такую фразу: “Русские имеют обыкновение убивать своих государей”. Ничего более ужасного в жизни своей я не читал. Ибо это — правда». И объясняет, что хотел отречением «прервать эту отвратительную традицию».

Шульгин: Но это мне не удалось. И вот что тяготит мою душу... и я чувствую и до сих пор не то что угрызения совести, а некую великую грусть.

Далее Историк не очень к месту философствует, что не только, мол, история жестока — хорошо был в свое время и сам Шульгин. В этой связи напоминает, что Шульгин в молодости писал: «Николай I повесил пять декабристов, но если Николай II расстреляет пятьдесят тысяч февралистов, то это будет за дешево купленное спасение России». И требовал пулеметов: «Только свинец может загнать в берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя...» И зверь, по его же определению, был «его величество русский народ».

Шульгин резонно спрашивает, не думает ли молодой человек, в данном случае не считаясь с «течением времени», что бело-бородый старик, проживший долгую жизнь, повторит слова «Шульгина с усиками»? «Нет, я сейчас так не думаю».

Шульгин не намерен был играть в поддавки, и то, что Вайнштоку и Эрмлеру виделось простым и ясным, он воспринимал, как это ни странно звучит, с позиций более историчных. В одном письме Вайнштока Эрмлеру есть признание: «Старик меня заездил...» Эрмлер, получая письма Шульгина, хватался за лекарства.

Шульгин тоже уставал. Как-то Эрмлер заметил: «Дедуля, а вы бы меня повесили, попадись я вам в 19-м году». Шульгин сиронизировал: «Нет, я бы вас стал снимать в фильме...»

Споры возникали по самым неожиданным — для Вайнштока и Эрмлера — поводам. Так, авторы непременно хотели дать фразу Шульгина из одной его старой книги: «Белое движение было начато почти что святыми, а окончили его почти что разбойники». Шульгин просит в письме не забывать и того, что «красные, начав почти что разбойниками, с некоторого времени стремятся к святости...» Но это не вся правда. Почти-что разбойниками были матросы, «краса и гордость революции», которые сожгли офицеров в пылающих топках своих кораблей, палили из орудий по Зимнему дворцу. Авторы фильма напоминают о генералах-вешателях — Шкуро и Дроздовском, Улагае, Кутепове, Семилетове, Мамонтове, Фицхелаурове — их не счесть. Шульгин рассказывает о яростной и безжалостной расправе с теми, кто не успел или не захотел бежать из взятого красными Крыма осенью 1920 года, о неопишуемых действиях венгерских добровольцев Бела Куна...

Тупик. Выход подсказал Шульгин. Он написал Вайнштоку: «Да, лилась кровь кругом в этой братоубийственной резне. Ее проливали и белые, и красные, потому что кровь родит кровь». Эта фраза войдет в фильм и даст возможность Исторiku перейти к анализу причин краха белой эмиграции. С главным доводом анализа — отсутствие программы, потому что идея реставрации монархии была отвергнута народом в ходе Гражданской войны,— Шульгин полностью согласился. От себя добавил: «Вторая причина в том, что мы не смогли найти общепризнанного вождя». Сам он возлагал надежды в этом отношении на великого князя Николая Николаевича. И рассказал о смерти великого князя в 1929 году: «Его хоронили в городе Канн, во Франции. Хоронили торжественно. Я стоял в толпе, и мимо меня проходили разодетые в парадные

мундиры представители очень многих держав. И я думал: вместе с ним, бывшим главнокомандующим всего русского фронта, мы хороним последнюю надежду».

Далее, напоминая о свободе и равенстве советских людей, они добивались от Шульгина признания современности как некоего рая. Он на это не пошел. Он написал им: «Сейчас свобода ущемлена меньше, чем при единоличной диктатуре (И. Сталина.— Р. С., Е. С.), но все же ей обрезаны крылья. Ни одна печатная строка, так же как произведения театра и кино, не могут появиться в свет без одобрения партийной цензуры. Я это испытал на себе...» Что же касается равенства, то Шульгин считал, что ему мешает то обстоятельство, что «двести миллионов человек не имеют тех привилегий», которые есть у «партийцев и комсомольцев». И добавлял: «И экономически: какое равенство может быть, если один получает 350 руб., а другой — 35 руб.?»

Понятно, что этот момент в фильме был обойден.

Еще труднее вырабатывались общие оценки русской эмиграции накануне и в годы второй мировой войны, и обойти этот вопрос не представлялось возможным. Первоначальный текст Шульгин зачеркнул: «Вот вы показали на экране собирающиеся гитлеровских приспешников в Праге. И я самым решительным образом возражаю против того, чтобы оно было названо собранием русской эмиграции». Последовал вопрос:

— По-вашему, русские эмигранты не примыкали к Гитлеру?

— В семье, как говорится, не без урода. Среди русских, живших в Германии, во Франции, Югославии, нашлись изуверы, составившие так называемую «Русскую освободительную армию», которых немцы, впрочем, не рисковали посылать на русский фронт и применяли для усмирения сербов и французов. Но это был ничтожный процент той двухмиллионной эмиграции, которая возникла в первые годы революции до, во время и непосредственно после нашей Гражданской войны... По поводу русских в Чехословакии я бы хотел еще добавить, что там ядро русской колонии было, так сказать академическим. Оно состояло из трехсот профессоров, из которых некоторые пользовались международной известностью (как Струве, Новгородцев, Кизеветтер, Трошин) и тысяч трех студентов. Заработков для иностранных интеллигентов в Чехии находилось не так уж много, и главная русская организация в Праге, «Общество русских, окончивших высшее учебное заведение за границей» (ОРОВУЗ), прискивало своим членам работу в странах Западной Европы и обеих Америк. Ко времени Мюнхена и чехословацкой траге-

дии 1938 года русская колония в Праге стала таять. Остаться в славянской стране, выданной с головой немцам, значило отплатить черной неблагодарностью за оказанное братское гостеприимство. Кроме того, русские семьи пугала перспектива призыва их молодых в германские войска. Так что к началу второй мировой войны большинство русских эмигрантов перекочевало из Чехословакии во Францию.

Ответ давал возможность продолжить поиски общей точки зрения. О Власове и его армии Вайншток знал больше Шульгина, потому что как журналист в свое время специально занимался этим вопросом. Он мог давить на Шульгина фактами. А главное, он имел возможность показать Шульгину гитлеровскую хронику — о состоявшемся 14 ноября 1944 года заседании «учредительного собрания» «Комитета освобождения народов России», на котором присутствовал генерал-изменник и на котором профессор Руднев выдвинул Власова на пост председателя этого комитета. На заседании была оглашена приветственная телеграмма Гиммлера.

Убийственная хроника. Неоспоримая. Но в фильме Эрмлер ее усилит другой хроникальной врезкой: Историк и Шульгин входят на балкон, и перед их глазами не Ленинград 1964 года, а блокадный умирающий, но сражающийся город зимы 1941—1942 г., трупы на снегу, падающие от голода женщины, салазки с покойниками, люди на коленях, черпающие из проруби воду, израненные осколками кариатиды Эрмитажа...

— Позор! Мировой позор... — скажет Шульгин. — Всякий, кто пошел за Гитлером, опозорил себя. В том числе и те русские эмигранты, которых вы мне показали. Они приобщились к мировому злу и, по моему глубочайшему убеждению, они утратили право называться белыми...

Историк: Не только Гиммлер приветствовал Власова. Его славили и эмигранты: его поздравлял бывший донской атаман Краснов, в Париже некий Жеребков вербовал белых в его армию, а «Национальный Трудовой Союз» отдал себя в распоряжение Власова, тем самым и Гитлера.

Шульгин: Тем самым и Гитлера... Но позвольте, простите, пожалуйста. Не весь целиком «Национальный Трудовой Союз», а только часть его. Вы — историк, вы должны быть объективным. Нельзя говорить так суммарно: эмигранты. Справедливее было бы сказать: часть эмигрантов. А вы всех мажете сплошной черной краской...

Все это составило едва ли не лучшую сцену фильма — мы видим действительно живой доказательный спор. Он проясняет

и другой важный момент повествования — о потенциальной возможности перерождения «белого движения» в русскую разновидность фашизма.

О попытках разных проходимцев создать — в Харбине, Париже, может быть, и в других местах — «русскую фашистскую партию» речь не шла. Шульгин эти попытки называл «глупостью», определял как «чистый плагиат». Фашистские симпатии Шульгина 20-х годов ни в коей мере не были копированием гитлеровской теории и практики, они были прямыми и логическим продолжением его мечты о реставрации монархии, о «великой, единой и неделимой России». Все это ясно изложено еще в книге «Три столицы», где он писал: «В борьбе оружием мы проиграли, в борьбе идей мы не проиграли. Во всяком случае мы свою идею вынесли из боя, сохранили. Я думаю, она постепенно завоевывает мир. По крайней мере фашизм, который сейчас является противником коммунизма в мировом масштабе, несомненно, в некоторой своей части есть наша эманация...» А в конце повторит: «Я — русский фашист. Основателем русского фашизма я считаю Столыпина. Правда, покойный премьер, убитый в Киеве, сам не подозревал, что он — фашист, тем не менее он был предтечей Муссолини». «Я прошу вас,— добавляет, однако, Шульгин, вспоминая далекое прошлое,— не смешивайте итальянский фашизм с германским национализмом».

Наивность! Историк, улыбаясь, снова показывает ему гитлеровскую хронику: Гитлер принимает в полевой ставке Муссолини. Вот они возле большой карты Советского Союза — делят, видимо, добычу, решают судьбу советского народа, как несколько лет назад так же решали судьбы Австрии, Чехословакии, Польши, всей Европы, всего мира.

Историк: Как видите, Василий Витальевич, итальянский фашизм 20-х годов вполне сочетается со звериным нацизмом изделия 30-х годов. Историческая логика толкнула Муссолини в объятия Гитлера. Она же привела на службу Гитлеру все отребье Европы...

Шульгин принадлежал к той большей части эмиграции, которая не пошла в услужение к Гитлеру. Он жил тогда в маленьком югославском городе Сремские Карловцы.

Он свою позицию объяснял так: «Когда Гитлер напал на русский народ, Шульгин вспомнил Шекспира, его слова: «И злая тварь милее твари злейшей», и ощутил: злой Сталин лучше злейшего Гитлера. С этой минуты Шульгин желал победы Сталину. За таковые чувства Иосиф Вис-

сарионович пожаловал Шульгина двадцатипятилетним заключением вместо того, чтобы его повесить, как престарелого писателя атамана Краснова. Но Сталин умер. На смену ему пришли другие люди, в частности Хрущев. И по указу от 14.09.1956 г. Шульгин был освобожден. Никто его не миловал, и он не просил о помиловании...»

У Шульгина было безусловное чутье на правду. В этом отношении он был до смешного строптив. Эрмлер рассказывал: «Малейшая неточность вызывала негодование. Его нельзя было просить поступиться и мелочью. Приведу пример: первый кадр картины — приземление самолета, из которого выходит прибывший в Ленинград Шульгин. Историк... встречает его у трапа. После первых слов приветствия Историк спрашивает: «Как долетели?» Шульгин отказывается отвечать на этот вопрос: «Не могу. Не летал, не знаю. Если обязателен мой ответ, извольте хотя бы "покатать" над городом».

Взвешивалось каждое слово. Работа над текстом не прекращалась до конца съемок. Шульгин заваливал Вайнштока и Эрмлера материалом, подчас таким, с которым они просто не знали, что и делать. Так, например, разумелось само собой, что поездка Шульгина в Советский Союз в 1925 году, его благополучный переход советско-польской границы и возвращение были организованы чекистами, которые вели в ту пору сложную оперативную игру с наиболее активными силами эмиграции — так называемую операцию «Трест». В таком духе все это и подавалось в первых вариантах сценария. (Через два года после выхода фильма «Перед судом истории» сценарист А. Юровский и режиссер С. Колосов покажут телевизионный сериал «Операция «Трест», весь построенный на этой версии.)

Было время, в конце 20-х годов, когда и Шульгин верил этой версии, называл себя «одураченным политиком». Но в 1964 году он полагал, что все обстояло не так просто. Видимо, мысленно всю жизнь возвращаясь к этим далеким событиям, анализируя все, что хранила память, он постепенно отверг однозначную оценку. Кроме того, по мнению Вайнштока, Шульгин располагал информацией, которую собирали реакционные эмигрантские организации, в частности, «Русский общевоинский союз» (РОВС).

Шульгин предлагал вопроса о «Тресте» не касаться. Но Вайншток настаивал — сказывалось профессиональное журналистское нежелание расстаться с сенсационным материалом, тем более, что он знал о съемках одноименного сериала. Тогда Шульгин в нескольких письмах изложил свой взгляд на всю эту историю.

«Якушева, крупного специалиста по реч-

ным коммуникациям и перевозкам,— писал Шульгин,— привлек к сотрудничеству с советской властью Троцкий. Он, между прочим, очень умный человек, поймал Якушеву на крючок, нажав на педаль русского патриотизма. Якушев стал работать, и так усердно, что ему дали заграничную командировку для ознакомления с тем, что делается на Западе по его специальности. Но работая по вопросу о реках, Якушев оставался в душе своей противником советской власти и строил планы ее свержения. Он додумался до диктатуры великого князя Николая Николаевича и наметил в общих чертах программу, которую должен был проводить диктатор. Он, Якушев, ставил во главу угла земельный вопрос. "Мы дадим,— говорил Якушев,— русскому мужику волшебную синюю бумажку". Под «синей бумажкой» он подразумевал акты о наделении земель в единоличную собственность. Из этого ясно, что Якушев проповедывал возвращение к реформе Столыпина, к его расчетам и мечтам...»

Это была программа, которую разделял и Шульгин, считавший, что если бы так называемая «столыпинская реформа» была доведена до конца, то и революции не было бы.

Далее Шульгин писал: «Между прочим, вот почему я считаю преждевременным называть "Трест" легендой, созданной чекистами ради провокаций. Быть может, когда-нибудь окажется, что чекисты того времени играли на две стороны. Шла тайная, но жестокая борьба между двумя претендентами на власть, Троцким и Сталиным. Тогда еще не было известно, кто победит. Под крылышком Троцкого собирались самые различные... антисталинские группировки. Якушев определенно опасался Сталина... Якушев был несомненным троцкистом...»

Шульгин вспомнил, что однажды Якушев спросил его: «Что думаете о "Тресте"?» — «Я думаю, что "Трест" есть анти-советская организация, притом очень сильная, так как не боится всемогущей руки ЧК». На это он сказал: «"Трест" — это измена, подымавшаяся в такие верхи, о которых вы даже не можете помыслить». «Размышляя об этом сейчас, я думаю, что не следует ли под выражением «такие верхи» понимать верховных чекистов? Чекисты заколебались, не зная, кто победит, и на всякий случай пригrevали и троцкистов. Троцкий по-

кровительствовал Якушеву, а поэтому последний не боялся ЧК».

Возможности Якушева были, видимо, велики. Шульгин рассказал о том, что именно он, Якушев, попросил его по возвращении написать книгу о России 20-х годов. «Я согласился с тем, чтобы рукопись до передачи в издательство была послана Якушеву и тот вычеркнет все, что опасно». Якушев согласился и сделал так, что рукопись книги «Три столицы» (между прочим, довольно объемная) была нелегально доставлена ему в Москву и благополучно вернулась в Берлин. «Якушев,— отметил Шульгин,— вычеркнул всего две строки».

Шульгин своими письмами давал материал для нового фильма. Но этот материал вызывал активный протест у бывшего чекиста Эрмлера.

Фильм «Перед судом истории» недолго продержался на экранах, копий было сделано на удивление мало, но картина вызвала поток благожелательных откликов в прессе. Однако большинство рецензий выглядели крайне поверхностными: почти все отмечали новизну жанра художественной публицистики, но что касается содержания, то многие сводили его к отнюдь не главному в фильме — к признанию будто бы Шульгиным заблуждений молодости. Острота спора, определяемая именно тем, что политически Шульгин далеко не во всем «разоружился», была понята и оценена лишь отдельными критиками. Суть — не покаяние, а столкновение взглядов умного и много знающего идеолога «белой идеи» с реалиями истории — была вскрыта немногими.

Фильм интереснее оценивала зарубежная пресса, резонно увидевшая в нем новую форму «партийной пропаганды». Именно так писал о нем московский корреспондент «Таймс» (7.12.1965), отмечая действенность такой формы пропаганды: об этом свидетельствуют люди, «спрашивающие лишнего билетик у кинотеатра, где идет этот совсем не развлекательный фильм».

Эмигрантская пресса писала о фильме «Перед судом истории» на удивление сдержанно. Отчасти это, видимо, объясняется тем, что фильм был показан едва ли не во всех крупных русских колониях — в Париже, Нью-Йорке, Монреале и других городах. Его многие видели и не могли не оценить искренность Шульгина и тактичность его оппонентов.

НУЖЕН ЛИ КИНЕМАТОГРАФ В ЭПОХУ ПЕРЕСТРОЙКИ?

Этой теме было посвящено очередное заседание клуба «Люмьеровы братья», в котором принимали участие философы С. Гусейнов, В. Межуев, В. Толстых, социолог Л. Фуриков, критики Ю. Богомолов, А. Караганов, сценаристы и режиссеры С. Бодров, А. Прошкин, Э. Рязанов, М. Хуциев.

Э. Рязанов: Как известно, искусство должно отражать глубинные процессы, происходящие в недрах общества, процессы, которые интересуют народ. Сиюминутные насущные проблемы отражает публицистика, и она сейчас это делает, как говорится, худо-бедно, но в общем неплохо. Но если говорить о том, что такое глубинные интересы народа, то выяснится, что народа-то нет, потому что раньше считалось, что у нас существует единый советский народ, который имеет какие-то единые интересы, а сейчас выяснилось, что он очень разобщен как по национальным признакам, так и по социальным и идеологическим. Даже если мы возьмем самую многочисленную национальность — русскую, то в ней тоже очень много разного, и что такое «глубинные интересы русского народа» — сейчас сказать довольно трудно, потому что есть люди, которые хотят, чтобы наступил капитализм; есть люди (и их много), которые привыкли к нашей системе, выросли в нее. Это и торгаши, и сфера обслуживания, и бюрократы, и много других людей; и просто люди трусливые, которые будут цепляться за эту систему всеми силами...

Мне кажется, что русское искусство как никакое другое было всегда социологизированным и политизированным, потому что изначальное отсутствие демократии в нашей стране, начиная с Ивана Грозного (или еще раньше) привело к тому, что функции совести, честности, порядочности несло в себе искусство. Особенно это проявилось в девятнадцатом веке. Если мы сравним наше искусство с искусством Франции или Англии, где парламентаризм уже очень много веков существует, то убедимся в том, что там литература и искусство больше занимаются конкретным человеком и в значительно меньшей степени уделяют внимание проблемам социальным.

Что касается нашего времени, то советское искусство и литература были, как мы знаем, растлены сталинской эпохой — званиями, наградами, и только немногие люди

смогли удержаться и устоять во всем этом океане дьявольского параноидального сталинского общества и остаться людьми, на которых сейчас мы и равняемся. Это Ахматова, Булгаков, Платонов, Зощенко, Мандельштам, Гроссман и другие.

Мы живем сейчас во времени, когда рухнули почти все кумиры, за исключением, повторяю, очень немногих, когда в стране происходит «раскордаж». Сейчас кризисная ситуация состоит не в том, что у нас плохая пленка или плохая аппаратура, хотя это все имеет место. Но главный кризис, как мне кажется, это кризис художника, потому что существует растерянность, и только конъюнктурщики, которые вчера с наслаждением лизали нечто руководящее, сейчас с таким же наслаждением это руководящее кусают. Таким образом, «перестроившихся» у нас хватает. Подлинная перестройка — это явление естественное и правильное, но оно болезненно и мучительно для настоящего художника и требует большого времени, если человек действительно перестраивает свою душу, свои какие-то убеждения, настроения и т. д. То, что у нас коллективное прозрение так быстро произошло, это тоже говорит о всей той системе, в которой мы росли, и о категориях, которыми мыслили.

Поэтому ситуация сейчас, когда мы затронули эту тему, очень тревожная. Что же делать сейчас искусству, чем заниматься художникам, когда нечего есть, когда одна национальность стреляет в другую, когда партия отстает катастрофически от событий, и то, что произошло на январском Пленуме, должно было произойти как минимум год-два тому назад.

В этой ситуации, когда, скажем, раздаются звонки и спрашивают: вы не слышали, будет сегодня погром или нет, должны создавать свои произведения литература, искусство. Сейчас кризис и в театре, и в кинематографе, и в литературе.

Я всегда был убежден раньше, что новая плеяда мастеров в искусстве прихо-

дит тогда, когда происходит большой социальный слом в обществе. Например, целая плеяда и в литературе, и в живописи, и в кино пришла после Октябрьской революции.

Вот мы — поколение XX съезда, когда в литературе была сильна поэзия, проза, включая военную, а потом и деревенскую. В кинематографе это наше поколение. И я думаю, что скоро тоже произойдет вливание новых мощных молодых сил, которым мы будем завидовать, на которые мы будем равняться, за которыми будем, задрвав штаны, бежать. Но пока бежать не за кем. Если мы возьмем кинематограф и посмотрим за последние пять лет (я отбрасываю «Покаяние», потому что оно зародилось в эпоху застоя и смогло выйти благодаря переходному периоду), то кроме «Маленькой Веры» назвать ничего нельзя. Я говорю по крупному счету.

Так вот, я хочу предложить этот предмет для разговора, затравку которого я выразил совершенно непрофессионально, не будучи ни критиком, ни философом, ни теоретиком, но мысли о чем меня сильно беспокоят и волнуют.

В. Толстых: Вопрос, нужен ли кинематограф в наше время, звучит, конечно, риторически, а кому-то покажется эпатажным. А если вдуматься, то он вполне деловой, практический. Эльдар Александрович уже обрисовал общественный контекст, в котором стоило бы обсудить кризисное состояние нашего кино. Вроде бы все ясно: все мы за перестройку, ее надо всячески поддерживать. Однако, как только разговор переходит в план эстетический, конкретной практики искусства, все оказывается неясным, непонятым.

Я бы нынешнюю ситуацию в кино обозначил как состояние взаимного непонимания творцов и зрителей. Получив свободу, возможность самовыразиться без стеснений и ограничений, творцы полагают, что делают искусство, нужное обществу, людям. А зритель в массе своей (даже с учетом его дифференциации и уродливой практики проката) принимает это искусство холодно, а то и пишет гневные письма, обвиняя кино в «чернухе», нравственной порче и т. п. Наверное, в условиях слома общества и идейной «смуты» это неизбежно, иначе и быть не может. И по-своему правы те, кто считает, что со временем все образуется, что зритель, которого так долго кормили мякиной дидактики, все «учили-воспитывали», пообвыкнет, разберется, что к чему, и вообще «стерпится-слюбится». А что падает посещаемость кинотеатров, так это, мол, процесс общемировой, и надо на рынке, именуемом культурой, научиться завоевывать зрителя, как это уже делают «Ладья»,

«Фора», «Паритет» и другие студии «независимого кино».

А может быть, здесь проглядывает какая-то общественная проблема, которую еще предстоит осмыслить и решить. Я придерживаюсь этого второго предположения. Мы уже ее касались, когда говорили о кинематографе и русской культурной традиции, пытались выяснить, «что такое русское кино?»*. Сейчас попробуем поставить ее в более широком аспекте.

Беда в том, что мы зрителем вообще не интересуемся. Нет, безусловно, каждый творец мечтает, чтобы его картину посмотрело и признало как можно больше зрителей. Но назовите студию, где бы всерьез, постоянно и на научной основе изучали зрительскую аудиторию. И наш прогрессивный Союз кинематографистов этим ничуть не озабочен. Переход на рыночные отношения у нас понят на чисто коммерческий манер, и я понимаю тех художников, которые начинают с недоверием относиться к «новой модели». Впрочем, мы и в узко-рыночном плане не все предусмотрели, а точнее — многое проглядели. Цепочка «кинопроизводство — прокат — зритель» в модели, ставшей теперь постановлением Совмина, обрывается прямо на первой же ступени. Только сейчас вспомнили и, кажется, всерьез занялись прокатом, от которого, между прочим, почти фатально зависит коммерческий и творческий эффект кинопроизводства в целом, каждого фильма — в частности.

Сейчас меня интересует третья ступень — зритель. И вот почему. Нет ни стратегии, ни какой-либо целенаправленной политики взаимоотношений с ним и просто знания его потребностей, интересов, ожиданий, пристрастий. Говорим о рынке, коммерциализации, маркетинге, продюссерском кинематографе, организовываем школу менеджеров, но понимаем, что все эти понятия замыкаются на зрителе. Увы, для нынешних «рыночников» зритель — это «посещаемость» и «кинбилеты», не более того.

Недавно критик Кирилл Разлогов, с которым мы часто спорим, не без ехидства заметил, имея в виду сетования по поводу ситуации, возникшей в кино: за что боролись... мол, на то и напоролись. А напоролись, по его мнению, на хозрасчет, который сам себе хозяин. Я думаю, что хозрасчет тут ни при чем. К нему не сводится новая модель кинопроизводства, как не сводится она, между прочим, и к выводу творческих работников за штаты и даже — к творческой и экономической свободе сту-

* См.: «Киносценарии» № 1, 1990.

дии. Толкуя ее так, мы проскакиваем мимо сути — превращения государственного кинематографа в кинематограф общественный. А это значит, что в корне меняется характер связи кино с обществом, творцов фильмов — со зрителями. Еще вчера «заказывало музыку», т. е. фильмы, государство, и оно же представляло интересы зрителя, решая за него, какое кино он «хочет» и «любит». Сегодня художники напрямую обращаются к зрителю, правда, с помощью пока старого, «застойного» посредника — проката. Но сейчас меня интересует, почему зритель не принимает кинопродукцию, которой мы так гордимся. В чем тут дело?

Причины можно назвать разные. Очевидно, что кино проигрывает, как и следовало ожидать, публицистике, за которой ему не угнаться. Да и не должно оно этого делать, ибо «служенье муз не терпит суеты», а публицистика — род суеты. Живая жизнь сейчас гораздо интереснее того, что происходит на экране. Попробуй, например, состояться с телепередачами заседаний Съезда народных депутатов и Верховного Совета. И ситуация в духовной жизни общества ныне не та, что вчера, и зритель другой — больше знает и лучше сообщает. Его не возьмешь разоблачениями прошлого, эротической и прочей «клубничкой». На него уже не действует перестроенный «культ правды», которую еще недавно он воспринимал так остро и благодарно. Сегодня вы ему о Сталине и сталинизме, об отчуждении личности, страданиях наркоманов и заботах проституток, а он, уставший от очередей и повседневных тягот, спешит к телеэкрану, чтобы пережить о судьбе «рабыни Изауры». И что интересно — не только массовый, так сказать, «отсталый» зритель, но и образованный, вполне культурный. Попробуйте ему объяснить и доказать, что он не прав, что это эрзац-искусство, что лучше бы ему посмотреть «Жену керосинщика», «Астенический синдром», «Скорбное бесчувствие». Поделитесь потом, что он вам ответит. Надеюсь, никто не заподозрит меня в симпатиях к коммерческому кино и в недооценке вклада в развитие кинематографа наших талантливых мастеров-авангардистов.

Вспоминаю, как недоумевал Василий Макарович Шукшин, разбирая свои «непростые отношения» со зрителем: я ему, зрителю, про то, как он живет и какой у него за стеной сосед-пьяница, от которого житья нет, а ему подавай на экране «красивую жизнь» и «красивого героя».

Парадокс: чем ближе кино к правде жизни, всамделишной, настоящей, тем меньше оно зрителя трогает, волнует, задевает. Вот «Маленькая Вера» заслуженно стала ре-

кордсменом проката, посещаемости. Достоверность, с какой в ней воспроизведено наше нынешнее бытие (точнее — недобытие!), произвело впечатление открытия. Но появившись она сегодня, полтора-два года спустя, и уже не было бы такого результата. Как ни странно, узнаваемость изображаемого начинает зрителя тяготить, раздражать, отталкивать. И это не «бегство от действительности», а если и бегство, то объяснимое и понятное. Скорее это реакция нормальных зрителей на бегство кинематографистов от... кино, которое, следуя собственной мерке богатства и нужды человеческого бытия, свободно определяет свои отношения с действительностью. И не собирается соревноваться с нею в сходстве и совпадении. Помните, как у Аристотеля — в отличие от историка поэт изображает то, что произошло или могло (!) произойти по необходимости или вероятности.

Я хочу сказать, что зрителю не хватает в нашем кино художественности, поэтичности, наконец, просто хорошего вымысла. Того, над чем можно обливаться слезами, что рождает «испуг прекрасный» (Гоголь), а не обычный страх, ежечеловек поставляемый газетными и телевизионными сообщениями. Важно понять, что кино для него не только искусство, а нечто большее, праздничное, обладающее магией, волшебством преобразования жизни. И обязательно несущее в себе свет надежды. Даже самой малости ее, и той достаточно, чтобы человек не впал в отчаяние, нашел в себе силы выжить, выстоять в этом таком ненадежном, непредсказуемом, быстро меняющемся мире. Как никогда раньше человеку надо сказать честно и прямо, на что он может надеяться, помочь найти точку опоры. Скажу резче: если фильмы этого не делают — пусть не появляются. **Л. Фуриков:** Я согласен с тем, что положение в кинематографе кризисное. Но хотел бы сказать, что кризис этот даже не в квадрате, а в кубе. И когда я смотрел по телевидению вручение призов «Ника» в большом количестве, у меня щемило сердце: на фоне того кризиса, который происходит у нас во взаимоотношениях со зрителем, подобное блистательное действо, словно были одни сплошные победы, вызывает стыд.

Э. Рязанов: Это называется — пир во время чумы.

Л. Фуриков: Я вас, извините, буду немного отомлять цифрами.

У нас сформировалась за очень долгие годы устойчивая категория, которую я называю «большинство», — фильмы, собирающие менее 5 миллионов зрителей и не пользующиеся успехом.

В 1984 году таких было 52,5 %, в 1985 г.— 60,3 %, в 1986 г.— 55,6 %, в 1987 г.— 62,9 %, в 1988 г. (перестройка уже действует) — 75,9 %.

В этом громадном количестве картин встречаются несколько лент, которые мы с вами называем «трудными» — элитарными. Основная же масса — это фильмы за гранью искусства. Если раньше, в 1984—1985 годах зрителя подавлял «серый осьминог», т. е. безликие и малопрофессиональные картины, то в последнее время, когда дали мастерам возможность выговориться, пошла так называемая «чернуха». И что интересно — средний художественный уровень фильмов заметно повысился, но зритель от этого не то что не выиграл, но даже проиграл.

Причем, когда говорится — до 5 миллионов, то это не значит, что все фильмы толкнутся около этой цифры. В 1988 году собрали до 1 млн. зрителей — 29,4 % всего годового репертуара, между миллионом и тремя миллионами — 31,6 %, между тремя и пятью млн.— 14,9 %. Это такие сумасшедшие цифры! Вы представляете, сколько было истрачено денег, сколько художников задействовано! И все это идет впустую...

Наш зритель — это самая бесправная категория из всех культурных сфер жизни в нашем обществе. Мы как учили его, так и учим — и воспитываем, воспитываем, воспитываем... Похоже, что ни у кого нет другого дела, как только воспитывать зрителя! Это, наверное, приятно: вот я встал к камере, я снимаю фильм, и вот я буду воспитывать! С воспитанием патриотизма сейчас стало потише. Теперь воспитываем эстетически, причем до полного одурения. Ну не может он эти картины смотреть!

Вот говорят: падает посещаемость кино вообще. Действительно, посещаемость несколько падает, но не катастрофически. В 1984 году в кино побывали 1 млрд. 237 млн. зрителей. В 1985 году — на 187 миллионов меньше. В 1986-м еще на 70 миллионов меньше, а в следующем году посещаемость держалась на том же уровне, а в 1988 году она даже немножко повысилась, то есть составила 996 миллионов, почти миллиард.

В. Толстых: Но считается, что сам факт снижения посещаемости — мировой объективный процесс.

Л. Фуриков: Мне кажется, что это вопрос дискуссионный. Все зависит от фильмов. Есть такие фильмы, что все бросают телевизор и кассетное кино — и бегут смотреть.

Есть такой режиссер Самвел Гаспаров, которого кинокритики затюкали до невозможности и вообще не считают худож-

ником. Послушайте внимательно. «Ненависть» (1977 год) — 24,1 млн., «Забытое слово «смерть» (1979 год) — 24,2 млн., «Хлеб, золото и наган» (1981 год) — 23,0 млн., «Шестой» (1982 год) — 24,7 млн. И так год за годом... Каким образом зритель находит именно эти фильмы?

Э. Рязанов: Значит, этому режиссеру надо дать звание народного артиста...

Л. Фуриков: Нет, не надо. Я говорю, какой есть зритель, но не о том, какие есть художники. Это другой вопрос.

Возьмите знаменитую картину Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Тема та же — Гражданская война — 23,7 млн. зрителей. И таких примеров я мог бы привести много.

Обратимся к потоку фильмов так называемой «чернухи». Это какой-то кошмар! Мы каждую среду смотрим по пять фильмов и выходим просто полумертвые!

Возьмем картину Брауде «Романтик». Название совершенно не соответствует всему фильму, потому что там такие жестокости, режиссер показывает уж такую «правду»! Герой фильма — собачник. Он уезжает куда-то на Север и на шкурах собак зарабатывает большие деньги. Потом его замучила совесть. Он сошел с ума, попал в сумасшедший дом. Ну и мы, зрители, естественно, попадаем в этот жестокий сумасшедший дом.

Хочу назвать такие фильмы, как: «Прямая трансляция», «Лошади в океане», «Счастличик», «Бархан», «Клятва нашего детства», «Замри, умри и воскресни», «Посещение», «Встреча», где действие происходит в военном госпитале. Но там все современное: и лесбиянство есть и еще что-то, хотя это тех времен госпиталь. «Авария», «Лестница», «Двое на голой земле», «Заговор», «Под небом голубым», где герои: молодой парень-наркоман и его подруга, тоже наркоманка, которая погибает в страшных мучениях — она вбегает в подвал, открывает огромный вентиль, бросается под сильную струю кипятка и пара и сваривается заживо, на глазах зрителей.

С 1972 года у нас всего 22 картины, которые вышли за 50 миллионов посещений.

За 17 лет на первом месте «Пираты XX века» — 87,6 млн. Это абсолютный рекорд-смен. Следующее место занимает «Москва слезам не верит» — 84,5 млн. На третьем месте «Экипаж» — 71,6 млн. на одну серию. И далее — по нисходящей, но превышающая 50 млн.: «А зори здесь тихие», «Джентльмены удачи», «Табор уходит в небо», «Калина красная», «Афоня», «Корона Российской империи», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мачеха» (мелодрама, которая до сих пор остается непрев-

зойденной), «Служебный роман», «Судьба», «Русское поле», «Спортлото-82», «Женщина, которая поет», «Трактор на Пятницкой», «Петровка-38», «Приключения Али-бабы и сорока разбойников», «Любовь земная».

Дальше идут фильмы уже нашего времени: «Человек с бульвара Капуцинов» — 50,6 млн., «Маленькая Вера» — 56,0 млн.

Я думаю, что «Воры в законе» тоже могли бы пересечь этот рубеж. Но авторы сами себе подставили подножку: заработали много денег, но цену прокатчикам выставили дороговатую. Я лично, как и многие прокатчики, считаю, что картина недобрала именно из-за этого коммерческого способа проката миллионов 15. Объединение «Ладья» выиграло, а массовый зритель проиграл.

Э. Рязанов: Вы считаете, что зритель проиграл, не посмотрев эту картину?

Л. Фуриков: Конечно.

Э. Рязанов: Это спорный вопрос.

Л. Фуриков: Я лично придерживаюсь такой формулы: если картину смотрят больше 30 млн. зрителей, то это прежде всего фактор социально-психологической, и о нем стоит говорить в первую очередь, а о предмете искусства — потом. И пока мы с вами не поменяем это соотношение, никакого не может быть внимания к зрителям, потому что за многие годы мы привыкли ими пренебрегать. Мы говорим: зритель любит комедии, зрителя надо патристически воспитывать... И все! А дальше подхода к зрителю у нас практически нет.

После «Спортлото» какие фильмы были у нас рекордсменами года? В 1985 году — «Самая обаятельная и привлекательная» (44,9 млн.), «Груз без маркировки» (32,5 млн.), «Зимняя вишня» (32,5 млн.). В 1986 — «Двойной капкан» (42,9 млн.), «Одинокое плавание» (40,7 млн.), «Рейс 222» (35,3 млн.). В 1987-м «Человек с бульвара Капуцинов» (50,6 млн.), «Прости!» (38 млн.), «Акселератка» (38,1 млн.). В 1988-м — «Маленькая Вера» (56,0 млн.), «Холодное лето 1953-го...» (41,9 млн.), «Меня зовут Арлекино» (40,3 млн. на одну серию).

Прошлым летом я был в деревне — Луховицкий район, Московская область. Старый разрушенный клуб, не чинившийся еще с довоенных времен. Приезжают какие-то парни с разрешением из исполкома видео показывать. Оба поддатые, вытаскивают из машины телевизор, затаскивают в этот разрушенный клуб — 120 человек собирают! Показывают две картины, берут по рублю (без билетов). Одна картина про каратистов, а другая — про маньяка-убийцу. Выходят все довольные, и хоть бы кто-то выразил недовольство. Никто! Все

довольны. А на следующий день показывается картина Говорухина «Десять негрят», которая собрала 33 миллиона, как я вам сказал. Киномеханик доволен, а я спрашиваю: «Ну как?» «Все, — говорит, — план сделал». Уже в третий раз он ее показывает! «А какие у вас картины идут?» «У нас идут индийские картины — все идет хорошо». На следующий день показывается «Ностальгия». [Оживление и смех в зале.] Заходят человек двенадцать. Сначала шумок, а потом они пошли прямым текстом, который здесь невозможно воспроизвести, и ушли. Но это же реальность! Ведь так происходит по всей стране. Это еще под Москвой! А если мы в Узбекистан приедем? Там ведь женщин и до сих пор не пускают в кинотеатр...

Э. Рязанов: Извините, но у меня ощущение, что мы пошли сейчас в другую сторону. Ведь у нас тема — не вообще глобальное изучение зрительского интереса, начиная от братьев Люмьер до сегодняшнего дня. Давайте вернемся к тому, о чем мы начали разговор: почему сейчас, когда расторможено общество, кино умирает? То, о чем говорил Лев Борисович, очень интересно, показательно и важно. Но разговор пошел по иному руслу. В эпоху, когда делалась «Любовь земная», было ясно, что на этот фильм пойдут. Сейчас ситуация в стране изменилась, общество очень разобщено. Что может сделать кино в этой обстановке? Вот к чему я хочу вас вернуть. А «Пираты XX века» — это уже пример «с нафталином», потому что он из области эпицентра застоя — я слово «эпицентр» применяю ко времени, а не к месту.

В. Межуев: Та ситуация, которую вы описывали, она более или менее понятна и, по-моему, неразрешима на сегодняшний день. Мы живем в стране, где размыта дистанция между культурой народа и культурой высшего слоя. Это в России всегда было, когда мечтали, чтобы Некрасова понесли с базара... А вот, скажем, до Пастернака или до Мандельштама еще очень далеко. Огромный разрыв, традиционный разрыв, а за эти годы он только увеличился.

М. Хуциев: Но и за рубежом ситуация не очень-то отличается от нашей.

В. Межуев: Отличается. Все-таки средний уровень культуры на Западе выше. Кино — это западное изобретение, хотя оно у нас развивалось, имеет свою историю. Кино — это средство массовой коммуникации. По природе своей это не письменная культура. Оно предполагает какую-то культурную однородность общества. А у нас даже тот средний городской слой, интеллигентский слой, который составлял аудиторию

русского кино и театра, оказался вымытым. Но что же происходит в кино сегодня? В кино перестал ходить даже интеллигентный зритель. Оказалось, что большей части тех людей, которые сегодня делают кинематограф, просто нечего сказать, нечего выложить на стол, они оказались банкротами в этой ситуации.

Так получилось, что в наших фильмах сейчас стало озлобленности и ненависти больше, чем доброты и любви; неверия — больше, чем веры; и, скажем, отчаяния какого-то больше, чем надежды. То есть пропорция нарушена настолько, что она переходит какой-то допустимый рубеж нормального зрительского восприятия и восприимчивости. На это перестаешь просто реагировать.

Не зритель болен сегодня, а кино. Массовый зритель не очень эстетически образован; он, может быть, не очень интеллектуальный; может быть, не достиг высот современной культуры. Но нельзя человеку говорить, что ты безнадежно болен, ты умрешь, ты гадок, ты противен, в тебе ничего хорошего не осталось. Это не воспринимается нормальным человеком.

Человек в любой ситуации хочет света, он хочет радости, не безумного веселья, а радости и веры. Человек хочет во что-то верить.

Я понимаю, что сейчас время изобличений, открытия всяких тайн в нашей истории, ниспровержений и пр. Но где нарушена вот эта мера? Возьмем самый эталонный фильм нашей перестройки. Я на нем попытаюсь объяснить. Это «Покаяние». Имел 13,5 миллиона зрителей. Фильм с христианским названием. Я понимаю талант режиссера, который его снял. Но он меня не тронул. Не только потому, что я знал не меньше, чем знает режиссер, но и по другой причине. Он где-то внутренне показался очень фальшивым. Там раскаялся в фильме один человек — сын тирана. Его покаяние выразилось в том, что он выкинул труп тирана из могилы. Это не покаяние, а мсть. В христианском смысле покаяние не тогда, когда изобличают злодейство. Раскаяться — значит принять вину кесаря на себя. Это значит понять, что злодейство где-то, каким-то образом сидит и в тебе. Кто такой Христос? Это тот, кто взял вину человечества на себя, хотя, может быть, сам лично ни в чем не был повинен.

Поэтому дорога в храм, о которой там говорится, ведет не через изобличение. Она лежит через совсем другой суд, нравственный суд, где судят только самих себя. Никто не может взять на себя функцию судьи над другим человеком. Никто не имеет права — он не Бог. А в нашем кино это происходит. Мы все стали умными. Все су-

дим свое прошлое, старое, все судим административно-бюрократическую систему. Поэтому мы никуда не ушли от социалистического реализма. Побойтесь Бога, у нас нет никакого нового кино. У нас все тот же социалистический реализм, только под другим знаком. Раньше мы изображали, как мы хорошо живем, а теперь изображаем, как мы плохо живем.

У нас сейчас все заговорили о православии. А как у нас понимаем православие? Значит, надо в кино показать церковь, или чтобы какая-то духовная музыка звучала... Да разве в этом христианство, когда церковь и обряды показаны? Можно вообще не ходить в церковь и быть христианином, а можно тысячу фильмов сделать на эту тему, но никакого отношения это к христианству иметь не будет.

Родился какой-то новый тип художника, который не связан ни с чем, у него нет традиций: он не связан с православной культурой, он не связан со старой русской культурой. Он не дворянин, не аристократ, он не крестьянин. Он никто! Он художник-люмпен, его ни к чему нельзя прикрепить. И возникает ощущение такое: извините, да он же ничего сказать нам не может. За ним ничего нет!

А. Караганов: Передо мной целая папка вариантов альтернативных проектов Устава Союза кинематографистов РСФСР, Московской организации, и почти во всех проектах есть такой пункт: «Признавая ценность самовыражения личности как главное условие создания подлинных произведений киноискусства...» Итак, «самовыражение личности — главное условие». Я буду решительно возражать против этого пункта, с моей точки зрения, эстетически неграмотного.

Обкатанный до чиновничьего уровня режиссер — одна разновидность; режиссер-дурак — вторая; режиссер-пошляк — третья. Во всех трех случаях чем он искреннее будет «самовыражаться», тем хуже для искусства, будь то чиновничье искусство, глупое искусство, пошлое искусство. Значит, главная забота — о личности, о культуре мысли и чувств художника. И в этой связи меня просто поразила заметка Александра Тимофеевского в одном из номеров «Экрана и сцены». Он был включен Сергеем Соловьевым в экзаменационную комиссию при наборе режиссерского курса. Посидев несколько дней, он вдруг пришел в ярость. Задают вопрос: самый любимый художник? — «Сальвадор Дали». Редкий вариант? — «Босх». Самый любимый композитор? — «Бах». Редкий вариант? — «Шнитке». Самый любимый режиссер? — «Тарковский». Редкий вариант? — «Феллини». Самый любимый писатель, любимое произведе-

дение (безвариантно)? — «Булгаков, «Мастер и Маргарита»... Мне как председателю Комиссии Союза писателей по творческому наследию Булгакова этот ответ мог бы даже и понравиться. Но я понимаю его ярость.

Он вспоминает формулу, что рукописи не горят, и в состоянии ярости заявляет: «Мне захотелось рукописи сжечь». Я в скобках сделаю отвлечение небольшое. Как председатель Комиссии я все время имею дело не только с любителями Булгакова и булгаковедами, но и булгакованами, которые выдвинули несколько идей.

Первое. Установить памятник Булгакову на площади Дзержинского.

Второе. От дома на Садовой, 10 до Патриарших прудов сделать Булгаковский центр Москвы. И т. д.

Понимаете, безумство под влиянием диктата моды доходит до пределов, не подающихся рациональной расшифровке. Я человек 30-х годов по воспитанию, т. е. мы были задавлены, жили под страхом и черта, и дьявола. Но я прошу поверить мне на слово, что аналогичные анкеты нам, студентам ИФЛИ, не раз выдавала редакция нашей стенной газеты «Комсомол». И такой степени конформизма, какая проявилась в этих экзаменах на соловьевском курсе, не было.

В связи с этим я думаю о завтрашнем дне кино. Был диктат застоя, вакханалия поправок, запретов, но кто-то обходил, кто-то прорывался. А вот через диктат моды труднее оказалось прорываться. Что сейчас меня больше всего беспокоит? То, о чем вы говорили: откуда такая волна злобности? Почему раньше это было в значительно меньшей степени, хотя мы жили в довольно тяжелых условиях, когда тайно лилась кровь? Может быть, я буду говорить несколько путано, но это все имеет отношение к нашей главной теме.

Абсолютное заблуждение, когда мы приводим как некий эталон лжи фильм «Кубанские казаки». Абсолютное заблуждение! А это принято. Очень удобно говорить, что есть искусство, так сказать, истинное, а есть «Кубанские казаки».

Л. Фуриков: Лакировочное искусство.

М. Хуциев: Это не лакировка. Да вы возьмите хотя бы все музейные картины американские и скажут, что это лакировка американской действительности. Почему? Это жанр. Нельзя изъять жанр, нельзя эту часть потребности зрителя совершенно уничтожить. Нельзя! И нельзя это делать объектом обвинения.

Э. Рязанов: Тут есть еще очень смешная деталь: считалось, что Пырьев — представитель «лакировочного кино», а Герасимов — представитель «натурального». Но

когда смотрю, как прилетает на самолете бравый летчик, комбриг, и говорит, что учителя избрали в депутаты или выдвинули кандидатом, тут для меня никакой разницы между фильмом Пырьева и фильмом Герасимова нет! Лакировка!

М. Хуциев: Совершенно верно. Но там хоть весело и хорошая музыка. Это тоже имеет значение.

Э. Рязанов: Я считаю, что сейчас этой грани, которая разводила их на разные полюса, не существует; и тот и другой абсолютно шли в стезе, так сказать, социалистического реализма. Будем называть вещи мягко.

М. Хуциев: Да. Парадокс эпохи, о которой мы говорили: тихо лилась кровь, а при этом возникали хорошие люди с искренним желанием сделать доброе... Я думаю, ответ очень прост. Почему я отдаю предпочтение актерам довоенного кино? Почему такая россыпь талантов, личностей и т. д.? Да потому, что они все — из прошлых времен! И даже «демократические персонажи» типа Крючкова, Андреева, Алейникова — все это были личности, потому что они личностное свое не потеряли. Личность — это не только позиция. Я считаю, что это какой-то генотип. Поэтому во многих картинах, как бы они ни были ложны, всегда сквозила интеллигентность и крупность натуры.

В. Толстых: Нужен ли кинематограф перестройке? Думаю, что он нужен только в том случае, если сумеет занять в этой перестройке свою собственную позицию. Когда говорят о свободе, самостоятельности искусства, то для меня это вопрос о том, чтобы сама перестройка стала предметом анализа и критики со стороны искусства. Сейчас произошло опасное слияние самого искусства и художников с тем процессом, который происходит. Граждански это понять можно, мы все за то, чтобы действительно освободиться от прошлого, покончить со всем, что нас с этим прошлым связывало. Но искусство имеет свою пророческую функцию, которая заключена в его природе.

Дело не только в том, что художники сейчас пошли вслед за публицистикой и не идут дальше, а в том, что они просто оставляют то поле, которое называется идеальным, и, по сути дела, своими фильмами, своими произведениями узаконивают текущую реальность, которая сама уже требует критического отношения.

Ю. Богомолов: Мы имеем, в сущности, два кинематографа, но все время думаем, что это один, все время вольно или невольно, но хотим соединить один кинематограф и другой. Что я имею в виду? С одной стороны, у нас есть, если можно так выра-

зяться, «фольклорно-мифологический» кинематограф, который выполняет определенную функцию защиты каждого человека, будь то буржуа, бюргер или просто чиновник. Такого рода кинематограф, конечно же, мы за семьдесят лет Советской власти самым варварским образом разрушили, изничтожили. Это как раз те фильмы, которые здесь назывались: «Кубанские казаки», «Трактористы», «Веселые ребята», «Волга-Волга». Это тот кинематограф, который выполняет очень утилитарную функциональную задачу — создать иллюзию душевного комфорта, некоторой внутренней безопасности, надежности. И конечно же, этот кинематограф нужен. Государственный кинематограф его разрушил в гораздо большей степени, чем так называемое «авторское» кино, и восстановить его может, по-моему, только рынок, который наведет порядок. И я думаю даже, что надо снять таможенные барьеры с зарубежного кинематографа, который создаст определенный стандарт такого рода кино и позволит выявлять таланты людей именно в этой области. Сейчас здесь говорили о том, что происходит в нашем кинематографе. Я думаю, что тут другая проблема, связанная с тем, что все-таки для авторского кинематографа наступило действительно страшно сложное время. Время, когда потеряны все основания и опоры. Я много думаю о первой «оттепели». Почему это кино имело такое светлое, искреннее и живое начало? В принципе объясняется это, в общем-то, довольно просто: общество жило в ситуации ложного коллективизма, какого-то противоестественного, античеловеческого и первая «оттепель» помогла слегка оттаять подлинному, естественному коллективизму.

В фильме «Мне 20 лет» самые счастливые сцены, самые счастливые моменты для меня, скажем, как для зрителя были вот эти демонстрации, где идея братства не формально, а достаточно хорошо раскрывается. А теперь мы оказываемся в ситуации совсем другой. Сегодня-то мы вдруг понимаем, что абсолютно беспомощны. Мы не выдерживаем испытания индивидуализмом. Мы — и художники, и зрители — здесь абсолютно равны. Никто не понимает, что же они из себя представляют без идеологии, без истории, без государственной крыши, без некоего мифа о будущем и т. д.

Когда выяснилось, что человек совершенно гол, как все обвисает, опадает. Начинается истерика. Это хорошо видно на примере Киры Муратовой. Одно дело, когда был ее внутренний кризис, когда сталкиваются частный и так называемый «общественный человек», казенный чело-

век, и другое дело сегодня, когда на пространстве фильма «Астенический синдром» вдруг обнаруживается полная внутренняя бесструктурность отдельно взятого человека, которого советское искусство на протяжении 70 лет упорно интегрировало в некий коллектив. Ведь сюжет «Депутата Балтики» — это фактически сюжет о приходе очень сильного, внутренне богатого человека. Если мы взглянем на картины Пудовкина, увидим, как от фильма к фильму происходит интеграция отдельного человека в некую массообразную, слегка персонафицированную массу. И в данном случае яркие личности (Крючков, Борис Андреев) — не совсем личности. Это «правовланговые».

И последний момент. Возвращаясь к «Покаянию», о котором говорил В. Межуев. Когда я смотрел эту картину, меня тоже немножко коробил этот мотив выбрасывания трупа вождя из могилы, потому что здесь как бы возникает двойной смысл — нормальный и метафорический. Но, с другой стороны, я подумал и сегодня думаю, что, в сущности, этот мотив оказался пророческим: мы сегодня только тем и занимаемся, что выбрасываем этот «труп». Когда делалось «Покаяние», то речь-то шла о том, чтобы дать почувствовать дистанцию по отношению к тому времени, которое уже прошло и которое мы вроде пережили. Это была чистая иллюзия. И в этом смысле картина «Бумажные глаза Пришвина» показалась мне любопытной, потому что там человек пытается сыграть роль мерзавца, садиста того времени и пробует сыграть искренне, со всей полнотой человеческого ощущения. Его тошнит... Речь идет об актере, который снимается в кино 40—50-х годов. Он играет кагэбиста, который должен допрашивать, убивать, расстреливать... Он пытается это делать со вкусом, с наслаждением, со вкусом. Но его тошнит, и ему становится плохо. Такой вот странный, ернический, гротескный Иисус Христос, который пытается себя распять на кресте того времени.

Я думаю, что от того времени мы уже не сможем никогда отодвинуться, пока внутри себя не переживем, пока не возьмем вину на себя и сами не почувствуем вину за это время.

С. Бодров: Я в первый раз присутствую на вашем совете, и это мне очень интересно. Хотелось бы коротко поделиться какими-то своими впечатлениями и тоже высказаться по этому поводу.

Меня, честно говоря, совершенно не убедили цифры, которые здесь приводил наш крупный специалист по прогнозированию, потому что мы как-то очень замкнулись в кинематографе, о котором сейчас рас-

суждаем, а куда девать тех зрителей, которые смотрят кино по телевизору, которые просто не пошли в этот оплеванный, загаженный кинотеатр, а включили телевизор и стали смотреть там кино, которое якобы посмотрело 2 миллиона. Это зрители или не зрители? И почему их никто не считает?

Кроме того, совершенно не принимаем во внимание зарубежного зрителя. Мы очень похожи на этих людей из сельского клуба, о которых здесь рассказывали. С удовольствием смотрим фильм «Рок», а потом удивляемся, почему фильм «Ностальгия» не смотрят. Картина «Сэр» считается очень тяжелой картиной, но она получила главный приз в Монреале и сейчас одна из самых покупаемых картин. Раз картины покупают за рубежом, смотрят, значит там тоже есть зритель. Важно и его учитывать.

Мы сейчас живем в такое время, когда очередь к закуской Макдональдс длиннее, чем к Мавзолею. Дождаться таких очередей к кинотеатрам, по-видимому, трудно. И тем не менее я думаю, что нет оснований для паники. Кинематограф будет нужен всегда.

С. Гусейнов: Вы знаете, в жизни у нас мало поводов для оптимизма, но такого грустного, тяжелого впечатления, как сегодня, у меня давно не было. Не от заседания, а от всей ситуации, которая в результате нашего разговора обнаруживается. Вопрос сформулирован: нужен ли кинематограф перестройке? Но оказывается, что перестройка не очень нужна кинематографу. Причем это ситуация не только кинематографа и не только литературы, но и философии. Чем сейчас питается философия? Возьмите, например, журнал «Вопросы философии»: там Ортега-и-Гасет, там Франк, там отец Флоренский — и все мечутся, ищут чего-то. Складывается какая-то странная ситуация, что мы ищем какую-то духовную опору, духовную основу где-то извне, питаемся теми идеями, которые идут со стороны нашего общества. Даже те наши, которые уехали и стали эмигрантами, они все равно привлекают наше внимание тем, что с самого начала заняли как бы стороннюю позицию, то есть внутренне отмежевались от нашего общества. Это наводит на очень грустные мысли, а именно: насколько весь этот процесс является органичным, вырастает ли он из этого общества? Я не знаю, как это назвать — перестройка или не перестройка.

Вадим Михайлович говорил о том, что художник оказался люмпеном, то есть он висит где-то в пустоте, он ни на что не опирается, ни к чему не прикреплен, не вписан ни в какую традицию. Возникает та-

кое впечатление, что не только художник — люмпен, а оказывается, что мы все люмпены...

В. Толстых: Так и есть!

С. Гусейнов: Мы люмпены! И из всего этого разговора я вообще выношу такое сомнение: а не находимся ли мы в каком-то тупике?

В. Межуев: Находимся в какой-то степени. Мы потеряли перспективу, потеряли какое-то пространство, в котором можно жить и развиваться. И в этом смысле такой разговор, который был задан ступительными словами наших председателей, он, между прочим, хоть и не прямо, но косвенно все-таки связан с теми цифрами, которые здесь сегодня приводились. Потеря перспективы влечет за собой потерю связей художника со зрителем. Я, конечно, понимаю, что не все фильмы и не все произведения искусства, которые пользуются большой популярностью, являются качественными, выдающимися с эстетической, идейной, содержательной, какой хотите, точки зрения, но я не мыслю себе, что может быть какое-то выдающееся произведение, которое не пользовалось бы такой популярностью. Скажем, портреты кинематографов, которые на нас здесь смотрят, — это люди, которые всегда находили какой-то отзвук, эхо.

Здесь передо мной выступал коллега и говорил, что фильм в Монреале получил премию и на Западе его смотрят. Да, там находят зрителя, а у нас нет.

В общем, получается какая-то очень грустная картина. Расцвет 50—60-х годов, который был и в кинематографе, и в литературе, и в философии, я связываю с тем, что тогда верили в то, что речь шла действительно о каких-то ошибках, деформациях, что все эти ошибки, деформации можно устранить, что общество имеет перспективу и может развиваться. А вот сейчас, кажется, завязли капитально и такой перспективы нет.

Э. Рязанов: Может быть, Саша Прошкин как человек свежий и свалившийся к нам с другого заседания что-нибудь хочет сказать?

А. Прошкин: Я застал это заседание на минорной ноте. Мне кажется, во-первых, что преувеличено трагическое состояние кинематографа. Скорее в трагическом состоянии находится все наше общество. В целом наш кинематограф за эти годы стал значительно лучше. При этом распалась связь времен, и он потерял во многом связь со зрителем. Это очень странный, парадоксальный процесс. Кинематограф стал правдивым, достоверным, он перестал фальшиво обслуживать начальство и, каза-

лось бы, объективно стал лучше, а смотряг его меньше.

И тут, наверное, есть момент общего кризиса и какие-то причины, которые трудно анализировать. Прежде всего, почему сейчас меньше смотрят? Потому что сегодняшний зритель, нормальный гражданин не получает от кино какого-то энергетического импульса. Его окунают в ту же самую конфликтную, осточертевшую ему среду. Сегодняшний художник в редких случаях имеет концепцию, общую, широкую концепцию жизни: куда идти?

Наша интеллигенция нагнетает какие-то апокалипсические настроения, и это до того измучило, измочало народ, что он просто отторгает от себя жестокий кинематограф, эту опротивевшую ему жизнь. Чего он хочет, я не знаю. Думаю, он хочет просто нормально жить. С помощью кинематографа он жить нормально не станет, эту проблему мы не решим. Но в то же время такого разброда сейчас в нашей интеллигенции, такой ярости, такой злобы никогда не было. Все эксперименты «Памяти» почему-то идеально удаются, а ведь за этим тоже стоит интеллигенция: кто-то их направляет, кто-то формулирует, кто-то дает теорию, философскую интерпретацию и т. д. Мне кажется, что, к сожалению, сейчас самое неблагоприятное время вообще для тех, кто работает в искусстве, потому что, наверное, нужно возвращаться к самым простым человеческим понятиям. Нужно людей с деформированными представлениями о жизни, с деформированной тяжелой жизнью психикой, с деформированными национальными характерами возвращать к самым простым, к самым элементарным христианским представлениям о добре и зле. Как это делать? У каждого, наверное, какое-то свое представление на этот счет. Нужно, чтобы это было художественно убедительно, потому что личная порядочность — это, к сожалению, еще не акт искусства. Это норма. А вот как это найти, как снова людям объяснить, казалось бы, вечные и очень простые истины? Я думаю, что заниматься, наверное, нужно этим. И там, где наши картины достигают этого, там как раз отзвук существует. Почему, например, люди хотят смотреть мелодраму? Да они хотят верить в то, что есть любовь!

В. Толстых: Милоша Формана как-то спросили, чем отличаются советские фильмы от американских. Он ответил, что американцы «рассказывают истории», а русские «решают проблемы». Это действительно так. Самое слабое место многих даже интересных, талантливых фильмов — неумение просто, внятно и увлекательно рассказать какую-то историю. То есть представить

серию действий, которые бы увлекли воображение и чувство зрителя, возбуждая работу мысли. Но именно истории мы почему-то не умеем ни сочинять, ни рассказывать. Зато сразу же начинаем ставить и решать какие-то важные, серьезные проблемы. А поскольку мир утонченных абстракций так же чужд природе кинематографа, как и поверхностный натурализм (и того и другого на экране сейчас в избытке), то зритель в массе своей остается к такому кино равнодушным. До сих пор помню потрясение, испытанное от формановской «Кукушки», где авторская мысль, философия «утоплена» в рассказанной конкретной истории, в плотности происходящих в картине действий. Мы почему-то не доверяем зрителю, что он может сам додуматься до того, что заложено в действиях и поступках героев. Мы то и дело путаем поэзию, что, по Пушкину, «глуповата», с решением кроссвордов. Есть люди умные, а есть умники. Умным быть трудно, а умником можно притвориться.

А. Прошкин: Мне очень не хочется считать, что мы зашли в полный тупик. Что от того, что разрушились усвоенные нами в школе пропагандируемые идеалы — идеалы, в которые мое поколение никогда не верило, потому что мы стали что-то соображать, когда умер Сталин и жили XX съездом. У нас все эти лозунги и «хоругви» никогда не воспринимались всерьез. Как-то за границей мне задали вопрос: «Вы верите в то, что перестройка победит и что в вашей стране произойдут огромные положительные изменения?» Я ответил, что в общем-то верю. «Вы знаете, это очень странный ответ, потому что большинство лидеров перестройки, которых мы видим, все время рассказывают нам, как они борются, с какими сталкиваются трудностями, а когда задаешь им конкретный вопрос: верите или не верите? — они отвечают: В общем-то не очень...».

Мне кажется, вся драма заключается в том, что мы очень многое подвергаем сомнению, многое ругаем, много ругаемся сами, но не очень верим в то, что в конечном счете выйдем на нормальные человеческие рельсы, и тем самым мы подвергаем своим искусством общество в постоянное ожидание какой-то катастрофы. Вот это, мне кажется, вещь преступная. Она преступна, потому что проистекает от собственной неуверенности, от какой-то болезненности, и этой болезнью мы отправляем художественные образы, а потом народные массы заставляем ожидать катастрофу (а мне кажется, что сегодня в искусстве такая тенденция есть). Если применить к искусству понятия «вредно» или

«полезно», то я считаю, что это наносит колоссальный вред.

Я сейчас читаю довольно много сценариев — две трети сценариев построены на коммерческой основе, обязательной атрибутике коммерческого фильма. У нас это было довольно долго закрыто и запрещено. Сейчас обязательно это: жестокость, убийство, проституция, человек обязательно хочет уехать на Запад. Без объяснения, кстати, причин. Получается, что только за белым кадиллаком. Примерно из пяти сценариев четыре посвящены этой проблематике. Кроме морального и духовного кризиса у нас еще существует ужасно уродливая система нашего проката, которая в еще большей степени деформирует общую ситуацию. Когда вырастает молодое поколение и ему каждый день показывают кибер-убийцу в видео-салоне, то на добрую картину он не пойдет. А основной зритель — это молодежь. Он этого секса, насилия не видел, в этом есть запретный плод, его этим пичкают, он с удовольствием на это бежит. С этим тоже довольно трудно конкурировать, честно говоря.

Я думаю, что надо ждать появления не просто доброй и светлой картины, а очень убежденного художника, который сможет показать, что все-таки 70 лет в истории любого народа, любого государства — это краткий миг. Мы — государство специфическое, суперэтнос. Конечно, мы будем видоизменяться, распадаться, деформироваться — это понятно.

В. Межуев: Я хочу только вот что сказать: я не режиссер, но иногда фантазирую: а что бы ты сделал? Что бы ты сделал в кино в этой ситуации? Есть ощущение социального тупика. Не кинематографического, не художественного, а именно социального. На моих глазах прошла революция в Чехословакии — там это подъем, восторг — все скинули в одночасье, и люди как бы ожили. Это понятно: там социализм был как смиренная рубашка. Конечно, тело деформировано, но тело-то было!

Э. Рязанов: А для нас это, оказывается, замечательная одежда, которую мы обожаем. Мы такие мазохисты, так любим социалистическую рубашку, что никак не хотим ее сбросить.

В. Межуев: Что происходит? Там есть к чему возвращаться. Дело не в количестве лет, дело в традициях. Ну не будет завтра социализма, отменяет статью. Все замечательно. А что будет? Вы уверены, что все сразу вместо социализма поверят, скажем, в западную либеральную идею? Я, например, не уверен. Скорее поверят в какую-нибудь идею этнической чистоты. А потом

надо еще понять и другой момент: в социализм верили! Верили не в тот, который построили, а в тот, который должен был быть. Важно понять, что сам социализм пришел на смену религии обыденного сознания, на смену вере в вечное существование русской государственности. Я не знаю, что придет на смену. Но свято место пусто не бывает. Народ должен во что-то верить. Это ученый может себе позволить скепсис абсолютный, или интеллеktуал может жить в какой-то астрономической системе. А люди не могут так жить, они обязательно должны во что-то верить. У них должны быть свои святые, свои идеалы. В рынок ведь верить нельзя. На Западе верят, но там никто не уничтожал религию. Мир очень дифференцированно там существует, а у нас он пока еще однороден. Если бы у нас было гражданское общество, если бы от него лично зависел выбор, было бы проще. Вся наша страна построена по принципу вертикальной структуры. Как и весь социалистический лагерь, мировое коммунистическое движение. Сейчас они, как «леса» отпадают. Так до какого предела будут распадаться? Ни одной горизонтальной структуры! Будут распадаться до первой горизонтали. Где эта горизонталь сегодня? Я ее вижу только в одном — этнической чистоте. Ни гражданские структуры, ни экономические, ни идеалы — ничто не связывает людей друг с другом. В Литве, Латвии, Эстонии есть идея национального единства. Они знают, за что они ведут борьбу, у них есть враг. А здесь с кем бороться? Когда люди выходят на массовые забастовки и начинают разрушать заводы, разве они думают, что повлияют на свой карман? Они воодушевлены какой-то идеей.

Э. Рязанов: Мне кажется, что если сравнить то, что происходит, скажем, в Восточной Европе и у нас, то разница заключается в следующем. В нашем случае — это человек, которому 73 года, а он женился на молоденькой. В брачную ночь он спрашивает: «Слушай, тебе мама ничего не говорила?» — «Нет». — «И я забыл...». А там на молоденькой женится 44-летний человек, который еще помнит. Нет, это очень важно. Действительно, кинематограф — это производное от нашей жизни. Система обанкротилась. Из тупика нет пути вперед. Из тупика есть путь только назад.

В. Межуев: Если бы у нас был только кризис социализма или той системы, которую мы построили, это было бы полбеды. У нас тысячелетний кризис российской государственности. Это, если хотите, национальный кризис. Что сейчас происходит? Рождается русская (не вообще социалистическая — я не могу понять, что это та-

кое) демократия, но это еще такой хилый ребенок, у которого нет ни экономической структуры, ни традиций национальных — ничего нет! Неизвестно, выживет он или померет... Это трагичная ситуация.

Вы сами понимаете, я не националист, но действительно стоит вопрос о существовании России. Это ведь только так кажется, что республики отделяются. Это мы придумали в 1917 году. Это отделяются части российского «тела». Надо знать, что Россия не государство, где живут русские. Россия — это многонациональное государство, где хозяева и русские, и нерусские. И раз начался раскол (а он может пойти и внутри РСФСР), надо говорить о самом настоящем кризисе.

Э. Рязанов: Этническая идея — идея порочная. Она не может нести добро, она может нести только жестокость и насилие, а больше ничего. А никакого положительного заряда в ней нет. То есть, по сути дела, есть только одна идея — возврат в капитализм. Валенса сказал: «Я первым покажу, как государство от социализма придет к капитализму». Но Валенса мог это сказать, потому что в Польше есть «Солидарность», есть альтернативная сила, а в нашей стране альтернативной силы нет. Поэтому ситуация совершенно бесперспективная и мрачная; и когда мы начали разговор о кинематографе, это была, так сказать, провоцирующая ситуация, потому что она задевает все болевые точки нашей жизни, а кинематограф — только производное.

А. Прошкин: Значит, мы сейчас единогласно должны прийти к выводу, что нас ожидает кошмар, диктатура и кровопролитие. Так?

В. Межуев: Действительно, что-то кончилось в нашей истории. Но ведь в истории ничего нельзя повторить. История не имеет хода назад. Да и капитализма в том виде, в котором мы его представляем, тоже уже нет... Проблема ведь очень простая: остаться самим собой и войти в мир цивилизованный. Значит, нужно не просто вернуться к чисто национальному. Нет уже ни дворянства, ни крестьянства в традиционном смысле. Уничтожены все структуры, которые когда-то были.

Какова здесь позиция художника? На мой взгляд, это должна быть позиция собственного благородства и личного стоицизма. Наш кинематограф выплескивает на экран массовые эмоции: всю эту митинговщину, все это «давай-давай», давай навалимся и все разрушим. Вот эти стихи «давайте все разрушим» надо противостоять. Откуда эта озлобленность? У нас глаза воспалились оттого, что мы хотим все разрушить. А что хотим построить? Что хотим сохранить в конце концов? Надо точно сориентироваться, на кого мы делаем ставку, на каких лю-

дей. Кинематограф (я скажу банальную фразу) — в период социалистического реализма все время говорил и о положительном герое, все время его искал.

Э. Рязанов: Почему? Я с вами не согласен. Например, я занимался этим всю жизнь, и герой фильма «Берегись автомобиля» Деточкин — положительный герой. И герой фильма «Ирония судьбы» доктор Лукашин — положительный герой.

В. Межуев: Но у вас Деточкин немножко святой.

Э. Рязанов: Но святой, между прочим, это не такой дефект, по крайней мере для положительного героя.

В. Межуев: Вы знаете, если бы я сейчас ставил фильм «Обломов», я бы сделал героем не Обломова, а Штольца, хотя это очень противопоставлено нашему сознанию. Я бы переакцентировал внимание на человека, который (правильно говорил Богомолов) способен здесь жить как индивидуальность, самостоятельно жить, даже противостоять всей этой стихии.

Э. Рязанов: Обломов тоже абсолютно самостоятельная личность и жил вопреки...

В. Межуев: Но в какой-то степени подчинялся стихии. Нужно что-то менять. Вот мы говорим: надо возродить духовность, и никто не понимает, что мы погибаем от избытка духовности. Это очень парадоксально звучит, но мы сверхдуховны, мы никак эту духовность систематизировать не можем, нам не хватает рациональности, дисциплины духа.

Как это в кино сделать?

В. Толстых: Я согласен с Вадимом Межуевым, что духовное и сознательное не тождественны, но я бы хотел вернуться к вопросу о позиции художника в этой ситуации — «бездуховной», с точки зрения одних, и «сплошь духовной», с точки зрения других. Меня как раз беспокоит и, если хотите, не устраивает позиция художника.

Жалуемся на бездуховность, а на наших глазах рождается новый тип духовности, особого практического склада и направленности. Появились, внедряются во все поры бытия так называемые деловые люди, с предпринимательской жилкой, или, как их назвала одна писательница: «люди-концерны». Они бросают вызов многим из нас, мужчинам-«никчемушникам», неспособным работать с пользой для себя и для общества. Можно, конечно, сожалеть, что художник восхищается типом личности противоречивой, двойственной, неоднозначной. Для Гончарова когда-то дитохомия «Обломов — Штольц» выступала как трудная, мучительная загадка русской действительности и русского характера, по сей день неразгаданная. Я могу понять женщину, которой, скажем, обрыдл и стал не-

нависен «никчемушный», лежащий на диване, созерцающий мир Илья Обломов, и она готова отдаться деловому, «надежному», как ныне любят говорить, Штольцу. Я не могу понять и представить себе писателя, режиссера или актера, который попытается такого человека опозтизировать, воспеть, превратить в героя нашего времени. Не имея ничего против штольцев в жизни, признавая даже их необходимость и потребность, я не понимаю, как можно их любить, ими восхищаться. Я думаю, что для художника современные «деловые люди» станут предметом не менее критического отношения, чем Жюльен Сорель и Растиньяк для Стендала и Бальзака. Мы находимся накануне создания своей, отечественной литературной и кинематографической «Человеческой комедии», в которой люди и нравы эпохи перестройки найдут свое зримое воплощение.

Кинематограф нужен перестройке не внешним — тематическим, проблемным или пафосным — соответствием ее целям и планам, а своим умением проникнуть в смысл происходящих в обществе изменений, в их последствия: близкие и дальние. Надо, чтобы перестройка стала предметом художественного осмысления, безбоязненного и бескомпромиссного, пророческого предвидения хода событий, в которых мы все сегодня участвуем. У искусства свой подход, своя шкала ценностей, которая может совпасть, а может и не совпасть с ныне принятыми критериями и представлениями. И это замечательно, что у общества есть такой «учитель», «высший глас»... Как ни странно прозвучит, но искусство тем больше поможет перестройке, чем критичнее оно к ней отнесется.

А. Прошкин: Я хочу сослаться на свой слабый опыт. Я по фильму «Ломоносов» получаю тысячи писем: из сумасшедших домов, из армии, из Монголии. В чем смысл всех этих писаний? Люди, которые живут в чудовищном, кошмарном мире, хотя бы поверить в себя. Мы в течение 70 лет гово-

рили, что все происходящее за пределами нашего великого Отечества — сплошное уродство, а сейчас ударились в несколько другую крайность. Сейчас мы искусством, пропагандой, телевидением каждый день объясняем заблудшему человеку, что он — заблудший, что он работает хуже всех, что перспективы у него никакой нет. Проводились социологические обследования после американских и после наших фильмов. С наших фильмов, даже с комедий, все уходит в подавленном состоянии. Искусство же призвано вселять в каждого человека веру в свои возможности. У нас почти исчезла тема любви, а ведь нужно, чтобы мужчина чувствовал себя мужчиной, женщина — женщиной, чтобы люди ощущали свою полноценность. Драматизм сегодняшнего момента заключается в тотальном комплексе неполноценности людей. Мы часто говорим, что художником руководит Бог, но какие-то обязательства перед обществом существуют и у человека, который занимается искусством. Мы можем продолжать разрушать силу, а можем по капельке возвращать человеку веру в себя. Я все-таки надеюсь и верю в то, что мы находимся на пути к преображению.

В. Толстых: Я хочу просто подытожить. Через мрак, уныние, через трагическое резюме Гусейнова мы все-таки выходим, как и положено советским людям, на оптимальную финишную прямую благодаря Прошкину и Межуеву.

Мне кажется, это можно сформулировать таким образом: мы должны в эпоху перестройки заниматься гуманистическим искусством, которое любит человека, воспевает его и верит в его возможности.

Э. Рязанов: Лучше не скажешь! Поэтому я благодарю всех «братьев Люмьеров» от всего сердца.



НАШИ АВТОРЫ

АФАНАСЬЕВ НИКОЛАЙ РОСТИСЛАВОВИЧ (род. в 1956 г.). Закончил театроведческий факультет ГИТИСа в 1978 г. Мл. научный сотрудник сектора театра народов СССР ВНИИ искусствознания. Автор сценария мультипликационного фильма «Непобежденные» (1987 г., по мотивам романа В. Гюго «Отверженные», реж. Ю. Трофимов). Автор статей по проблемам театральной драматургии.

БЕРГМАН ИНГМАР (род. в 1918 г.). Закончил факультет истории литературы и искусства Высшей школы в Стокгольме в 1943 г. Автор сценариев фильмов: «Травля» (1944 г., реж. А. Шёберг), «Женщина без лица» (1947 г., реж. Г. Муландер), «Ева» (1948 г., реж. Г. Муландер), «Пока город спит» (1950 г., реж. Л.-Э. Чельгрэн). По своим сценариям поставил фильмы «Кризис» (1946 г.), «Тюрьма» (1949 г.), «Летняя игра» (1951 г., сцен. совм. с Х. Гревениус), «Лето с Моникой» и «Вечер шутов» (1953 г.), «Улыбки летней ночи» (1955 г.), «Седьмая печать» и «Земляничная поляна» (1957 г.), «У истоков жизни» и «Лицо» (1958 г.), «Источник» (1960 г.), «Как в зеркале» (1961 г.), «Причастие и «Молчание» (1963 г.), «Персона» (1966 г.), «Стыд» и «Час волка» (1968 г.), «Прикосновение» (1971 г.), «Шепоты и крик» (1972 г.), «Лицом к лицу» (1975 г.), «Змеиное яйцо» (1977 г.), «Осенняя соната» (1978 г.), «Из жизни марионеток» (1980 г.), «Фанни и Александр» (1983 г.), «После репетиции» (1984 г.), «Двое блаженных» (1987 г.) и др.

БУТЫЛЬСКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. Закончила сценарный факультет ВГИКа в 1977 г. (мастерская В. Соловьева и Л. Кожиновой). Автор сценария художественного фильма «Вам телеграмма» (1984 г., реж. Б. Конунов). Автор сценариев «Зайцы» (1977 г.), «Как мы дышали... как жили мы» (1981 г.), «Женихи приехали!» (1985 г.), «После нашей любви» (1987 г.).

ГАБРИЛОВИЧ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (род. в 1936 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1960 г. (мастерская К. Виноградской и И. Вайсфельда). Автор сценариев художественных фильмов «Позднее свидание» (1974 г., совм. с Е. Габриловичем, реж. В. Григорьев), «Приход луны» (1988 г., совм. с Е. Габриловичем, реж. Ю. Шварев). Автор сценариев и режиссер более пятидесяти документальных телефильмов: «Альфа и Омега» (1968 г.), «Право на крылья» (1971 г.), «Монолог о Пушкине» (1972 г., сцен. совм. с А. Зорким), «Семейный круг» (1975—1976 гг., сцен. и реж. совм. с С. Зелькиным), «Цирк нашего детства», «Футбол нашего детства», «Кино нашего детства» (1982 г., 1984 г., 1986 г., сцен. А. Марьямова), «Без оркестра» (1987 г., сцен. М. Сперанской), «Невозможный Бесков» (1988 г., сцен. Е. Богатырева и А. Нилина), «Крайние земли» (1988 г., сцен. Т. Александровой), «Цирк для моих внуков» (1990 г., сцен. В. Тура) и др.

ГОЛОВАНОВ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ (род. в 1939 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1964 г. (мастерская К. Виноградской) и Высшие режиссерские курсы Госкино СССР в 1970 г. Автор сценариев мультипликационных фильмов «Фильм, фильм, фильм» (1966 г., реж. Ф. Хитрук), «Девочка и медведь» (1979 г., реж. Н. Голованова), «Зимовье зверей» (1980 г., Н. Голованова), «Похождения Хряпова» (1980 г., реж. Р. Страутмане), «Кнопочки и человечки» (1981 г., реж. М. Новогрудская), «Наваждение Родамуса Кверка» (1984 г., реж. В. Угаров), «Сказочка про козлячку» (1985 г., реж. В. Петкевич), «Бескрылый гусенок» (1987 г., реж. О. Черкасова) и др. Автор сценариев художественных фильмов «Бесстрашный атаман» (1971 г., реж. В. Дьяченко и Г. Иванов), «Марка страны Гонделупы» (1973 г., реж. Ю. Файт), «Приключения Травки» (1979 г., реж. А. Кордон), «Пограничный пес Алай» (1981 г., реж. Ю. Файт), «Тайна записной книжки» (1983 г., реж. В. Шамшурин) и др.

КЛИМОВ GERMAN GERMANOVICH.— см. «Киносценарии» № 3, 1990 г.

КЛИМОВ ЭЛЕМ GERMANOVICH (род. в 1933 г.). Закончил Московский авиационный институт в 1957 г. и режиссерский факультет ВГИКа в 1964 г. (мастерская Е. Дзигана). Дебютировал кинокомедией «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964 г., сцен. С. Лунгина, И. Нусинова). Режиссер фильмов: «Похождения зубного врача» (1966 г., сцен. А. Володина), «Спорт, спорт, спорт» (1970 г., сцен. Г. Климова), «И все-таки я верю» (1973 г., совм. с М. Хуциевым), «Агония» (1975 г., сцен. С. Лунгина, И. Нусинова), «Лариса» (1980 г.), «Прощание» (1981 г., сцен. Г. Климова, Р. Тюрин, Л. Шепитько по повести В. Распутина «Прощание с Матёрой»). «Иди и смотри» (1985 г., сцен. совм. с А. Адамовичем).

САПГИР ГЕНРИХ ВЕНИАМИНОВИЧ (род. в 1928 г.). Закончил экстернат № 1 г. Москвы в 1948 г. Автор сценария художественного фильма «Волшебная книга Мурада» (1979 г., реж. М. Союханов), а также около тридцати сценариев мультипликационных фильмов: «Хочу быть большим» (1964 г., реж. Р. Качанов), «Мой зеленый крокодил» (1967 г., реж. В. Курчевский), «Честное крокодильское», «Не в шляпе счастье», «Ветерок» (1967, 1968, 1972 гг., реж. Н. Серебряков), «Серебряное копытце», «Охотник до сказок», «Маленькая колдунья» (1976, 1982, 1990 гг., реж. Г. Сокольский) и др.

СЛУЧЕВСКИЙ СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1947 г.). Закончил Киевский экономический институт в 1970 г. и сценарный факультет ВГИКа в 1990 г. (мастерская И. Вайсфельда). Автор сценариев художественных фильмов «В мире было яблоко» (1987 г., реж. А. Квирая), «Если будет дождь...» (1988 г., реж. В. Ильичев), а также документальных фильмов «Радости камерной музыки» (1988 г., реж. В. Ильичев), «Запредел» (1989 г., реж. совм. с А. Владимировым) и др.

СОБОЛЕВ ЕВГЕНИЙ РОМИЛОВИЧ (род. в 1956 г.). Закончил факультет правоведения Юридического института в 1978 г. Автор книги «Актеры индийского кино» и статей по проблемам кино и социологии.

СОБОЛЕВ РОМИЛ ПАВЛОВИЧ (род. в 1926 г.). Закончил факультет культурно-просветительской работы Института культуры в 1955 г. Ст. научный сотрудник ВНИИ киноискусства. Автор книг «Люди и фильмы русского дореволюционного кино», «Ежи Кавалерович», «Запад: кино и молодежь», «Голливуд: 60-е годы», «Александр Довженко», «Рангел Вылчанов и пути болгарского кино» и др. Специализируется по проблемам кинематографа социалистических стран.

ТЮРИН РУДОЛЬФ КОНСТАНТИНОВИЧ (род. в 1938 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1965 г. (мастерская К. Парамоновой). Автор сценариев художественных фильмов «Птицы наших надежд» (1973 г., реж. Э. Ишмухамедов), «Кровь и пот» (1975 г., реж. А. Мамбетов и Ю. Мاستюгин), «Серебряный рог Алатау» (1976 г., реж. В. Пусурманов), «Вкус хлеба» (1979 г., совм. с В. Черныхом, реж. А. Сахаров), «Прощание» (1980 г., совм. с Л. Шепитько и Г. Климовым, реж. Э. Климов), «Памятник» (1983 г., реж. А. Кабулов) и др. Автор

сценариев «Маляры» (1965 г.), «Бунт на коленях» (1965 г., «Киносценарии» № 2, 1988 г.), «Матросская Тишина» (1970 г.), «Предполье» (1972 г., «Киносценарии» № 4, 1988 г.), «Рахманинов» (1978 г.), «Республика Гениев» (1979 г.), «День как день» (1985 г., «Киносценарии» № 4, 1987 г.) и др.

ХОДЖАЕВ ФАЙЗУЛЛА (род. в 1932 г.). Закончил сценарно-редакторский факультет ВГИКа в 1955 г. и Высшие режиссерские курсы Госкино СССР в 1966 г. Автор сценариев художественных фильмов «Отвергнутая невеста» (совм. с С. Нурутдиновым, реж. Ю. Агзамов, 1959 г.), «Под палящим солнцем» (совм. с А. Галичем, реж. А. Хачатуров, 1969 г.), «Незабытая песня» (совм. с Дм. Холендро, реж. Р. Батыров, 1975 г.), а также автор сценариев и режиссер документальных фильмов «Пять слов о счастье» (1966 г.), «Была война» (1966 г.), «Узбекская мадонна» (1977 г.), «Салам алейкум, камарада!» (1981 г.), «Вода течет в гору» (1987 г.), «Выбирай!» (1988 г.), «Я помню руки матери моей» (1989 г.) и др.

ЧЕЧУЛИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1932 г.). Закончил операторский факультет ВГИКа в 1957 г. (мастерская Б. Волчека). Как оператор-постановщик снял около тридцати художественных фильмов.

1р.20к.
70434

4

КИНОСЦЕНАРИИ

1990